

Владимир Медведев

ЗАХХОК

УДК 882-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
М42

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Медведев, Владимир Николаевич.
Заххок: роман/В. Медведев/ – М.: Изд-во «ArsisBooks»,
2017. – 460 с.

ISBN 978-5-904155-64-3

В романе Владимира Медведева «Заххок» оживает экзотический и страшный мир Центральной Азии. Место действия — Таджикистан, время — гражданская война начала 1990-х. В центре романа судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны. Автор — тоже выходец из Таджикистана. После крушения СССР русские люди ушли с имперских окраин, как когда-то уходили из колоний римляне, испанцы, англичане, французы, но унесли этот мир на подошвах своих башмаков. Рожденный из оставшейся на них пыли, «Заххок» свидетельствует, что исчезнувшая империя продолжает жить в русском слове.

УДК 882-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
М42

ISBN 978-5-904155-64-3

© Владимир Медведев, 2017
© Майя Медведева, дизайн обложки, 2017
© Издательство «АрсисБукс», 2017

Владимир Медведев

ЗАХХОК

РОМАН

Людмиле с любовью

Андрей

Налегаю на лопату и выворачиваю...

Ни хера себе! Череп.

Человеческий.

Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец. Кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз... И всё же жалость наглухо накатила. «Да,— думаю,— залетел кто-то по-чёрному. Убили, голову отрезали и во дворе закопали...»

Слышу:

— Чего сидишь?

Поднимаю голову. На краю котлована — пластиковые шлёпанцы «найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Ещё выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе — широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот, точняк, и убил. Двор-то его собственный.

Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне, я только пашу на него. Дом строю. А он тарашится, будто я его собственность.

— Почему не работаешь?

— Череп нашёл, — грызаюсь. — Тут у вас что, кладбище?

Пялится, будто оценивает. И толкует этак важно:

— Знаешь, как говорят: под каждым следом коня зарыты две сотни глаз.

Мудрец, блин! Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас, типа, столько прошло поколений, что, где ни копни — везде лежит сто человек. Нашёл себе алиби!

А он переспрашивает, вроде как с угрозой:

— Ты понял? — И пальцем указывает: — Это... сюда неси.

Терпеть не могу, когда приказывают. Я не бобик — прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас на удивление чётко. Лишь глазом чёрным зыркнул:

— Работай давай... Копай.

Уходя обернулся:

— Хорошо работай. Ты ведь Муродова сын? Смотри, хорошо землю копай. А то отца опозоришь.

И отвалил, шлёпая «найками».

Я посмотрел-посмотрел, как он шествует по своей усадьбе, держа череп у бедра будто мяч. «Ах ты, басмач,— думаю.— Да гори оно огнём!» Плюнул, вылез из ямы и пошёл в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь: пузо выпятил, шаркаю кедами, как хозяин шлёпанцами. Подошёл и кричу ребятам:

— Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир-башка вам исделаим.

Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает:

— Что ты ему пульнул?

— Башку твоего предшественника — бутра, что старый дом строил.

В общем, рассказал про череп. Карл интересуется:

— Какой он? С мясом, с волосами?

— Гладкий.

Карл у нас в любой теме спец:

— Лет двадцать в земле лежит. Не меньше.

Равиль с ходу ввязался:

— Бери уж тысячу.

— Может, и столько. Почва сухая.

Равиль мне подмигивает:

— А миллион не хочешь? Андрюха, да ты первого человека откопал. Могилу святого Деда Адама нашёл.

Карл пальцем у виска крутит:

— Думаешь, если Ватан — райцентр, значит, и рай здесь был?

Равиль языком цокает:

— Э-э, брат-джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живёшь. У нас всё было. Райский сад был. Александр Македонский был. Товарищ Саидакрам Мирзорезов из Совета министров тоже был. В центре мира живёшь.

Это про наш-то зачуханный Ватан? Я его и райцентром не назвал бы. Даже в шутку. Свалил бы из него куда глаза глядят. Вот только податься некуда. В Россию вырваться — денег нет. А в Таджикистане второй год войнушка идёт. И вокруг одни торгаши и бандиты.

— Слушай,— спрашиваю Равиля,— как думаешь, зачем он черепушку уволок?

— Кто?

— Ну, этот... басмач... Хакбердыев.

— Спроси чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает.

— Нет, тут другое что-то. Зуб даю, хочет улику подальше спрятать. Он же бандит.

— Да ну! Просто торгаш.

— По мне, все торгаши — бандиты.

Равиль усмехается:

— Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости.

— Хорош приказывать, — огрызаюсь.

Ну, блин, тоже мне большой начальник.

Рою и думаю: может, череп и впрямь древний, но этот-то, басмач, всё равно — бандюга. С чего он гнусно лыбился? «Отца не опозорь». О чём это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Вчера по Интернациональной иду, а он навстречу. Как всегда, в белой рубашке, отглаженных чёрных брюках. Гладко выбрит. Туфли блестят — будто только что из операционной. И с ходу:

«Андрей, сынок, надо эту работу бросать».

«А чего? Хорошая работа. На свежем воздухе. Физкультура. И деньги платят».

«Пред людьми неудобно. Говорить станут: доктор о своих детях совсем не заботится. Нехорошо. В моём положении...»

Так, да?! Я не стерпел:

«Моё личное дело, на кого работаю. А вы... вы не о нас... только о своём положении и думаете!»

Никогда прежде ему не грубил. Просто — я сам того не ожидал — обида наружу вылезла. Он ведь внимания не обращает на то, как я к нему тянусь. Будто нет меня. Кинет иногда пару слов мимоходом, как кость, и хорош. Я из-за этого раньше даже плакал по ночам. А теперь, когда его самого коснулось, то немедленно: «Андрюша, сынок...»

Да знаю я, знаю, что несправедливо на него окрысился. Не по делу. Он как-никак думает, заботится. И о матушке, и обо мне с Заринкой. Когда год назад началась войнушка, мы без него не выжили бы. Конечно, в посёлке не стреляли, не убивали, но жрать-то было нечего. Матушке перестали платить зарплату в библиотеке. Националам легче — у каждого огород, родня в кишлаке. А у нас? Подошли бы с голоду, да отец поддержал. Это позже Равиль взял меня в бригаду...

Думал, отец рассердится. А он:

«Андрей, сейчас трудное время. На забывай, война идёт. Надо быть очень осторожным. Ты ещё многого не понимаешь. Знаешь, на каких людей работаешь? Они любой зацепке рады, лишь бы мне навредить».

«У меня даже имени не спросили...»

Но отец не слушал.

«Сейчас нет времени объяснять. Вечером...» — и отвалил.

Поговорили, называется, отец с сыном. Я ждал допоздна и ещё больше обиделся. Выходит, и на этот раз — как всегда. Матушка тоже сердилась и переспрашивала:

«Так он сказал тебе, что придёт?»

Она напекла пирожков с картошкой. Убеждена, он их любит. Я-то знаю: он картошку терпеть не может. Матушка укутала блюдо чистым полотенцем, чтобы пирожки оставались горячими. Но они всё-таки остыли...

Рою и размышляю: что отец собирался рассказать? Сто пудов, про торгаша. Не зря спрашивал: «Знаешь, у кого работаешь?» А я сегодня череп нарыл. Одно к одному. Это же, блин, детектив! Если отец вечером опять не придёт, то пойду к нему спросить, что он имел в виду. Хотя он не любит, когда без предупреждения... Вспомнил, и опять обида взяла.

Слышу, на улице за забором кто-то сигналит, будто ненормальный. И орёт:

— Андрей! Эй, Андрей!

Вылезаю из ямы, подхожу к забору. Ну, кто там ещё? Белый фургон — скорая помощь. За рулём — чёрт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины:

— Андрей, садись быстро. Поехали!

Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «быстро-быстро», «давай по-быстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашёл, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела и — к нему. Быстро-быстро!

— У тебя, — спрашиваю, — лёд, что ль, в жопе загорелся?

— Братан, кончай базарить, — Али кричит. — Времени нет!

Ништяк себе заход.

— Ну ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось? — спрашиваю.

С юмором у Али — всю дорогу проблемы. Не врубаётся.

— Эй, садись, говорю!

— А дальше что? Лекцию о времени прочитаешь?

— Отца твоего убили.

Я сначала не понял. Он по новой:

— Твоего отца! Убили!

Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине посёлка, и высокие тополя вдоль дороги, и пустые хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я будто оглох и онемел. Голос Али доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения: главврач приказ дал... туда ехать... тело забрать... крюк сделал... за тобой заехал...

Остановились на краю какого-то солончака. Кучка людей. Рядом — чёрная волжанка. Я выпрыгнул из кабины. Люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. На одежду, перепачканную грязью, налипли репы, будто его волокли по земле. Кровавый потёк на пол-лица.

Я будто ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперёк его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Я будто оглох. Не слышал, как шуршит ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Немного погодя разобрал, что рядом, но будто за какой-то стеной, говорят:

— Ну что ж, надо тело забрать.

Сначала я даже не понял. Захлёстывало чувство страшной непоправимости. Меня будто на куски разрывало. И зовёт кто-то. Меня. По имени. Озираюсь. Районный прокурор. Стараюсь понять, что он говорит.

— Большое горе, Андрей... Очень тебе сочувствую. Крепись...

Кивает Али:

— Давай, грузи.

Али распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. Я очнулся:

— А следствие?!

— Дело трудное,— говорит прокурор.— Свидетелей нет. Очень трудное дело. Но разберёмся. Следствие проведём обязательно.

Врёт он! Никакого следствия не будет. У него это на морде лица написано большими буквами.

Я закричал:

— Почему следы затоптали?! Даже собака не найдёт.

— Андрей,— мягко сказал прокурор,— собака в таких случаях не нужна.

Его глаза будто закрыты какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя — его все в посёлке знают — среди стоящих вокруг людей не было.

— Где следователь?! Где фотограф?

— Андрей,— сказал прокурор,— не учи меня, как надо работать.

— Почему не начинаете следствие?!

— Обязательно начнём. Проведём расследование, выясним... Обязательно, непременно.

— Ничего не выясните! Вы... всё на тормозах спустите.

— Андрей, я тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже горько. Твой отец моим другом был. Очень хорошим другом...

Но у меня от бешенства сорвало крышу, и я плохо соображал, что говорю.

— Не хотите следствие проводить, да? Мне самому, что ль, расследовать?

Прокурор перебил меня по-русски:

— Ты умный парень, не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Не надо такие слова говорить. Пожалеешь...

— Угрожаете?

— Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?!

Прокурор жабры раздул, дерьмо из него так и пощёрло:

— Учишь, как следствие вести? Научись сначала со старшими разговаривать! Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нём и буквы «алеф» не найдёшь... Ты как твой отец! Тот хоть людей лечил, оттого его и терпели. А тебя за что терпеть?!

Я окончательно взорвался:

— Отца терпели?! Если бы он вас не лечил, вы все бы передохли! От обжорства. Я сам найду, кто его убил! В посёлке ничего не добыю, в Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворочу. Я найду, кто...

Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет, но обуздал себя. Отвернулся. Скомандовал, ни на кого не глядя:

— Забирайте.

Никто даже не шевельнулся.

Меня трясло, но я не хотел, чтобы к отцу прикасались чужие. Нагнулся и подsunул руки под плечи отца. Посмотрел на Али... Он поколебался, подошёл и неохотно взялся за ноги. Мы приподняли тело. Оно было очень тяжёлым и прогибалось пониже пояса.

— Сафаров, помоги, — приказал прокурор.

Водитель прокурорский подошёл, ухватился за ремень отцовых брюк и потянул. Мы подняли тело повыше. Голова отца откинулась назад. Мы подтащили тело к носилкам. Я постарался опустить его, чтобы голова не стукнулась о брезент. Вдвоём с Али мы взяли за ручки носилок, отнесли их к «скорой помощи» и задвинули в фургон. Я сел рядом с носилками. «Скорая» тронулась. Я придерживал отца, чтобы его не мотало на ухабах. Только тут я заметил на смуглых и крепких отцовых руках ссадины и синяки. Его держали. Он был сильным. Один человек с ним бы не справился. Их было несколько. Я гнал от себя страшные картины того. Не мог их вытерпеть. Гасил их, но они вспыхивали вновь и вновь.

Очнулся я, когда щёлкнул замок. Али раскрыл дверцы.

— Брат, давай вынесем...

Я вытер сухие, без слёз глаза и взялся за ручки носилок. Брезентовое ложе, лязгая нижними скобами, поехало по металлическим полозьям. К распахнутой «скорой» подскочили парни в белых халатах. Перехватили носилки, понесли.

Спрыгиваю на землю. Домик, белёный извёсткой, в глубине больничного двора. Морг. Люди у входа. Застыли неподвижно. Молча. Как тени. Отец на носилках уплывает в раскрытую дверь морга.

Вхожу. Комната какая-то. Отец лежит на высоком узком столе, покрытом клеёнкой. По ту сторону стола — врачи. Перешёптываются тихо. Один — впереди. Главврач. Остальные за ним, чуть позади. Как на утреннем обходе.

Отцу в лицо не смотрю. Не могу. Чёрные туфли покрыты грязью. Лезу в карман, достаю платок. Хочу, чтоб опять блестели...

Кто-то что-то говорит... Это главврач.

— Большое горе... но наш коллектив... надо проводить достойно... товарищ Шарипов займётся...

Врач в белом ему на ухо шепчет. Главврач кивает:

— Да, товарищи, мы родственникам в кишлак сообщили. Они очень просили вскрытие не делать. Прокуратура тоже не возражает...

Чувствую чью-то руку на плече. Мама. Не услышал, как вошла. Она тяжело оперлась на меня. Замерла, глядя на отца. Я маму крепко обнимаю. Чтобы почувствовала, что я рядом. Что я с ней. Живой.

Мама глубоко вздохнула. Слегка повела плечами, высвобождаясь. Коснулась моей руки ласково: «Спасибо, я держусь». Ещё раз вздохнула. Шагнула вперёд, к столу. Постояла, глядя отцу в лицо. Поправила воротник рубашки, завернувшийся, измазанный грязью. Нежно провела пальцами по щеке отца. Подняла глаза на главврача.

— Я заберу его. Дайте мне, пожалуйста, машину.

Главврач изумился:

— Куда заберёте?

— Домой.

Главврач на маму смотрит подозрительно.

— Зачем домой? Похоронить надо.

Мама будто не слышит.

— И если можно, скажите плотнику дяде Васе, чтобы сколотил гроб. Я заплачу.

Главврач допёр наконец.

— Вера, вы нас обижаете... Мы сами похороним. Не беспокойтесь, сделаем, как надо. Я тотчас pošлю санитаров рыть могилу. До вечера времени ещё много...

Мама говорит ровно, без выражения:

— Он должен провести ночь дома.

Главврач хмурится. Знаю, что он думает. «Моя больница. Мой персонал. Я главный. Я начальник. Мне решать, как работать, как хоронить. Откуда русской женщине знать, как положено погребать? По нашему закону, не по русскому, не по советскому...»

Но вслух другое произносит:

— Вера-джон, национальные традиции тоже уважать надо...

Знаю, о чём он думает. «Что люди в посёлке скажут, если позволю не по закону похоронить? Скажут, Хакимов совсем никакого авторитета не имеет. А может, Хакимов не знает, как правильно? Может, его не учили?»

Тот врач, что прежде ему на ухо шептал, опять шепчет. Главврач молчит, думает. Что шептун ему посоветовал? Что им известно такое, чего мы не знаем?! Главврач продолжает:

— Вера-джон... — Помолчал, на шептуна кивает: — Акмол Ходжиевич правильно говорит. Вы столько лет с покойным Умаром вместе жили... Его сын рядом стоит... Конечно, правильно будет, если вы сами его похороните...

Почему? Почему он легко уступил? И что шептун опять ему шепчет?

Главврач приказывает:

— Дядю Васю позовите.

Кто-то из врачей огибает стол, мимо нас проскальзывает. Все молчат. Мама вдруг спрашивает тревожно:

— Где твоя рубаха, Андрей?

— Какая рубаха?

— Почему ты голый?

Оглядыаю себя: на мне нет рубахи.

— Не знаю...

— Почему ты раздет?! Что случилось? Где ты был?

— Я копал...

У мамы в глазах ужас:

— Копал?.. Что ты копал?!

— Мама, я на работе... Фундамент...

Она дух перевела. Какой-то странный, незнакомый жест у неё появился — рукой по щеке проводит, будто что-то с лица смахивает.

— Слава богу... Я подумала... Ах, не знаю... — И вдруг ни с того, ни с сего: — Андрей, надо одеться.

— Во что?

— Не спорь со мной! Сейчас же оденься!! Ты слышал? Сей-час же.

— Мама!!!

Она будто опомнилась:

— Ах, да, конечно...

Входит дядя Вася. Перекрестился. Слежу, как он разматывает складной плотницкий метр, и думаю, почему он измеряет стол, а не отца? Зачем берёт так широко?

— Почему не записываешь? — строго спрашивает главврач.

— Голова-то пока на плечах. К вечеру сделаем, — буркнул дядя Вася и ушёл.

Санитары перенесли отца назад, в «скорую», Али завёл двигатель, мама села рядом с ним, а я — в фургон возле отца, и мы повезли его к нам домой.

Дома мама велела мне разложить в большой комнате стол, за которым мы обычно обедаем, когда приходил отец. Али помог внести отца в дом и уложить на стол. Мама приказала нагреть воду в вёдрах. Прилетела из школы Заринка, они с мамой обнялись и зарыдали.

Мама выгнала из комнаты нас с Зариной и сама обмыла тело. Хотел помочь, но она резко меня оборвала. Я только подтаскивал к закрытой двери вёдра с горячей водой и выплёскивал на улицу таз, который она выставляла.

Примчался Равиль.

— Пошли выйдем.

Мы вышли на крыльцо. Он зашептал:

— Куда ты полез? Камикадзе. Лётчик, блядь, герой Гастелло. Надо было тихо-тихо промолчать. Затаиться, как Ленин в мавзолее. Тихо-тихо всё разузнать. Матушку с сестрой вывезти. Кого надо, тихо-тихо замочить. И тихо смыться. Войнушка всё прикроет. Так и бату твоего кончили.

— Кто?! Ты знаешь!

— Ни хрена я не знаю.

— Знаешь!

— За кого ты меня держишь? Кто я, по-твоему?! Шорох идёт. И ничего конкретного. Первый день, что ли, в Ватане живёшь? Бздит народ. Никто вслух не скажет. Шуршат разное...

— Кто? Хакбердыев, торгаш, да?

— Слушай, на твоего пахана многие зуб точили...

— Но почему?! Что он им сделал?!

— Андрюха, уезжать надо. Вам теперь в Ватане не жить.

— С места не двинусь, пока не разберусь.

— Псих, замочат же. Думаешь, одного тебя? Всех троих порешат, и ни одна собака не пикнет.

— Некуда, Равиль. Некуда. И денег ни копыя.

Он кулаком о перила:

— Вот засада! — Потёр лицо ладонями. — Андрюха, я у Хакбердыева аванс попрошу. Ты не приходи. Вообще, сиди дома как мышка. Похороните и втихаря слиняете.

— Я матушке ещё ничего не говорил. Она не знает.

— Тебя, дурака, не жалко. Матушку твою и сеструху жаль. Распустил, блядь, язык... Напугал старушку толстым хером. Да им по барабану — что в Душанбе жалуйся, что в Москву, что в Париж. Но они не прощают. У нас и за меньшее убивали.

Опять — они. Знает он, татарин ушлый, знает!

— Равиль, как брата прошу, кто?

— Хорош геройствовать. О матери, о матери думай... Ну, ладно, Андрюха, держись. Если что, кликни — я сразу... Сейчас бежать надо, извини. Завтра с утра я у тебя. Как штык. Отпросимся с Карлом у кровососа. Не отпустит — долбись он конём, сами уйдём.

Обнял меня, лбом ко лбу прислонился и убыл. Я не в обиде. Знаю, остался бы, если б мог.

Наконец мама выложила в коридор грудку мокрых простыней и поставила пустые вёдра. Когда она позвала нас, отец лежал на столе со сложенными на груди руками, одетый в териленовый костюм, который обычно висит у нас в шифоньере. Воротник рубашки был поднят, уголки зашпилены булавкой, чтобы скрыть рубец на шее. Стол накрыт нашей лучшей, праздничной, скатертью. Не представляю, как мама одна управилась.

Она сидела у отца в головах, опустив лоб на стол.

— Дети, вы, наверное, проголодались. Зарина, приготовь для вас что-нибудь, — сказала, не поднимая головы.

— Мам, мы не хотим, — Зарина подошла к маме и крепко обняла.

— Андрюша, поставь стулья для себя и Зарины, — сказала мама. — И принеси с кухни свечи.

Я пододвинул два стула. Зарина присела, не разжимая объятий.

Входная дверь раскрыта настежь. Заходили поглядеть соседские женщины. Пару раз я выходил на крыльцо и видел, что какие-то незнакомые парни слоняются вокруг нашего дома. Один бес заглянул из коридора в комнату.

— Чего надо? — спросил я грубо.

Он покосился злобно, но ушёл.

Немного погодя дядя Вася привёз громадный гроб, обитый чёрным сатином. Они с Али внесли сначала домовину, затем крышку. На крышке — крест из белых матерчатых полос. Мама сухо спросила:

— А крест зачем?

— Вы ж, вроде, эт самое... по-нашему будете погребать...

Мама глянула на него как-то странно и отрезала:

— Нет, не по-нашему.

Дядя Вася озадачился:

— И то правда. Покойник-то некрещёный. Мне бы раньше сообразить... Что ж теперь? Снимать? А то, может, оставим? Хотя и не нашей веры, а всё же...

— Какая теперь разница,— сказала мама.— Если хотите, оставьте.

Дядя Вася обрадовался:

— Так-то оно лучше. Всё на том свете полегче придётся. Может, за своего примут, если с крестом. Глядишь, там с ним и встретитесь...

— Нет,— сказала мама.— Теперь уж никогда.

Мы установили гроб на две табуретки, перенесли в него отца и водрузили на стол. Они уехали. Начало темнеть. Я закрыл входную дверь и задвинул засов. Хотел зажечь свет, но мама сказала: не надо. Лампочку она оставила только в коридоре, а большую комнату освещали четыре свечи на столе, по две с каждой стороны гроба. В темноте огоньки казались очень яркими. Мы сидели у стола. Внезапно погасла светлая полоса, которая падала в комнату из коридора.

— Опять отключили электричество,— мама загасила две свечи.— До утра, наверное, не хватит...

Я подошёл к наглухо закупоренному окну. Мама сказала, что нельзя, чтоб сквозняк,— от него лицо темнеет. У соседей светились окна. Значит, не в посёлке отключили, а у нас какая-то сволочь отрезала... И вдруг к стеклу, с той стороны, прилипли три расплывчатые рожи. Уверен, те же бесы, что днём бродили вокруг. Лиц не различить. Да я и запомнил-то лишь того, что соваля в комнату. Опустил шторы. Они погалдели и затихли. Ушли?

Я тайком принёс из кухни топор и незаметно пристроил возле ножки моего стула.

Мама вдруг начала напевно, но как-то нерешительно:

Закатилось ясно солнышко,
Догорели светлы звёздочки,
Провожая твою душеньку
В дальний путь за темну реченьку...

Потом громче. Уверенно и будто забывшись:

Пусть идёт она по бережку,
Переходит вброд по камешкам,
Пусть плывёт чрез воды чистые
На заветную ту сторону.

Она его провожала. Я не знал, как проститься. Не верил, что больше с ним не увижусь. Гроб мы зароем, а когда-нибудь — не сегодня, не завтра — я увижу, как идёт он по улице в отглаженной ру-

бахе и начищенных до блеска туфлях, будто только что вышел из операционной, и может быть, нам удастся поговорить. И я смогу всё ему сказать...

Там забудешь муку смертную,
Позабудешь нас, оставшихся...

Мама вздохнула:

— Ах, глупости это...

Мы сидели, молчали, я прислушивался, но за окнами пока было тихо.

— Идите поспите немного, — сказала мама. — Завтра трудный день.

— Мам, мы не хотим, — сказала Заринка. — Я с тобой посижу.

— Иди, иди... Ты совсем измучена. И ещё... мне хочется побыть с ним наедине. Поспи часок.

Зарина молча мне кивнула, мы зажгли свечу и вышли на кухню.

— Папа любил здесь сидеть, — сказала Зарина. — Мама, когда он приходил, всегда в большой комнате накрывала. А ему на кухне нравилось...

— Откуда ты знаешь?

— Он мне сам сказал.

— Конечно! Ты же его любимица! «Ай, Зариночка, моя девочка». С тобой-то он разговаривал.

— Как тебе не стыдно! Он тебя любил. И его все любили...

Как же! Всеобщий любимец! Я-то видел — матушка приводила нас в больницу, когда мы болели, — как вокруг него выются медсестрички. «Ах, Умар Мирбобоевич!» «Да, Умар Мирбобоевич!» Даже мне перепадало: «Ах, Андрюшечка, ах, Умара Мирбобоевича сынок. Ах, какой симпатичный — весь в папочку». На матушку, понятно, — ноль внимания. Будто её и нет. Он и жил-то отдельно от нас, в своей квартире. В двухэтажках. Кочевал то от нас к себе, то от себя к нам. Когда он у нас не ночевал, матушка нам объясняла: «Срочная операция. Ночное дежурство». Это я, когда подрос, стал догадываться, что за ночные дежурства. Иногда, конечно, на самом деле дежурил. Не знаю, почему он нас не бросил. Всё же верным был. Как-то в нём сочетались ветреность и постоянство. Да и второй такой русской женщины, как наша матушка, в Ватане днём с огнём не сыщешь...

Я сказал:

— Да, точняк, любили! Залюбили до смерти.

— Уважали и любили. По-настоящему... А ты... ты будто папу осуждаешь.

— Мы же о нём ничего не знаем.

— Это ты не знаешь! Я всё знаю.

— Ну, тогда расскажи, почему его убили... Ты хоть слышала, с кем он дружбу водил? Со свиньями жирными, с прокурорами, торгашами... Какие у него с ними были дела? Расскажи! Ты же всё знаешь! Или, может, он с чьей-нибудь женой...

— Дурак! — крикнула Зарина. — Не смей плохо говорить о папе!

Вскочила и ушла. Заперлась в своей комнате. Я вернулся к отцу и вновь погрузился в темноту и неподвижное время.

Свечи догорели. Я зажёл две новые и вдруг услышал, что к нашему дому подъезжает машина. Грузовик. Остановился. Хлопнули дверцы. Голоса. В дверь громко постучали. Началось!

Мама подняла голову, проговорила устало, рассеяно:

— Открой, Андрюша.

— Мама, подожди! Я должен тебе рассказать...

— Не сейчас... Иди и узнай, кто это.

— Мамочка, не надо! Понимаешь, сегодня, когда... Ну, когда я туда приехал...

— Андрей, прекрати. Ты же слышишь, кто-то пришёл...

Постучали опять. Она нетерпеливо встала.

— Я сама отворю.

И пошла со свечой, прикрывая ладонью пламя, чтоб не погасло.

— Мама, не отпирай!

Я схватил топор, выскочил в коридор и заслонил ей дорогу.

— Это пришли... за нами...

— Почему за нами? К нам.

В дверь опять постучали. Громче и настойчивей.

Я крикнул:

— Нас убить!

— Андрюшенька, я понимаю... На тебя такое свалилось. На всех нас... Теперь тебе чудятся всякие страхи...

— Мама, выслушай же меня!

Стук. Пока только стучат. Потом начнут ломать.

— Отойди, Андрей, — сказала она строго. — За дверью ждут.

Я выкрикнул:

— Кто ждёт?! Да ты знаешь, кто?!

— Милиция... Телеграмма...

Она протянула руку, чтобы отодвинуть меня. Я упёрся.

— Андрей! Господи, да что с ним творится?

Гневно и раздельно:

— Сей-час же про-пусти! Драться с тобой прикажешь?

Я понял: она не отступится. И слушать не станет.

— А, ну-ка, марш с дороги!

Ненавижу это слово! Марш спать. Марш мыть руки. А, ну-ка, марш делать уроки. Всю жизнь одно и слышу: марш, марш, марш... Я что, солдат? Кукла, чтоб она меня дёргала за верёвочки? И всё равно: дёрнет — я делаю. Да гори оно огнём. Марш, да?! Так точно! Слушаюсь! Служу Советскому Союзу! Назло врагам, на счастье маме... Я чётко развернулся на сто восемьдесят градусов.

— Андрюшка, не открывай! — крикнула Заринка.

По-любому ничего не изменишь. Прятаться бесполезно. Подождут дом. Вышибут дверь. Выбьют окна. Лучше сразу. Лицом к лицу. Заслоню. Положу, сколько смогу... Я шагнул к двери. В правой руке — наготове топор.левой откинул в сторону засов...

— Что ты делаешь! — закричала Зарина.

...и распахнул дверь. На пороге стоял отец.

Меня как током ударило. В голове загудело и затрещало, словно включился мощный трансформатор. Топорище выскользнуло из ладони, и топор глухо стукнул об пол где-то далеко внизу, в подземном мире. Меня бросило к отцу — обнять (я не обнимал его много лет — с тех пор, как вырос), но страшная тяжесть удержала на месте. Я не мог шевельнуться. Просто стоял и смотрел. Я знал, что он вернётся! Тело, что лежит на столе позади, за моей спиной, в тёмной комнате со свечами, — это не отец. Кто-то чужой, незнакомый. А сам он — передо мной, на крыльце. Живой. Я с самого начала был уверен, что это случится. Не ждал, что сегодня.

Фары грузовика, что стоял на улице перед нашим домом, светили отцу в спину. Одет он был в лёгкий чапан из бекасаба, который всегда надевал у себя дома. Блестящая ткань светилась узкой полоской по контуру фигуры, окружая её сияющим ореолом. Лицо в тени. Но я угадывал черты, знакомые, родные... И лишь одно было чужим и страшным — усы. Откуда у него усы? Когда они успели вырасти? Где-то в стороне возникла мысль, как бы подуманная кем-то другим: у мёртвых продолжают расти волосы. Но почему выросли за один день?

Я сказал:

— Папа...

Давным-давно не обращаюсь к нему так. Сейчас само вырвалось. Беззвучно. Отец шагнул вперёд и обнял меня. Я закричал. От отца всегда пахло ароматной туалетной водой и еле уловимым запахом лекарств. Тот, кто крепко обхватил меня, пахнул совсем по-другому. Дымом, молоком, сухим навозом, горными травами, бензином и пылью.

Я рванулся назад и услышал, как мама произнесла нерешительно:

— Джоруб?..

Свеча сзади поднялась и осветила лицо обнимавшего меня человека. Он сказал:

— Вера, Вера-джон...

— Да, Джоруб, — ответила мама. — Да, его нет...

И я понял, кто это. Отцов младший брат. Я его давно не видел, тысячу лет он в Ватан не приезжал. На отца совсем не похож. Нет, похож, конечно. Очень сильно похож. Сразу понятно, что братья. В общем, не знаю...

Он отпустил меня, я посторонился, он вошёл. Теперь я увидел, что на крыльце стоит какой-то старик. Сухой, невысокий, с белой бородкой, с кучей медалей на груди. Я догадался, что это дед. Почти не помнил его.

Дед и Джоруб, войдя в дом, остановились возле гроба и заплакали, обнявшись. Плакали как дети. Всхлипывая и утирая слёзы. Обнимаясь, поддерживая друг друга. Джоруб широким движением схватил меня, притянул к себе. Мне не хотелось к нему подходить. Я не хотел, чтобы он меня обнимал. Было как-то неприятно после того, как я его за отца принял. Но я вытерпел. Ждал, когда он уберёт руки. Но вдруг внутри что-то отпустило. Я целый день не мог заплакать. В их тесном круге я зарыдал, легко и свободно. Я обнял деда и прижался к нему. Слышал, как он шепчет. Говорит как бы сам с собой. Или с отцом.

— Бедный мой сын. Бедный, бедный. Горестный мой сын. Так красиво началась твоя жизнь. Стал учёным человеком. Лечил людей. Люди тебя уважали. И так несчастно ты умер... — Он будто забыл о нас, стоящих рядом. — Если захотели тебя убить, почему не ударили ножом?

Вошёл высокий стройный парень, горный орёл. Шофёр, который их привёз.

— Ако Джоруб, ехать пора. Путь долгий.

Дед, утирая слёзы, сказал по-русски:

— Доченька, надо в дорогу его собрать.

— Я собрала, — сказала мама. — Обмыла, обрядила. И вот гроб...

— Спасибо, доченька, — сказал дед. — Но гроба не надо. Зачем гроб? Закутаем его.

— Шер, ты тоже помоги, — сказал Джоруб шофёру.

Мама молча раскрыла дверцу шифоньера и выложила на стул стопку чистого постельного белья. Взяла верхнюю накрахмаленную простыню, начала её разворачивать.

— Как же так? — проговорила она вдруг. — Если без гроба, то на грязном полу?

Она сунула простыню Джорубу и решительно потянула со стены большой ковёр, который отец притащил на новоселье, когда лет десять назад выбил для нас типовой совхозный домик на окраине. Ковёр не поддавался. Мама рванула, сдёрнула грузное полотно с гвоздей, оно обрушилось, тяжело складываясь наискось. Полетели с комода на пол вазочки, статуэтки.

— Постелите в кузове.

Шер, горный орёл, подлетел, присел, помог маме скатать ковёр, взвалил его на плечо и вышел. Когда он вернулся, мы все — мама и Зарина тоже, — накренили гроб, приподняли отца, переложили на простыню, расстеленную рядом, и укутали с головы до ног.

Никогда не думал, что выносить мёртвых — это тоже работа. Наподобие перетаскивания вещей при переезде. Тоже сноровка нужна, тоже кто-то распоряжается, как тащить, куда нести и где класть или ставить.

Мама с Зариной потянулись было к длинному белому свёртку, лежащему на столе.

— Женщинам нельзя, — застенчиво распорядился дед. — Только мужчинам разрешено.

Подняли вчетвером. Дед, хоть и старый, тоже помогал.

— Вы неправильно несёте! — вскрикнула мама. — Надо ногами. Ногами вперёд.

Я приостановился, но дед сказал:

— Человек, когда рождается, выходит из утробы головой вперёд. И когда умирает, из дома должен выходить, как и пришёл — вперёд головой.

Мы пронесли отца через дверь навстречу ослепительно сияющим фарам. Мама с Зариной шли следом. Мы уложили отца на

ковёр, на пол кузова, и встали у откинутого заднего борта, глядя на белеющий в темноте кокон. Я помог Шеру поднять борт. Вот и всё. Отец уезжает от меня. Навсегда.

Несколько минут назад кипела работа, похожая на переезд в новое жильё, каждый был занят делом, но вдруг всё кончилось, делать было больше нечего, наступила внезапная тишина, дед с Джорубом уедут, а мы останемся одни на тёмной улице, в тёмном опустевшем доме. Когда они появились, я почувствовал: мы в безопасности, а теперь это временное чувство разом улетучилось. Я спиной ощущал взгляды врагов, следивших за нами из темноты. Может быть, они бросятся на нас, едва отъедет машина, а мы не успеем даже вбежать в дом. Мама ни за что не побежит, она ни о чём не подозревает...

— Ну что ж, Джоруб, поезжайте с богом, — сказала она. — Может быть, даже и хорошо, что вы его забираете. Наверное, так лучше...

Он протянул ей руку:

— Эх, Вера...

Шер перебил его:

— Ако Джоруб, видите, те стоят? Вы в дом вошли, они к машине подошли. Один на подножку запрыгнул. «Что, братан? Откуда приехал?» Я сказал. Он говорит: «К вам, кишлячным, претензий нет. Берите, уезжайте быстрее. Мы сами разберёмся». Я не знал, что покойного Умара убили, спросил: «В чём будете разбираться? Человек умер, значит, так Бог захотел». Он говорит: «С этими русскими разберёмся». Ако Джоруб, что делать будем? Их много.

Джоруб оглянулся.

— Вера, зайдём в дом. — Водителю: — Шер, в кабине посиди. Если что, крикни...

Горный орёл открыл дверцу, пошарил под сиденьем и вытащил заводную ручку.

— Рядом постою. Посмотрю, чтоб в кузов не забрались...

Мы все — наша семья и дед с Джорубом — вошли в дом. Пол в тёмной большой комнате пересекала световая полоса от фар, бьющих с улицы в коридор. Холщовая завеса на дверце шифоньера сорвалась, повисла на кончике, и зеркало в полутьме мерцало призрачным светом, как волшебная дверь.

Мама подняла опрокинутый стул, спросила устало:

— Ну, что ещё?.. Джоруб, что сказал водитель? — таджикского-то она не знает.

Джоруб замялся — сам толком не понимал обстановку. Один я знал, что происходит. Сказал:

— Мама, я объясню... — и выложил, как было.

— Уезжать надо с нами, — сказал Джоруб. — В кишлаке не достанут.

Я думал, мама откажется, и она отказалась, но Джоруб с дедом в конце концов её уговорили. Вещи мы собрали быстро. Нищему одеться — только подпоясаться.

— Много не берите, — сказал Джоруб. — Дома всё есть.

Вышли на крыльцо, таща сумки. Мама и Зарина — в чёрном, в чёрных платочках.

— Запри, Андрюша, — сказала мама, протягивая мне ключи.

Я запер входную дверь пустого дома. Опустевшей утробы.

Мама с дедом сели в кабину. Зарина, я и Джоруб опустились на пол у передней стенки кузова, в головах кокона. Грузовик сдал назад, мазнул светом фар по кучке бесов, издали следивших за нашим бегством, и поплыл по тёмным улицам Ватана, по Карла Маркса, по Колхозной, Резо Резоева, Розы Люксембург, по Чорчинор и выехал на мост через Ак-су. От моста дорога пошла на подъём. Ватан развернулся передо мной от края до края, тёмное смутное пространство, кое-где обозначенное тусклыми огоньками. Я покидал наш посёлок без радости и без сожаления. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Ни о чём не думал. Будто спал наяву. Мне чудилось, что и я, как покойник, вместе с отцом уплываю во тьму вперёд головой, спиной вперёд...

Не знаю, сколько прошло времени. Несколько раз нас останавливали, какие-то люди с оружием, карабкались на борт, заглядывали в кузов, светили фонариками, о чём-то спрашивали... Я не вникал, не интересовался. Боевики, погранцы — какая разница? Джоруб прыгивал на землю, дед выходил из кабины, толковали с военными. Пусть разбираются сами... Встречный ветер похолодел, небо начало светлеть, обрисовались две гряды вершин по обе стороны дороги, и вскоре можно было различить реку — далеко внизу, слева, под обрывом.

Начала болеть голова. Подташнивало. Я знал, сказывается тутак, горная болезнь. Но мне было до лампочки.

— Замёрз, Андрюшка? — спросила Зарина и обняла меня, чтобы согреть.

Зарина

В полусне мне чудилось, что папа пришёл к нам домой. Он живой, весёлый, но почему-то очень странно одет. В белую ночную рубашку. Длинную, до пят, накрахмаленную и отглаженную...

Сквозь дрему я услышала, как дядя Джоруб сказал:

— Талхак.

Он смотрел вперёд, стоя во весь рост и держась за передний борт кузова. Я вскочила на ноги, примостилась с ним рядом и увидела, что уже светло, а мы въезжаем в широкое ущелье. После дороги, стиснутой скалами, оно показалось мне очень просторным. Горы раздвинулись. Солнце ярко освещало левый склон. Верх его был крутым, почти отвесным, а низ широкими ступенями спускался к реке на дне ущелья, и там, на пологом откосе, среди нежно-зелёных прозрачных деревьев и крохотных распаханых полей теснились домики с плоскими крышами... Правый склон ущелья оставался серым и холодным. У его подножия, на другой стороне реки, смутно виднелись дворы и домики. Утренняя тень делила кишлак вдоль по реке на две половины — светлую и тёмную.

Солнечная сторона выглядела как волшебное селение из сказки. Я с детства воображала, как в нём побываю. Забиралась к папе на колени: «Папочка, а когда мы поедem в Талхак?» Он смеялся, гладил меня по голове: «Станешь большая — повезу тебя в Талхак, всем покажу, какая у меня дочка».

Он по-русски чисто говорил, с небольшим акцентом. Мне это ужасно нравилось и казалось очень милым. Никто на свете не умеет говорить, как мой папа. Я всё спрашивала его: «Ну когда же поедem? Когда?» — Мама сердилась: «Не приставай к отцу с глупыми просьбами». — «Ну почему?! Мне очень туда хочется...» — «Он занят на работе. У него нет ни минутки свободной». Мама всегда нам это говорила. Особенно, когда папа вдруг куда-то пропадал и долго не приходил.

Однажды мы с Андрюшкой случайно узнали, что у папы в кишлаке есть другая семья. Значит, у нас есть сестрички и братишки! Папины дети. Другие дети. Я часто пыталась представить, какие они. Сможем ли мы с ними подружиться? Мне ужасно хо-

телось, чтобы папа про них рассказал. Но ни разу не попросила. Хоть и несмышлёныш, а чувствовала: мама обидится, если папа будет о них рассказывать. Почему? Что в этом обидного? Когда была маленькой, не понимала. Теперь, кажется, понимаю. Я ведь тоже одно время ревновала папу к этим незнакомым детям. Пока не начала их жалеть. К нам-то с Андрюшкой папа приходил часто, а они видели его раз в год. Как они, наверное, по нему скучали... Теперь я о нём тоскую. Так, что сердце разрывается... Я не заплакала. Это ледяной ветер бил в лицо и вышибал из глаз слёзы.

Зато грузовик зарыдал вместо меня. Шер, наш шофёр, загудел во всю мочь. Хотел людей в кишлаке предупредить, что мы приехали, а вышло, словно машина завyla от горя. С рёвом и воем мы промчались по мосту через речку и остановились на маленькой площади перед небольшим зданием из грубого камня, с куполом на плоской крыше. Видимо, это была мечеть.

Нас встретили несколько человек. Они, наверное, ждали, когда привезут нашего папу. Откинули задний борт кузова. Мы — дядя Джоруб, Андрюшка и я — спрыгнули на землю, а мама с дедушкой вышли из кабины. Люди стали подходить и обнимать дедушку и дядю Джоруба. Многие плакали. Похоже, папу любили. Андрея они тоже обнимали. Мы с мамой стояли в сторонке. Мама крепко меня к себе прижала:

— Ты совсем ледяная.

Я действительно вся дрожала. Не знаю, от холода или от волнения. Стали подходить ещё люди, только мужчины, и вскоре собралась небольшая толпа. Один — маленький, тощий, хромоногий, весь какой-то чёрный — особенно суетился:

— Носилки надо, носилки... Без носилок не донесём. Улица узкая, неудобно... И покойник, наверное, ещё не зачоченел.

Мне стало обидно, что говорят, словно про какой-то груз, но за папу вступился высокий, широкоплечий старик с большой белой бородой. Я с первого взгляда его заметила — ну прямо Илья Муромец! Вот он и проговорил степенно:

— Гостя в дом на носилках не несут. На носилках его выносят. И все с ним согласились:

— Почтенный Додихудо верно сказал.

А чёрный обиделся, скривился и пробормотал, словно про себя, но чтоб услышали:

— Этого гостя из города привезли. Ему, наверное, всё равно...

Все деликатно сделали вид, что не слышали. Несколько мужчин залезли в кузов, подняли папу и передали стоявшим внизу, а те целой гурьбой — человек, наверное, десять — подняли на плечи и побежали по извилистой улочке, круто идущей вверх. Мы подхватили сумки и поспешили за папой. Пройдя с десятков шагов, я оглянулась и увидела, что дедушка сильно от нас отстал. Ему было трудно идти на подъём. Я остановилась и подождала его. Мы шли по узкому проходу между низкими заборами, сложенными из камня, и молчали. Бедный, бедный папочка... Я по-прежнему не могла поверить в то, что он умер. Мне казалось, что я вижу какой-то нелепый сон, и горе неподвижно застыло где-то у меня в глубине, как чёрная вода в бездонном колодце.

Когда мы подошли к папиному дому, дверь в заборе была распихнута, а возле на улочке толпились люди. Они расступились, мы с дедушкой вошли во двор, где тоже стояли люди, молча. Никто из них, пока мы шли к дому, даже не кивнул дедушке. Будто не видели его. На похоронах нельзя здороваться...

Папа лежал на полу в низкой полутёмной комнате, освещённой тремя глиняными светильниками. Мебели почти никакой. Буфет с парадной посудой да пара сундуков, на высились стопки красных ватных одеял. Ни стола, ни стульев. Пол застлан ковром. Посередине — папочка, завёрнутый в белое. Сидевшие вокруг тихо плакали. Мама сидела с другими женщинами, справа у стены, в полутьме.

Дедушка вошёл, но никто даже не шелохнулся. Это похоронный обычай — не вставать, когда входит кто-то, даже старший. Мужчины потеснились, чтобы дедушка мог сесть возле папы. Он тяжело опустился на войлочный палас и сразу же обнял Андрюшку. Похоже, Андрей ему папу напоминает. А я пробралась к маме. Она подняла на меня измученный взгляд и молча кивнула. Сидевшая рядом с мамой женщина в синем платье встала, я немедленно догадалась, кто она. Папина другая жена! Я её такой и представляла. Настоящая царица. Высокая, стройная. Светильник освещал лицо, которое показалось мне очень красивым. Прямой нос с горбинкой, большие глаза, брови дугой. Она обняла меня.

— Бедная девочка, сирота...

Мы сели. Я примостилась между мамой и этой ласковой царицей. Я уже знала, что её зовут Бахшандой — дедушка по дороге сказал. Все плакали, и я тоже не сумела удержаться. Рыдала, пока в дверь не заглянул какой-то человек и негромко сказал:

— Выносите гостя. Обмывальщики пришли.

Дядя Джоруб поднялся на ноги, за ним остальные. Мужчины подняли нашего папу, закутанного в простыню, и унесли. Женщины заголосили. Я хотела встать и пойти за папой, но одна тётка, сидевшая сзади, прошептала, всхлипывая:

— Нельзя, доченька. Женщинам запрещено смотреть, как мужчину обмывают.

Мама взяла меня за руку. А та же задняя тётенька — тихонько:

— Доченька, скажи своей маме... Если хочет, может быть, платок снимет.

Я шёпотом перевела мамочке.

— Зачем? — спросила мама и потуже затянула узел своей чёрной косынки.

Женщины в комнате были покрыты платками. Все, кроме здешней папиной жены, у которой длинные чёрные волосы были распущены. Мама огляделась и, кажется, сама поняла. Пожала плечами и сняла косынку. Тётушка, сидевшая позади, опять прошептала — теперь уже маме:

— Невестка, может, волосы захотите распустить?

Я перевела.

— Ах, меня, кажется, принимают в клуб законных вдов,— проговорила мама, но принялась вытаскивать заколки из тугого узла своих льняных волос, которыми я всегда люблюсь.

Казалось, она тоже не совсем понимала, что папа умер. Потом нас позвали. Я увидела, что перед домом лежит штукovina, на вид похожая на грубо сколоченную лестницу, приподнятую над землёй на невысоких подставках. Это были погребальные носилки, на них укладывали папу, обряженного в белый саван. Его лицо было по-прежнему закрыто.

Тётя Бахшанда сошла с веранды и медленно двинулась к носилкам. Я не могла оторвать от неё взгляда. Мне сначала даже казалось, что она ничуть не горюет, а просто идёт посмотреть, что лежит на носилках, как если бы... ну, не знаю... ну, как если бы во двор притащили мешок муки. Неужели она совсем не любила нашего папу?

И вдруг она будто ожила и заголосила:

О, дом мой, дом мой! Дом мой, разрушенный дом...

Я знала, что это древнее вдовье причитание. Слышала его недавно у нас в Ватане, когда у соседки умер муж, и представить не могла, что скоро завопят над моим папой, а наш дом будет разрушен...

О, дом мой, дом мой, без крыши четыре стены.
Царь мой ушёл, остался дутор без струны,
Кувшин без воды, душа без тела.
Дом мой, дом мой, дом опустелый.
Тётя Бахшанда била себя в грудь и царапала лицо:
Гости пришли, не встанешь, не скажешь: «Салом»,
Заждался тебя твой конь под седлом,
Твоя чаша средь лета покрылась льдом.
Дом мой, дом мой, разрушенный дом.

Она причитала так яростно и отчаянно, что у меня побежали по коже мурашки и опять навернулись на глаза слёзы. Я сдерживала их изо всех сил. Потом человек в белой чалме — видимо, мулло — оглядел двор:

— Сын... Пусть сын тоже понесёт.

Андрюшка, мрачный, вылез из угла, где сидел, опустив голову на колени, и подошёл к носилкам. Вместе с другими мужчинами понёс на плечах нашего папу. Мулло пошёл впереди. Какая-то девочка побежала за носилками. Мы, женщины, остались во дворе. Все чего-то ждали.

Вдруг девчонки, стоящие на плоской крыше дома, закричали:
— Мулло джанозу читает!

Мне объяснили, что одну из моих сводных сестриц послали на пригорок, с которого открывается вид и на дом, и на кладбище, чтобы она подала знак, когда начнётся заупокойная молитва. Все женщины во дворе присели на корточки и забормотали отходную по моему папе.

Кончили молиться, и закипела бурная деятельность — подготовка к поминкам. Но не в нашем дворе, а в соседском.

— В доме, где покойник лежал, нельзя еду готовить.

— Еда нечистой делается. Осквернится.

Меня обидело, что они говорят, словно папа какой-то заразный. Но я понимала... Это как если бы он заболел какой-нибудь опасной болезнью. И хоть мы его сильно любим, а всё равно боялись бы инфекции. Понимала, но было обидно. Хотелось остаться одной, но меня никто никуда и не тащил. Мама ушла вместе со всеми, а я прошла через дом на задний двор, где тупо уставилась на овец в загоне. Они были живыми, и я опять заплакала. А потом побрела к соседям. По улице мне навстречу какой-то дядька тащил на верёвке маленькую тощую корову.

— Эй, девушка, позови свою старшую мать.

Это он про тётю Бахшанду! Она, конечно, замечательная, я полюбила её с первого взгляда, но чтоб назвать мамой... Никогда! Я сказала сердито:

— Мама у меня одна. Нет ни старшей, ни младшей.

Дядька сказал по-русски:

— Эх, девочка, теперь не в городе живёшь. У нас немного по-другому. Тебе потихоньку привыкать надо.

— У вас что... — я замялась и вдруг ляпнула словно пионерка (не нашла слов, чтобы по-другому спросить): — Разве не советская власть?

Дядька вздохнул:

— Не знаю, что тебе сказать. Наверное, не советская. Россия от нас ушла, и советская власть пропала. Теперь не знаю, в каком веке живём.

Он ещё раз вздохнул:

— Вообще-то Зухуршо теперь власть.

Из вежливости я спросила:

— Кто это?

— Э, девочка, в голову не бери. Тебе зачем знать?

Незачем. Я в Ватане-то толком не знала, кто в начальниках ходит. А в кишлаке и подавно не интересно, что за Зухуршо такой. Я отправилась искать тётю Бахшанду. Не нашла, зато наткнулась на ту женщину с неприметным добрым лицом, что посоветовала маме распустить волосы.

— Корову привели...

— Иди, дочка, скажи, чтоб на задний двор отвели.

Я заколебалась.

— Может, лучше... у тётки Бахшанды спросить...

— Не стоит её утруждать. Мы с тобой сами решим.

— Да? А вы...

— Я жена твоего дяди. Дильбар меня зовут.

Стало немного проясняться, кто кому кем приходится.

— А этот человек с коровой? Такой статный, лихой, с усами...

В это время я увидела, что лихой и усатый, не дождавшись указаний, заводит коровёнку во двор.

— Нет, он нам не родня, — сказала тётя Дильбар. — Это Гиёз, парторг.

Он же бурёнку зарезал и разделал. Мясо сварили с лапшей в огромном закопчённом котле, и мы до ночи таскали в наш двор

деревянные блюда с «похлёбкой смерти», как называют поминальную еду. Поминавшие сидели на разостланных на земле паласах и кошмах: накормили мы, наверное, весь кишлак.

Умаялись до смерти. Спать нас с мамой уложили в маленькой каморке, в пристройке на заднем дворе. Кажется, это было что-то, похожее на кладовую. Бросили на земляной пол палас, а на него — тонкие матрасики, курпачи, и одеяла. Мы упали на них, но долго не могли уснуть. Папина смерть давила меня, как тяжеленная могильная плита. Теперь, когда не надо было ничего делать, ни с кем разговаривать, притворяться спокойной, я не могла пошевелиться, вздохнуть или просто подумать о чем-либо. Даже плакать не могла.

Утром, когда мама ещё спала, я вышла во двор и увидела в дверях курятника тётю Бахшанду с рыжим петухом в руках. Я вспомнила, как вчера, при первой встрече, она меня приласкала, совсем как родная, разлетелась к ней и воскликнула:

— Доброе утро, тётушка!

Она холодно глянула, молча кивнула и пошла мимо. Я сначала оторопела, а затем выругала себя: человек от горя не отошёл, а ты лезешь с приветствиями. Потом подумала: а у меня разве не горе?! Может, я обидела её обращением? А как её называть? К родным тёткам и к любимым вообще старшим женщинам обращаются со словом «тётушка». А она мне кто? Если по-русски, то мачеха. Но ведь мачеха — это когда мамы нет. А на таджикский лад? Нет, так я тоже не хочу. Выходит, с какой стороны ни посмотри, Бахшанда — мне чужая. Придётся вести себя посдержаннее...

Она остановись, сунула мне петуха и приказала сухо:

— Идём.

Я поплелась за ней. На переднем дворе нас ждала небольшая компания — тётя Дильбар и две соседки, которые вчера особенно хлопотали на поминках. Одна — полная тётенька в коричневом платье — была похожа на большую кубышку из тёмной глины с круглыми боками. Я про себя сразу стала её называть тётушка Кубышка. Другая — низенькая, пышная, белая. На вид — точь-в-точь мягкая лепёшечка из сдобного теста. Тётушка Лепёшка.

Тётя Бахшанда приказала мне:

— Позови брата.

Андрей ночевал в пристройке для гостей, мехмонхоне. Прижимая к себе петуха, я постучала в дверь. Братец выглянул мрачный, встрёпанный...

— Эй, парень, иди сюда. Отрубишь петуху голову, — крикнула тётя Бахшанда.

Он буркнул:

— Сами рубите.

Тётя Бахшанда бровь заломила, но объяснила сквозь зубы:

— Женщинам убивать запрещено. Твой дядя ушёл, в доме од-
ни женщины. А ты... всё же мужского полу.

— Убивать не стану!

И захлопнул дверь. Бедный Андрей! Никак не может с собой совладать. Ходит мрачнее тучи, на всех огрызается. Будто он один на всём свете страдает. Я своё горе заперла глубоко внутри и старалась держаться как обычно, чтоб не опозорить папочку. Чтоб люди не подумали, что папа воспитал нас невежливыми и слабыми. Я поспешила на защиту Андрюшки:

— Брат очень переживает.

Соседки тактично потупились — показывали тётя Бахшанде, что не заметили, как Андрюшка ей нагрубил. Тётушка Кубышка сказала:

— Дом надо очистить.

— Надо в нём кровь пролить, чтобы от скверны смерти избавиться, — добавила тётушка Лепёшка.

— Если обряды не соблюсти, покойник вредить будет, — сообщила тётушка Кубышка.

Тётя Дильбар ничего не сказала и куда-то ушла. Тётя Бахшанда грозно молчала.

— Подождём, пока дядя Джоруб вернётся, — предложила я.

— Давай-ка, девочка, свяжем петуху ноги, — сказала тётушка Кубышка. — Наверное, сестрица Дильбар сделает мужскую работу.

Пришлось мне держать бедную птицу, а пока мы возились с верёвочкой, вернулась тётя Дильбар с большой оранжевой морковкой в руке. Рядом с центральным столбом веранды стоял чурбачок, на который положен был топор. Петушиная плаха. Тётя Дильбар подошла к чурбачку и задрала до пояса подол своего красного платья. Мне бросилось в глаза, что верх длинных атласных шальвар с красивым цветным узором пошит из грубого серого карбоса. Тётя Дильбар сунула себе в промежность морковку, зажала её между ногами и взяла топор.

— Подай петуха, доченька.

Я подошла к ней вплотную, прижимая к груди несчастного тела. Тётя Дильбар ухватила затрепыхавшегося петуха и...

Одним словом, отрубил ему голову.

Я теперь, наверное, всякий раз при виде морковки буду вспоминать, как хлопал крыльями, замирая, петух, подвешенный на центральном столбе за связанные ноги, и как дёргался обрубок его шеи и брызгала оттуда чёрная кровь... Но больше всего меня поразило, что тётя Дильбар убивала петуха настолько деловито и равнодушно, словно дёргала репу из грядки. Бесчувственная она, что ли?

А у меня было смутно на душе. Прежде я видела, как убивают животных. Наши соседи в Ватане готовились к свадьбе, и мы, дети, смотрели, как режут барана. Было страшно, но я решила: раз взрослые делают такое, то, наверное... ну, видимо, так надо, что ли... О смерти я вообще не задумывалась. Теперь только о ней и думаю. Когда папу убили, мне стала отвратительна любая смерть. Петух был такой глупый и незащитный. Андрюшка, хоть грубиян, но молодец, что отказался. А я? Смалодушничала. Пошла у тётушек на поводу. Я мысленно дала себе слово: больше никогда в жизни никому не поддаваться. А то, что папа может нам навредить, это глупость какая-то. Соседкам простительно — им папа чужой. Но тётя Бахшанда...

Я позже к ней подошла и прямо спросила, верит ли она в эту ерунду. Она неохотно, но всё-таки ответила:

— Покойный, да не передаст ему земля мои слова, мало семьёй интересовался. Не думаю, что его дух будет о нас помнить. Если и навредит, то разве что случайно.

Нет, она папу не любила! Да и с нами почему-то не слишком любезна. Вечером я нечаянно подслушала её разговор с дядей Джорубом.

Мне не хотелось видеть людей. Даже маму или Андрея. Я забралась на плоскую глиняную крышу нашей пристройки, легла на спину и стала смотреть в небо. В Ватане никогда не бывает такого чёрного, глубокого неба и столько звёзд. Крыша была очень холодной. В горах даже днём: на солнце — как в бане, в тени — как в холодильнике. «Крыша одна, погоды две. С этой стороны крыши — холод, с другой — зной». Это тётя Дильбар сказала. Пословица здешняя.

Я насмерть продрогла, но это было даже лучше — пыталась представить, что умерла. Каково это — быть мёртвым? Я стала думать о папе. Он сейчас тоже лежит, смотрит вверх невидящими глазами, но над ним не звёздное небо, а чёрный глухой слой земли. Наверное, земля — это небо мёртвых.

Внизу, на земле, слышались чьи-то шаги, шуршало сено. Видимо, кто-то бросал корм овцам в загончике. Я услышала, как тётя Бахшанда сказала:

— Ако Джоруб, зачем вы этих людей к нам привезли?

Дядя Джоруб вздохнул:

— Нам они родные. В городе их убить собирались. Кто, кроме нас, детей покойного Умара защитит?

А она:

— Э, ако... Может, вам эта его джалаб приглянулась?

Маму проституткой назвала! Я хотела соскочить с крыши и зарвать: «Не смейте говорить такое о моей маме!» Но хватило ума сдержаться. Подумала: ну, сейчас дядя Джоруб ей выдаст. И вдруг услышала, как он мямлит:

— Не надо так говорить. Вера — хорошая женщина. Теперь, когда жизнь моего брата окончилась, у тебя и причины-то нет с ней враждовать...

А она:

— Дети! Дети — причина. Моим детям придётся с её детьми делить хлеб, которого и без того не хватает. Эта джалаб будет мой хлеб есть.

— Не беда, — залопотал дядя Джоруб. — Они работать станут. Ты сама знаешь: много людей — много работников.

А она:

— Работники? Эти русские из города ничего не умеют. — Помолчала и спросила: — Задумали их с нами жить оставить?

— Куда они поедут? Сама, невестка, сообрази — война. Они по дороге даже десяти километров не проедут. Остановят, ограбят, убьют... Такое сделают, что и говорить страшно. Пусть с нами живут, пока в мире спокойно не станет. А дальше — как Бог захочет.

Она помолчала, потом сказала резко:

— Верхнее поле. Надо расчистить и распахать. Едоков стало больше, земли нужно больше. Прежде хватало, покойный деньги присылал. А теперь вам в совхозе ничего не платят. Покойный ушёл, нужно искать, откуда хлеб брать. Я давно о том думала, но рук не хватало. Пусть работают. Только вы, ако, сами ей скажите. Я с ней разговаривать не желаю.

Дядя Джоруб:

— Эх, невестка, не для женщины и подростков эта работа. Для сильных мужиков.

— В этом доме нет ни одного мужика,— отрезала Бахшанда, и я услышала лёгкие решительные шаги. Она ушла.

Ляпнула бы она такое моему папе! Уж он бы ей рога обломал. Нет, не зря у дяди Джоруба такое глупое и смешное имя. По-таджикски оно означает просто «веник». Видимо, у дедушки умирали несколько младенцев подряд, вот и дали новорождённому дядюшке такое имя, чтобы обмануть болезнь. Называют веником, значит, он не ребёнок, а просто пучок веток, метёлка. К веникам болезнь не цепляется. К ним цепляются злые невестки. Подметают ими, как хотят.

Назавтра дядя Джоруб — он же дядя Веник или, ещё лучше, Метёлка — повёл нас на поле. Мы поднялись по тропе в гору и вышли к скале, под которой я увидела площадку, размером с баскетбольную. Ну, может быть, чуть побольше.

— Вот земля,— сказал дядя Метёлка.— Верхнее поле.

И это поле?! Если на земле что и росло, то одни камни. Обломки скалы. Маленькие, побольше и очень большие. Так называемое поле было настолько завалено камнями, что молодая зелёная травка пробивалась лишь кое-где.

Дядюшка Метёлка произнёс: «Йо, бисмилло», нагнулся, поднял большой угловатый камень и оттащил на самый край баскетбольной площадки. Оказывается, он очень сильный, наш дядюшка. Его даже уважать можно. Ухватил другую глыбу, подволок, положил рядом с первой. Андрюшка скинул рубашку и тоже принялся за дело. Подключились и мы с мамой...

Теперь понятно, почему здешние поля со всех сторон окружены заборами. Не слишком высокими — едва в половину человеческого роста. Наш-то наверняка получится повыше.

Потом дядя Джоруб ушёл. Мы перекусили лепёшками с водой и продолжили работать. Кучка камней росла. Забор начнём выкладывать позже. И я представила, каким он будет. Вот я уже забираюсь Андрею на плечи, чтобы дотянуться и положить камень в верхний ряд. А забор растёт и растёт. Вот он вырос до самого неба. Мы приставляем к нему хлипкие самодельные лестницы и карабаемся по ним, а камни на поле никак не убывают...

Через несколько дней я поняла, что время измеряется не сутками, часами и минутами, а кучками камней. Прошла одна куча. Другая. Третья... Было славно по утрам окидывать взглядом наш каменный календарь. Вот если б Бахшанда не лютовала. Она маму невзлюбила, придирается ко всякой мелочи. Не туда воду после

стирки вылила. Не так села. Не так встала. Перечислять противно. Недавно — не помню, в какую именно кучу, — опять завела:

— Вера, ты хоть какое-нибудь дело хорошо сделать умеешь? Опять всё испортила. Сказали верблюду: «Подмигни», а он огород разорил.

Я вступилась:

— Тётушка, не говорите грубо с моей мамой.

Она и ухом не повела:

— Ты, Вера, даже дочь не сумела научить, как со старшими разговаривать.

Я сказала:

— Если чем-то недовольны, меня ругайте. Маму не троньте.

Она упёрла руки в бока.

— Эге, корова легла, телёнок встал.

Я крикнула:

— И она вам не корова!

Она рукой махнула:

— Ты как твоя мать. Неумелая, невоспитанная.

Дядя Джоруб попытался её урезонить:

— Женщина, оставь девочку в покое. Хоть с детьми не воюй.

Она как с цепи сорвалась:

— Дети?! Что вы про детей знаете? Если чего не узнали, у своей бесплодной жены спросите. Вы, коровий врач, тысячи коров осеменили... Почему жену осеменить не можете?

Я думала, дядя Джоруб её убьёт. Побледнел, кулаки сжал, но сдержался, повернулся и ушёл. Она крикнула вслед:

— Или эту белую русскую корову оплодотворите. Пусть ещё одного невоспитанного ублюдка родит.

Как хорошо, что мама не понимает по-таджикски.

3

Джоруб

Слышал я — старики рассказывают, — что в древности овцы могли говорить как люди. Пас их святой пророк Ибрагим, а пастбища в те времена были райские — ведь и экология была совсем

другой, не такой, как нынче. Говорят, овцы спустились к людям с небес, а потому они — животные из рая. Но они даже райской экологией были недовольны. Хором кричали: «Трава невкусная. Вода солёная». И святой пророк вёл отару в другую долину, но капризные животные ворчали: «Плохо, всё плохо. Найди для нас пастбище получше». В конце концов святой Ибрагим устал слушать бесконечные жалобы и в гневе лишил овец дара речи.

Честное слово, иногда сожалею, что язык не отобрали также у женщин. Уши болят от их свар. Когда я решил увезти Веру с детьми к нам в Талхак, то помыслить не мог, что жены покойного брата начнут меж собой войну. Что им теперь делить? Но, как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод, соловей Талхака:

Если ревности пламя охватит покорную пери,
Берегитесь той девы и люди, и дикие звери.

Прежде Бахшанда воевала с Дильбар за женское главенство в доме. Теперь, когда появилась Вера, началась новая война. Я много раз наблюдал такое у коров, когда в стадо пускают новенькую. Старожилки толкаются, трутся боками, пока не выяснят, какое место ей занять. Пастухи не вмешиваются — среди коров не проведёшь партсобрание, им не прикажешь: «Вот эту уважаемую корову к нам из района прислали. Теперь она у вас раисом-председателем будет», или: «Эта тёлка — дочка одного большого быка, уступите ей хорошее местечко». Иной раз коровья война долго идёт. Но я в женские розни не встречаю. Сами разберутся. Не зря сказано: ссоры меж родственниками — что весеннее облако.

Но, может быть, облака рассеются скорее, чем я ожидаю. Вчера приходили сваты от Гиёза, парторга. Сам раис за него Бахшанду сватал. Собрались старейшины нашего кауна. Главный — мой отец, но по такому случаю обращались не к нему, а к папаше невесты, старому Бехбуду. Раис произнёс торжественно:

— Время прошло, душа Умара успокоилась, забыла о земных делах. Хотим посватать его вдову, почтенную Бахшанду.

Старый Бехбуд — человек весёлый, слова без шутки не скажет, но ответил серьёзно:

— Согласно шариату следует подождать четыре месяца и десять дней. Надо убедиться, что вдова не ждёт ребёнка.

— Это верно, — согласился раис. — Однако все мы знаем, что покойный Умар целый год отсутствовал. Откуда взяться ребёнку?

- Ваша правда, но закон есть закон.
 - Может, мулло даст разрешение, учитывая обстоятельства.
- Старый Бехбуд вежливо удивился:
- О каких обстоятельствах говорите? Почему такая спешка?
 - Ваша дочь — женщина видная. Хотелось бы заранее догово-

вориться...

Опасаются, что кто-нибудь опередит. Смешно. Неужто вдовцы Талхака наперебой бросятся нашу непокорную пери сватать?

— Мы бы сейчас с вами условились, а брак заключим, когда пройдёт положенный срок.

Старый Бехбуд задумался.

— Иншалло. Как Бог захочет.

Не решился обещать, собственную дочь боится. Будет, как Бахшанда решит.

Так проходят наши дни. А сегодня утром Ибод, мой племянник, закричал во дворе:

— Дядя Джоруб! Эй, дядя Джоруб!

Я вышел к нему. Ибод стоял в воротах, опершись на длинный посох из дерева иргай, закалённый огнём и отполированный временем. Красавец парень, в младшую мою сестричку. Лицо смуглое, гладкое, солнцем и ветром, как пастушья палка вылощенное. Под глазом — огромный синяк. Я встревожился:

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Мы овец пригнали.

Я крикнул:

— Эй, женщина, принеси сумку.

Наедине зову жену по имени, но приличия должно соблюдать даже при родном племяннике. Дильбар вынесла кофр с медикаментами. Ибод сумку перехватил:

— Дайте, дядя, я понесу.

Повесил кофр на шею, мы вышли из кишлака и двинулись вверх по тропе, ведущей к большому летнему пастбищу нашего кишлака.

Тот, кто взглянет на наши горы с высоты, увидит длинный каньон Санговар — Каменное ущелье, по дну которого течёт река Оби-Санг. В нижней части каньона, у входа, расположился кишлак Ворух. От середины каньона, как ветка от ствола, отходит на запад Талх-Дара, Горькое ущелье. В нем помещается наше селение Талхак. В верхней части каньона притулился кишлак Дехаи-боло, Верхнее селение.

Большое пастбище (а есть у нас и малое) раскинулось в стороне, словно драгоценный зелёный ковёр. Некогда оно было общим. Наши предки договорились пользоваться им совместно с жителями Верхнего селения. В один год на нем паслись стада Талхака, а в следующий — скот соседей. Но во времена эмира Музафара некий богач из Верхнего селения силой завладел общей землёй и даже, говорят, ездил в Бухару, чтобы выправить на неё бумаги.

Звали его Подшокулом, но прозывали Торбой. Рассказывают, что приехал Торба в столицу и — прямо к воротам Арка, эмирского дворца. Начальник караула окликнул: «Куда прёшь, деревенщина?!» Торба приосанился гордо: «Иди и скажи эмиру, что к нему Подшокул из Дехаи-боло прибыл». Начальник удивился, послал аскера во дворец с донесением.

Сказка, конечно. Бюрократия в прошлом была не слабее нынешней. Знающий учёный человек, историк из Душанбе, кандидат наук, говорил, что в Бухаре окно имелось, откуда рука высовывалась, и надо было в эту руку деньги вложить и прошение сунуть. А далее уж шло оно по тамошним инстанциям, так что в действительности Торба мог пробиться на приём только к какому-нибудь мелкому чиновнику.

Рассказывают однако, что аскер к воротам вернулся и повёл Торбу в Арк, в палату к самому государю. Эмир Торбу увидел, обрадовался: «Добро пожаловать, дорогой Подшокул. Как живёшь? Как жена? Как дети? Сам здоров ли?» Почести оказал и спросил: «Ну, какая у тебя забота?» Торба рассказал, эмир задумался: «Сложное дело, очень сложное. Но не беспокойся, мы решим его по всей справедливости. И уж, конечно, такого, как ты, уважаемого человека, нашего верного слугу, не обделить постараемся».

Торба обрадовался, а эмир из серебряного чайника в китайскую фарфоровую пиалу чаю налил и Торбе протянул. Торба пиалу принял, к губам поднёс... Что такое?! Раз понюхал, ещё раз понюхал, в третий раз понюхал. Отхлебнуть не решился и спросить побоялся, не лошадиной ли мочой его потчуют? А эмир нахмурился грозно: «Что ж не пьёшь? Не по вкусу тебе наше угощение?»

Торба залебезил: «Вкус отменный, благоухает, как весенний сад. Но мы, грубые мужики, драгоценные чаи распивать недостойны. Осмелюсь спросить, из каких дальних стран такой замечательный напиток?»

Нахмурился эмир: «Забыл ты, что писал древний поэт:

Глупец, за чужестранным не гонись,
Ты на своё, родное, оглянись.

Чай этот не из Хитоя, не из Хиндустона привезён, из наших монарших конюшен доставлен, от любимого нашего жеребца».

У Торбы руки задрожали, драгоценный чай выплеснулся, по парадному чапану-халату потёк. А эмир, то заметив, окончательно разгневался: «Вижу, брезгуешь нашим гостеприимством». Хлопнул в ладоши, вбежал наукар с саблей. Эмир приказал: «Руби голову этому неблагодарному смерду. В сторону отведи, чтобы наш царский дастархон мужицкой кровью не осквернить».

Поставили Торбу на колени. Он закричал: «Пощадите! Выпью, выпью этот чай!» Правда, его односельчане, люди из Деهاي-боло, по-иному предают: Торба, мол, сказал: «Чем опозоренным быть, лучше вообще не жить».

Так или не так сказал, но эмир подал знак: «Руби». Палач саблю занёс, Торба в мыслях с жизнью простился, глаза закрыл, но в это время ковёр на стене откинулся, и в зал вошёл некий благородный муж в золотом халате, в белой чалме, с большой бородой, а за ним огромная свита. Оказалось, подшугутили над Торбой, послали к нему шута эмирского, одетого по-царски. А сам эмир Музаффар, его военачальники, придворные, улемы-мудрецы и все знатные люди Бухары сидели в соседнем покое и смотрели в щёлку, как деревенщина пастбище добывает.

Говорят, Торба не одну пиалу, а целый чайник лошадиной мочи вылакал, и эмир Музаффар настолько развеселился, что отдал ему пастбище. Односельчане Торбы говорят: он пить отказался, эмир за мужество его ещё и чином наградил. Другие говорят: вазиром, министром назначил. Вот мы и присвоили Верхнему кишлаку прозвание Вазирон, то есть «Министры».

Было не было, но большое пастбище перешло к Торбе, а он брал плату с тех, кто пас скот. Только после революции была восстановлена справедливость. Наш односельчанин Саид-бедняк стал председателем ревкома в Калай-Хумбе и вернул пастбище Талхаку в полную собственность.

Путь нам с Ибодом предстоял неблизкий. Большое пастбище лежит высоко в горах. Племянник шёл впереди быстрым, размеренным шагом, по пастушьей привычке положив на плечи посох и закинув на него руки. Я спросил:

— С кем подрался?

Он пробормотал, не оборачиваясь:

— Ни с кем.

Не хочет рассказывать, не надо. Но постепенно, слово за слово, он всё же поведал, что произошло. С холодами мы отгоняем овец на зимовку в Дангару, за сотни километров от наших мест, а весной возвращаем обратно. Перегон — дело трудное и для пастухов, и для овец. Случаются потери. А в нынешнем году они оказались особенно велики. Чабанов перехватила по дороге какая-то банда и отняла десяток овец.

Выходит, война уже до наших мест добралась. До сих пор спокойно было. Слишком уж далеко до больших дорог. Но правительство вытеснило оппозицию из центральных районов, и вооружённые отряды и банды отступили на Дарваз.

Понятно, почему Ибод мрачен. Стыдно ему. Чувствует себя униженным. Ровесники, такие же, как он, крестьянские парни, обросшие молодой бородой, с оружием, с зелёными повязками на голове, отняли овец, перешучиваясь и усмехаясь. И в придачу побили деревенщину.

К середине дня мы с Ибодом поднялись к пастбищу. На краю его лежит огромный Дед-камень, обломок скалы, обросший чешуйками мха, живого и мёртвого. Из-под мохового покрова проступают загадочные знаки, которые выбили наши древние предки. Ныне никто не знает, о чём те знаки говорят. Священный этот камень исцеляет от многих болезней, и невдалеке от него — там, где тропа вступает на пастбище, — высится харсанг, большая куча камней, которую сложили в знак благодарности те, кто приходили лечиться...

Слева от Дед-камня стоит домик, сложенный из скальных обломков. Рядом на траве был расстелен дастархон, лежали перемётные сумы, не разобранные после дороги. На каменном очаге установлен большой котёл, и Гул, пастух, шуровал в вареве шумовкой. Овцы паслась невдалеке на пологом склоне. Завидев меня, Гул поспешил навстречу.

— Хорошо, что пришли, муаллим. Неладные дела. Кто-то гонит сюда отару. Джав поехал посмотреть, кто такие. Что делать будем?

— Пойдём навстречу.

Мы спешно двинулись к верхнему, восточному краю. И вдруг из-за среза возвышения, ограничивающего пастбище, вылетел всадник. Это был Джав, наш чабан. Подскакав, крикнул, не сходя с лошади:

— Вазиронцы идут!

И тут из-за гребня выскочили три собаки. Наши псы молча ринулись к ним. Впереди летел Джангал, огромный алабай-волкодав без ушей и хвоста, за ним — молодой кобель. Наши псы встрети-

лись с чужаками, обнюхали взаимно друг друга и разошлись шагов на десять. Каждая стая отступила в сторону своей отары. Будь силы равны, начали бы драться. Но чужаки без драки признали превосходство наших собак. Джангал поднял ногу и помочился. Показал: вот граница моей территории, и сел охранять рубеж. Чужой вожак обозначил свою границу, за ней уселся его отряд.

Мы поравнялись с Джангалом, несущим стражу, и в это время на гребне показалась фигура человека, а вслед за ней — овцы. Отара сползала вниз по склону, как стекает густая патока, если накрентить деревянное блюдо.

Человек, шагавший впереди овечьего гурта, был мне знаком. Это Ёр, пятидесятилетний мужик, силач, богач, прямой праправнук Подшокула, того самого Торбы. Удивительно, что столь богатый и уважаемый человек шёл со стадом как простой пастух.

— Здравствуй, Ёр, — крикнул я.

— Ва-а-лейкум, — мрачно ответил Ёр и продолжал шагать, пока не остановился прямо передо мной.

— Уйди с дороги.

— Не спеши, Ёр, — сказал я. — Давай поговорим.

— Говорить не о чем. Гони с нашей земли своих баранов. Тех и этих, — он кивнул на нашу отару, затем на чабанов, стоящих рядом со мной.

— Мы не бараны! — крикнул мой племянник Ибод. — Это вы — навозники, конскую мочу пьёте.

— Уйми щенка, — угрожающе произнёс Ёр.

Тем временем стекающая по откосу отара захлестнула нас, и мы оказались как бы на островке среди блеющего потока. Подоспели вазиронские чабаны и встали рядом с Ёром. Он вёл с собой целое войско. Человек десять, не меньше. Был меж ними, как на беду, несчастный Малах, немой от рождения. Говорить он не умел, только мычал. Овцы и собаки хорошо его понимали.

— Это наша земля, не ваша, — сказал я.

— Испокон веков была нашей, — сказал Ёр.

Немой неистово загукал, размахивая пастушьим посохом.

— Эта наша земля, — повторил Ёр. — Голодранец Саид-бедняк подло отобрал её и отдал вам, талхакцам. Но нынче, хвала Аллаху, настало время справедливости...

Я понял, к чему он клонит. Три месяца назад власть над всеми кишлаками каньона Санговар захватил полевой командир Зухур-

шо. Взял он в жёны девушку из Верхнего селения, и сила перешла теперь на сторону соседей. Но я не сдавался. Обернулся и указал на нижний край пастбища:

— Ёр, посмотри, где лежит камень. Сам Бог его положил, чтобы люди знали: отсюда начинается пастбище Талхака.

— Голову не морочь,— ответил Ёр.— Всевышний положил камень, чтобы закрыть вам дорогу на эту землю.

Я сменил тактику:

— Нет, Ёр, наши и ваши деды понимали этот Божий знак по-иному: в справедливости будьте тверды как камень. Давай вернёмся к дедовским заветам, будем пасти поочередно. На этот раз мы пришли раньше вас. Право первенства за нами. Если не согласен, соберём стариков из обоих кишлаков, пусть рассудят очерёдность. А не то разделим пастбище на две половины — и нам, и вам. На целое лето не хватит, но что-нибудь придумаем.

Я не хотел столкновения. Человеческая неразумность была виной тому, что началась стычка.

— Ёр, что с ними говорить! — загалдели вазиронцы. — Дурака словом не проймёшь, камня гвоздём не пробьёшь.

— Пробьём! Мы всегда их били.

Это неправда. В прошлых войнах из-за пастбища иногда мы вазиронцев побивали, иногда они нас.

— Вы, талхакцы, охочи до чужого! — кричали вазиронцы.

— И жёны ваши за чужим кером охотятся...

Немой Малах тоже не молчал. Мычал и замахивался палкой. Один Бог знает, что он хотел высказать. Может быть: «Братья, разойдёмся с миром».

Напротив немого стоял Ибод, мой племянник. Бедный парень — опять новая несправедливость, новое унижение: отняли овец, теперь отнимают пастбище. Немой вновь замахнулся, Ибод не выдержал, кулаком ударил его в лицо.

— Зачем бьёшь?! — закричали вазиронцы.

Но сражение ещё не началось. Немой от удара отшатнулся, утёрся левой рукой, увидел на ней кровь, замычал, перехватил палку покрепче, размахнулся и шарахнул Ибода по голове. Пастушьи посохи из кизила закаляют в огне, мажут маслом и долго держат на солнце, отчего они становятся твёрдыми, как железо. Ибод упал.

— Эй, чего творишь?! — закричали наши.

Я убеждал себя, что надо во что бы то ни стало избежать драки, и крикнул Ёру:

— Останови своих, а я уйму наших.

Он презрительно хмыкнул и с силой толкнул меня в грудь. И мгновенно сзади выпрыгнул Джангал и вцепился ему в руку. Ёр попятился, запнулся, упал. Джангал молча встал над ним, не выпуская руки из пасти.

— Э-э, пёс! — заорал я.

Джангал отпустил Ёра. Немедленно на нашего пса бросился чужой вожак. Волкодавы сцепились в схватке. Овцы шарахнулись в стороны, освободив место для боя.

Лишь тот, кто не знаком с животным миром, считает, что овцы — тупые создания, равнодушные ко всему, кроме корма. На самом деле, они очень любопытны и предаются зрелищам с тем же бескорыстным интересом, что и люди. Столпившись вокруг, они наблюдали, как бьются собаки и люди.

Вазиронцев было много, нас мало. Они одолели, мы отступили. Мы отбежали шагов на десять и приостановились. Вазиронцы погнались было вслед, но тоже встали. Овцы продолжали глеть, как, визжа и рыча, дерутся собаки. Я оглядел наших ребят и спросил, тяжело дыша:

— Где Ибод?

Потом собачий клубок откатился в сторону, я увидел Ибода. Вернее, его спину, видневшуюся из травы. Я пошёл к парню. Поднял обе руки вверх и закричал:

— Сулх! Сулх! Мир!

Вазиронцы смотрели на меня с ненавистью. Ёр сидел на земле, держась за укушенную руку.

— Куда идёшь? — сказал он. — Тебе в другую сторону надо, с пастбища долой.

— Там Ибод, мой племянник, лежит.

— Поднимется.

Но пропустил. Я подошёл к Ибоду. Бедный юноша лежал ничком, уткнувшись лицом в куст жгучего югана. Я перевернул племянника на спину и увидел, что он мёртв. Меня охватил гнев, я сел, сжал голову руками. И только когда почувствовал, что могу владеть собой, встал и пошёл к вазиронцам. Ёр по-прежнему сидел, завернув до плеча рукав чапана. Один из пастухов, присев на корточки, накладывал на рану размятые листья подорожника. Немой Малах держал наготове полосу ткани, оторванную от подола рубахи.

Я сказал:

— Ёр, вы человека убили. Сына моей сестры.

— Он первым ударил,— ответил Ёр.

На меня он не смотрел — опустил глаза, следил, как немой неловко накладывает повязку. Я был не в силах тут же отомстить вазиронцам за смерть Ибода, но был обязан позаботиться об отаре.

— Дай-ка мне,— я присел, размотал тряпку на руке Ёра и начал бинтовать заново. Справедливости нет в этом мире. Приходится лечить врага, чтобы его задобрить. Говорят: врага убивая сахаром.— Ёр, разреши оставить овец, отвезти покойного домой. Ты мусульманин, позволь достойно похоронить человека...

Ёр опустил рукав на повязку.

— Заприте отару в загоне. А после похорон — долой с нашего пастбища.

Мы отнесли тело Ибода к камню, завернули в кошму, перекинули через седло и повезли в Талхак.

К полуночи мы с Джавом, который вёл лошадь под уздцы, вышли на крутой спуск, ведущий к кишлаку. Сердце всегда радуется, когда ночью спускаешься с гор и видишь: внизу, в тёплой домашней темноте рассыпались огоньки. Оттуда поднимаются сладкие запахи дыма, коровьего кизяка, соломы. Кишлак дремлет в ущелье, как дитя в утробе. Но сейчас меня не утешал даже вид родного селения. Как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод:

Отраднее влачить сундук с песком в пустыне,
Чем матери нести весть скорбную о сыне.

По тёмным улицам мы добрались до дома, где живёт моя сестра Бозигуль, и остановились у калитки в заборе.

— Дядя Сангин! Эй, дядя Сангин! — закричал Джав.

Мой зять Сангин вышел в портках и длинной рубахе, неподпоясанный, с керосиновой лампой в руке. Увидел меня, хитро ухмыльнулся:

— Эх! Я думал, бык забрёл, мычит... Оказалось — шурин. Наверное, по той русской белой женщине соскучился? Ночью, чтоб никто не видел, пришёл.

Я молчал.

— Не угадал? — продолжал Сангин. — Может, пару совхозных баранов тайком зарезал? Одного мне привёз.

Он шагнул к лошади и протянул лампу, чтобы разглядеть свёрток, перекинутый через седло. Я крепко обнял его и сказал:

— Сангин, брат... это Ибод.

Он окаменел под моими руками. Слабо прошептал:

— Плохая шутка, брат. Нельзя так шутить.

Я обнял его ещё крепче. Он простонал:

— Богом клянусь, этого не может быть!

Я сказал:

— Брат, Аллах лучше знает.

Он выронил лампу, стекло разбилось, огонь погас. Сангин обхватил меня, прижался лбом к моему плечу и заплакал. Что я мог ему сказать? Чем утешить? Сангин поднял голову:

— Как он умер?

— Вазиронцы его убили. На большом пастбище.

Я ощущал, как напряглись его мышцы. Он грубо и злобно сжимал меня, как борец противника, но я понимал, что борется он со своей яростью. Сангин оттолкнул меня, подошёл к калитке, распахнул и сказал буднично:

— Заводите.

Джав потянул за узду, завёл лошадь до двора. Мы начали развязывать шерстяную верёвку, которая притягивала тело Ибода к седлу. Сангин, скрестив руки на груди, смотрел, как мы работаем. Из дома высунулся малыш, младший сын моей сестры, которого все называют Воробышком, и подбежал к Сангину:

— Дадо, а что это? Что нам привезли?

Сангин словно не слышал. Стоял как каменный. Воробышек нетерпеливо дёрнул его за полу:

— Эй, дадо! Что привезли?!

Сангин опустил глаза, погладил малыша по голове.

— Беги, приведи мать.

Воробышек побежал в дом, то и дело оглядываясь. Мы сняли свёрток с лошади. Сангин сказал:

— Кладите, — и указал место посреди двора.

В этот миг я услышал вопль, который ожёг сердце, как огнём. Кричала моя сестра Бозигуль. Она вышла из дома, увидела Ибода, лежащего на попоне. Бросилась к сыну, приняла к телу и вопила без слов, как раненый зверь. Все женщины, бывшие в доме, — старая мать Сангина, сестра, жена его брата, две дочери, — выскочив во двор, завыли:

— Ой, во-о-о-о-й! Вайдод!

На крик во двор Сангина, как бывает всегда, когда в чей-то дом приходит смерть, начали собираться ближние соседи, рыдая и спрашивая:

— Как умер бедный Ибод?

И Джав объяснял:

— Вазиронцы его убили. Большое пастбище отобрали...

Весть об убийстве пронеслась по всем улицам. Вскоре явились уважаемые люди: мулло Раззак, раис, Гиёз-парторг, сельсовет Бахрулло, престарелый Додихудо... Мужики сбежались — Шер, Дахмарда, Ёдгор, Табар, Зирак, хромой Забардаст и другие — столпились у забора в мрачном молчании. Многие не поместились и с тёмной улицы заглядывали в освещённый керосиновыми лампами двор. Сангин время от времени оглядывал приходивших, будто чего-то ждал. Мулло Раззак подошёл к моей сестре, сказал мягко:

— Закон не велит слишком сильно горевать по ушедшим. Это грех. Нельзя Божьей воле противиться.

Женщины подросли, оторвали мою сестру Бозигуль от Ибода, отвели в сторону. Бозигуль ударила себя по лицу, разодрала ногтями щёки, разорвала ворот платья. Мой шурин Сангин вышел вперёд и, став над телом, закричал:

— Люди, посмотрите на моего сына! На мёртвого посмотрите. Вы знаете, кто его убийцы. Позволим ли, чтобы вазиронцы убивали наших детей? Мужчины мы или трусы?!

Мужики, столпившиеся вне двора на тёмной улице, вспыхнули, как солома от искры:

— Месть! Месть!

— В тот раз Зирика покалечили, теперь Ибода жизни лишили!

— Прогоним их с нашего пастбища.

— Война!

Мы, горцы, мирный народ. Возделываем скудные поля, пасём скот и терпеливо покоряемся произволу властей. Но когда несправедливость перехлёстывает через край, в нас вскипает кровь предков, прогнавших с наших гор солдат Искандара Зулкарнайна, Александра Македонского. На чужое не заримся, но за себя постоять способны. Старые люди ещё помнят, как во время войны — не этой, нынешней, а прошлой, которую теперь называют борьбой с басмачеством, — к нам прислали отряд милиции, чтобы подавить волнения. И вновь показал себя характер горца, как об этом рассказывает стих:

Страна Дарваз — ущелье меж гор, для битвы нет здесь мест,

И у людей с изначальных пор ни ружей, ни сабель нет.

Но однажды из горной страны Шугнан пришёл милисы отряд.

В топоры и лопаты их встретил народ, бил их и стар, и млад,
И милисá, не в силах терпеть, ночью бежали назад.

Правду скажу, и меня захлестнула жажда мести. Бедный Ибод! Я любил покойного мальчика и не мог смириться с его гибелью. Гнев и боль жгли сердце...

Престарелый Додихудо поднял вверх посох, показывая, что хочет говорить. Крики постепенно смолкли.

— Мы не знаем, как умер покойный Ибод,— сказал Додихудо.— Намеренно его убили или случайно? Не знаем, кто лишил его жизни. Пусть Джоруб нам расскажет.

Медленно, с усилием заставляя себя произнести каждый звук, я сказал:

— Глухонемой Малах его ударил... по Божьей воле вышло, что удар... оказался слишком сильным... Это была случайность. Немой не хотел убивать...

Мой шурин Сангин яростно зарычал, будто сделался немым, не способным выразить чувства. Я понял, что он никогда не простит мне слова, умаляющие вину убийцы. Но я не мог солгать.

— Вы слышали, что сказал Джоруб,— возвысил голос престарелый Додихудо.— Вазиронцы не виновны в смерти покойного Ибода.

Простодушный Зирак, стоявший рядом, спросил удивлённо:

— Почему так говоришь? Разве Малах не в Верхнем селении живёт? Разве их община не должна за него ответ держать?

Престарелый Додихудо пояснил:

— Да, глухонемой в Вазироне родился, но он неполноценный. Никто не знает толком, девонá ли Малах, безумен он или смышлён. Лишённый слуха и голоса, он стоит ближе к животным, которых Аллах не наградил даром речи, чем к людям. А потому вазиронцы за него не в ответе, как если бы покойного Ибода загрыз пёс.

Народ призадумался, вслух обсуждая слова Додихудо, а вперёд выступил мулло Раззак:

— Мы не можем знать, кто направил руку Малаха. Если Аллах, то обязаны смириться с его волей.

— А если Иблис, шайтон?! — крикнули из толпы.

— Тем более,— сказал мулло,— тем более нельзя поддаваться страстям. Шайтон всегда стремится подтолкнуть людей к безумию и ненависти. Успокойтесь и расходитесь по своим домам. Пусть несчастный Сангин и его семья приготовят покойного к погребению...

— Пастбище! Как с пастбищем быть?! — закричали в народе.

— Терпение,— сказал престарелый Додихудо.— Не зря говорится: «Потерпи один раз, не будешь тысячу раз сожалеть». И ещё говорят: «Торопливая кошка родила слепого котёнка». Не будем спешить. Завтра попробуем договориться с вазиронцами. Как-нибудь решим этот вопрос...

Наверное, он был прав. Мне пришлось нехотя это признать.

Ещё немного, и холодная рассудительность погасила бы пламя общей ярости. Но из тёмной толпы за забором в освещённый двор выкарабкался Шокир по прозвищу Горох, чёрный, скособоченный на одну сторону, как корявый куст, выросший на боку отвесной скалы. Он проковылял к телу Ибода и неистово прокричал:

— Что толку болтать зря?! Речами за кровь не отплатишь. Словами землю не вернёшь. Не станем утра дожидаться, сейчас выступим! Кто мужчина — с нами идите. У кого какое оружие дома есть, возьмите, к мечети приходите. Фонари захватите. Биться будем. Война!

Так он вновь раздул искру гнева, которая тлела в народе. Никто в этот раз не стал над ним насмехаться. Никто не подумал, что к битве призывает хромоногий, который сам биться не в силах. Не задумались о том, куда он зовёт — на пастбище или в Верхнее селение, а также о том, что идти куда-либо ночью не только неразумно, но и бессмысленно. Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое. Мужики закричали:

— Офарин! Правильно сказал!

— Баракалло!

— С Божьей помощью воевать будем.

Некоторые уже повернулись, чтоб бежать за оружием и фонарями, когда вперёд вновь вышел престарелый Додихудо. Народ вновь остановился, крики смолкли.

— Крови хотите? — негромко спросил престарелый Додихудо в наступившей тишине.— Будет кровь, много крови... В другое время мы, наверное, смогли бы вазиронцев одолеть, за кровь Ибода отомстить. Но сейчас в нижнем селении, в Ворухе, боевики Зухуршо стоят, а сам Зухуршо на дочке Ёра из Верхнего селения женат. Как думаете, позволит он, чтоб мы его тестя обидели? Нам не отомстит ли? Кровью Талхак не зальёт ли?

И столь же негромко ответил ему Шер, совхозный водитель, который стоял в головах покойного, скрестив руки на груди:

— Не о мести речь. О чести.

Престарелый Додихудо возразил:

— Речь о том, чтоб людей зря не погубить. Уступить обстоятельствам — не бесчестье.

— Да, такова мудрость стариков, — сказал Шер. — Мы же...

Додихудо не дал ему договорить:

— Кто дал тебе разрешение осуждать эту мудрость?! Её наши предки нам передали. Отцы и деды единственно благодаря ей выжить сумели...

— Мы так жить не хотим, — сказал Шер. — Отцы и деды скудно жили, во всём уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных.

С улицы, из темноты, его поддержали молодые голоса:

— Шер правильно говорит!

— Не хотим!

— Нельзя чести лишаться, — сказал Шер. — Несправедливость нельзя прощать. Если мы сейчас вазиронцам наше пастбище без боя отдадим, то покажем, что мы слабы. Слабых любой может ограбить. Сначала пастбище отберут, потом...

— Всё, что захотят, отнимут! — выкрикнул за воротами какой-то юнец.

— За жёнами, невестами придут! — крикнул другой.

И во двор постепенно, один за другим, просочились молодые неженатые парни — Табар, Ёрак, Сухроб, Дахмарда, Паймон, Динак — и встали позади Шера.

— Завтра, когда рассветёт, соберём молодёжь, возьмём оружие, какое есть, и пойдём на пастбище, — сказал Шер. — Прогоним вазиронцев, поставим караул.

— Зухуршо... — начал престарелый Додихудо.

Шер, не дав ему договорить, воскликнул запальчиво:

— Трусость! Мы...

Но и он не сумел закончить.

— Щенок! — гневно крикнул раис. — Невежа, хайвон, животное! Почему старшего перебил?! Кто тебя учил?! Себя и своего отца опозорил.

Шер повинулся, хотя и с достоинством:

— Извините, муаллим. Пожалуйста, извините. Я невежливым быть не хотел, непочтительность невольно проявил, вашу речь прервал... Собирался только сказать, что Зухуршо в наше ущелье мы не пустим. В узких проходах завалы, засады устроим, он не пройдёт.

Додихудо покачал головой:

— Даже если враг с муху, считай, что он больше слона.

Шер не ответил, лишь сказал:

— Завтра, — и двинулся со двора.

Молодёжь потянулась за ним, но престарелый Додихудо встал у выхода и раскинул руки, преграждая путь:

— Мы, старики, запрещаем! Не даём разрешения начать войну.

В недавние времена ни одна душа не осмелилась бы молвить хоть слово поперёк. Сейчас толпа на улице взорвалась криками:

— Война!

— Сдурели? Против стариков идёте!

— Война всех погубит!

— Сколько терпеть можно?! Война!

— Прав Додихудо!

И слышалась в общем гомоне возня, предвещающая начало драки. Тогда мулло Раззак, отошедший прежде в сторону, вышел на свет и поднял руку.

— Мулло! Мулло дайте сказать! — крикнул кто-то.

Не сразу, но народ затих. Мулло сказал:

— Коли нет меж вами согласия и даже стариков не слушаете, то спросим у святого эшона Ваххоба. Как они решат, так и поступим.

Все загомонили, соглашаясь.

— Уважаемых людей пошлём, — сказал мулло.

— К эшону! — завопил Горох, вырвал из рук Джава фонарь и вознёс над головой. — Для народа я на всё готов. Почтенным людям путь освещать буду.

И усмехнулся хитро — ловко, дескать, примазался к делегации.

В народе заворчали:

— Не дело это Шокира к святому эшону допускать.

Однако из уважения к покойному Ибоду не стали затевать свару над его телом.

Отправились мы в путь — раис, престарелый Додихудо, Гиёз-парторг, Шер и я. Шокир ковылял впереди, как легендарный герой с факелом, ведущий за собой народ. И я, выплыв на миг из глубины своего горя, невольно усмехнулся: наш Шокир — к каждой чашке ложка, к каждой лепёшке шкварки. Да только ложка кривая, а шкварки прогорклые. То ли родился таким, то ли судьба искривила после того давнего случая...

Шокир в то время учился в Душанбе, приехал домой на каникулы. Мать сварила похлёбку из гороха, его любимую, он наелся до отвала, пошёл на вечерний намаз. Молиться начальство запрещало, мечети в Талхаке не было, но люди собирались в алоу-хоне, доме огня. Шокир, как все, расстелил молитвенный коврик, стал совершать ракаты. Едва согнётся, как сзади кто-то шепчет: пу-у-у-уф. Коснётся пола лбом, а сзади: фу-у-уф. Сначала тихо, затем всё громче. Уже ворчит: хрр. Рычит: ддр, ддрр! Соседи отодвигаются, да отодвинуться некуда. Ни дыхнуть, ни захохотать. В мечети смеяться — грех. А бедняга Шокир до конца намаза наружу выбежать не мог. И зловонное рычание сдержатъ был не в силах. С тех пор и прозвали его Горохом.

От позора сбежал он из Талхака и пропал. Даже на похороны отца и матери не приезжал. Никто не знал, где он жил, чем занимался. Когда война началась, как щепка с крыши упала: Шокир вернулся. Хромой, без чемодана, без узелка, в том же старом костюме, в котором и по сей день ходит. Что с ним приключилось, от какой беды прятался — кто ведаёт? Наверное, совсем некуда было скрыться, раз в Талхак приехал. На пустое место. Сёстры замужем, в доме отца дальние родичи-бедняки живут. Они его и приютили. Кривой, злобный, он желчность свою вначале не выказывал. Гордый человек, нищеты стыдился и искоса, с опаской в людей вглядывался — помнят ли?

Сейчас он ковылял по тропе впереди меня. Мы к тому времени миновали верхний мост через Оби-Санг и поднимались к святому месту — мазору. Я спросил:

— Шокир, зачем людей будоражил?

Как ни удивительно, он ответил искренне:

— Увлёкся я, брат...

— Если этак поступать, никакого авторитета среди народа не будет.

Он остановился, опустил фонарь.

— Это вы, уважаемые, богатые, за свой авторитет дрожите. Шокиру терять нечего. Думаешь, сладко мне у вас? Живу как на зоне. Старики — как вертухаи. За каждым шагом следят. Куда идёшь? Что несёшь? Почему то сказал? Почему так сделал? А я эзком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу.

Удивили меня не мысли его, а жаргон.

— Ты разве и в тюрьме побывал?

— Сейчас срок тяну. Здесь, у вас...

Я поднял голову и указал на низкие звёзды, крупные, как слёзы счастья.

— Посмотри. Разве над тюрьмой может быть такое небо?

В ответ он буркнул:

— Убери людей, и это было бы лучшее место во всём мире.

Я подумал: «Бедный парень», а вслух сказал:

— Без людей даже горы мертвы.

Шокир скривился:

— Сбились вы в кучу, как бараны на заснеженном уступе, друг друга своим теплом греете. Почему меня внутрь не пускаете?..

Я не успел ответить. Спутники нагнали нас, Шер закричал снизу:

— Почтенные, отчего пробка на трассе?

Шокир без слов поднял фонарь, заковылял вверх по тропе.

Мазор возвышается над кишлаком на склоне хребта Хазрати-Хусейн. Поднимаясь к нему, чувствуешь, что приближаешься к святому месту. Деревья словно из другого мира прорастают — не такие, как повсюду. И в воздухе словно волшебная мелодия постоянно звучит.

Гробница святого Ходжи, предка нынешнего эшона, невысока, в мой рост. Над кубом из обтёсанного камня высится купол. И, как всегда по ночам, поставлен на гробнице горящий светильник, древний чирог — плошка с фитилём, опущенным в масло. В жилище эшона, чуть поодаль от мавзолея, окна темны.

— Почивают, — молвил престарелый Додихудо нерешительно. — Для дневных забот сил набираются. Дозволено ли сон святого человека нарушать?

— Зачем ноги понапрасну били?! — хмыкнул Шокир и закричал: — Эшон Ваххоб, о, эшон Ваххоб!

Ответил ему голос из темноты словами из Корана:

— О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость.

И святой эшон Ваххоб вышли из-за гробницы, где стояли, нами не замеченные.

— Вы ведь не за советом явились, — сказали эшон. — Пришли просить, чтобы я приказал людям из Дехаи-Боло вернуть вам пастбище.

Мы удивились их пронизательности. Престарелый Додихудо сказал:

— Ваше слово — закон для мюридов. Возражать они не осмелятся.

Эшон спросили:

— Понимаете ли, о чём просите?

— Хотим справедливость восстановить! — крикнул Шер.

— А знаешь ли, что есть справедливость? — спросили эшон. — Просишь отнять у одних и передать другим. Какое у вас, людей Талхака, право требовать для себя бóльшую долю?

— Вазиронцы всегда отнимали силой, — сказал Шер. — Или обманом, как Торба.

Эшон усмехнулись:

— Когда Саид-ревком своей властью у них отобрал и вам отдал, к справедливости вы не взывали.

Раис сказал:

— У вазиронцев много земли. А наши овцы не доживут до поры, когда сойдёт снег на малом, верхнем пастбище.

— Этот мир непостоянен, — сказали эшон Ваххоб. — Всё переменится гораздо быстрее, чем ты ожидаешь. Как бы вам не пожалеть о переменах.

Мудрой была их речь, но мы на другое надеялись — на совет или защиту.

Возвращались ни с чем. Гиёз-парторг проворчал:

— Политик. Демагог...

— Святого человека осуждать грешно, — осадил его престарелый Додихудо.

— Начальству надо жаловаться, — сказал раис.

— А где оно? — сказал Шер. — Из Калай-Хумба начальство до нас не дотянётся. Руки короткие. Слава Богу, лишились начальники власти.

— Теперь вообще никакой власти нет, — вздохнул парторг.

— Зачем нам власть? — спросил Шер. — Хорошо живём. Трудно, зато сами по себе.

— Зухуршо нынче власть, — сказал раис.

— Завтра утром поеду в нижний кишлак, в Ворух, — сказал парторг. — За справедливостью. Пусть Зухуршо нас с вазиронцами рассудит.

Шокир сказал:

— О какой справедливости говорите? Не знаете разве: если бы не было носа, один глаз выклевал бы другой...

Карим Тыква

Иду по нашей стороне, лепёшки в узелке несую, а навстречу Шокир хромает.

Я когда маленький был, думал, Шокир — какой-то великан. Рассказывали, Шокир ветры пустит — ураган поднимается. Один раз корову позади себя не заметил, присел по нужде, корову в небо унесло. Говорили, в верхнем кишлаке Вазирон опустилась. Хозяин прослышал, забрать пришёл, но вазиронцы: «Наша корова, не твоя. Нам её Аллах свыше послал», — сказали. Так и не отдали.

Ещё рассказывали, год был, когда весна рано наступила. Все радовались. Но Каххор-эшон, отец нашего нынешнего эшона Ваххоба, удивительно погоду предсказывали. Ни разу не ошиблись. Сказали: «В скором времени ждите страшный град. Все посева, все сады побьёт». И определённый день назвали. Весь народ испугался: «Что делать будем?», «Как выживем?» Дед Додихудо, знающий человек, сказал: «Надо град в сторону от наших земель отвести. Шокира надо просить. Коли его досыта горохом накормить, он тучу отгонит. Но слово «горох» при нём не произносите. Разгневается».

Пришли к Шокиру. Тот согласился. «Ладно», — сказал.

Спросили: «Чем вас угощать?»

«Плов несите», — Шокир приказал.

Обеспокоились. «Плов, — думают, — нужного ветра не обеспечит».

«Не желаете ли чего другого? — предложили. — Может, этого... того самого хотите?»

Шокир рассердился: «То самое сами жрите!»

Как быть? Опять к деду Додихудо за советом пришли: «Он плов требует». Дед Додихудо задумался. «Приготовьте ему плов, — сказал. — А в плов, — сказал, — побольше гороха-нохута добавьте. Этот, чем мелкий горох, больше ветра даст».

Потом тот день наступил, когда град ожидался. Взяли большой котёл, в него мясо одного барана, три чашки риса и семь вёдер гороха-нохута положили, плов сварили. Шокир съел, «Хорошо», — сказал. Помолились, в горы пошли. Шокир на вершине Хазратишох сел, стал тучу ждать. С ним наш раис и Гиёз-парторг были.

Долго сидели, наконец из-за хребта Хазрати-Хусейн край тучи вышел. Раис сказал: «Просим вас, уважаемый Шокир, действуйте». Шокир сказал: «Рано». Потом туча полнеба над ущельем закрыла. Раис совсем испугался. «Нет, ещё рано», — Шокир сказал. Туча всё небо закрыла, один краешек остался. «Теперь пора», — Шокир сказал. Бога на помощь призвал, чапан снял, свернул, в сторонке положил и сверху большим камнем придавил. Штаны распоясал, задом к туче обернулся и ветер пустил. Заревело, будто от неба до земли водопад обрушился. Парторг с раисом уши руками закрыли, носы зажали. Растерялись, бедные. Гадают, что делать? Нос спасать — ушам больно, уши заткнуть — нос страдает. Обеими руками в камни вцепились — испугались, что ветер их с вершины сдует.

Потом посмотрели, увидели — туча назад повернула. Наполовину ушла. Половина неба чистой стала. Раис обрадовался, закричал: «Ещё немного, уважаемый Шокир, постарайтесь. Только осторожней, пожалуйста. Нас, пожалуйста, жизни не лишите». Шокир поднатужился, напор прибавил. Раиса с парторгом совсем от земли оторвало, в воздух приподняло — оба на дурном ветру, как тряпки на верёвке, мотаются. Если руки отпустят, обоих куда-нибудь в Дангару забросит.

Наконец туча совсем ушла, за хребтом Хазрати-Хусейн скрылась. Раис приказал: «Эй, мужик, всё! Хватит! Глуши двигатель». Хотел Шокир остановиться, не сумел. Гороховую силу, пока сама не кончится, человеку не одолеть. Ему, Шокиру, ниже бы нагнуться, чтоб ветер в небо уходил, да не догадался. Задним бампером в ту-другую сторону поводить стал — на хребте Хазрати-Хасан со всех вершин снег сдул. Рассердился раис: «Эй, Шокир, шайтон, падарналат, дырку закрой!» А Шокир, хотел или не хотел, но ещё больше газу надал. По склону огромные камни вниз поползли. Обрушатся — лавина по ущелью хлынет, весь Талхак снесёт.

Тогда Гиёз-парторг смелости набрался. Одну руку вперёд протянул, за камень ухватился, подтянулся, другой рукой перехватил... Так дополз до того чапана, что Шокир с себя снял и камнем придавил. Гиёз чапан взял, к заднему бамперу Шокира подобрался. Свернутой одежкой, жизнью рискуя, выхлопную трубу заткнул.

Тихо стало. Раис на ноги поднялся. «Хайвон, собака, ты чего творишь?! — закричал. — Кишлак погубить хочешь?» Шокир глазами захлопал, но даже рта раскрыть не смог — гороховая сила изну-

три его распирала. Раис с Гиёзом носы зажали, на Шокира смотрят, удивляются, как у того брюхо распухает, будто кто-то сал надувает — бурдюк, с которым в старину через реки переплывали. Сильно Шокир смутился. «Ох, извините», — сказать успел, и прорвало его, затычку выбило. Чапан, как снаряд, куда-то вдаль, в сторону озера Осмон-кул улетел. Оттуда эхо взрыва по горам раскатилось. Осмотрели то место — оказалось, чапан в одну скалу ударил, у самого подножия в камне огромную вмятину выбил. В ней теперь пастухи от непогоды укрываются.

А Шокир штаны подтянул, сказал: «Жалко чапана, хороший был. Теперь мне новый со склада выдайте». Раис сказал: «Лучше не о чапане, о своей судьбе задумайся». Шокир удивился. «Почему?» — спросил. «Тебя, диверсанта, в Калай-Хумб, в кегебе отправить надо. Ещё немного, ты бы лавину обрушил, кишлак бы разрушил. Хорошо, мы с Гиёзом вмешались, диверсию предотвратили». Шокир испугался. «Э-э-э-э», — сказал. Но вниз спустились, раис гнев на милость сменил: «Ладно, из уважения к твоему отцу, это дело так оставим», — сказал. Не дали Шокиру чапан. Обиделся он, из Талхака уехал. А туча к вазиронцам, в Дехаи-Боло ушла. Град все их посева погубил...

А недавно Шокир в кишлак вернулся. Я удивился: хилый человек, оказалось. Ударишь его тубетейкой — свалится. За нос потянешь — из него душа вон. Но очень, оказалось, язвительный.

Вот и сейчас усмехается:

— А, солдат! Почему не на службе?

— С заданием прибыл, — говорю.

— Оха! Большой человек, — говорит. — Как воюешь? Много врагов убил?

— Пока не воевал, — говорю. — Ещё никого не убил.

В армию меня наши старики отправили. Когда Зухуршо в Ворух прибыл, он нашего раиса к себе вызвал, приказал: «Из Талхака ко мне молодых парней служить пришлите». Уважаемые люди собрались, стали решать, кого в армию послать. Выбрали Кутбеддина, Хилола, Барфака, других ребят. И меня. Отец рассердился: почему из бедной семьи забираете? У нас и без того работников не хватает. Отец разгневался, я обрадовался. Мир узнаю. Из Талхака никогда ещё не уезжал. Теперь повсюду побываю. Деньги получаю. Зухуршо жалованье обещал...

А Шокир допытывается:

— С заданием прибыл, говоришь? Сам Зухуршо, наверное, задание дал. Ты теперь такой человек, что с большими людьми беседы ведёшь.

Я сдуру и признаюсь:

— С Зухуршо ещё не говорил.

— Да хоть видел-то его?

— Ребят расспрашивал,— говорю.— Они смеялись, разное рассказывали...

Они вокруг столпились, меня как малого ребёнка пугали. «Э, братишка, у Зухура туловище человека, а голова дикого кабана». Другой говорил: «Он не человек — джинн... Тыква, ты, небось, джиннов боишься?» «Он тыкву любит. Завтра из тебя, Карим, кашу варить будут». И разное другое, что и пересказывать не хочется.

А Шокир уязвить старается:

— Потешаются? Хорошо, что смеются, а не измываются. А может, мутузят тебя или ещё что, а?

— Нет,— говорю.— Не измываются.

Хотели, Даврон не позволил. Но зачем об этом Шокиру рассказывать?

— Живу хорошо,— говорю.— Военную форму дали, автомат дали, всё дали. Еда хорошая. Внизу, в Ворухе, люди богаче, чем у нас, живут. Ожидают, Зухуршо будет муку и сахар бесплатно раздавать...

Шокир удивляется.

— Кому раздавать? — спрашивает.

— Народу. Людям Воруха.

— А про нас не слышал? — Шокир волнуется.— Нам-то как?

— Точно не знаю,— говорю.— Может, и нам тоже.

Шокир поближе придвигается:

— Ты, Карим-джон, разузнай. Точно выясни, приди, мне расскажи.

— Как приду? — отвечаю.— Кто меня отпустит?

Он сладкие глаза строит, будто халвы наелся:

— Ты парень умный. Придумаешь.

Сам прикидывает, чем бы мне ещё польстить.

— Теперь, когда ты жизнь повидал, ума набирался, тебе жениться надо.

Смеётся, что ли? Прознал, наверное, что у нас денег на калинг недостаёт, чтоб за невесту заплатить. А война началась, табак са-

жать перестали — теперь никогда, наверное, такую сумму, что для свадьбы нужна, не соберём.

— Мне не к спеху, — говорю.

Шокир меня за плечи обнимает, не то насмехается, не то сочувствует притворно:

— Э-э, кошка до подвешенного сала не допрыгнула: «Фу, прогоркло, воняет», — сказала... Я тебе, Карим-джон, совет хороший дам.

Зачем мне лживые советы? Хочу его руку скинуть, не решаюсь.

— Внучку деда Мирбобо, дочь покойного Умара, видел? — Шокир спрашивает. — Красивая девушка. Однако городская, образованная. Сам понимаешь... За такую невесту большой калинг не запросят. К тому же, ты нынче в большую силу вошёл, у самого Зухуршо в солдатах служишь. Отказать не посмеют.

«Правильно, — думаю, радуюсь. — Почему сам прежде не сообразил?»

— Спасибо, муаллим, — говорю. — Маму попрошу, чтоб посваталась.

— Ты сначала сам с девушкой поговори, — Шокир советует.

А меня не то смущение, не то сомнение разбирает. Как, думаю, с ней поговорю? Что ей скажу?

Шокир смеётся:

— Эх, парень, вижу, ты девок боишься. Не робей, у них между ног зубы не растут. Найди момент, когда она из дома выйдет, за водой или ещё куда... Подходи смело. Да что тебя учить! Ты солдат, сам лучше знаешь. Прямо сейчас иди, времени не теряй.

Так хорошо сказал, что мне радостно стало.

— Спасибо, муаллим, — говорю. — Тысячу раз спасибо! Если это дело получится, вашим должником буду. Что захотите, для вас сделаю.

Руки к сердцу прикладываю, иду. Шокир окликает:

— Эй, Карим, раз жениться собрался, надо кер немножко подправить.

Я удивляюсь:

— Зачем подправлять? Не маленький, не кривой. Хороший кер, большой.

Он говорит:

— Не о том речь. Надо, чтобы длинным, как у осла, сделался. Иначе жена любить не будет. Э-э, сынок, женщин не знаешь...

Я тебе, Карим-джон, второй хороший совет дам. Способ есть, мой дед покойный Мирзорахматшо меня научил. Траву забонсузак сумеешь отыскать?

— Смогу. Возле воды растёт.

Он советует:

— Листьев забонсузака нарви, курдючное сало растопи, с травой разотри, немного соли добавь и в кер втирай. А потом за конец посильней тяни, вытягивай...

— Жечь, наверное, будет.

— Терпи, — говорит. — Все наши мужчины так делают.

Я опять «спасибо» говорю, иду, Шокир опять окликает:

— Постой! В узелке что?

— Ребятам лепёшки несусь.

— Одну мне давай, — говорит. — Плата за советы.

Не хочется, но приходится развязать.

— Два совета — две лепёшки, — Шокир говорит и три ухватывает.

Хорошо, что в узелке ещё много хлеба остаётся. Я про военное задание соврал. Домой, в Талхак, наши ребята меня послали. Я похвалился: моя мама вкусные лепёшки печёт — как она, никто не умеет, — а Рембо сказал:

«Иди, Тыква, нам принеси».

Я хотел ребятам уважение выказать, но командира боялся. «Даврон узнает, что в я самоволку ушёл, накажет».

Гург-волк засмеялся, железные зубы по-волчьи оскалил: «Э, какая, биять, самоволка?! Про армию рассказов наслушался?»

У него все зубы стальные, блестящие. Поэтому волком и прозвали.

«У нас другие порядки, — Рембо сказал. — Кто без лепёшек возвращается, того к стенке ставят».

«Зачем?» — я спросил.

«Расстреливают», — Рембо объяснил.

Пошутил, наверное.

Теперь в Ворух вернуться бы поскорей. Но в казарму не иду. Ноги сами меня к дому старого Мирбобо несут. Иду, думаю, с дедом-покойником Абдукаримом разговариваю. Я маленький был — дедушка меня любил. Всему учил. Лук-камон, из которого камешками стреляют, для меня смастерил и меткости научил... Теперь дедушка мёртвый. Говорю: «Дедушка, на этой девушке жениться

хочу. Помогите, пожалуйста, чтоб это дело сладилось. Очень вас прошу». Дедушка Абдукарим обязательно поможет. Наши арвохи, деды-покойники, хотя и строгие, но добрые, всегда помогают.

Иду, мечтаю. Словно кто мне сказку рассказывает. И подойдя к тому дому, я увидел, что из ворот вышла Зарина с двумя вёдрами в руках, ибо послали её за водой. Сердце у меня забилося, потому что никогда я не встречал девушки краше. Приблизился к ней и сказал: «Разреши помогу. Отдай эти вёдра, чтоб ты не утруждала свои белые руки». И она, девушка городская, не смутилась и ответила просто: «Пустые вёдра не тяжелы». Но я не растерялся и сказал: «Позволь мне дойти с тобой до источника, чтобы отнести обратно полные». Она согласилась, и мы пошли, коротая путь в приятной беседе. Я назвал своё имя и поведал, что служу у самого Зухуршо и скоро стану человеком влиятельным и богатым, поскольку Зухуршо обещал щедро наградить всех, кто верно служит. И тогда она спросила: «Почему ты об этом рассказываешь, Карим?» И я не стал таиться, открыл своё сердце и добавил: «А если б и не было денег, я бы к твоему деду в работники пошёл, чтобы за тебя калинг отработать».

Так мечтая, к дому деда Мирбобо подхожу. Калитка, как в сказке, открывается, Зарина с вёдрами на улицу выходит, навстречу идёт. Я, как в счастливом сне, по воздуху к ней подплываю, к вёдрам тянусь:

— Давай помогу.

Она отскакивает, кричит сердито:

— Отвали! Руки убери! Тебе чего надо?!

Будто палкой ото сна разбудила. С коня мечтаний на землю свалился. Понять не могу, что случилось? Она кричит:

— Шагай, шагай отсюда, ишак! Чего встал? Шёл своей дорогой, вот и иди. Не то брата позову...

Нос вздёргивает, прочь идёт. Я стою, простоквашу во рту жую. «Почему так? Что я неправильно сказал?» Обманул меня Шокир. Эта девушка — ведьма, оджина... За такую всё, что имеешь, отдашь, лишь бы от неё отвязаться. Лучше вообще не жениться, чем с такой злыдней жить.

Вижу, Зарина останавливается, назад поворачивает. Наверное, ещё не все злые слова мне в лицо бросила. Зачем я Шокиру доверился?!

Она подходит, говорит:

— Парень, ты извини, пожалуйста. Понимаешь, привыкла, что у нас в Ватане националы к русским девушкам цепляются. Ну,

автоматом и вырвалось, боевая готовность сработала. Глупо, конечно... Самой совестно стало. У вас тут совсем по-другому...

Я молчу. Все слова забыл. Она спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Карим.

— Ну, пока, Карим. Не обижайся. Хорошо?

И вверх по улице бежит, ведрами размахивая.

Вслед смотрю, радуюсь. Всё, как в мечтах, сбылось! «Спасибо, дедушка Абдукарим, — думаю. — Тысячу раз спасибо». Теперь, наверное, деды-покойники меня похвалят. «Баракалло, молодец, Карим, — скажут. — Хорошую девушку в наш каун привёл».

Теперь маму попрошу, чтобы сватов к деду Мирбобо засылала.

5

Джоруб

Белая овца умирала на каменистой осыпи. Тощая, со свалевшимся руном, она походила на ком грязного низкосортного хлопка, который по пути на хлопзавод снесло ветром с грузовика на пыльную дорогу. Не я уронил её жизнь на сухие камни, но яд вины сочился в моё сердце. Я хорошо представлял, какие мучительные процессы протекают сейчас в её обезвоженном и истощённом организме, и не знал лишь одного — испытывают ли животные страх смерти, как люди, или просто безотчётно страдают.

Я крикнул:

— Эй, Джав!

Выше по склону — шагах в двадцати от меня — Джав пытался поднять на ноги обессилевшую матку. Его конь стоял рядом. Джав снял с седла чилбур, шерстяную верёвку, и заскользил вниз по осыпи, шурша камешками. Я помог перевалить овцу на левый бок и связать вместе четыре ноги.

— Муаллим, подержите, пожалуйста, — Джав достал нож.

Я навалился на исхудавшее овечье тело. Джав запустил указательный и средний палец левой руки в ноздри овцы, с силой потянул её голову назад, натягивая шею. Произнёс:

— Йо, бисмилло...

Аккуратно, с деловитым спокойствием повёл ножом поперёк овечьего горла. Из разреза плеснула струёй густая кровь. Джав вытер лезвие о шерсть овцы, сучившей связанными ногами.

— Проклятые вазиронцы!

За два с половиной дня, что отара двигалась от большого пастбища, погибло больше трети овец. Мы никогда ещё не теряли столь много на коротком перегоне. А ведь прошли лишь полпути. Мы гнали остатки отары к озеру Осмон-Кул. Возле воды те овцы, что выживут, немного отдохнут, и, возможно, мы сумеем довести оставшихся до малого пастбища Сари-об. Снег на нём едва начал сходить, но другого выхода нет. Конечно, потери неизбежны при любом долгом перегоне в горах. Какой-то процент потерь заранее закладывается в отчётность. Усушка и утруска животных жизнью.

В середине дня пошёл дождь, но перед самой темнотой нам удалось добраться до стоянки под скалой Хайкали-калон. Ветер и солнце выдолбили в скале глубокую впадину. У задней стенки низкий закопчённый свод косо спускается до самого пола. Кто сочтёт, сколько поколений пастухов ночевало в пещере на протяжении столетий? А может, в древности жили в наших краях первобытные охотники...

Овцы тесной толпой сбились на широкой покато́й площадке перед пещерой, пытаясь согреться. Ледяной ветер, как шерстобит, всё плотнее и плотнее сбивал их в общую массу и сбрызгивал сверху холодной водой. И вдруг решив, что войлок слишком сух, обрушивал на живую кошму ливень. Чабаны разожгли костёр. Собаки укрылись в пещере. Ветер выполнял работу за них.

— Дождь не перестанет, всех потеряем, — сказал Джав.

Он был прав. Отара может погибнуть от переохлаждения почти полностью.

— Иншалло, — откликнулся Гул. — Как Бог захочет.

Мы ничем не могли помочь. Меня не утешал даже всплывший в памяти стих:

Хирс-зод, оставь печаль — ведь всякая невзгода
Проходит, словно летом непогода.

Утром, как и предвещал поэт, ночная непогода ушла, над ущельем сияло чистое небо. Но невзгода осталась с нами. Почти вся отара погибла от холода. Нескольких еле дышащих животных мы прирезали,

чтобы мясо не пропало понапрасну. Оставшихся в живых овец я велел пастухам спустить в кишлак, а сам сел на коня и уехал вперёд.

Невзгода тащилась за мной по пятам. Далеко позади остатки отары — несколько десятков истощённых баранов, — спотыкаясь на камнях, плелись вниз по тропе. Я подъезжал к Талхаку. Резкий дух парной баранины из хурджинов, набитых мясом и притороченных к седлу, перебивал родной запах селения. Мухи живой тучей слетелись со всего кишлака, окружили меня, скучились, как толпа перед городским магазином, в котором выбросили дефицит, жужжали возбуждённо:

— Ж-ж-ж-ж-ж-р-ра-а-тва... Свеж-ж-ж-ж-ж-ж-а-ая...

А снизу по крутой, залитой солнцем улице, навстречу мне летел-ковылял Шокир, словно чёрная муха, издали почуявшая запах беды. Остановился, поджидая. Не желал я с ним говорить. Поравнявшись, буркнул:

— Ас-салом... — и хотел проехать мимо.

Но от Гороха просто не отделаешься. На небо взлетишь — за ноги тебя схватит, под землёй укроешься — за уши вытянет. Он проворно отступил в сторону — даром, что нога хромая, — и схватил коня под уздцы. Невежливо так поступать, оскорбительно, но Шокира словно никто учтивости не учил: грубость совершил, а при этом ещё улыбку на лицо натянул льстивую, заискивающую:

— Быстро вернулся, уважаемый. Наверное, вести хорошие привёз. Насмехается! Но я сказал спокойно:

— Угадал, друг. Весть и впрямь радостная. Одна забота с плеч упала, об отаре можно не беспокоиться.

Шокир подхватил:

— С таким, как ты, специалистом, Джоруб-джон, мы вообще ни о чём не беспокоились.

Я едва сдержался:

— Извини, спешу.

Но он повис на узде:

— Моих советов слушать не захотели. Я говорил...

И мой гнев одержал верх над терпением.

— Рад, Горох?! Счастлив? Напророчил?!

Я соскочил с коня, распахнул хурджин, выхватил из него баранью ногу и сунул Шокиру:

— На, бери!

Он невольно выпустил узду и уставился на меня.

— Э-э, чего?

— Поешь нашей беды. Насыть утробу свою завистливую. Досыта накорми.

Он, растерявшись, ногу принял и, чтоб не упала, прижал к себе, марая пиджак сырым мясом.

— Э-э, Джоруб, зачем...

— Мало тебе? Ещё хочешь? На, ещё возьми...

Я, не глядя, выхватил из хурджина мясной шмат, шлёпнул его поверх прижатого к груди.

— Ещё надо?

Растерянность на лице Шокира сменилась злобой. В это время дверь в заборе открылась, вышел Палвон. Слышал ли он, не слышал наш разговор, но закричал весело:

— Эй, соседи, что такое? Коммунизм наступил? Мясо бесплатно раздают? Обо мне не забудьте...

Шокир оглянулся и разжал руки. Мясные куски свалились к его ногам в уличную пыль. Палвон захохотал:

— Оказывается, я правду сказал. Коммунизм пришёл. Люди добро на дорогу бросают. Джоруб, брат, что случилось?

Я кивнул на Шокира.

— У него спроси. Он тебе расскажет. Про прошлое, настоящее, будущее...

Сел на коня и поехал, не оборачиваясь.

Ещё до конца гузара не добрался, как гнев остыл, сменился стыдом и досадой. Нехорошо поступил. Зачем злость на Шокире выместил? Он-то в чём виноват? Просто пошутить хотел. Может, даже утешить на свой лад. А что с людьми разговаривать не умеет, так на то он и Горох. Его и без меня многие обижают. Достойно ли мне было свою ветку в огонь подбрасывать? Может, Шокир после того недавнего ночного разговора о своей откровенности пожалел, стыдно стало, что слабость проявил. Может, неловкость свою прятал. А может, разозлился на меня за то, что душу мне раскрыл. Не гневаться, а пожалеть его надо было. А я ещё сильнее обидел. Как теперь себя с ним вести? За грубость извиниться, дружеским разговором вину загладить... Однако не такой Шокир человек, чтобы доброе слово его успокоило. Душа у него, как такыр. Как сухая голая бесплодная земля, изрезанная глубокими трещинами. Вылей хоть целое озеро — вода уйдёт в бездонные щели. Всех вод мира не хватит, чтоб душу Шокира напоить. То ли родился таким, то ли жизнь иссушила и изрезала...

С этими невесёлыми думами я приехал домой. Встретила меня Дильбар, умыться подала, чистую домашнюю одежду достала, расстелила в нашей комнатке дастархон, принесла еду, а сама при-
мостилась у двери. Я сказал:

— Иди, рядом садись. Поешь со мной.

Присела на курпачу. Ей ничего объяснять не надо, сама поняла.

— Сколько? Наших-то сколько осталось?

— Три барана.

Дильбар вздохнула.

— Ничего, как-нибудь проживём. Картошку посадили, горох посадили. Верхнее поле скоро расчистят. Как-нибудь проживём. Говорят, Зухуршо будет народу муку и сахар раздавать.

Я сказал:

— Нельзя брать. Это нечистое. У него нельзя ничего брать.

Дильбар опять вздохнула.

— Хорошо, что вы наконец-то приехали. В доме опять разлад. На вас одного вся надежда...

Шутя, должно быть, сказала. С Бахшандой только она умеет справиться. Сам не пойму, как. Тихая, молчаливая, безответная, а всегда добивается того, что правильным считает. Ключи от кладовых у Бахшанды, и если кто-то посмотрит со стороны, то скажет: Дильбар — всего лишь прислуга. На самом же деле домом управляет она.

Я усмехнулся:

— Неужели есть в мире разлад, который ты не уладишь?

Она улыбнулась застенчиво:

— Шутите...

— Ладно, — кивнул я, — расскажи, что случилось.

— Вчера утром Марьям явилась... — начала Дильбар.

— Это какая же? Сплетница? — спросил я.

— Нет, — сказала Дильбар. — Жена Махмадали, что на той стороне живёт. Принесла подношение, стопку лепёшек. Всех уверяет, что печёт самые вкусные в кишлаке лепёшки. Многие так и считают...

— Мы-то знаем, что самые вкусные печёшь ты, — сказал я.

Дильбар на этот раз даже спорить не стала.

— Я по лицу поняла, зачем пришла. Что-то особенное появляется, когда женщины за такие дела берутся. Поболтала о том, о сём и говорит: «Уважаемая Бахшанда, у нас есть мальчик...»

Бахшанда вспыхнула, бровь изогнула. Кто они такие, чтобы к нам свататься! Раньше им бы это и в голову не пришло. Но сей-

час, видно, такие времена, что никто не помнит, где верх, где низ. Где у кувшина дно, а где горло. Где в бадье масло, а где пахтанье. Но мы-то помним, что масло с водой не смешивается...

Вижу, невестка не сдержится, бросит что-то резкое, неучтивое. Пospешила сказать:

«Раз такой разговор зашёл, надо мать девочки, Веру, тоже позвать».

Бахшанда глянула на меня, как слегой огрела, но при гостье смолчала. Только чай в пиалу плеснула, Марьям подала. С таким почтением, будто мать шахиншаха чествовала. Насмешку выражала, возмущение прятала. Но я видела — пронесло. Можно их наедине оставить.

«Извините, — говорю, — сейчас её приведу. Сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте».

Думаю, Бахшанда успеет остыть и в вежливых оборотах откажет. Чтобы и Марьям не унизить, и нашу честь грубостью не запятнать. Вошли мы с Верой. Бахшанда чай налила, Вере подала. Достоинo, с уважением — не стала при чужом человеке семейной вражды обнаруживать. Вере что-то по-русски сказала. Я плохо слова поняла, но о смысле догадалась:

«Вера-джон, эта особа спрашивает, не отдадим ли мы твою дочь замуж за её сына».

Вера пиалу на дастархон поставила, головой покачала и сказала: «Нет».

Разве можно так грубо отвечать?! Мне очень неловко стало. И за Веру стыдно. Неужели никто никогда её хорошим манерам не учил?

Бахшанда опять что-то сказала. Наверное, за невежливость укорила. А Вера опять головой покачала и опять сказала:

«Нет».

Бахшанде бы объяснить, что мы сами не хотим девочку из нашей семьи, дочь Умара, отдавать людям, у которых ни кола, ни двора, — в семью, где невестку пахать вместо лошади заставят. То ли Бахшанде гордость помешала это Вере растолковать, то ли русских слов не хватило, но только Вера головой качает и повторяет:

«Нет».

Стала я прикидывать, как, приличий не нарушая, Веру из мехмонхоны вызвать, через Зарину объяснить, чтоб просто сидела бы и молчала, а мы с Бахшандой вежливо и достоинo Марьям откажем.

Не успела. Бахшанда из терпения вышла, взорвалась. Сами знаете, когда она в ярость приходит, обо всём забывает. Не щадит

ни себя, ни других. Что угодно может сказать, что угодно сделать. Вдруг она сделалась спокойна и холодна как лёд. К Марьям с преувеличенной любезностью обратилась:

«Уважаемая Марьям, вы нас извините. Наша невестка ещё не очень хорошо по-таджикски понимает. Мы с ней посоветовались, обсудили и вместе решили, что для нашей девочки лучшего жениха, чем ваш сын, трудно найти».

Марьям всё, конечно, поняла, но виду не подала. Цели-то своей достигла. А уж как мы между собой спор уладим, ей безразлично было.

«Слава Богу! — воскликнула. — А девочку вашу будем холить и лелеять, как цветок».

Вера на меня беспомощно посмотрела. О чем они говорят? Я ей незаметно знаком показала: молчи, потом поговорим. А Марьям радостный тон на смиренный сменила:

«Одна беда — мы большой калинг заплатить не в силах».

Но Бахшанда даже дом бы свой спалила, лишь бы Веру побольней обжечь.

«Не беда, — сказала. — Мы много не запросим. Сколько сумеете, дадите».

Я про себя ахнула: как это она, женщина, на такое осмелилась! Сама важный вопрос без деда решила. Ваш отец должен был калинг назначить. Как теперь отказаться? Как слово назад забрать?

— Ничего, — я сказал. — Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Уж постарайся.

Дильбар улыбнулась:

— Вы-то не хотите, чтобы девочка так скоро ушла из дома...

Не хочу. Бог не дал мне своих детей, а когда сын и дочь покойного брата поселились в нашем доме, стали словно моими собственными. К сожалению, покойный брат плохо воспитал своих детей. Не научил правильному поведению. Слишком вольно держатся они со старшими. Вольно и даже дерзко. А Зарина с первых же дней почувствовала, что я отношусь к ней по-особому.

Подошла ко мне:

— Дядюшка, куда это запропал наш жених?

— Не терпится тебе?

— Не терпится, дядюшка. Хоть бы побыстрее.

Я огорчился:

— Настолько уж плохо в родном-то доме?

Она нахмурилась:

— Он мне не родной.

— Эх, Зарина... В чужом лучше не будет.

Она слушала меня, не понимая.

— Где это в «чужом»? Вы нас выгнать хотите?

— Не гоню. Сама уйти хочешь.

Она губы сжала:

— Никуда я не хочу. Вернее, некуда... Сама не знаю, где мой дом.

Я сказал:

— Здесь. Это твой дом.

Зарина вспыхнула:

— Не мне, а ей скажите.

Бедная девочка! Готова выйти замуж за кого угодно, лишь бы избавиться от злой мачехи. Многие девушки так же думают, да попадают из огня в полымя.

Я сказал:

— Карим — парень неплохой, но уж слишком прост. Тебе не пара. Не спеши, найдём юношу...

Она даже договорить не дала:

— При чём тут Карим?! Тоже мне юноша! Не нужно мне вообще никого!

Совсем запуталась девчонка и меня запутала. То замуж не терпится, то никто не нужен. Молодые сами не знают, чего хотят. А она расхохоталась:

— Ой, дядюшка! Вы подумали... Я же про того усача, что к ней посватался... Поманил и пропал. А мы тут его дожидайся...

У меня от души отлегло, я захохотал вместе с ней. Но затем мне стало грустно. Вот как взаимное непонимание разделяет нас, близких людей. Я сказал:

— Кто знает, что случится, когда твоя тётюшка Бахшанда выйдет замуж и покинет наш дом. Возможно, ещё будем сожалеть о нынешнем времени, как о счастливых днях... Не зря Валиддин Хирс-зод, соловей Талхака, написал такие строки:

Мой друг, не торопи событий лёт —
На смену, может, худшее придёт.

Зарина упрямо покачала головой:

— Хуже быть не может!

И хотя я убеждал девочку не торопить события, сам невольно подгонял их в своих мыслях. Как было не торопить, если вдруг

разладилась хорошо налаженная жизнь. Талхак бурлил, и даже уважаемые люди не могли утихомирить односельчан. Несколько дней прошло с тех пор, как Гиёз уехал искать справедливость, но до сих пор от него ни слуху, ни духу. Что с ним?

6

Зарина

Сегодня я узнала потрясающую новость. То есть, новость, конечно, для меня... Нашим — не считая нас — наверняка всё давно известно.

Утром я сказала Бахшанде:

— Я на поле не пойду.

Она молча бровь заломила: с чего это, мол?

— Живот болит.

Нет, всё-таки она точно ведьма! Взглянула и немедленно поняла, в чём дело.

— Оставайся дома, поможешь своей тёте Дильбар. Делай, что она скажет. Но к очагу и еде не прикасайся. Ты сейчас нечистая.

Ах-ах-ах, зато она у нас чистая! Самая чистая-пречистая на свете. Я спросила нарочито противным голосом:

— Еду не трогать? Хотите, чтобы я умерла с голоду?

Но ей — как горохом об стену.

— Ты, девчонка, мне голову не крути. Сама соображаешь, о чём я. Пищу тебе готовить запрещено. А ешь сколько угодно, хоть лопни.

И поплыла раздавать приказания. А я отправилась в летнюю кухню под навесом, где тётя Дильбар рушила просо.

— Тётушка, чем помочь?

— Перебери и вымой немного фасоли. Будем похлёбку на обед варить.

— Тётя Бахшанда сказала, мне нельзя к еде прикасаться.

Дильбар тоже ничего объяснять не пришлось.

— Садись, доченька, отдохни.

Вообще-то не хотелось прохладиться без дела, хотя у меня руки почти отсохли от камней, которые мы таскаем на поле. Но Дильбар работала ладно и споро, я засмотрелась и не заметила,

как села рядом. Она рушила просо в деревянной ступе длинным каменным пестом. Тух-тух, тух-тух, тух-тух... Как в считалке: «В ступ-ке пест — туда-сюда. Бу-дет доб-ра-я е-да».

Тётя Дильбар бросила на землю клеёнку, расстелила поверх дастархон, высыпала на него зерно. Присела, загребла горсть проса и слегка подбросила в воздух. Мне вдруг вспомнилось, как мы играли в детстве — подкидываешь вверх кучку камешков и ловишь одной рукой, сколько сумеешь. Тётя Дильбар, конечно, зёрнышки не ловила. Пшено осыпалось на дастархон как жёлтый сухой песок. А ветер подхватывал и уносил шелуху. Как забавно! Ветерок — тоже кухонная принадлежность.

Вдруг она схватила горсть зерна и резко зашвырнула так высоко, что просо посыпалось на нас и на землю.

— Всё понапрасну!

Я увидела, что она печально следит за улетающей со двора шелухой.

— Всё попусту! Ничего не выходит...

Я не поняла и сказала:

— Тётушка, пшено почти чистое.

— Эх, девочка... Опять не получилось.

Я поняла, о чем она, и сказала, наверное, чуточку снисходительно — всё же как-никак, а дочь врача (бедный папочка!):

— Тётушка, вам к докторам надо. Сейчас такие специалисты по бесплодию... Война закончится, в Кулябе или Курган-тюбе вас вылечат.

— Я ездила. Сказали: «В Душанбе есть женский врач, Майя Абдурахмановна. Если возьмётся лечить, даже щепка родит». Муж повёз. Я боялась, что ничего не получится, но всё равно поехала... Нашли Майю Абдурахмановну. Внутрь смотрели. Анализ делали. Рентген делали. В одну больницу возили, томограф делали — это такая большая белая машина, в неё, как в погребальные носилки, ложишься. Майя Абдурахмановна сказала: «Ты здорова, можешь рожать. Дело в твоём муже. Ему надо лечиться». Я ей во всём призналась. Она сначала засмеялась, потом рассердилась. «Выкинь глупости из головы, — сказала. — Ты что, тёмная-невежественная? Из пещеры вышла?»

Меня такое любопытство одолело, что я перебила:

— А в чём вы ей признались?

— Пари в меня влюбился. Детей не даёт рожать. Вредит.

— Но ведь пари — это пэри, волшебная женщина. Красавица...

— Нет, так в книжках написано,— сказала тётя Дильбар.— А в жизни есть и мужского пола.

Я не выдержала. Расхохоталась.

— Тётушка, пари только в сказках. На самом деле их нет. Вы разве в них верите?

— Нет, не верю,— сказала тётя Дильбар.— Знаю, что сказки. Я тоже в школе училась... Но он ко мне приходит.

И тут я совсем распоясалась. Почувствовала себя ужасно взрослой и умной. Воспитательницей в детском саду.

— Приходит? — строго спросила я.— Кто же может приходиться?

— Пари. С виду совсем как студент. Вот такого росточка,— она показала чуть выше метра над землёй.— В чёрном костюмчике, в белой рубашке с галстуком, на голове — чустская тубетейка. Говорит, что любит. Без меня жить не может. Стихи читает.

— Как же он вам рожать не даёт?

— Пари не люди,— вздохнула тётя Дильбар,— они многое могут.

— А что дядя Джоруб? — не знаю сама, о чём я спросила.

Тётя ответила:

— Мужчины разве в силах с пари тягаться...

Это был какой-то особый день. Вечером я услышала ещё несколько потрясающих признаний. После работы — в горах темнеет мгновенно, будто кто-то выключателем щёлкает — мама сидела возле очага и смотрела на огонь. Я, как всегда, ушла на свою крышу. И услышала оттуда, как Бахшанда сказала по-таджикски:

— Никогда не думала, что увижу тебя возле моего очага...

— Это она маме, что ли?

— А ты знаешь, каково это — жить без мужчины? Откуда тебе знать! Ты такая белая, такая холодная. Ты, наверное, вообще не женщина... Как Умар мог с тобой жить?! У тебя хоть кошка дома была? Видела, как она страдает, когда приходят её дни? Но кошкам, неразумным тварям, Бог определил становиться горячими раз в месяц. Мы, женщины, всегда горячи. Мы испытываем желание всегда — каждый день и каждую ночь,— если рядом нет мужчины, который может желание утолить... Пусть Бог простит меня за эти мысли и эти слова. Я знаю, некоторые женщины утешают себя сами, без мужчины. Пусть Бог простит мне и эти слова. Он-то знает: я укрощала себя работой...

Она замолчала. Я подумала, что ушла. Почему-то всё время получается, что я нечаянно подслушиваю чужие разговоры. Сама себе кажусь каким-то шпионом. Так и хочется прыгнуть и за-

кричать: «Эй, я всё слышала! Выбирайте для разговора уголки по-укромнее». А где их найдёшь? Всё на виду. И все люди — в куче.

Нет, оказывается, Бахшанда ещё не полностью высказалась.

— Ты думаешь, я тёмная, необразованная. Но я всё знаю. Я школу закончила. Радио слушаю. Могла поехать в город, могла в райком пойти, сказать: «У меня пять детей. Мой муж любовницу завёл, муж вторую жену взял, муж байские пережитки завёл». Умара в райком бы вызвали, Умар испугался бы... В город, наверное, меня бы не взял, но тебя бросил бы. Меня он боялся, но райкома боялся ещё сильнее... Я не поехала, не сказала... Это стыд перед Богом и людьми таким путём мужа возвращать. Соседки корили: «У тебя разве гордости нет? Почему в город, в райком не поедешь?» Из гордости не поехала. Много раз собиралась, но гордость сильнее была. Мудрые люди говорят: тот, у кого в сердце есть хоть одна частица гордости, не войдёт в Рай. Меня гордость при жизни в ад бросила...

Зачем она говорит это маме? Ведь мама не понимает...

— У вас, русских, никакой культуры нет. Вы не умеете пристойно поздороваться, пристойно начать разговор, у вас нет такта. Не умеете чистоту соблюдать, не знаете, как отделять дозволенное от недозволенного. Я точно знаю, что не чистишь волосы с лобка и на теле, и я уверена, что ты никогда не проходишь обряд очищения после месячных. Я видела много русских. Я знаю, среди вас тоже есть хорошие люди. Наверное, даже и ты — хорошая женщина. Свёкор рассказал, что ты старалась сама похоронить Умара... Ты делала всё не по закону, но я понимаю, что хотела проводить его достойно, как это понимаешь... Джоруб глупый. Джоруб думает, что теперь, когда покойный ушёл, мне с тобой нечего делить. Очень глупый. Может, если бы покойный был жив, я могла бы с тобой примириться. Может, мы с тобой даже подружками бы стали. Но теперь, когда всё осталось как есть, когда ничего нельзя изменить, мне нет успокоения. Бог его из твоего дома забрал, не из моего, а потому покойный навсегда твоим остался...

Ушла. Я долго думала, а перед сном спросила:

— Мамочка, ты поняла хоть что-нибудь из того, что она тебе говорила?

— Ей этого не надо. Она беседует со мной как с кошкой. Знаешь, иногда одинокие люди, которым не с кем поговорить, изливают душу домашним животным.

— А ты?

Мама пожала плечами:

— Изображаю из себя кошку.

— Мамочка!!!

— Я её понимаю. Не слова, а то, что она чувствует. Бахшанда человек гордый и никогда в том не признается. Никому, кроме кошки.

— Она про папу всякие гадости говорила!

И вдруг мама меня удивила, дальше некуда.

— Могу представить. Думаешь, я не понимала, кто такой твой отец? Очень хорошо понимала, но всё равно любила. Слабый человек. Ты сильная. Не в него и не в меня пошла. А он... Может, если б не любила его, сказала бы — ничтожный человек. Но руки у него были... знаешь, руки у него были как из рая... будь он проклят, этот Умар! Когда мы начали встречаться, я не знала, что у него есть семья. А потом... я уже ждала вас с Андрюшей. Тут-то всё и открылось. «Извини, Вера-джон, мы не можем в ЗАГС пойти...» Я его выгнала. Но ты помнишь отца — кого угодно уговорит. «А-а-а, Вера-джон, ты меня совсем не жалеешь. Я такой несчастный. Меня родители без моего согласия женили, нашли уродину, глупую, ведьму...»

— И правильно! Она и есть ведьма! Злая ведьма.

— Нет, доченька, несчастная женщина.

— Мама! Ты говоришь, будто в чём-то перед ней виновата.

— Не знаю. Может быть, да, а может, нет... Я давно перестала об этом думать. Представь, каково быть молодой русской женщиной в таком посёлке, как Ватан. Проходу нет. Каждому кажется, что... Всякий к тебе вяжется, всякому...

— Знаю, мамочка: «русский блядь-учительница...»

— О господи, Зарина, что за выражения! Где ты этого набралась?

Я фыркнула. Где набралась? Можно подумать, мы жили в сказочном царстве среди фей.

— Твой отец от всего этого меня ограждал. Все знали, что я его жена. А его уважали...

Я ушам не верила. Закричала:

— А она-то, она?! Ты знаешь, что она говорила? Она сказала, что наш папа её содержал, она единственно поэтому его не бросала. Значит, она папу просто использовала. А он тебя использовал. А теперь оказывается, что и ты...

— Зарина, не всё так просто, как тебе кажется.

— Очень просто! Выходит, никто из вас не любил настоящего.

Я отвернулась и сделала вид, что заснула. А сама думала. Я только что поняла, что ничего толком не знаю про маму. И оказывается, мы ничего не знали о папе. Привыкли, что в общем-то мало про него знаем, наверное, даже не пытались. А теперь поздно, уже никогда не узнаем...

Теперь я и Бахшанду новыми глазами увидела. Но скорее бы она уж вышла замуж!

7

Джоруб

На наш Талхак будто лавина с грохотом рухнула. Вернулись посланники, ездившие к Зухуршо за справедливостью. Никто не ожидал, что она окажется столь страшной. Весь народ загудел и зароптал, потрясённый. Престарелый Додихудо сказал:

— Тушили пожар, побежали за водой — принесли огонь.

Мы в тот час сидели у раиса в мехмонхоне, и раис, указав на керосиновую лампу, возразил:

— Огонь тоже свою пользу имеет. Но я хочу знать, как эта беда случилась. Расскажите, уважаемый.

Престарелый Додихудо отказался степенно:

— Я рассказывать не мастер. Ёдгора просите.

Все мы — мулло Раззак, сельсовет Бахрулло, счетовод, Сухбат-механик и даже Шокир (он тоже туда пробрался — пришлось, конечно, примоститься ниже всех, у самой двери, но он и тому был рад, что сидит с уважаемыми людьми) — все мы, конечно, знали талант Ёдгора, но сначала следовало оказать уважение старому Додихудо. И теперь, когда уважение было оказано, Ёдгор начал рассказ:

— Едем мы, ручей Оби-Бузак перехали, Шер говорит:

«Стучит. Слышите?»

«Где?» — покойный Гиёз спрашивает.

«В двигателе. Что неладно, не пойму».

«Назад далеко возвращаться, да и время не терпит, — покойный Гиёз рассуждает. — Эй, Шер, до места доедем?»

«Как Бог захочет, — Шер отвечает. — Стук — знак недобрый, зловещий. Наверное, дело наше не выйдет».

Покойный Гиёз смеётся:

«Э-э, не бойтесь, Зухуршо мне не откажет. Мы в восемьдесят пятом году, в сентябре, в Душанбе в партшколе вместе учились».

В Ворух приезжаем. Покойный Гиёз предлагает:

«Времени терять не станем. Зайдём к Зухуршо, расскажем о нашем деле».

Почтенный Додихудо, ныне в этой мехмонхоне сидящий, возражает:

«Нет, друг, так не пойдёт. Надо сначала разузнать, какие теперь порядки. Поедем к мулло Гирдаку, спросим. Мулло — мудрый человек, он нам хороший совет даст».

Шер радуется:

«Хорошо. Заодно попросим мулло посмотреть, что в двигателе стучит».

К мулло Гирдаку в механическую мастерскую едем. Ворота гаража распахнуты. Над ямой «газон» стоит, в гараже ни души. Кричим:

«Эй, мулло Гирдак!»

Мулло Гирдак из смотровой ямы выглядывает:

«Какие люди приехали!»

Из ямы вылезает, рубаха и штаны в масле измазаны.

«Ас салом», — а рук нам подать не может: обе до локтя чёрным маслом измазаны. Здороваемся, о семье-здоровье спрашиваем, зачем приехали, рассказываем. Мулло Гирдак говорит:

«К Зухуршо просто не попадёте. Сначала бумагу подать надо. Заявление написать, дело изложить».

Гиёз возмущается:

«Почему бюрократизм такой?! Раньше в Калай-Хумбе меня в райкоме сразу принимали. Если заняты были, час-два просили подождать».

«Другие времена, брат, — мулло Гирдак вздыхает. — Сейчас извините, вас одних оставлю».

Уходит. Возвращается в чистом чапане, рубахе, белой как снег. И руки чистые, а под ногтями черно. Наверное, вообще отмыть невозможно. В нашу машину садится, едем. Дома мулло нас в мехмонхону заводит. Пока обед готовят, покойный Гиёз заявление пишет. Поели, мулло Гирдак совет даёт:

«Заявление либо Занбуру, либо Гафуру отдайте».

Гиёз-покойник спрашивает:

«Это какому же Занбуру? Зоотехнику?»

«Нет, телохранителю, что с Зухуршо прибыл. Другой, Гафур, тоже Зухуршо охраняет. Люди их джондорами прозвали. Дэвами, которые в нечистых местах живут, людей убивают и едят».

«Э! Нас не съедят?» — покойный Гиёз шутит.

«Не бойтесь, — мулло Гирдак смеётся. — Денег дадите, живыми отпустят. Бахшиш надо дать».

Дом Зухуршо издали видим. Выше всех домов в кишлаке стоит. Давно начали строить. Люди думали, для матери Зухуршо. Ещё не знали, что он сам в нём поселится. Очень большой дом, дворец. Вокруг забор. Железные ворота в Калай-Хумбе сварили, золотой краской покрасили. Я вблизи смотрю: дешёвка — латунь... В золотую калитку стучим. Солдат, совсем мальчишка, в камуфляже, с автоматом на плече открывает.

«Чего?»

«Заявление принесли, сынок».

«Сейчас».

Калитку захлопывает.

Ждём. Наконец входит высоченный мужик, широкий, как бульдозер, но какой-то корявый, косолапый. Словно горный дэв, которого в военную форму нарядили, а на пояс кобуру с пистолетом повесили.

«Чего надо?»

«Уважаемый, прошение хотим Зухуршо передать».

«Мне давай».

Почтенный Додихудо заявление подаёт. Дэв бумагу разворачивает, читает, на нас смотрит, ничего не говорит. Молчит.

«Уважаемый, небольшим подарком не побрезгуйте», — Додихудо говорит.

Пачку денег, в румол завёрнутую, протягивает. Дэв платок разматывает, пересчитывает.

«Завтра скажу, когда приходиться».

Гиёз просит:

«Уважаемый, за труд не сочтите Зухуршо сказать, что заявление Гиёз из Талхака привёз. Зухуршо меня хорошо знает».

Дэв, не попрощавшись, калитку захлопывает.

Назавтра опять ко дворцу являемся. Мальчишку с автоматом просим Занбура или Гафура вызвать. Не знаем, с кем из них вчера говорили.

«Сейчас».

Выходит дэв, такой же, как вчерашний, но ещё страшнее. Лицо и руки белыми пятнами покрыты. Болезнь у него, знать, такая: песи-махоу. Додихудо к нему обращается:

«Уважаемый, вчера бумагу отдали товарищу вашему. Хотим результат узнать. Насчёт сроков».

Молчит. Почтенный Додихудо из-за пазухи свёрток с деньгами достаёт, пятнистому дэву протягивает. Тот поворачивается, уходит. Калитку открытой оставляет. Заглянули. Эха, братцы! У Зухуршо весь передний двор асфальтом покрыт. Это он в городе, наверное, на такое насмотрелся. Как человек может в таком дворе жить? Смотрим, мальчишка бежит:

«Он сказал, вам на послезавтра назначено».

«А время какое?» — покойный Гиёз спрашивает.

«Про время ничего не сказал».

«Ничего, придём с утра пораньше, подождём, — почтенный Додихудо решает. — А если время уточнять, опять платить придётся».

В дом мулло Гирдака возвращаемся. Женщины куртоб готовят, в мехмонхону приносят. Хороший куртоб. Много масла...

Рассказ Ёдгора начал разливаться как засорившейся арык. Мы ценим искусство нашего друга, но он порой увлекается лишними подробностями, и кому-то из слушателей приходится браться за кетмень, расчищать затор.

— Ёдгор, друг, что дальше было? — спросил мулло Раззак. — Как к Зухуршо попали?

Однако арык словом не перекроешь.

— Вечером мулло Гирдак домой из мастерской возвращается. Чай пьём...

— Друг, о том, как вас угощали, в другой раз расскажешь.

Ёдгор вздохнул.

— Искусство рассказа не цените. А кто к вкусу халвы безразличен, того жмыхом потчуют, — сказал.

— Попотчуй нас жмыхом.

И Ёдгор продолжил:

— Чай пьём. Хороший у мулло Гирдака чай. Семьдесят восьмой. Мулло рассказывает: у Зухуршо молодая жена умерла. А мы не знаем, печалиться или радоваться.

Шер говорит:

«Это Бог нам помогает. Теперь у Зухуршо в Верхнем селении родни нет. Может, он дело в нашу пользу решит».

Мулло Гирдак его укоряет:

«За Бога не решай! Что Аллах думает, какие у него планы, какие намерения, никому знать не дано. Даже ангелы не знают».

«Зухуршо обязательно нашу сторону возьмёт, — покойный Гиёз говорит. — Мы друзьями были. В партшколе учились, в одной комнате жили. Оба земляки, оба санговарские. В Душанбе дарвазских ребят из Калай-Хумба нашли. Время свободное выдавалось, с ребятами на Варзобском озере плов делали. Мясо, рис, морковь купим, у повара в кафе «Ором» казан возьмём, на берегу реки из камней печку сложим... Один из ребят хорошо готовил. Вот он плов сварит, мы сядем, покушаем. Водку тоже немного пили. Отдыхали. Шутили, смеялись. Зухуршо много плова съесть мог. Правду сказать, очень жадным был. Я его чемпионом по скоростному пожиранию плова прозвал...»

Шер удивляется:

«Не обижался?»

«Нет, никакой обиды не было, — Гиёз говорит. — Зухуршо весёлый парень. Со всеми смеялся».

Рано утром к воротам являемся. В полдень дэв из калитки выходит:

«Эй, талхакские, заходите».

Во двор входим, перед дворцом чёрная «волга» припаркована. Справа ещё один дом, небольшой. Наверное, думаю, мехмонхона, пристройка для гостей. Входим. Небольшая комнатка коврами увешана, у стены курпача расстелена, на ней пятнистый дэв возлежит.

«Проверил их?» — у первого спрашивает.

Первый приказывает:

«Руки подними».

По всему телу меня охлопывает, будто подушку взбивает. Оружие ищет. Гиёза с Додихудо обшаривает.

«Чисто, — говорит. — Заходите».

На резную дверь указывает. Скидываем обувь. Покойный Гиёз, бедняга, долго возится, пока сапоги стягивает. На одном чулке дырка, он и чулки снимает, приличия ради к Зухуршо босиком входит.

Эха-а-а! Это не мехмонхона, оказалось. Кабинет как в райкоме... нет, чем в райкоме, даже ещё богаче. В глубине — письменный стол полированный. К нему другой длинный стол со стульями приставлен. Для заседаний. Зухуршо встаёт, навстречу идёт.

«Гиёз, дорогой, наконец свиделись! Давно я этой встречи ждал». В глазах счастье светится. Повторяет:

«Гиёз, ох, Гиёз...»

Будто долгожданный подарок получил. Удивительно мне: почему прежде Гиёза к себе не призвал? Почему к нему в Талхак не приехал? Вижу: даже покойный Гиёз удивляется. Хоть дружбой с Зухуршо хвалился, но подобной ласки не ожидал.

Почтенный Додихудо речь начинает, к Зухуршо обращается:

«Слышали мы про ваше горе...»

«Горе? Какое горе?» — Зухуршо спрашивает.

Почтенный Додихудо удивления не выказывает.

«О кончине вашей супруги говорю, — поясняет. — Вместе с вами о ней скорбим».

Зухуршо опечаленный вид принимает.

«Да, — говорит, — умерла».

За длинный стол нас усаживает, чай наливает, Гиёзу подаёт.

«Давно не виделись, дорогой. С тех времён...»

«Весёлое время было», — покойный Гиёз говорит.

«Да, весёлое, — Зухуршо соглашается. — И ты весёлым парнем был».

Покойный Гиёз смеётся:

«Э, брат, я и сейчас не совсем ещё грустный...»

«Шутил много», — Зухуршо продолжает.

Вижу, нет в его глазах ни веселья, ни радости. Но покойный Гиёз того не замечает.

«Все шутили, смеялись», — говорит.

«Над кем смеялись?» — Зухуршо спрашивает.

«Просто смеялись», — Гиёз говорит.

«Нет, — Зухуршо говорит. — Надо мной смеялись. Как ты меня называл, помнишь?»

Покойный Гиёз смеётся:

«Чемпионом прозвал».

«А слова какие прибавлял? — Зухуршо ласково спрашивает. — Забыл?»

Я в душе Бога молю, чтоб надоумил Гиёза злосчастное прозвище вслух не произносить. А он сам догадывается, о чём речь идёт.

«То шутка была, — оправдывается. — Если обидел, извини по старой дружбе».

«Шутка...» — Зухуршо повторяет.

Мрачнеет, в лице меняется, будто на мгновение какой-то джинн из него выглядывает: страшный, грозный. Мне страшно становится, думаю: «В своём ли Зухуршо уме?» Представляется мне, что бросится он сейчас на несчастного Гиёза, кусать и грызть зубами начнёт.

Гиёз того будто не замечает, повторяет:

«Просто дружеская шутка».

Зухуршо смеётся сердечно, весело:

«Эх, Гиёз, Гиёз...»

Думаю: «Не почудилось ли?» А Зухуршо продолжает ласково:

«Весёлый ты мужик, Гиёз, только шутить не умеешь. Не огорчайся, урок тебе дам, покажу, как надо».

«Хуш, хорошо, — Гиёз говорит. — За науку спасибо скажу».

Зухуршо кричит:

«Гафур, принеси!»

Пятнистый дэв входит, на стол верёвку из шерсти, чилбур, кладёт. Чилбур кольцом свёрнут, наружу лишь петля торчит.

«Надевай», — Зухуршо покойному Гиёзу приказывает.

Гиёз не понимает:

«Что надеть?»

«Петлю. Себе на шею».

Я думаю: «Зачем верёвка, зачем петля? Фокус какой-нибудь? Нет, наверное, Гиёза в глупое положение поставить, унижить желает».

Наверное, Гиёз о том же думает. Спрашивает:

«Зачем?»

«Э-э, глупый вопрос задаёшь. Повешу тебя».

«Друг, пожалуйста, другую шутку придумай, — Гиёз просит. — Эта очень опасная. Если что-нибудь не так окажется, задохнуться могу ненароком».

«Обязательно задохнёшься, — Зухуршо смеётся. — Иначе зачем вешать?»

Гиёз тоже улыбается:

«Эх, друг, ты всегда...»

Из Зухуршо вновь ужасный джинн вырывается:

«Не смей «ты» говорить! — шипит. — Вежливости тебя не учили? Культуре не учили? Ты ко мне «джаноб», господин, обращаться должен. «Таксиром» должен величать».

И вдруг опять весело смеётся:

«Вот так-то, Гиёз. — И добавляет дружески: — Ну, чего сидишь? Надевай».

Покойный Гиёз в лицо ему прямо смотрит, говорит:

«Товарищ Хушкадамов, я в такие игры не играю».

Зухуршо пятнистому Гафуру приказывает:

«Подержи его».

Гафур стол огибаёт, позади покойного Гиёза встёт, лапами его обхватывает. Зухуршо на почтенного Додихудо пальцем указывает, приказывает:

«Ты ему надень».

Почтенный Додихудо говорит:

«Таксир, воля ваша, но я такой грех на себя не возьму».

Зухуршо кричит:

«Занбур!»

Второй дэв входит.

«Принеси».

Дэв уходит. Мы сидим, молчим. Верёвка на столе лежит. Пятнистый дэв Гафур покойного Гиёза держит. Почтенного Додихудо дрожь бьёт, но держится он, страха не показывает, гордо сидит. Я думаю: «Что делать? Что делать?» Мысли в голову не идут.

Занбур входит, вторую верёвку с петлёй на стол кладёт. Зухуршо на почтенного Додихудо указывает:

«Подержи его».

Занбур стол обходит, сзади обеими руками почтенного Додихудо обхватывает, к спинке стула прижимает.

Зухуршо в меня пальцем тычет:

«Ты, — на почтенного Додихудо указывает, — ему надень».

Понимаю, что последний час пришёл. Ничего не отвечаю, о том думаю, чтобы с силами собраться, достоинства не уронить.

Тогда покойный Гиёз говорит громко:

«Эй, Гафур, руки убери! Отпусти меня».

Дэв, который его держит, на Зухуршо смотрит.

«Отпусти», — Зухуршо приказывает.

Гафур руки убирает, покойного Гиёза отпускает и, как статуя, позади стула встаёт. Покойный Гиёз верёвку берёт, петлю пошире расправляет, на шею надевает. Все сидят, молчат. Второй дэв, Занбур, почтенного Додихудо держит, не отпускает. Зухуршо дэвам приказывает:

«Соберите народ».

«Люди сейчас в поле», — Гафур говорит.

«Соберите тех, кто остался в кишлаке».

Занбур почтенного Додихудо отпускает, оба выходят.

До этого мига я себя ложной надеждой успокаивал. Думал, Зухуршо напугать Гиёза задумал. Злой шуткой отомстить. Теперь понимаю: раз народ собирает, исполнит, что пообещал. Вид у него довольный, будто хорошее дело сделал, своей работой гордится и тихо радуется. Опять в пиалу чай наливает, покойному Гиёзу подаёт:

«Возьми, пожалуйста».

Гиёз словно во сне чай принимает. Будто не понимает, что делает. Пиалу берет, отхлёбывает... Мне вдруг смешно становится — как наша жизнь нелепа. Один человек другого лишиться жизни собирается, чаем угощает, а тот пиалу принимает вежливо, как положено. Смех из меня наружу рвётся, удержать сил нет. Сам себя слышу, сам себе удивляюсь, ничего поделать не могу — хохочу, как деревенский девона-дурачок при виде осла, вскочившего на ослицу.

Зухуршо хмурится:

«Над кем смеёшься?»

Я не могу ни слова оправдания сказать, ни смех остановить. Спасибо, почтенный Додихудо — тысячу раз спасибо — за меня заступается:

«Не гневайтесь, таксир. Это из него страх смерти со смехом выходит».

Зухуршо усмехается:

«Не рано ли? Чилбур перед ним лежит».

Странная усмешка. Беззлобная и оттого страшная. Человек, который так усмехается, что угодно сотворить может. Почтенный Додихудо говорит:

«Извините нас, таксир. Мы люди простые, деревенские. Грубые горцы. Нас и впрямь, как вы сказали, никто учтивости не учил. Этот человек, Гиёз, хоть и коммунист, тоже тёмный...»

«Темнота не оправдание», — Зухуршо отвечает.

Тогда Додихудо, с нами сидящий, говорит:

«Гиёз, друг, хоть и давно ты этого уважаемого человека обидел, но лучше сейчас прощения попроси. Сам знаешь, как говорится: «Если забор сто лет назад покосился, лучше сейчас поправить, чем оставить кривым стоять» Иной раз гордость смирать приходится».

Покойный Гиёз гордость смирить не желает. Смелый человек...

В этом месте рассказ Ёдгора вновь прервали.

— Почему смелый? При чём здесь смелость?! — возмутился раис. — С начальством хитрить надо. Не в том смелость, чтоб начальнику перечить. Насквозь надо его видеть. Слабым и глупым

себя проявить. И того, что тебе надо, от него добиться. С начальником военную хитрость применять следует. Как с врагом. Вот в чём настоящая смелость. Власть как буря, мы как трава. Власть пролетела и сгнула, а мы пригнулись и вновь выпрямились...

— Ваша правда, раис, — ответил Ёдгор. — Но покойный Гиёз не пригнулся. За бесчестье почёл. Наоборот — выпрямился, на Зухуршо смело смотрит. А Зухуршо внезапно встаёт, выходит, ничего не сказав. Смех мой сам собой проходит, слабость меня одолевает, подобная той, что охватывает, говорят, человека в смертный час.

Почтенный Додихудо говорит:

«Мы не знаем, что с нами будет. Этот человек способен мстить за любую мелочь. Может, ещё решит нас с Ёдгором казнить. Сейчас время намаза. Давайте помолимся. Возможно, в последний раз».

«Зачем молиться?! — покойный Гиёз кричит, отчаяние выказывает. Конец верёвки, которая на его шее висит, хватает, дёргает яростно, выкрикивает: — Мне только в ад дорога. В рай никогда не попаду...»

Голову на стол роняет, в голос плачет...

И сам Ёдгор рассказ прервал и заплакал. Мы тоже молчали. Наконец мулло Раззак сказал:

— Да, страшна такая смерть. Мало того, что позорная, но для души губительная. Когда человек умирает, душа выходит через ноздри и поднимается к Богу. Но если смерть наступает в петле, естественный выход закрыт, и душа оскверняется, потому что вырывается через задний проход вместе с нечистотами. Она не может попасть в рай, а идёт прямо в ад.

Ёдгор утёр слёзы:

— Чем мы могли несчастному Гиёзу помочь, как утешить? Он плачет, я к нему подхожу, руку на плечо кладу:

«Надежды не теряй, брат. Будет, как Бог решит. Иншалло...»

С шеи Гиёза петлю снимаю, на стол бросаю. Молитвенные коврики в доме у мулло Гирдака оставлены. Расстилаем платки — у кого какой имеется. Молиться начинаем. Дверь открывается, Занбур кричит: «Эй, талхакские, выходите».

Мы не откликаемся, начатый ракат до конца доводим. Занбур в кабинет заходит.

«Э, перед смертью не намолитесь. Скоро в загробном мире будете, с Богом лично поговорите. Идём быстрее, Зухуршо ждать не любит».

Молитву заканчиваем, к двери идём. Занбур кричит:

«Главное забыли. Без этого, — верёвки со стола поднимает, — до Бога не доберётесь».

Спасибо, петлю на шею покойному Гиёзу не надевает. Наверное, тоже сострадание имеет...

Шокир рассказ Ёдгора прервал, из темноты, от двери, голос подал:

— Сострадание ни при чём. Если Гиёза с верёвкой на шее вести, он с петлёй свыкнется, смирится. А так у него какая-то надежда останется. Самое время — на него петлю надеть...

Неожиданная мудрость Гороха всех удивила. Мы переглянулись, Ёдгор рассказ продолжил:

— Выходим из кабинета, обувь надеваем. Почтенный Додихудо — в ичигах: ноги в калоши суёт. Я кое-как, шнурки не развязывая, ступни в туфли вбиваю. Покойный Гиёз на пол садится, чулки не надевает — до того ли ему! — сапог за голенище тянет, никак натянуть не может...

Занбур говорит грубо:

«Зухуршо ждать не любит. Зачем тебе теперь сапоги?» — Гиёза за шиворот хватает, рывком на ноги поднимает.

Покойный Гиёз во двор босым вылетает. С дэвом из-за сапог драться — честь ронять. За золотые ворота выходим. На улице народ толпился. Женщины и старики. Видят нас, волнуются, вздыхают. Позади народа аскеры стоят, боевики. С автоматами.

«У забора стойте», — Занбур командует, нас в сторону пихает.

Тем временем Зухуршо из золотых ворот выходит. Вах! Я глазам не верю. Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит. Как шарф, который афганцы на себя накидывают. Змея голову вытягивает, вперёд смотрит. Хвост шевелится. Змея в серых и чёрных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-чёрный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч растёт. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята. Змей на плечах шевелится. Смотрю, военный мужик со стороны подходит. Впереди всех встаёт, подбоченившись...

На этом наш совхозный раис счёл необходимым вставить пояснение и перебил рассказ Ёдгора:

— Это, конечно, Даврон был. Говорят, он у Зухуршо военный начальник. Говорят, Зухуршо воевать не умеет. Вместо него Даврон воюет.

— Не знаю,— ответил Ёдгор.— Наверное, он. Другой не посмел бы на Зухуршо дерзко смотреть. Но я, стоя у ворот, о том не думал. Гадал, что с нами будет. Зухуршо кричит:

«Эй, люди! Надо зиёрат совершить — святой мазор Хазарати-Арчо посетить, мазору подношение сделать».

Военный мужик плюёт и уходит. А Зухуршо словно того не замечает, большими шагами налево вверх по улице направляется. Дэв покойного Гиёза толкает.

«Коммунисты, вперёд! — Нам с почтенным Додихудо кивает: — И вы тоже. Дружным коллективом — на зиёрат».

За нами весь народ тянется. Боевики посмеиваются, позади держатся. Чтобы народ не разбежался, наверное. За кишлак выходим, вверх по тропе подниматься начинаем. Покойный Гиёз впереди меня идёт, босыми ногами по острым камням ступает. Ноги медленно, с усилием переставляет, будто бурлящий горный поток — незримый, беззвучный — вброд пересекает. Будто по колено в смерти бредёт.

Я в спину ему смотрю и думаю: «Известно, что у человека две души — джон и рух. Какая из них из Гиёза через неподобающее отверстие выйдет? И что с другой станется?»

Рассказ Ёдгора мулло Раззак перебил:

— Джон в момент смерти к Богу поднимается. Рух на земле, остаётся... Но в такой миг о подобных вещах думать грешно.

От двери Шокир вновь голос подал:

— Это Ёдгор страх заглушал. О греховных пустяках размышлял, чтоб о страшном не думать.

Все, кто в мехмонхоне сидели, опять молча переглянулись. Кто б мог сказать, что Горох на столь тонкие мысли способен. Пришли мне на ум слова Хирс-зода, соловья Талхака:

С хрустальным кувшином убогий бурдюк не сравнится,
Но и в нём временами хрустальная влага хранится.

Ёдгор тюбетейку на затылок сбил:

— Не знаю. Может быть. Сейчас стыдно вспоминать, но в голове крутилось: «Рух или джон? А если обе выходят, то какая выйдет первой?» Долго идём, достигаем мазора Хазрати-арчо, где священное дерево стоит...»

И опять раис сердито прервал Ёдгора:

— Дальше говори. Мазор все знают.

Грубо сказал, но верно. Зачем объяснять то, что всем известно? Высоко в горах на каменном уступе одинокое дерево растёт. Арча, широкая, раскидистая. Чувствуется, что не простое дерево. Словно какая-то сила от него исходит, незримое сияние. Старички рассказывают, что некогда под ним останавливались святой эшон Курбон из Ёзганда. Бежали они из Тавильдары от тамошнего князька — шо, имени которого сейчас никто и не вспомнит. Шо послал вслед наукаров, чтоб те принесли голову эшона. Шейх в преклонных были годах, выбились из сил, сели под арчой отдохнуть. Подоспели наукары, но арча прикрыла ветвями святого старца, воины мимо прошли, не увидели шейха. Эшон в благодарность благословили дерево. С тех пор священная арча ото всех болезней помогает. Каждый, кто посещает мазор или просто проходит мимо, непременно приносит подношение — дарит дереву белую или красную полоску ткани. Все нижние ветки увешаны цветными тряпочками, как новогодняя ёлка в русских домах на Новый год. По всему Дарвазу молва о мазоре расходится. Потому раис и сердился...

А Ёдгор, слова нужного раису в возражение не нашедши, продолжил рассказ:

— Около священной арчи останавливаемся. Справа народ толпится. Слева — Зухуршо. Посреди боевики стоят. Тот дэв, Занбур, что покойного Гиёза подгонял, нас в сторону толкает. Пятнистый Гафур сбоку от Зухуршо встаёт, глазами по окружающей толпе шарит. Кино, наверное, посмотрелся, где телохранители какого-нибудь президента стерегут. А Зухуршо от кого охранять? Вокруг — бабы, ребятишки да старики. Ещё один русский был. Сказали: корреспондент из Москвы. Говорят, вместе с Зухуршо приехал.

Зухуршо приосанивается, змея на себе поправляет, вперёд выходит.

«Люди Воруха, посмотрите на этого человека. Он хочет, чтобы старые времена вернулись. Желает, чтобы вновь народ от зулма, угнетения, страдал. Новой жизни помешать задумал. Но я на вашу защиту встал. Все планы этого человека, коммуниста, нарушил. И на ваших глазах его казни предам, чтобы не посягал он более на народное счастье и народную свободу».

Пятнистому Гафуру знак подаёт, тот покойного Гиёза выводит, возле священной арчи ставит.

Почтенный Додихудо к Зухуршо подходит:

«Старые люди рассказывали, что в Бухаре, когда в прежние времена человека на виселице казнили, прежде на шее надрез делали, чтобы душа могла через горло выйти. Окажите Гиёзу милость, таксир. Прикажите, чтобы ему горло надрезали».

Зухуршо усмехается:

«Теперь не старые времена...» — и Гафуру кивает.

Гафур верёвку с плеча снимает, расправляет, на шею Гиёзу петлю надевает. Покойный Гиёз выпрямляется гордо, голову высоко поднимает, кричит громким голосом:

«Люди Воруха! Лжёт Зухуршо. Я к нему за справедливостью пришёл. За защитой пришёл...»

«Пусть замолчит», — Зухуршо приказывает.

Гафур шею Гиёза, как борец, в захват берёт, горло сдавливают. Гиёз хрипит, замолкает.

Зухуршо кричит:

«Эй, осторожнее! Не удави его...»

Гафур захват ослабляет. Зухуршо второму дэву командует:

«Занбур, иди помоги».

Второй дэв к Гиёзу подходит, свободный конец верёвки принимает, вверх смотрит, в затылке чешет, верёвку измерять начинает — к плечу и вытянутой руке прикладывает, перехватывает, опять прикладывает. То на верёвку смотрит, то на дерево, будто что-то прикидывает.

«Эй, мудрецы, о чём задумались?» — Зухуршо сердится.

«Зухуршо, как быть? — второй дэв, Занбур, в ответ кричит. — На нижней ветке вешать, у него ноги до земли достают. Если на той, что повыше, верёвка коротка».

«Ещё одну подвяжи».

«Другие верёвки в конторе на столе остались».

«Эй, Занбур, ты что, в школе не учился? Геометрии не знаешь? Пусть он на нижнюю ветку залезет, а ты заберись повыше и верёвку привяжи».

Занбур конец верёвки в зубы берёт, подтягивается, брюхом на ветку ложится, а потом садится кое-как, ноги свесив.

Пятнистый Гафур захват отпускает, Гиёза кулаком в бок тычет: «К нему лезь».

Гиёз на него смотрит, отворачивается. Гафур опять кулак заносит, но Зухуршо опять кричит:

«Пусть стоит, где стоит! На нижней вешайте».

«Как это?»

«А ты мозгами пошевели, если есть, чем шевелить».

Понимаю вдруг, что Зухуршо задумал. Желает, чтобы Гиёз себя унизил. Чтоб за жизнь цепляться стал, о достоинстве и чести забыв.

Тем временем Гафур приказывает:

«Эй, Занбур, слезай».

Занбур с ветки спрыгивает. Гафур конец верёвки у него берёт, через нижнюю ветку перекидывает. Петлю на покойном Гиёзе слегка затягивает, чтобы плотно охватывала, но не душила. Чилбур за свободный конец подтягивает, длину верёвки выбирает, несколько раз вокруг ветки обматывает. Вдумчиво работает, неспешно, деловито. Узел завязывает, конец закрепляет.

«Готово!»

Смелый человек, Гиёз, но сейчас смотрит как ребёнок, робко, растерянно. Однако страх пересиливает. Кричит громко:

«Эй, люди!..»

Я думаю: «Кому говорит, зачем? Старые люди, женщины, что они могут? Их удел — подчиняться, терпеть. Это он ко мне обращается. Я мужчина, я сильный...» Себя спрашиваю: «Разве ты мужчина, Ёдгор? Человека на твоих глазах убивают. Односельчанина. Ты стоишь, смотришь... Почему молчишь? Почему вступить за него боишься?»

Ёдгор рассказ прервал и, помолчав, сказал:

— Это в моей жизни самый страшный миг был. Не потому, что казнь страшна. Нет, слабость свою ощутил. Как мне теперь себя уважать?

Мулло Раззак упрекнул:

— Нельзя так говорить, Ёдгор. И так думать грешно. Бог всё решает. Кому жить и кому умереть. И как умрёт человек — тоже он выбирает. Аллах тебя жизнью наделил, твоя обязанность жизнь беречь. Какое право имеешь судьёй себя ставить и судить, кому как умереть следует?

— Я не судил, — сказал Ёдгор. — Как мог судить? Последний час Гиёза наступил, а я и смотреть не могу, и отвернуться не в силах. Гиёз к людям обращается. Пятнистый дэв с ним рядом, сигнала ждёт. Занбур в сторону смотрит — туда, где женщины стоят. Наверное, молодых разглядывает.

Тем временем Зухуршо говорит:

«Во имя Бога... Омин».

Гафур головой согласно кивает: «Хоп», Гиёза по ногам с силой бьёт. Подсечку, как борец, проводит. Гиёз опору теряет, на верёвке

повисает. Женщины разом: «Ох! Вайдод!» — кричат. Плачут, отворачиваются. Глаза рукавом закрывают.

«Эй, бабы! — Зухуршо кричит. — Всем смотреть! Кто смотреть не станет, тому плохо будет...»

Кое-как женщины опять к дереву поворачиваются, искоса, робея, на несчастного Гиёза, повисшего, смотрят. Сильный человек, Гиёз, упорный. На ноги встать пытается. Руки поднимает, за верёвку хватается. Ноги подтягивает... Встаёт! Лицо от натуги красное. Пальцы под петлю запускает, распустить силится.

Гафур опять мощную подножку ему даёт. Ноги из-под Гиёза опять вылетают, он на верёвке повисает, пальцы петлёй прижаты. Очень сильный человек, Гиёз. Опять ноги под себя подбирает, опять на ноги встаёт.

«Зухуршо, надо ему руки связать», — Гафур предлагает.

«Не надо, — Зухуршо смеётся. — Какой ты палвон, если с деревенщиной справиться не можешь? Может, в гуштин с ним поиграешь? Поберегись, Гафур, он ведь тебя поборет».

Сердится Гафур. Злится. Изю всех сил Гиёза по ногам пинает. Но Гиёз опять встать силы находит. Не удаётся Зухуршо его сломать, мужественно Гиёз за жизнь борется. До последнего вдоха. И вздохов не осталось, дышать нечем, но борется.

В это время Гафур второго дэва, Занбура, окликает:

«Кончай на баб глазеть. Помоги».

Занбур не понимает, смотрит тупо.

«Что делать?»

«Что делать, что делать! Ноги ему подними».

Занбур нагибается, правую босую ногу Гиёза подхватывает, вверх поднимает. Гиёз на одной ноге удерживается. Гафур по ноге бьёт. Несчастный Гиёз повисает, свободной ногой в воздухе шарит, опору найти не может. Руками за верёвку ухватиться пытается, верёвку найти не может. Трепыхается, бьётся, как рыба на берегу.

Я больше смотреть не могу. Глаза закрываю. Слышу, почтенный Додихудо шепчет суру Ёсин, которую умирающим читают. И ещё слышу — не то хрип, не то стон. Слышу, Гафур кричит:

«Крепче держи! Не отпуская».

Тишина настала. Глаза открываю, на арчу не смотрю. Зухуршо к нам оборачивается:

— Суд мой суров, но справедлив. Каждый по своим делам получает. Этот человек передо мной провинился, я его наказал. Ваше

дело решу по справедливости. Отниму у Ёра пастбище. Вазиронцы не будут им владеть...

И мы опять не знаем, печалиться нам или радоваться. Кровью сердце оплакиваем несчастного Гиёза, а души ликуют из-за обретенного пастбища.

Зухуршо приказывает:

«Не снимать! Пусть висит. Старик из Талхака, ты понял? Не снимать. Это моё мазору подношение».

Ёдгор вновь замолчал, а вместо него закончил престарелый Додихудо:

— Через день разрешил. Передали нам его слова: «Повисел и хватит с него чести. Смердеть начнёт, святой мазор зловонием осквернять. Пусть талхакцы своего протухшего парторга забирают». Мы сняли, домой повезли...

Ёдгор спохватился и, не желая уступать роли рассказчика, продолжил:

— Да, домой везём. Едем, печалимся, Шер говорит:

«Двигатель не зря стучал. Войны испугались, теперь покойника везём».

И опять Шокир из темноты своё слово ввернул:

— Говорят и по-другому: «Когда телёнок умирает, корова дойной становится».

Поморщились мы, но никто Гороха не одёрнул, чтоб даже намёка не возникло, что неуместная эта поговорка может относиться к покойному Гиёзу.

Престарелый Додихудо сказал:

— Гиёз пастбище кишлаку вернул.

— Да,— согласился счетовод,— покойный Гиёз за всех жертвой стал.

— Не мы его в жертву принесли,— уточнил мулло Раззак.

Раис сказал:

— Скота уже нет. Поздно, поздно мы пастбище назад заполучили.

— Нужно его вазиронцам в аренду на год отдать,— предложил счетовод.— Всё равно их скот половину травы объел. Пусть за пользование нашим пастбищем часть нового приплода отдадут. Или деньгами можно взять.

— Приплодом лучше,— решил раис.— Да и маток бы несколько в придачу.

— Считать надо, калькуляцию составить надо,— сказал счетовод.

Начали спорить, судить да обсуждать, как вновь обрётённым пастбищем распорядиться. И только я один выкрикнул бессмысленный вопрос, заранее зная, какой получу ответ:

— Почему?!

Все замолчали, удивившись. Я спросил:

— Мулло, скажите, как такое может быть? Почему один человек — злой, плохой человек, недостойный — может рая лишить другого человека? Хорошего, достойного...

Мулло Раззак сказал:

— Злой человек — тоже Божье орудие.

— Значит, тот человек, которого он рая лишил, не воскреснет? Не оживёт в Судный день, когда все правоверные встанут из могил?

— Увы,— сказал мулло.

— Но почему?! Почему?

— Не нам то знать.

И я зарыдал. Рыдал громко как ребёнок. Помимо моей воли вырывались эти слёзы.

— Эх, Джоруб, Джоруб,— сказал мулло.— Не плачь, успокойся. Грех сокрушаться, смирись. Такова судьба.

Но я не хотел успокаиваться. Не мог смириться. Я образованный человек: анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что и душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие, и теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая.

8

Олег

Странное, двойственное чувство...

Никогда прежде мне не доводилось столь обострённо чувствовать материальность мира. Ярко освещённые горные вершины врезались в неистово синее небо. Холодный воздух сгущался в прозрачный ледяной коллоид. Под ногами незыблемо покоилась базальтовая плоскость, на которой высилась священная арча. Вещественность субстанции достигала максимального предела

и, тем не менее, её плотность многократно возростала в центральной зоне — там, где с ветки дерева свисал, касаясь ногами земли, труп повешенного.

И вместе с тем, окружающее казалось абсолютно нереальным. Стоя в одиночестве на опустевшей поляне, я слышал вдали смех боевиков, спускающихся по тропе. Видел, как солнце, будто обезумевший гиперреалист, обрисовывает узкими чёрными тенями каждый выступ, каждую трещину, каждый бугорок на каменных склонах. Студёный ветер охлаждал лицо и горло. Однако меня здесь словно не было. Я видел, слышал, осязал, сознавал, но сам отсутствовал. Мне чудилось, что я заглядываю в ущелье откуда-то из иной реальности...

В каком-то смысле, иллюзорное ощущение соответствовало действительности. Моё присутствие ничего не меняло. Ни на йоту не влияло на происходящее. Более того, я будто был отделён от здешних людей другим измерением. Они смотрели на меня и будто не видели. Как в фильме «Призрак». Мне даже не приходилось напоминать себе: это чужая страна, и я — посторонний...

Нелегко считать чужой землю, где родился, провёл детство, отрочество и... Нет, юность пришлась на Ленинград. После смерти отца мама переехала к бабушке и утатила меня из солнечного края в туманную северную Пальмиру. Пришлось нехотя вращать в холодную почву, заводить новых знакомых и друзей и скучать по старым. Я тосковал по свету, теплу, ярким краскам, пряным родным запахам, душевным людским отношениям. Катастрофически недоставало солнца. Особенно зимой. Четыре часа дня, а на улице темень глухая, как в полночь, фонари, слякоть...

Из-за ностальгии я после школы поступил на Восточный факультет и придумал утешительную формулу: «Таджикистан — родина, отечество — Россия». Правда, несколько лет спустя родина и отечество разбежались в разные стороны, а я оказался в роли дитяти из распавшегося семейства.

Так что ныне я на родине чужак. На мне нет ответственности за то, что происходит. В этом мире я только прохожий. Моё дело — наблюдать и не вмешиваться. Но сколько себя ни убеждал, на душе было по-прежнему мерзко. Казнь потрясла меня. Я снимал машинально, почти не глядя в видоискатель, и все же снимал. Съёмка была моим оправданием. Я не мог остановить казнь, а фотокамера как бы подтверждала моё право не вмешиваться. Мы,

репортёры, — лишь свидетели, мы не участвуем в событиях, всего лишь фиксируем... Чрезвычайно удобно этим «мы» причислять себя к сообществу, в котором такая позиция не просто правило, но закон, и, следовательно, мне лично не в чем себя винить. Такова профессия. Я в Азии не прихоти ради...

В этом я лукавлю лишь отчасти. В Таджикистан меня действительно послала редакция газеты, и я был рад возможности побывать на родине и хоть как-то соприкоснуться с её судьбой в страшное время.

Война вспыхнула около года назад, в конце июня девяносто второго года. Именно вспыхнула — клише, несмотря на банальность, точно передаёт скорость, с какой разворачивались события. Война назревала исподволь на многотысячных митингах, и вдруг наведённое коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что началось. Бились между собой отряды полевых командиров, попутно уничтожая «соплеменников» противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу.

У таджиков обострённое чувство родины. Конечно, я тоже считаю Таджикистан своей родиной и испытал немалое волнение, когда самолёт из Москвы приземлился в душанбинском аэропорту, но вряд ли мои эмоции были столь же сильны и непосредственны, как у молоденького таджика, сидевшего в соседнем кресле. Глядя в иллюминатор на утреннее солнце, затуманенное пеленой городского смога, он прошептал восторженно: «Офтоби Тоджикистон». Солнце Таджикистана. Трудно передать, сколько в этих словах прозвучало ликования и благоговения.

То были чувства скитальца, истосковавшегося на чужбине. Хорошо выразил их последний бухарский эмир Алим-хан, бежавший в Афганистан и умерший в Кабуле. Говорят, он завещал выбить на могильной плите:

Князь на чужбине ничтожен как грязь,
Нищий, что умер на родине, — князь.

У себя дома таджик представляет родину несколько по-иному. Я впервые понял это, когда после второго курса приехал на практику в Таджикистан и стоял как-то с одним молодым пастухом на вершине горы. Внизу расстилалось прекрасное горное ущелье. Я не удержался и сказал спутнику: «Как красива твоя родина». Вы-

спренность фразы отчасти извиняет её искренность и то, что по-таджикски она прозвучала достаточно коряво — язык в то время я знал намного хуже, чем сейчас. Под родиной я подразумевал все окрестные места, а, может, даже — весь Таджикистан. Спутник ответил: «Это не моя родина. Это Дарай-Шур, Солёное ущелье. Моя родина — в Дарай-Гургон, Волчьем ущелье», — и он указал на узкую долинку, видневшуюся в полукилометре.

Сельский уроженец ощущает себя таджиком лишь за пределами Таджикистана. При встрече с жителями соседних кишлаков, он ощущает себя талхакцем или ворухцем — представителем селения, откуда он родом. Выбираясь в область, чувствует себя представителем своего района. И так далее. Таджикские интеллигенты и прежде сокрушалась, что народ не сплочён в нацию, — время показало страшный результат этнической разобщённости. В гражданской войне те, для кого солнце восходит над Каратегинном, уничтожали тех, для кого солнце восходит над Кулябом, а им отвечали тем же. Вырезали целые кишлаки, людей убивали с изуверской изобретательностью — заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин...

Потери среди мирного населения подсчитать невозможно. Сейчас, когда на большей части территории пожар войны начал затухать, а его очаги переместились из долин на горные окраины, обнаруживаются все новые и новые захоронения. Иные трупы зарыты где-нибудь на краю хлопкового поля поодиночке или в братских могилах, иные завалены камнями в расщелинах, иных убитых унесли невесть куда горные воды, а тысячи и тысячи живых бежали в Афганистан, Узбекистан, Россию... Потому столь разнятся подсчёты количества жертв — от двадцати пяти до ста пятидесяти тысяч человек.

Я с ужасом следил за событиями. Издали. По газетам, радио и телевидению. Один мой товарищ, проживший в Таджикистане много лет, насмотревшись телевизионных репортажей, как-то воскликнул: «Мы-то всегда считали, что таджики — удивительно красивый народ! Мягкий, доброжелательный, трудолюбивый, весёлый. Откуда у них патологическая жестокость? Выходит, они совсем не такие, какими казались...» Он был несправедлив. Убивали не трудолюбивые и весёлые. Это их убивали. «А ты вспомни нашу гражданскую войну, — ответил я. — Лютовали не меньше, а то, пожалуй, поболее». Во время катаклизмов всегда всплывают на по-

верхность садисты, психопаты, прирождённые убийцы. А в Таджикистане на волю было отпущено ещё и немало преступников.

Не случайно, думаю, из кровавой круговерти выросла фигура народного вождя — вора в законе деда Сангака. По тому, что о нём известно, — фантастическая личность. Шесть судимостей и двадцать три года в заключении. Лет пятнадцать назад, выйдя в очередной раз на свободу, он встал за буфетный прилавок, и всяк уважительно звал его дядей Сашей. Буфетчика из ресторана «Лаззат», знали все в Кулябе. В начале войны о нём узнал весь Таджикистан, а после того, как кулябцы одержали верх, он стал первым человеком в стране. Формально Сангак — просто лидер Народного фронта, боевого объединения кулябцев. Однако это он на исторической сессии Верховного Совета страны, где избирали главу государства, стоял на трибуне в тельняшке и меховой шапке и грозил пальцем депутатам: «Мы уничтожим демократическую мразь в Таджикистане и доберёмся до России». Именно он, Сангак, а не новый глава государства, обратился к народу с телевизионным поздравлением, и народ понял обращение как указание на то, кто главный в стране. Впрочем, если не вдаваться в подробности, главу государства назначил тоже Сангак...

Ещё до начала войны я переехал из Питера в Москву — востоковедение стало никому не нужным — и чудом устроился в газету «Совершенно секретно». Меня командировали взять интервью у этого экзотического персонажа, рецидивиста и национального героя в одном лице.

«Ты, надеюсь, не думаешь, что дедушка Сангак гуляет сам по себе? — спросил шеф отдела расследований, когда мы обсуждали задание. — Дескать, стихийный предводитель народных масс».

Я ответил с законным апломбом выпускника Восточного факультета: «Традиция. В Азии такое случалось — разбойники становились правителями. Хоть в древности, хоть...»

«Это все романтика, — перебил меня шеф. — А на деле грубый экономический реализм. Есть по меньшей мере два фактора. Во-первых, криминальная система. Во-вторых, соседний Афганистан, гигантский комбинат по производству наркотиков. Прежние власти мешали транзиту. Было необходимо открыть канал. Вот тебе суть и причина войны. Криминалитет начал бучу и поставил во главе «народного движения» своего человека».

Я понимал, что он имеет в виду под криминальной системой. К началу шестидесятых годов в Советском Союзе возродилась

почти полностью разрушенная в конце пятидесятых воровская традиция, и в недрах страны сложилось тайное криминальное «государство», управляемое своей собственной «командно-административной системой», чуть ли не точным подобием советской государственной машины. Вся страна была поделена на области, каждой из которых руководил как бы секретарь теневого криминального обкома — вор, уполномоченный «центром» вершить суд и закон на подвластной ему территории.

И все же эффектная гипотеза шефа была слишком примитивной. Криминальная система — лишь малая часть тех невидимых подводных течений, что перемещались под видимой поверхностью боев и митингов, затягивая в завихрения сотни и тысячи людей. Я было начал: «Вообще-то, такие масштабные события не сводятся к одной причине или паре факторов...»

Шеф оскорбился: «Олег, ты все же не алкаша у пивного ларька просвещаешь. Я сам десятка два резонов назову. Начиная от борьбы региональных кланов до битвы личных честолюбий и кровной мести. Дерутся из-за ресурсов — земли, хлопка, алюминия, золота... Но прежде всего из-за трафика наркотиков. Потому-то Сангак — ключевая фигура в событиях. Точнее, ключ к ним, который ясно показывает, кто заказывает музыку. Постарайся побольше об этом раскопать».

Меня самого больше интересовало не тюремное прошлое вождя, а то, как он возвысился. Даже если Сангака и вправду выдвинула уголовная система, у него должно было, помимо того, иметься право на высокое положение, а в Средней Азии таким правом обладает лишь «белая кость». Простолюдины народными вождями не становятся. Конечно, при советской власти наверх прорвалось немало людей безродных, но то были иные условия и иное время...

Я прилетел в Душанбе и договорился с Сангаком по телефону. Оставалось добраться до его штаба. Я отправился на автовокзал, не особо рассчитывая на успех. И удача! Между Душанбе и Курган-Тюбе курсировали рейсовые автобусы. Не нарядные лайнеры советских мирных времён, а какие-то дряхлые раздолбанные рыдваны, но и на том спасибо.

До войны я бывал в Курган-тюбе, древнем городе, который не выглядит ни древним, ни восточным. В центре — невысокие, в три-четыре этажа, здания. На периферии — микрорайоны, заводы, фабрики, мастерские, автобазы, частные домики. На дальних окраинах — глиняные кибитки. Обычный советский областной

центр, зелёный и очень уютный, как большинство городов в Таджикистане.

Осенью прошлого, девяносто второго года, от уюта не осталось и следа. По описаниям очевидцев, Курган-Тюбе отдалённо напоминал Сталинград: дымящиеся, разрушенные дома, безлюдные улицы, кучи мусора, покосившиеся столбы электропередач, сожжённые автомобили... Город несколько раз переходил из рук в руки, и наконец в конце сентября кулябцы из Народного фронта разгромили отряды оппозиции и взяли контроль над Вахшской долиной.

Полной разрухи я не застал. В центре города мостовые и тротуары были относительно чистыми, а о войне напоминали лишь отдельные, разрушенные войной здания. По улицам брели редкие прохожие с тревожными и озабоченными лицами. У закрытых хлебных магазинов терпеливо дожидались открытия толпы горожан.

В вестибюле гостиницы за стойкой восседала восточная красавица средних лет, полнотелая, густо набелённая, ярко нарумяненная. Её виски украшали чудовищного размера локоны в виде полумесяца — так называемые «зульфы», воспетые не одной сотней восточных поэтов. Моё удостоверение не произвело на неё впечатления. О знаменитой газете в Курган-Тюбе даже не слыхивали. Я любезничал с красавицей, когда в гостиницу ввалилась команда телевизионщиков. Я узнал одного из них — высокого парня в куртке «сафари». Это был Джахонгир Каримов. Знакомы мы не были, я лишь следил за его военными репортажами в «Новостях» по российскому телевидению.

С улицы донёсся выстрел. Стреляли совсем рядом, напротив входа. Восточная красавица не дрогнула. Я обернулся. Телевизионщики спокойно возились со своим хозяйством. Джахонгир поймал мой встревоженный взгляд.

— Выхлоп. Грузовик проехал.

Пока я придумывал шутку, чтобы скрыть смущение, он понимающе улыбнулся и кивнул на мой кофр:

— Коллега?

— Вроде того.

Я шагнул к нему и назвалса. Подошли два спутника Джахонгира.

— Ахмад,— представился долговязый, оператор, судя по камере в руках.

— Он наш Би-би-си,— пояснил, ухмыляясь, второй.

И без объяснений было понятно, что он шофёр съёмочной группы. Я давно заметил (а в Таджикистане это проявляется особенно ярко), что всех водителей окружает особый ореол значительности. Кого бы ни возил шофёр, он всегда держится немного в стороне, словно бессознательно подчёркивая свою второстепенность, социальную подчинённость и, вместе с тем, превосходство над пассажирами. Но эти трое выглядели сплочённой, дружной командой.

Мы пожали друг другу руки, и Джахонгир спросил:

— Бывал прежде в Таджикистане?

— Приходилось. Сейчас приехал к Сангаку, взять интервью.

— Олег, оказывается, вы наш конкурент, — сказал Би-би-си. —

Мы тоже Сангака снимать будем. Завтра утром он в Пяндже с беженцами встречается.

— Мне на сегодня назначил, — сказал я. — На два часа.

— Подброшу тебя в штаб, — сказал Джахонгир. — Надо туда заглянуть, разведать, что и как. Подожди, только аппаратуру в номер закинем.

Я взял у красавицы ключ, перекинул кофр с фотокамерой через одно плечо, сумку через другое и подхватил с пола моток кабеля.

— Олег, не берите! Тяжело. Мы сами отнесём, — всполошился Би-би-си.

— Да, ладно... Помогу, — и я потащил кабель к лестнице.

Штаб Народного фронта размещался в здании бывшего обкома партии. Мы вошли в просторную приёмную, обставленную с провинциальной обкомовской роскошью. Слева — дверь, обитая, как принято, стёганной кожей. Рядом стол, а за ним — молодой человек в аккуратном отглаженном камуфляже. Адъютант или секретарь. Поодаль ждали приёма просители: крестьяне окрестных сел, горожане, старухи... Народный фронт — единственная реальная власть в городе.

Мы подошли к столу адъютанта. Он встал и не без энтузиазма, но с достоинством пожал руку Джахонгиру. Репортёра в штабе хорошо знали. Я протянул редакционное удостоверение. Адъютант внимательно его изучил, вышел из-за стола и скрылся за кожаной дверью. Вскоре вернулся:

— Подождите, скоро примет. Но долго не говорите. Сегодня его японское телевидение снимает.

— Ишь ты! — присвистнул Джахонгир. — Какой канал?

— Не помню, трудное слово. У меня записано.

— Будь другом, глянь.

Адъютант замялся:

— Подожди, позже скажу.

— Государственная тайна?

— Э, секрета нет. Просто, понимаешь... — начал было мямлить адъютант, но вдруг махнул рукой: — А, ладно. Сейчас посмотрю.

Перед ним на столе лежал поверх бумаг короткий автомат. Должно быть, УЗИ. Адъютант покосился на закрытую дверь кабинета и осторожно потянул листок, придавленный ствольной коробкой.

Джахонгир засмеялся:

— Заминирован он у тебя, что ли? Убери, неудобно же.

— Файзали оставил, — неловко проговорил адъютант.

Он всё-таки извлёк бумажку и прочитал название телеканала, которое мне ничего не говорило, да и Джахонгиру, кажется, тоже. Мы отошли в сторону.

— Это он о Файзали Саидове? — спросил я.

— Ну да. Слышал о нашем герое?

Кто же о нём не слышал? Файзали — полевой командир, фигура, почти столь же легендарная, как Сангак. Рассказывают, что в самом начале войны боевики оппозиции захватили отца Файзали. Полевой командир умолял вернуть ему отца живым, предлагал взамен отпустить взятых им пленных. Отца принесли в мешке. Он действительно был жив и ещё дышал. Старика зверски пытали, вырвали ногти, лоскутами содрали кожу... И Файзали начал мстить за отца. Прославился он не только безумной храбростью, но и жестокостью. Одержимый жаждой мести, действует лишь на свой страх и риск. Не подчиняется никому, в том числе Сангаку.

Пока мы говорили, из кабинета Сангака вышел парень в чёрной робе. Приёмная разом затихла, я понял, что это и есть Файзали. Он подхватил со стола автомат и, ни на кого не глядя, пошёл к выходу. Файзали был у выхода, когда снаружи кто-то рванул дверь, в проёме возник плотный человек в камуфляже. Файзали, будто в упор его не видя, шагнул навстречу как в пустоту...

Ситуация точь-в-точь повторяла архетипическое противостояние героев на мосту. Добрый Робин и Маленький Джон с разных сторон вступают на бревно, переброшенное через ручей, и сходятся на середине. Ни один не может отступить — конфликт рыцарских амбиций... Тогда-то, в приёмной Сангака, об отвлечённых материях я не размышлял. Успел лишь подумать: человек в камуф-

ляже не успеет или не захочет отскочить назад. Файзали оскорбится и застрелит его у всех на глазах.

События разворачивались, словно в киноэпизоде, снятом рапидом. Старуха, стоящая рядом со мной, бормотала, отгоняя беду, её голос глухо рокотал и тянулся записью на пониженной скорости:

— Э-э-э, то-о-в-б-а-а, то-о-в-б-а-а, ...

Под этот растянутый бубнящий аккомпанемент Файзали напрягся в полушаге от соперника, готовясь к столкновению.

Человек в камуфляже шагнул навстречу, медленно поднимая руки.

Файзали, продолжая движение, упёрся грудью в человека в камуфляже.

Человек в камуфляже крепко обхватил Файзали.

Я успел подумать, что... Но время сорвалось обратно, в нормальную скорость, я услышал, как человек в камуфляже кричит радостно:

— Файзали, брат! Рад тебя видеть! Как дела? Как живёшь?! Сколько лет, сколько зим...

Продолжая обнимать Файзали, он каким-то ладным, неуловимым движением повернулся вместе с ним в дверном проёме вокруг оси. Теперь человек в камуфляже оказался в приёмной, а Файзали в коридоре.

— Рад был тебя встретить, — сказал человек в камуфляже, разжимая объятие. — Будь здоров. Увидимся.

Файзали медленно растянул губы, изображая улыбку:

— Увидимся. Готовься...

Оба не тронулись с места.

— До свидания, — сказал человек в камуфляже.

Файзали не шелохнулся.

Человек в камуфляже резко развернулся и пробормотал негромко:

— Чёрт с тобой! Хочешь играть, играй в одиночку.

У меня от души отлегло. Однако человек в камуфляже оглядел приёмную, остановил взгляд на Джахонгире и закричал зло и весело:

— Ну, чего уставился? Давно не видел?!

— Давно, — ответил Джахонгир спокойно.

Человек решительно направился к нему, на ходу поправляя ремень с кабурой. Жест мне очень не понравился. Этот тип полагает, что дал слабину с Файзали, и выбрал жертву, чтоб отыгаться. Он

встал перед Джахонгиром, глядя ему в глаза. Смелый парень этот тележурналист — не дрогнул, взгляда не опустил. Человек в камуфляже сказал:

— Здорово, дружище.

И с размаху впечатал ладонь в пятерню Джахонгира, вылетевшую навстречу:

— Сто лет не виделись.

— Тысячу,— поправил Джахонгир.— Давно ты у Сангака? Я думал, по-прежнему в Красной Армии небо коптишь.

— Не слышал, как меня подставили?

— Что стряслось-то?

Человек в камуфляже взглянул на меня.

— А-а-а-а,— сказал Джахонгир.— Это Олег. Коллега, репортёр.

Мы обменялись рукопожатиями. Человека в камуфляже звали Давроном.

— Так что случилось-то? — спросил Джахонгир.

— Игры начальства...

И тут некто адъютант крикнул:

— Эй, журналист из Москвы! Заходите.

Я протянул руку Даврону:

— Надеюсь, увидимся.

Мне хотелось поближе узнать человека, раззадорившего моё любопытство.

— Увидитесь, увидитесь,— пообещал Джахонгир.— Даврон, приходи вечером в гостиницу. Посидим, поговорим, выпьем, по старой памяти.

Открывая обтянутую кожей дверь кабинета, я старался угадать, кого увижу. В Душанбе пришлось наслушаться разного. «Народный защитник,— говорили одни.— Мудрый, справедливый. На него вся надежда». Другие рассказывали страшные истории о кровожадном монстре: «Этот Сангак даже родного брата убил». Худой, измождённый школьный учитель убеждал меня страстным шёпотом: «Мясник, изувер. Мясницким топориком разделявает взятых в плен исламистов...»

Кто он на самом деле?

Сангак вышел из-за стола мне навстречу. В моем лице он приветствовал всю прессу России. Народный вождь не походил ни на бывшего буфетчика, ни на бывшего рецидивиста. Он словно высе-

чен из каменного монолита. Плотное телосложение. Широкое смуглое лицо. Короткая полуседевая бородка. Слегка глуховатый голос. Низкий тембр. Чистый и грамотный русский язык. Распознать в нем многолетнего сидельца смог бы, вероятно, лишь чрезвычайно зоркий и знающий наблюдатель. Да и в том я не уверен.

Пожав мне руку, Сангак уселся в обкомовское кресло. Я расположился напротив — за столом, приставленным перпендикулярно к его полированному прилавку со стопками папок и бумаг, и включил диктофон. Сангак заговорил, не дожидаясь вопросов:

— Никогда не скрывал и не собираюсь скрывать, что не раз был лишён свободы. Народ знает, за что я находился в заключении, за что был репрессирован мой отец, и не он один, но и почти весь мой род. Я — простой смертный и никогда раньше не занимался политикой. Жизнь заставила встать во главе моего народа...

Развивал он тему довольно долго, а я, дождавшись конца очередной тирады, задал тот самый, интриговавший меня вопрос — а не принадлежит ли собеседник к какому-либо из высших сословий?

Сангак изучающе посмотрел на меня. Думаю, он никак не ожидал от чужака из Москвы подобного захода. Визуальное обследование моей особы прервал телефонный звонок. Сангак поднял палец и указал на диктофон. Я выключил. Сангак взял трубку, послушал, рыкнул сердито:

— Найди его. Пусть ко мне зайдёт.

Бросив трубку, проворчал:

— Таких людей давить надо. Как тараканов. Это настоящий враг народа...

Секунду собирался, мысленно возвращаясь к беседе.

— Включите.

Я включил диктофон.

— Да,— сообщил Сангак просто, безо всякой рисовки,— по происхождению мы сейиды, по материнской линии состоим в кровном родстве с эшоном Султоном...

Я угодил в десятку! Хотелось бы только знать, правду ли говорил Сангак или романтизировал свою генеалогию. Сейиды — потомки пророка Мухаммеда. Замечательный знаток Средней Азии, профессор Александр Александрович Семенов любил рассказывать, как спросил однажды бухарского эмира Абдулахада: «Ваше высочество, почему вы слово «сейид» всегда ставите прежде всех ваших имён, званий и титулов?» Эмир в это время сидел за трапезой. Он отложил

кость, которую высасывал, вытер жирные пальцы и ответил: «Звание сейида у меня никто не может отнять, ибо оно наследственное, родовое. А эмиром я могу быть сегодня, а завтра очутиться в ничтожестве, если меня, да не допустит этого Аллах, лишат трона». Кстати говоря, именно это и произошло с его сыном — последним бухарским эмиром Алим-ханом — тем самым, что был свергнут большевиками, бежал в Афганистан и закончил жизнь «в ничтожестве». Конечно, далеко не всякий сейид становился правителем. Более того, обнищавшим потомкам пророка приходилось порой заниматься чёрным крестьянским трудом. Или торговать пивом в буфете.

Сангак между тем продолжал:

— Брат матери, мой родной дядя, мулло Абдулхак был первым учеником и помощником эшона. Он был высокий, мощный. Однажды во время гражданской войны его отряд, отступая, оказался в ущелье с водопадом, через который кони не смогли перейти сами. Моя дядя перетащил на себе через поток двадцать семь лошадей.

Мать рассказывала, как в Шугноу переносили старое кладбище, чтобы освободить место для золотых разработок. Разрыли и могилу мулло Абдулхака, похороненного рядом со своим отцом. Останки переносили, заворачивая в ткань. Прах отца, человека обычного телосложения, уместился в половине простыни. Кости мулло Абдулхака пришлось завернуть в целую простыню. Ключицы у него были, как у быка. Ребра — как у коня. Одно ребро оказалось наполовину перебитым. Это след пули, которой его ранили в Бальджуване, где эшон Султон воевал против Энвер-паши. Когда эшон узнал, что мулло Абдулхак умер, он плакал горькими слезами. А вскоре самого эшона Султона погубил Фузайл-максум. Этот Фузайл приехал к нему и сказал: «Собери всех своих мюридов, будем бить чекистов».

Эшон Султон ответил: «Хватит. Не буду проливать кровь своих братьев. И без того пролито достаточно крови...»

И Фузайл, шакал, подлым образом повесил эшона и распустил слух, что казнили его чекисты. Этот Фузайл родом из Гарма, из Хаита, из того клана, что начал нынешнюю войну. С того-то ещё времени и идёт меж нами борьба...

Сангак замолчал, потому что в дверь постучали.

Думаю, вошедший был тем самым врагом народа, которого надо давить как таракана. Я с первого взгляда опознал в нем руководителя — по кожным покровам особой выделки. Лица началь-

ственных персон обтягивает не грубый керзач, который пускают на физиономии рядовых граждан, а высококачественный, «командирский» хром. Правда, этому конкретному товарищу хромова заготовка досталась с брачком — над левой бровью торчала довольно большая бородавка.

Сангак пригнулся к столу, как лев перед прыжком. Однако враг народа шёл с уверенностью человека, привыкшего к вызовам на ковёр.

— Ты что задумал?! — грозно спросил Сангак. — В городе хлеба не хватает. Люди голодают.

Враг народа ответил вкрадчиво:

— Дядя Саша... — он подчеркнул, что обращается не к руководителю, а к человеку: — Дядя Саша, у меня на родине, в Дарвазе, люди не голодают. От голода умирают...

— Хочешь и городских уморить?!

Враг народа выразительно покосился в мою сторону. Сангак сказал:

— Нам поговорить надо.

Я взял диктофон и вышел. В приёмной команда японских телевизионщиков готовилась к съёмке, возилась с аппаратурой. Джанхонгир ушёл. Даврон беседовал с адъютантом. Я дождался паузы и отбуксировал его в уголок.

— Даврон, знаете, что за человек этот... враг народа? Тот, что сейчас у Сангака.

— Партиец какой-то. Был секретарём райкома, вторым или третьим. Где-то в Восе или Московском... Сейчас возле Народного фронта болтается...

— За что его Сангак распекает?

— Без понятия.

Хотелось расспросить о многом, но я решил не гнать коней, вечером будет поспособнее. Разговор перешёл на общие темы: недавние зверства исламистов в окрестностях Курган-Тюбе, возвращение таджикских беженцев из Афганистана... Наконец дверь святилища открылась, враг народа вышел с листком в руке. Бумажку он бережно сложил, спрятал во внутренний карман пиджака и удалился с удовлетворённым видом.

Японцы обрадованно засуетились, но адъютант крикнул:

— Даврон, зайди к Сангаку.

Японцы обиженно загалдели. Ещё сильнее, думаю, они оскорбились, когда после Даврона вновь позвали меня. Я спросил Сангака:

— Человек, который к вам заходил, кто он? — имея в виду: «Что он натворил?»

Сангак ответил недовольно:

— Дела. Мы теперь власть. Приходится решать много вопросов.

Понимать следовало: «Впустили тебя с парадного входа? Знай место и на кухню не лезь». Без перехода он продолжил:

— Во всем, что случилось с нами, я обвиняю Горбачева и всех этих прогнивших карьеристов, генералов-адмиралов. Это они довели нас до нынешнего состояния. Из России зараза потихоньку проникла и в Среднюю Азию...

Трибун и оратор, говорил он долго, и его, видимо, мало волновало, что в приёмной томятся японцы. Важнее было через московскую газету высказаться перед российской аудиторией. И хотя он перемежал свою версию событий гражданской войны политическими лозунгами и призывами, филиппиками против врагов, вряд ли это была расчётливая демагогия. У меня создалось впечатление, что он говорит то, что думает и как думает.

Позднее, прослушивая диктофонные записи, я пришёл к заключению, что Сангак ни в коем разе не приукрашивал свою родословную. Доводов несколько. В его родных местах народ знает как свои пять пальцев все линии родства со столь прославленной личностью, как эшон Султон, а потому хвалиться ложной генеалогией попросту глупо — сразу же уличат и позора не оберёшься. (По этой же, думаю, причине глава Таджикистана Эмомали Рахмонов ни разу самолично не упоминал о своей принадлежности к «белой кости». Иное дело — смутные слухи, которые распространяют сторонники.) Однако история его возвышения оставалась загадкой.

Вечером я взял бутылку водки, припасённую для такого случая, и пошёл к телевизионщикам. Ребята установили тумбочку меж двух кроватей, выложили полбуханки хлеба, пучок редиски и зелень. С провизией в Курган-Тюбе не густо... Долговязый телеоператор Би-би-си, сразу же взялся опекать меня.

— Олег, садитесь, пожалуйста... Нет-нет, не на койку! В кресло садитесь. Вы гость.

Разлили.

— Не чокаясь,— скомандовал Джахонгир.— За Мирзо.

— Да, за покойного Мирзо,— откликнулся Би-би-си, а мне пояснил: — Тоже с нашей студии... Два дня назад на съёмках погиб.

— За всех. Двадцать наших ребят погибли.

— Э, ничего, — сказал Би-би-си, ставя стакан. — Война кончилась. Мы в каких местах побывали — не убили. Теперь, наверное, уже не убьют...

— Меня, кстати, однажды Даврон от смерти спас, — сказал Джахонгир. — Тот парень, с которым я тебя днём познакомил. Ты бы его в Афгане видел, о нем легенды ходили.

— Да, — повторил Би-би-си значительно. — Видели бы вы его в Афгане!

— Вы тоже там побывали?

— Нет, — смутился Би-би-си. — Я нигде не был.

Надеюсь, я скрыл своё собственное смущение. Да что смущение — комплекс неполноценности. Эти трое парней прошли через всю страшную гражданскую войну. А я? В наше время любой, полагаю, мужчина, не участвовавший в какой-нибудь из войн, чувствует свою несостоятельность в присутствии тех, кто прошёл испытание близкой смертью.

— А как он с Файзали лихо управился, — сказал я.

— С Файзали надо, как с ядовитой змеёй, обращаться, — откликнулся Би-би-си.

— Правда ли, что его Палачом прозвали?

— Разное говорят, — сказал Джахонгир. — Многое верно, многое вымысел, слухи... А может, и не слухи. Неоднозначный персонаж.

— Он не таджик, — вмешался водитель. — Он локай.

О локайцах я успел кое-что узнать в свою востоковедческую бытность, когда два года назад сидел в архивах и ездил по горным кишлакам, записывая рассказы стариков о борьбе с басмачеством в двадцатые-тридцатые годы. Надо сказать, что в Южном Таджикистане самое долгое и упорное сопротивление Красной армии оказали именно локайцы, одна из узбекских народностей, под предводительством знаменитого курбаши Ибрагим-бека. До революции локайцы, по сути, владели всей Вахшской долиной. После поражения Ибрагим-бека их здорово потеснили, а вскоре в долину начали насильно переселять людей из разных горных районов, но это совсем другая история...

— Национальность ни при чем, — сказал Джахонгир. — Среди таджикских командиров тоже немало злодеев. А психопаты есть в каждом народе.

— Думаешь, Файзали... того? — спросил я.

— Спроси у психиатров, сумасшедший он или нет. Но с катушек слетел, как пить дать.

— Любой бы слетел, если бы с отца кожу содрали ленточками...

— Отца Файзали просто убили, — поправил Джахонгир. — Ты его с другим командиром путаешь, с Файзали Файзалиевым. Это с его отцом такое проделали. Он не настолько знаменит, как тёзка, но жесток, пожалуй, не меньше...

Он обернулся к водителю:

— Между прочем, этот второй Файзали — таджик.

— Те, кто над простым народом издеваются, не таджики, — ответил водитель. — Они вообще не люди.

Я спросил:

— Ну, а этот, первый, он чем прославился? Кроме жестокости, конечно.

— У него как в армии, — сказал Джахонгир. — Свою банду называет бригадой, себя — полковником. Бронетехника: танки, несколько БТРов, кустарно бронированные МАЗы и КамАЗы — короче, рейдовый отряд «механизированной бригады» имени его самого. Представь, какая сила. Сходу сбивал боевое охранение, врвался в посёлок, где засели «вовчиками». Выбивал противника, ну, и начиналось — грабежи, мародёрство, насилие...

— Файзали сам не воюет, — вставил водитель. — Его ребята дерутся, он на базе остаётся. Кого ребята в плен захватят, к нему приводят. Он допрашивает...

— Да, так некоторые говорят, — сказал Джахонгир. — У меня точных сведений нет. Что знаю наверняка — после налёта ребят Файзулло от кишлака оставались лишь головешки. Сжигали все начисто. А ведь мирное население. Простые крестьяне. Вся вина лишь в том, что они — другие...

— Что с ними после происходило?

— Бежали в Афганистан.

— Тактика выжженной земли.

— Но одного не отнимешь, — сказал Джахонгир, — для победы Народного фронта он сделал немало. Он вообще никому не подчиняется, даже Сангаку. Что-то вроде мании величия.

— А Даврон? — спросил я. — Знаю, твой приятель, но... Он-то ни с кого кожу не сдирает?

Джахонгир засмеялся.

— Не беспокойся. Слуга царю, отец солдатам. Образцовый советский офицер. Даже слишком образцовый. Педант.

— С Афганистана знаком?

— С малолетства, с детского дома. Друзьями не были, он и в ту пору особняком держался. А в Афгане как-то сошлись.

Он на глаз прикинул мой возраст.

— Ты с какого года? На глаз, с шестьдесят пятого... Тогда, конечно, не мог слышать о Чорбогском землетрясении. В газетах не писали, мало кто о нем знает.

Я не стал его разубеждать.

— Даврон из того кишлака, из Чорбога. Ты, может, слышал... Да нет, вряд ли — давняя трагедия. Целый кишлак погиб. Землетрясение, сошёл сель. Глина залила дома выше крыш. Спасатели нашли живым только одного мальчишку крохотного. Даврона. Каким чудом он спасся, никто понять не мог...

— Судьба, — прокомментировал водитель. — Бог спас.

Я сказал:

— Первое марта тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Би-би-си вежливо восхитился:

— Олег, вы энциклопедия.

— Откуда знаешь? — спросил Джахонгир.

— Родился в этот день.

Я, конечно, остался бы в неведении, что незадолго до моего рождения где-то далеко в горах произошло страшное землетрясение, но родители не раз об этом рассказывали. Отца отправили на спасательные работы, его не было в городе, когда я появился на свет и даже когда мама со мной, новорождённым, выходила из родильного дома. Чорбогское землетрясение стало нашим семейным событием и вошло в семейное предание. Я много раз слышал папин рассказ про то, как он нашёл маленького мальчонку... В детстве я часто представлял, что случилось с мальчиком, но представить не мог, что когда-нибудь его встречу. Такие совпадения случаются исключительно в мелодрамах и индийском кино.

— Сам-то он как объясняет? — спросил я.

— Наверное, вообще не помнит, что произошло. Дети забывают страшное. Я и сам узнал случайно, много лет спустя, когда навещал директора детдома. Хороший был мужик...

Даврона ждали допоздна, и он наконец явился. Подтянутый и ладный, как идеально вычищенный и смазанный автомат Ка-

лашниковца с патроном в стволе, до поры до времени поставленный на предохранитель. Разумеется, с бутылкой. Наша к тому времени опустела.

— Здравия желаю, господа журналисты. Вольно. Можете сесть... Его усадили, разлили водку по стаканам.

— За победу.

Поговорили о том, о сём, но вскоре Даврон поднялся:

— Простите, мужики, ухожу. Забежал на минуту.

— Ещё посидите, — попросил Би-би-си.

— Завтра рано вставать. Еду на Дарваз. Кстати, — повернулся он ко мне, — с тем деятелем, о котором ты спрашивал. С Хушкадамовым. Муку повезёт. Сангак меня с ним послал. Проводка и сопровождение колонны.

— А давай-ка я тоже поеду. Возьмёшь? — вырвалось вдруг у меня.

Он среагировал мгновенно:

— Нет.

Я даже слегка растерялся, столь грубо и резко это прозвучало.

— Даврон, я не шпион. Обычный репортёр.

— И репортёрам там делать не хрена. Что ты хочешь раскопать?

— Ну... скажем, утраченное время...

Он усмехнулся:

— Часы потерял? На, возьми мои, — Даврон начал расстёгивать браслет.

Я и себе-то толком не мог объяснить, почему меня внезапно потянуло в горы. Может, водка осветила реальность волшебным светом, и что-то такое вдруг почудилось... Словно приоткрылась какая-то дверца, и я сунулся в неё, не рассуждая и толком не зная, зачем. Может, сработала репортёрская интуиция. А может, того проще — до смерти захотелось вновь окунуться в атмосферу горного селения... Запах дыма и навоза. Ледяной ветер и жаркое солнце. Близкие вершины в разреженном воздухе... Совершенно неважно, куда ведёт дверца — в волшебный сад или на задний двор крестьянского дома, где нет ничего, кроме сараев, загончика для овец и нужника, занавешенного дырявой мешковиной. Что ж, и такой вариант неплох. А главное, хотелось ближе разглядеть Даврона, мальчика из семейного предания...

Рядом с моим стаканом легли командирские часы. Я отодвинул их к Даврону.

— Не совсем то. Понимаешь, с Дарвазом у меня многое связано... Хочу побывать в тех краях, коли уж случай подворачивается.

— Гнилое время для туризма,— отрезал Даврон.

Би-би-си пришёл мне на подмогу:

— Даврон, возьмите его, пожалуйста.

Уговаривать пришлось долго. В конце концов Даврон достал из кармана камуфляжной робы игральную кость.

— Загадай число.

— Три.

Даврон бросил кость. Выпала тройка.

— Одно условие,— сказал он.— Едешь на свой страх и риск. Я за тебя не отвечаю. Ты сам по себе, я сам по себе.

— Разумеется. Падающего толкни и прочее...

— Ты не понял.

— Да понял я, понял.

— Нет, не просек! Скажи вслух: «Даврон, ты за меня не в ответе».

Видно было, что он не шутил. Пришлось подчиниться.

— Произношу по складам: Ты. За. Ме-ня. Не. От-ве-ча-ешь. Сойдёт?

— Я предупредил,— отрезал Даврон.

Когда он ушёл, спросил я Джахонгира:

— Как это понимать? «Скажи вслух...» и вообще...

— Есть у него... как бы сказать... одна хитрая теория... Он мне однажды в Кабуле по пьяни кое-что приоткрыл. В основном намёками. Но ты его не расспрашивай, он этого не выносит. Вообще не упоминай, что я тебе что-то говорил.

Утром я появился в условленном месте. На дороге уже выстроилась колонна КамАЗов. Даврон давал наставления водителям. Я подождал, пока он закончит, и подошёл. Даврон равнодушно глянул на меня, как на постороннего. Отвернулся, наблюдая, как водители рассаживаются по машинам. Будто не сидели мы минувшей ночью за одним столом, или, точнее, тумбочкой. Мне показалось даже, что он меня не узнал.

— Привет,— сказал я.— Когда выезжаем?

Даврон соизволил обернуться:

— Запомни три правила. С вопросами не лезть. Ни во что не соваться. Сидеть тихо как мышка. Назад будешь добираться самостоятельно. Всё понял?

Резкость тона была объяснимой — человек занят, ему не до любезностей. Но враждебность-то откуда и почему? Однако я не желал отказываться от поездки из-за перемен в его настроении и ответил в том же стиле, убрав лишь агрессию:

— Так точно.

— Передумал? — спросил Даврон.

— Никак нет.

В его мрачном взоре промелькнула ироническая искорка.

— Вольно.

Затем я удостоился чести лично познакомиться с самим, так сказать, караванщиком — врагом народа Хушкадамовым. Меня сей персонаж мало интересовал, хотя было любопытно, каким образом он ухитрился настолько охмурить дядю Сашу, что Сантак не только не раздавил его, но аж наделил караваном с охраной.

Враг народа благосклонно одобрил моё участие в вояже:

— Корреспондент из Москвы? Очень хорошо. Такие мероприятия надо широко освещать. К сожалению, в моей машине места нет...

— Я с Давроном.

Даврон недовольно хмыкнул, но не возразил. Его «уазик» занимал позицию в середине каравана. Передние грузовики трогались с места один за другим. Я разместился на заднем сиденье, Даврон сел рядом с шофёром и приказал:

— Алик, вперёд.

Смуглый, уса́тый водитель — весельчак, судя по физиономии, — врубил скорость, направил на меня центральное зеркальце заднего вида и с места, без разбега, спросил:

— Корреспондент, загадки умеешь разгадывать? Что такое: чёрный улей, чёрные пчелы, за чёрным мёдом улетають, назад не возвращаются?

— Демократическая пресса, — сказал я, — и демократические журналисты. С одной поправкой: чаще всего возвращаются и приносят много чёрного мёда.

— Не угадал, — торжествующе объявил Алик. — Это калаш.

Даврон хмуро поправил:

— Пули не чёрные.

— Зато смерть чёрная, — глубокомысленно возразил Алик.

Позже, улучшив момент, я из любопытства поинтересовался, какое имя дали шофёру родители. На Алика он был ничуть не похож. Нарекли его Муборакали, но на автобазе, где он работал до

войны, имя сократили, а он к этой краткой форме привык, и она даже стала ему нравиться...

Караван выбрался из города. По обеим сторонам асфальтовой дороги распростёрлись до гор на горизонте хлопковые поля, утыканные сухими стеблями неубранной прошлогодней гузапаи. Мерзость сельскохозяйственного запустения. Развал Советского Союза и гражданская война не смогли полностью разрушить в Вахшской долине очередной слой цивилизации — оказался слишком прочным, но надломлен был изрядно. Этот обширный плодородный оазис расцветал и приходил в полное запустение неоднократно. В античное время он входил в северную часть Бактрии, позднее в державу Кушан, а после падения Кушанской империи — в состав Эфталитского государства. В средние века здесь образовалось несколько небольших княжеств, их поочерёдно завоёвывали тюрки, арабы, саманиды, газневиды, караханиды, сельджуки... Это напоминало смену дней и ночей. Нашествие, война, падение государства — и возделанные земли дичали, покрывались солончаками и тростниковыми зарослями. Возникала новая великая империя — долина оживала, прокладывались каналы, распахивались земли, возводились богатые города. И вновь нашествие, война, падение государства, запустение...

Позади раздалась завывания сирены. Замурзанный белый фургончик с красным крестом на боку пролетел мимо нас по встречной полосе, обгоняя колонну, и умчался вперёд.

Я подумал, что цивилизованный слой не настолько уж безнадежно пострадал, если городская служба скорой помощи спешит в какой-то отдалённый кишлак.

Через минуту по встречной полосе просвистела вперёд синяя, покрытая пылью, «буханка».

Алик поправил боковое зеркальце и сказал негромко:

— Даврон, наверное, за нами.

И тут же слева заунывно завыл и промчался к голове каравана гаишный драндулет с оранжевым проблесковым пупырём и громкоговорителем на крыше.

— Не хватает только санавиации с нурсами, — проворчал Даврон. — Алик, выходи из колонны и — газу.

Водитель взял влево и догнал головной грузовик, перед которым метрах в тридцати медленно тащился гаишник, раскатисто вещая: «ВОДИТЕЛИ КОЛОННЫ, ПРЕКРАТИТЕ ДВИЖЕНИЕ».

Даврон открыл дверцу и замахал рукой: «Вперёд! Не останавливаться».

Громкоговоритель вновь пророкотал: «ПРЕКРАТИТЬ ДВИЖЕНИЕ».

Одновременно «скорая» и «буханка», маячившие впереди на некотором отдалении, притормозили, поджидая гаишника и перекрывая обе полосы дороги.

Даврон махнул рукой — «Стоп», крикнул:

— Алик, тормози. Олег, сиди. Не высовывайся, — и выскочил из машины.

Колонна встала. Давронские молодцы попрыгали из кузова с оружием наготове. Один остался наверху. На крыше кабины он пристроил сошки ручного пулемёта, направив ствол в сторону автомобилей, надвигающихся на караван задним ходом.

Блокирующие машины остановились вплотную к колонне. Из «буханки» вывалились вооружённые парни, одетые по-военному кто во что. Из «скорой» вышел человек в чёрном халате, накинутом на плечи, и направился к нам, слегка сутулясь, старомодной развинченной воровской походочкой. Сухой и хищный, он напоминал птеродактиля, летучего ящера. Халат свисал с плеч, как сложенные крылья. Оружия при нем, по всей видимости, не было. Гаишник остался сидеть в своём драндулете.

Даврон стоял посреди дороги у бампера головного грузовика. Я, разумеется, тоже выбрался наружу, подошёл к нему.

Ящер остановился перед Давроном. Повернул голову на жилистой шее — мазнул тухлым взором по настороженным давроновым ребятам. И вдруг кожистое веко на правом глазу едва заметно дрогнуло. Ящер кому-то подмигнул. Растянул губы в гнилой ухмылочке, блеснув полным комплектом стальных зубов. Продемонстрировал дружелюбие.

— Ну чё, командир, всё путём? Не кашляешь?

— Ты кто такой? — спросил Даврон.

В подобных толковищах нельзя отвечать на вопрос. Ответил — считай, проиграл раунд, а то и весь матч.

Ящер отклячил нижнюю челюсть:

— Ты чё?! Не знаешь? Нехорошо.

— А тебя все должны знать? — дружески спросил Даврон.

— Не знаешь, значит, не знаешь, — сказал ящер. — Тебе же хуже. Плохо, когда не знаешь.

— Раз ты учёный, скажи: Курган-Тюбе где находится?

Глаза ящера вспыхнули на долю секунды, как две тухлые неоновые лампочки. В костяном черепе мозг размером с орех заработал с перегревом, перебирая варианты: что за прикол? в чем подлянка? Лампочки погасли.

— Что, командир, дорогу потерял? Заблудился?

— Нет, мужик, ты заблудился,— произнёс Даврон отдельно и с нажимом.— Курган — позади тебя. Тебе туда надо. Не в ту сторону поехал. Усёк?

Ящер укоризненно щёлкнул никелированным клювом:

— Э, командир, я с тобой как с человеком... Не хочешь как люди перетереть, позови того фраера. Зухура. С ним говорить буду.

Даврон сказал резко:

— Старший здесь я. А говорить не о чем. Ты со своими гавриками развернёшься и почешешь обратно.

— Старший, да? Тогда прикажи фраеру, чтоб сюда пришёл.

Тем временем из колонны выползла «волга», из которой с достоинством выбрался враг народа Хушкадамов и просительно крикнул издали:

— Даврон, пожалуйста... Подойди.

Даврон кобениться не стал. Бросил кому-то из своих молодцов: «Комсомол, присмотри» и не спеша двинулся к врагу народа. Говорили они долго, наконец Даврон вернулся.

— Пойдёте позади,— сказал он ящеру.— Порядок не нарушать. Не обгонять. Усёк? Ежели чего... Что такое шайтан-труба, знаешь?

Ящер сверкнул металлом:

— А хуля.

— Вот и ладушки,— сказал Даврон.— Прижми свои машины влево. Пропусти колонну вперёд. Всё. Поехали.

Мы вернулись в узик. Я спросил:

— Зачем ты их взял?

— Зухуровы игры, личная охрана,— буркнул Даврон.— Алик, шуруй назад, к замыкающему.

«Уаз» двинулся задним ходом, замер, пережидая, пока «волга» втянется в колонну, и подкатил к последнему грузовику, кузов которого был заполнен грузом наполовину. В задней части расположились бойцы охраны.

Даврон распахнул дверцу и позвал:

— Эй, Фазыл!

Здоровенный рябой парень перегнулся через борт.

— Они пойдут за тобой, — сказал Даврон. — Засечёшь неладное, бей из эр-пэ-гэ.

Вскоре караван углубился в горы. Пейзаж непрестанно менялся, словно кто-то складывал из камня гигантский оригами — движение автомобиля перегибалось пространство, ломало его, расправляло, растягивало за концы, разглаживало и вновь перегибалось, и всякий раз на мгновение возникала новая объёмная панорама. Горы двигались. Одни вершины поднимались, другие опускались, боковые ущелья раскрывались и схлопывались, скалы выступали к дороге и отступали назад...

Даврон молчал, насупившись. Алик вдруг сказал:

— Корреспондент, ещё загадку разгадай. Внутри огонь, снаружи холод, кипящую воду в него наливают — лёд получается.

Отгадать я не смог.

9

Андрей

Убил бы! Сил нет терпеть, как Бахша над матушкой изгаляется. Чего она хочет? Чего добивается? Я ей прямо сказал:

— Мы вообще отсюда нах свалим!

Матушка неподалёку была и услышала. Бахша ушла, матушка говорит:

— Андрюша, сынок, ты мне обещал не грубить. Неужели трудно держать себя в руках?

Ну, блин!

— Это Бахша нас в руках держит. Как негров на чайной плантации. Я к ней в рабы не записывался.

А матушка:

— И с каких это пор ты себе позволяешь грязные выражения? Да ещё при женщине...

Я сам пожалел, что с языка сорвалось. Но неужели мама не может хоть в раз в жизни промолчать и не упрекать? Всегда одно и то же: «Мой сын не имеет права выражаться. Андрей, ты же культурный мальчик. Из библиотеки чуть ли не каждый день ночью книж-

ку приносил...» Я объясняю: «Мама, на улице все ребята так говорят». — А она: «Тебе, наверное, кажется: если будешь разговаривать, как хулиган, то тебя будут считать сильным и страшным. Уверю, что ошибаешься». А я не согласен. Где-нибудь в другом месте буду говорить по-другому. Я умею. А здесь всё-таки не райский сад...

Я нарочно. Ей, Бахше, назло. Как-то раз пацанёнок, сынок её Мухиддин, выругался, а Бахша услышала. «Подойди». Пацан испугался до усрачки, но подошёл. «Высунь язык». Он высунул. Бахша из воротника платья вытащила иголку, длинню-ю-ю-щую, и — ему в язык. Проткнула насквозь. Он полдня с иголкой в высунутом языке прокантовался. Но мне она хрен что сделает. Я ей не сын. Я ей никто. И она мне никто.

Матушка:

— Андрей, дай мне слово никогда с ней не препираться.

А Бахша? Ей можно?!

Последний раз — это ещё до того, как намылилась выдать Заринку за овоща, — она как с цепи сорвалась. День такой был, что всё из рук валилось. Матушка совсем из сил выбилась. Я просил: «Посиди отдохни». «Нет, Андрюшенька, работать надо. Нам вон сколько надо сделать... А времени мало осталось. Ты же слышал, что они говорили. С севом нельзя опаздывать».

И тут она на поле заявилась. Злая как собака. И начала вонять: «Почему мало сделали? Ты, Вера, лентьев вырастила...» Целую бочку говна на матушку выплеснула. А мне что, терпеть, когда Бахша мать положит? Тоже сказал ей пару ласковых. И понеслась атомная война двадцатого века. Всё в руинах, и никого в живых. Одни обугленные трупы.

Я, когда она ушла, сказал матушке:

— Почему ты разрешаешь грубо с собой обращаться?

— Андрюша, милый, они нас приютили...

— Спасибо! Теперь кланяться и молчать в тряпочку?

— Мы не имеем права жаловаться и что-то требовать. Они дали нам кров. Они нас кормят...

— Кормят?! — Я схватил её руку и повернул ладонь кверху кровавыми мозолями. — Вот что нас кормит! Мы тут как в ГУЛАГе.

Матушка сказала:

— В этих местах все люди так работают. Иначе не выживешь.

— А я не желаю...

Мне не трудно. Даже нравится камни ворочать. Если б ещё Бахша над матушкой не измывалась. Но это у неё порода такая. В па-

пашку своего пошла. Приволокся он вчера, когда у дядьки в мехмонхоне родичи собирались. Нашего деда тоже вывели. Он после смерти отца сильно сдал. Не знаю, какой прежде был, но сейчас совсем слабый. Жалко до слёз. Клёвый у меня дедушка. Обидно, что раньше с ним не общались. Иной раз меня за руку берёт и шепчет: «Эх, Андрей, Андрей...» Понятно, отца вспоминает... В общем, деда из его комнаты выволокли, усадили на почётное место — глава семейства. А какой он глава?! Всем Бахша управляет.

Шокир, урод кривобокий, тоже припёрся. Почему его впустили, я не понял. Из вежливости, что ли? Это же заседание совета старейшин, вход по членским билетам, а он вообще не из нашего кауна. Дядька говорит, он нутром чувствует, в каком доме угощение наклёвывается.

Я, понятное дело, у двери примостился. Где и положено вьюноше. Чай подтаскиваю и всё такое. Кайфово ощущать себя в команде высшей лиги, хоть и сидишь на запасной скамье. Наш каун — звучит гордо, а? Это тебе не кружок авиамоделистов. Клан, община, большая семья. Сила. Поддержат, защитят, помогут. Только Бахшу почему-то окоротить не хотят. Или силёнок не хватает? Может, на самом-то деле бабьё руководит, а старцы просто бороды оглаживают. Для виду...

Ну, в общем, они для разгона о том-сём покалякали, и её папашка спрашивает:

«Обрезание когда делать будете?»

Дядька вроде как смутился:

«Сами знаете, время тяжёлое. Недавно вашего зятя схоронили. Большие расходы понесли. Обрезание нам не потянуть».

Папашка головой неодобрительно качает.

«Всё равно непорядок. Надо обрезать».

Я не сразу догнал, о чём они. Наконец дошло — обо мне. Пипиську мне подстричь собираются. А мне это ни к чему! Пусть растёт, как росла. Моя она, личная. Они-то её в общее хозяйство зачислили. Типа, общественная она, они ею и распоряжаются. Для всеобщей пользы. Но я их к своей не подпущу, пусть лучше голову отрежут. Едва-едва сдержался. Распирает, но глаза опустил, сижую, скромно молчу. Будто не обо мне говорят. Решил деда не подводить. Чтоб ему глаза не кололи: внучок, мол, у тебя некультурный... Дядька-то даже ухом не повёл. Мог бы и вступить...

А кривобокий стал докапываться:

— Ты почему необрезанный? Ты кто? Русский или таджик?

Меня такие вопросы заколебали. Какая вообще на хрен разница? Прежде я вообще об этом никогда не думал. У нас в Ватане не поймёшь, кто есть кто. Кого только сюда не ссылали. Поволжских немцев, корейцев, раскулаченных русских. Мы с Заринкой свободно болтали по-таджикски, да и по-узбекски чуть-чуть. Я и не знал, что мы какие-то другие, пока один узбечонок не стал меня дразнить:

«Урус, урус, катинга папирус».

Это по-узбекски: русский, русский, в жопе папироса. Я его слегка отмудохал, а вечером стал спрашивать у матушки, кто мы такие. «Русские, сынок... Кто ж ещё?» Фамилия у нас с сестрой — по матери: Белодедовы. Это я узнал, когда в школу пошёл. А дома, с тех пор, как себя помню, мать читала нам русские сказки, Гоголя, Пушкина, Кольцова. И отец, когда приходил, тоже по-русски с нами говорил. Не знаю, почему... Если бы он со мной по-другому... Не знаю, может, я бы себя таджиком считал. А теперь мне всё равно. Теперь, когда спрашивают: «Кто ты?» — всегда отвечаю:

— Человек.

И кривобокому это же сказал. Он кривые зубы оскалил:

— У человека разум есть. А ты, если разум имеешь, понимать должен: просто людей не бывает. Таджик есть, узбеки есть, татары есть, евреи есть, русские...

— А таджики и узбеки — они кто? Люди?

— Э-э, голову не морочь. Конечно, люди. Мусульмане. А ты почему не мусульманин? Может, еврей?

Я не выдержал и огрызнулся:

— А что, если русский, скажете: «Уходи на свой Россия»?

Понятно, не надо было этого говорить. Все замолчали. Сам знаю, со старшими нельзя так. Если бы я в другой компании такое ляпнул, меня бы старики с кишками сожрали. А тут, при деде как бы неприлично... По штату, Джоруб должен отругать. Я, конечно, дядьку в неудобное положение поставил, но он сам виноват! Никак за меня не вступился. Но и при всех отчитывать не стал. Только перекосоёбило его, и он проворчал:

— Э-э-э, Андрей...

Не одобрил, значит. А кривобокому сказал:

— На яблоне груши не вырастают. Отец — таджик, значит, и парень — таджик. Как по-другому может быть?

Выручил меня Сангин. Это тоже какой-то родич. Он недавно в Калай-Хумбе побывал. Решил тему сменить.

— Русские, таджики... Раньше проще было. Теперь кто что поймёт... В Калай-Хумбе большая борьба идёт. Хотят, чтобы русские пограничники ушли. У них теперь новый комендант. Про прежнего люди разное говорят. Не знаю, правда или не правда. Новый комендант, рассказывают, справедливый мужик. Откуда-то прислали. Маркелов его зовут...

Меня будто подбросило:

— А имя как?

Мужик этот, Сангин, на меня покосился — кто ты такой, чтобы в разговор старших вступать, да ещё перебивать? — но всё же ответил нехотя:

— Имя ему — Маркелов.

— А в Пяндже он служил?

Он прикинулся, что вопроса моего не слышал. И они пошли о своём гундеть.

А я стал думать: неужели, дядя Маркелов? Если из Пянджа, то наверняка он. Отец когда-то, тысячу лет назад — нас с Заринкой ещё и в помине не было — работал в Пяндже, в больнице. Сделал одному офицеру-погранцу операцию. В общем, от смерти спас. И они с этим погранцом закорешились...

Полночи я представлял, как мы до Калай-Хумба добираемся, как дядя Маркелов нас на самолёт сажает и всё такое. Но решил: надо подготовиться. Утром собираемся на поле, Бахша приплыла. Постояла, постояла и сквозь зубы:

— Вера, на кухню иди. Сегодня обед будешь готовить.

Нет, чтоб по-человечески сказать. Попросить вежливо. Нет, приказывает, как служанке. А хо-хо не хо-хо? Я ей так прямо и сказал:

— А вы не приказывайте.

Она скривилась:

— Детей, Вера, воспитывать не умеешь, — и свалила.

Заринка как огонь вспыхнула:

— Дурак ты, Андрей! Идиот, балда! Зла на тебя не хватает... Ты что, не понял?! Она мириться приходила. Показать, что признала маму. В хозяйство её допускает... А ты?!!

— В хозяйство? Как же! Чтоб матушка на кухне как Золушка хрючилась! А она чтоб над душой стояла и помыкала. «Вера, туда иди... Вера, то принеси... Эй, Вера, почему ничего не умеешь? Может, у тебя руки кривые?..»

Зорька сощурилась ехидно:

— Ах, ах! Гордость его заедает. По-твоему, лучше, чтобы мама камня ворочала?

Матушка:

— А ну, прекратите! Я, по-моему, ещё в состоянии сама решать, что для меня лучше.

Заринка кричит:

— Мамочка, он же всё, всё испортил!

Матушка:

— Андрей вёл себя недопустимо. Мне за него стыдно... Но он прав, Зарина. Мне легче камни ворочать. Намного легче, чем с ней целый день в четырёх стенах...

— Ну почему, почему?! Она же...

— А ты сама сообрази...

Вроде, не знает! Я-то знаю. Матушка простить Бахше не может, что та хочет сеструху за овощи отдать. А сеструхе хоть бы хны. Она о своём:

— Едва-едва всё стало налаживаться... И тут — он выскакивает. Зачем ты тёте Бахшанде нагрубил?! Разве не знаешь её? Теперь сызнова начнётся...

Я говорю спокойно:

— Не начнётся. Мы отсюда свалим.

— Куда?!

— В Калай-Хумб.

— Н-у-у-у, опять! Ты, братец, вообще умеешь реально на вещи смотреть?

Я от неё отвернулся, говорю матушке:

— Мама, я точно выяснил. Это тот самый Маркелов. Тот, с которым отец дружил. Нам бы лишь как-нибудь добраться до Калай-Хумба...

— Вот именно, — сеструха язвит, — как-нибудь...

Я говорю:

— Мама, есть короткая дорога. В обход, минуя нижний кишлак. Мне один парень объяснил. Не по шоссе, через горы. По тропе.

Сеструха язвит:

— И ты, конечно, эту тропу найдёшь.

— Найду. Он мне подробно растолковал.

— Заладил как попка: объяснил, растолковал... Мама, не слушай его!

— Сказал, найду — значит, найду.

— Ты у нас, Андрюшенька, юный следопыт. Соколиный глаз. Все тропы на свете отыщешь. А тебе хоть пришло в голову, как мама пойдёт? Знаешь, кто по этим тропам карабкается? Женщины, да? То-то! Одни мужики — охотники, чабаны разные... Скажи, крутая ведь тропа? Скажи. И не ври!

Я говорю:

— Знаю, почему ты из кишлака уходить не хочешь. Женишок завёлся. Овощ недозревший...

— Ты сам овощ! Карим — нормальный парень. И никакой не жених! Я вообще замуж не собираюсь. А если и выйду, может быть, когда-нибудь, то только за русского.

— Посмотрим, посмотрим... Оставайся! Бахша тебя на верёвке отведёт.

— Ещё неизвестно, кто кого водить будет.

— Ты, что ль, её?! Бу-га-га-а-а!

— А ты чего заюлил, когда я про тропу спросила? Крутая ведь тропа?

— Пройти можно.

— Нет, прямо скажи. Крутая?

Тут матушка вмешалась:

— Зариночка, мать у тебя не стеклянная. Если нужно, я...

— Не нужно, не нужно!

— Ах, не знаю, — матушка сказала. — Может быть, и нужно... Простить себе не могу, что вас сюда затащила. Поверила Джорубу, что в кишлаке безопасно. Теперь просто не представляю, как быть...

Заринка гундит:

— Мамочка, неужели сдашься? Ведь если мы сбежим, то окажется, что Бахшанда победила. Выйдет, что она во всём права. Что мы чужие...

— Да, Зарина, — сказала матушка. — Мы действительно чужие. У них своя жизнь, у нас — своя.

Сестрица:

— А если даже и чужие, всё равно нельзя уходить. Получится, что мы сбежали... Не выдержали, проверки не прошли.

— А кто проверщик-то?! — спрашиваю. — Это Бахша, что ли? Да кто она такая, чтоб проверять?

А сеструха:

— Ты, Андрюшка, как хочешь... Я никуда не пойду. В любом случае останусь. Это ты всегда отовсюду убегаешь.

— Дети, — сказала матушка, — не ссорьтесь. Нам действительно лучше уйти. Не представляю, что мы будем делать в Калай-Хумбе, но всё лучше, чем терпеть постоянные унижения...

Вот так-то люзда на правду вышла!

Собрались мы в один миг. Покидали манатки в сумки и стали прощаться. Дед прослезился. Дильбар пригорюнилась. Охи-вздохи-поцелуи. Бахша стояла как столб, глядела в сторону. Присутствовала! Дядька был в отлучке, где-то в горах. Дильбар причитала:

— Дядя ваш... огорчится... обидится...

Пацанёнок, Мухиддин, потащился было за сестрицей:

— Заринка-а-а, не уезжай... Заринка-а-а, останься...

Но Бахша цыкнула, и он юркнул в какую-то норку.

Соседки набежали. Матушка всем объясняла:

— Срочные дела в городе... Очень срочные... Неотложные...

Соседки вздыхали:

— Как же доберётесь? Теперь опасно...

— Соседка, зачем нас покидаете?

— Вера-джон, возвращайтесь скорее...

Насилу вырвались. Толстуха-соседка выплыла на улицу и бросила нам вслед горсть муки:

— Белого вам пути!

Точняк! На свободу с чистой совестью. Мы своё отмотали. Перешли мост, вышли на дорогу. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота дороги, как из засады, выскочила машина. Фургон с красным крестом на борту. Скорая помощь. Матушка радостно замахала рукой. Фургон промчался мимо. Я мельком увидел в окне бородастую рожу с зелёной повязкой на лбу и торчащий ствол автомата.

— Мама, не останавливай!

Но фургон лихо затормозил, проехал юзом и встал. Вываливают оттуда три урода в камуфляже. Один — длинный, худой, как глист. Другой — бородастый, в бронежилете. И пацан колхозный, прыщавый. Вразвалочку к нам идут.

— Ворух, да? Давай садись.

— Спасибо, — лепечет мама. — Сейчас Джоруб подьедет... На машине... Мы его ждём...

Бородач в бронежилете ухмыляется:

— Мамашка, зачем Джоруб? Мы лучше довезём.

Глист укоризненно цыкает:

— Рембо, почему «мамашка» говоришь? Молодая женщина, да. Красивая. Учительница, наверное? В кишлаке муж, да?

Прыщавый в сторонке мнётся. А Рембо с мамой, как кошка с мышкой играет.

— Мамашка, муж не приедет. Бросил тебя муж. Такую красавицу на дорогу одну отпустил. Теперь пешком пойдёшь. Девочку жалко. Совсем молодая девочка. Слабая...

На меня — ноль внимания. Типа, меня вообще нет.

Они повыдрючивались, а потом Рембо маме — нарочито громко, словно она глухая:

— Не хочешь ехать?!.. Хай тогда, мамаша!.. До свидания!..

И граблю тянет, типа, прощается. Мама поколебалась, но руку ему подала. Он долго не выпускал, тряс, лыбился — кайфовал от маминой растерянности. Отпустил. И сунул Заринке грязную клешню:

— Хай, девочка. Тоже до свидания.

Зарина глянула на него, как тигра, отвернулась. Он ухватил её за руку.

— Э, девочка, мамашка не хочет. Ты с нами поедешь...

Я крикнул:

— Отпусти! — и кинулся на него.

Он чуть отступил.

— Герой, да?

И сунул мне в поддых стволом. Я с налёту наткнулся на железку, задохнулся, согнулся и смутно увидел, как Зарина яростно набросилась на Рембо с кулаками. Глист схватил её и потащил к машине.

Рембо шагнул ко мне и коленом ударил в лицо. Я упал. Перед тем, как потерять сознание, почувствовал, будто сквозь сон, что Рембо бьёт меня ногами.

10

Олег

Статус журналиста — аналог защитного скафандра, в котором корреспондент спускается в иной мир. Так, во всяком случае, мне прежде казалось. Ещё одна иллюзия, рождённая затишьем доперестроечной жизни и магической властью советской прессы.

Трещина в моем иллюзорном скафандре появилась сразу по приезде в Ворух, в первый же вечер, когда стали размещаться на ночлег. Дружину Даврона и присоединившуюся к отряду шпану поместили в сельской школе, выкинув из классов во двор столы и парты. Пару школьных столов дружинники тут же расколотили на дрова и принялись готовить на костре ужин. Даврона уложили спать в роскошной мехмонхоне. Я удостоился гораздо меньшей чести. Поместили, правда, в господском доме, однако не в отдельной комнате, а вместе с челядью — двумя личными телохранителями Зухуршо. Таков, стало быть, ранг репортёра в его глазах...

Впрочем, этот расклад предоставил случай понаблюдать за парочкой своеобразных экземпляров местной биополитической фауны в их естественной среде. Телохранители огромны, облы и... не определил ещё, к какому виду их следует отнести. Нечто среднее между гориллой, троглодитом и йети. Старший из них, Гафур, даже смышлён. На свой лад, по-звериному. Это здоровенный детина с лицом и руками, испещрёнными витилиго. Белые, лишённые пигмента пятна на смуглой коже вызывают у меня лёгкую брезгливость, несмотря на то, что болезнь не заразна. Кстати, таджики ошибочно приравнивают её к проказе. Кожные покровы второго примата, Занбура, чисты, но он по-звериному туповат. Разумеется, они немедленно вступили в соперничество за территорию. Комнатка была небольшой, а они, как я понял, только притирались друг к другу и пока ещё не выяснили, кто из них доминирующий самец.

— Я у стены лягу, — пробурчал Занбур, туповатый гуманоид.

Второму пришлось бы лечь ближе к двери, на менее статусной позиции.

— Моё это место! — рявкнул Гафур.

— Моё...

— Моё место!

Силу и агрессию они лишь демонстрировали, в прямую схватку не вступали. Видимо, силы были более или менее равными. Я понаблюдал за ними, но однообразие диалога наскучило.

— Ты куда?! — пробурчал Занбур.

— Подышать свежим воздухом.

Занбур задумался. Видимо, соображал, стоит ли выпускать.

— Пусть идёт, — проревел разумный Гафур. — Иди дыши. Со двора не уходи.

Я вышел во двор. Над головой в низко нависшей тьме густо цвели махровые звезды. В здешнем резко континентальном климате они вызревают на жирном небесном чернозёме особо крупными, мохнатыми и в неимоверном количестве. Страшное это, скажу я вам, зрелище — бездна, полная звёзд. Не разумом, а всем нутром, без мыслей и слов, ощущаешь себя крохотным комочком протоплазмы в беспредельном мире неживой жизни...

Когда я вернулся в дом, приматы уже улеглись — бросили на пол узкие матрасики, курпачи, и спали, укрывшись цветными ватными одеялами. Раскинулись они вольготно, оставалось лишь место у самого порога. Я взял матрасик, одеяло и кое-как примостил ся на незанятом пространстве.

Нет, шут с ней, с этологией, лучше жить отдельно от человекообразных. Утром они проснулись первыми, и тупой Занбур, перешагивая через меня на выходе, споткнулся.

— Зачем у двери лёг? Не видишь, люди ходят?

Днём я столкнулся в коридоре с Зухуршо и впервые увидел бывшего райкомовского инструктора во всей царской красе. Он сменил цивильный костюм, который носил в Курган-Тюбе, на камуфляжную воинскую робу из фантастического серебряно-чёрного материала. Впоследствии он вырядился в золотую парчу и стал походить на третьесортного поп-певца, что, на мой взгляд, сильно подпортило стиль. Но в то утро он выглядел сногшибательно.

Я сказал:

— Меня поселили в одной комнате с вашими людьми. Я журналист. Мне необходима возможность сосредоточиться, поработать. Ну, вы сами понимаете... Заметки, наброски и всё такое... Нельзя ли где-нибудь отдельно?

Он посмотрел на меня как Господь Бог, которому грешник жалуется, что в аду плохо топят. Однако снизошёл:

— Возьмите свои шара-бара.

Я взял кофр с камерами и рюкзак. Зухуршо распахнул соседнюю дверь.

— Заходите.

Я вошёл в абсолютно пустую, как подумал вначале, комнату. Четыре голые стены, некрашенный пол. Только у дальней стены вытянулся длинный — метра в три — отрезок пятнистого пожарного шланга.

Зухуршо стоял в дверях и наблюдал.

— Нравится комната?

Змей я боюсь с детства. Мои приятели летом ловили ужей и таскали их за пазухой. В один прекрасный день я всё же набрался решимости и взял гада в руку — до сих пор передёргивает от воспоминания, как шевелилась в ладони омерзительная, шершавая и холодная тварь...

Зухуршо — интуиция у него зоологическая — уловил мой страх. Никогда прежде я не видел столь явного удовольствия, какое промелькнуло в его глазах.

— Бойтесь?

Пожав плечами, я пробормотал что-то неопределённое. Зухуршо подошёл к удаву, поднял его и положил себе на плечи. Змей изогнулся наподобие носика дьявольского чайника.

— Сфотографируйте.

— Не получится. Темно.

Зухуршо шагнул к двери. Я непроизвольно отпрянул подальше от удава.

— Возьмите фотоаппарат, — бросил Зухуршо и вышел.

Двор был залит солнечным светом. Зухуршо встал посредине и принял величественную позу. Зрелище оказалось вовсе не смешным. Я ожидал, что с удавом на шее он станет походить на циркача или пляжного фотографа, таскающего на себе питона... Нет, Зухуршо выглядел устрашающе. Расцветка удава сливалась с узором камуфляжа, и казалось, что змей вырастает из плеч бывшего райкомовца.

Я сделал несколько снимков. Приматы глазели издали. Гафур отвернулся, туповатый Занбур подошёл.

— Зухуршо, просьба есть. Можно, я тоже фото сделаю... Вот с этим змеем...

С тем же успехом он мог бы спросить, нельзя ли примерить царский венец. Зухуршо счёл просьбу настолько нелепой, что даже не разгневался. Впоследствии он таскал на себе удава во всех случаях, которые расценивал как особо торжественные.

Как извращённо, однако, работает фантазия у бывшего райкомовца. Нетрудно понять, почему он тщится играть роль древнего царя, — характеру таджиков вообще свойственна тяга к величественным, героическим образам. А уж откуда их черпать, как не из «Шах-намэ» Фирдоуси! Удивительно другое — какой прототип отыскал для себя Зухуршо в великой поэме. В качестве образца для имперсонизации он избрал Заххока, а не благородного и мудрого государя, коих в «Шах-намэ» предостаточно.

Заххок — несправедливый тиран и угнетатель. Сын, убивший отца и незаконно завладевший его трон и царством. Нарушитель запретов, из плеч которого выросли две огромные змеи, которых он кормил человеческим мозгом.

Удав, которого таскает на себе Зухуршо, собственно, и выполняет роль одной из этих гадин. Конечно, для полного сходства с Заххоком следовало бы обзавестись двумя...

Слов нет, образ этот поражает воображение. Помню, когда-то в молодые годы была у меня книжка с картинками, пересказ «Шахнамэ» для детей, где художник изобразил Заххока. Рисунок, как теперь понимаю, был довольно корявым, но царь-злодей с гигантскими змеями выглядел до чёртиков страшно. Вероятно, Зухуршо именно того и желает — не просто нагонять страх на людей, а вызывать у них запредельный, мистический ужас. Любопытный случай для психоаналитика. Я не Зигмунд Фрейд, но полагаю: кроме всего прочего, дело в том, что доморощенному Заххоку не хватает уверенности в собственной харизме. И все же странный у него выбор. Заххок в поэме дважды терпит поражение — его свергает восставшая чернь, которую возглавил кузнец Кова, а впоследствии убивает царевич Фаридун. Стоило бы поостеречься, подыскивая для себя образец...

Поразительно, сколь точный и, главное, современный образ нашёл Фирдоуси. Правитель состоит в симбиозе с рептилиями и, следовательно, вместе с ними питается мозгами подданных. Гениальная метафора, выражающая самую суть власти. Насилие совершается прежде всего над умами подчинённых и лишь во вторую очередь над их телами...

До сих пор не знаю, откуда взялся удав. Разве что лежал в одном из многочисленных ящиков, что таскали в дом накануне, по приезде в Ворух.

Кстати, о самом этом приезде, обставленном в добром старом вкусе. В Ворух мы въезжали с помпой. На въезде чёрная колесница Зухуршо загудела, вся колонна подхватила и мчалась теперь, сигналивая во всю мочь, словно свадебная процессия или похороны водителя в провинциальном городке. Караван, трубя, влетел в кишлак. Так и просился репортаж в какую-нибудь местную газету:

В горном селении Ворух, расположенном высоко в горах, на границе с Афганистаном, царит радостное возбуждение. В кишлак

прибыл караван с гуманитарной помощью, присланной Народным фронтом Таджикистана. На центральной площади селения состоялся митинг, на котором жители кишлака выразили свою благодарность новой демократической власти республики.

— В первую очередь хотим поблагодарить нашего земляка товарища Зухуршо Хушкадамова, который не пожалел сил и времени, чтобы доставить продукты в голодающий край,— сказал в своём выступлении председатель кишлачного совета Махмадмурод Салимшоев.— Заверяем руководство Народного фронта и лично товарища Зухуршо, что распределим продовольствие по всей справедливости. В первую очередь, муку получают наиболее нуждающиеся семейства. Выдачу начнём завтра с утра...

На этом торжественный ход митинга застопорился.

— Есть в кишлаке большой склад? — прервал Зухуршо оратора.

— Зачем склад? Не надо склада,— возразил оратор.— Разве наших людей не знаете? Никто и горстки чужого не возьмёт. Оставим мешки на машинах. Даже охраны ставить не надо. Прямо с машин будем раздавать... Можно, конечно, и сегодня начать, но вы с дороги устали... Надо вас принять, угостить...

— Уважаемый,— перебил его Зухуршо,— ты на вопрос не ответил.

— Есть склад. Пока пустой стоит. Но туда всё, наверное, не поместится. Но зачем склад? Туда таскать придётся, обратно...

Их прение прервали народные возгласы:

— Фотима, Фотима!

— Матушка Зухуршо...

К площади торопливо спускались маленькая старушка и статный старик. За ними поспешала вереница женщин разных возрастов и комплекций в ярких платьях. Видимо, родственницы и прислужницы. Народ раздвинулся. Старушка приблизилась, застенчиво прикрывая лицо рукавом.

— Бачам, сынок...

Робко протянула руку. Обнять не решилась — при чужих, должно быть, неприлично — и смиренно встала в сторонке. Её могущественный сын возвысил голос:

— Эй, люди! Идите к складу. Разгрузите мешки с машин.

Он повернулся к Даврону:

— Твои пусть проследят. Поставь охрану. Что не поместится, отвезёте ко мне.

— Я не завхоз,— отрезал Даврон.

— Как брата прошу. С матерью хочу побыть. Сколько лет не виделись... Будь другом...

Даврон расправил ремень с кобурой.

— Ладно, ради матери. Где тут у них амбар?

Тем временем сопровождавший старушку старец, словно бы снабжённый этикеткой «Муж матери товарища Хушкадамова», скромно остановился в стороне. Зухуршо подчёркнуто его не замечал. Живая иллюстрация к загадке: «Муж моей матери, но мне не отец».

Зато персонаж, которого я мельком видел в пути, вырвался откуда-то из-за кулис и бросился к старцу. Они крепко обнялись. Живая иллюстрация к отгадке «Муж моей матери, а мне отец».

— Их сынок,— пояснил стоящий рядом поселянин то, что было само собой очевидно.— Гадо.

Сынок был молод, лет тридцати, статен, красив. По всем канонам антропологии человеку со столь рыжими волосами и рыжей бородкой надлежало именоваться Сурхаком, то есть Красеньким. Однако его имя означает «нищий», «дервиш», что в принципе тоже подходило — несмотря на камуфляжный прикид, вид у Гадо был скорее робкий, нежели воинственный. Типичный младший братец, к тому же сводный.

Гадо потянулся было обнять и мать, но Зухуршо — видимо, намеренно,— принялся усаживать старушку в автомобиль. Она неловко вскарабкалась на заднее сиденье, сам он сел впереди. Втиснулись Гафур с Занбуром, защебив меж собой старушку, и экипаж пополз по узкой улице к сияющему дворцу на горе.

Гадо с родителем двинулись пешком вслед за экипажем, степенно беседуя. С тех пор я папашу ни разу не встречал, несмотря на то, что жил с ним в одном доме,— вероятно, старик отсиживался в какой-то камерке.

Дальнейшие события происходили без участия товарища Хушкадамова. Вторая половина воображаемого репортажа о прибытии гуманитарной помощи менее парадна и походит на разоблачительную заметку:

Гуманитарный груз был частично заперт под охраной на пустующем совхозном складе для комбикормов, а частично — в подсобных помещениях усадьбы Зухуршо. Попутно выяснилось, что Зухуршо ухитрился вывезти из Курган-Тюбе вместе с гуманитар-

ным грузом фургон, до отказа набитый холодильниками, телевизорами, стиральными машинами и прочей бытовой техникой, мебелью, посудой и коврами, похищенными, очевидно, из разграбленных магазинов и городских квартир.

Один из жителей Воруха, имя которого мы не приводим, в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал ситуацию:

— Этот Зухуршо, за хвост я его таскал, всегда говнюком был. Мальчишкой тоже очень говнистым был. Дрался всегда. Никто его не уважал. Сейчас большим человеком стал. Зачем он солдат привёл? Думает, если солдаты, уважать начнут? Ты только не говори никому, что я так сказал. Ты корреспондент? Приходи ко мне, я тебе всё про Зухуршо расскажу...

Засим анонимный информант — старец с внешностью библейского патриарха с полотна Семирадского, облачённый в серый застиранный пиджак из «Сельторга», — объяснил, где живёт, и через пару дней я отправился к нему.

Картинный старец мог рассказать немало. Лет ему было под девяносто, а случайно выяснилось, что он помнит события борьбы в басмачестве в двадцатые годы, сохранил в памяти народные стихи и песни тех лет и — более того, своими глазами видел знаменитого героя партизанской войны, о котором поётся в песне:

У Диловара громкое имя,
Слава о нем — и в городе Риме.

На самом деле, за пределами Дарваза никто о Диловаре и не слышивал, но в родных местах его помнят до сих пор. Принимал он участие и в осаде Куляба, и в битве при Бальджуане, в которой был убит Энверпаша, но в народе повествуют в основном о подвигах витязя на родине.

Я пожалел, что приехал ненадолго, и нет времени записать рассказы патриарха. Его-то больше волновало не далёкое прошлое, а настоящее настоящее. Не терпелось выложить подноготную Зухуршо:

— Ты видел, как он почтенного Муборакшо оскорбил? Не подошёл, руку не пожал, о здоровье не спросил, уважения не выказал. А он, почтенный Муборакшо, — его отчим, матери муж.

— Поссорились когда-то, — предположил я.

— Разве с отцом, даже приёмным, ссориться разрешено? Нет, порода плохая. Какая-то, видать, в его роду порча имеется. Отец-то Зухуршо тоже с изъяном был...

— Умер?

— Нет, живой! — воскликнул патриарх. — После тюрьмы в Душанбе поселился, в Ворух ни разу не приезжал. Потому говорю — был...

И он изложил историю Зухуршо и его родичей.

Робкая старушка, мать товарища Хушкадамова, происходит родом из самого влиятельного в кишлаке семейства из сословия ходжей. Было общеизвестно, что замуж она выйдет за Муборакшо, её двоюродного или троюродного брата. Во-первых, иного достойного жениха для девушки «белой кости» в селении не имелось, а ходжи ни при каких условиях не выдают своих женщин за смердов. Во-вторых, имущество, на которое женщина приобретёт право в замужестве и которое, согласно шариату, неделимо, при эндогамном браке остаётся в семействе.

Но вот в один прекрасный день в селение прибыл небольшой отряд геологов, проверявших научное предположение, что в Санговаре находится большое золотое месторождение.

— Люди им говорили: «Нет золота. Мы в этих горах живём, мы знаем», — повествовал патриарх. — Отвечали: «Профессор сказал, есть. Он лучше знает».

Вообще-то Дарвазский хребет золотом богат, дарвазцы издавна добывали его примитивным способом, промывая песок на кошме, бараньей шкуре или в деревянной чашке. А в окрестностях современного золоторудного комбината «Дарваз» в верховьях реки Ях-Су ещё сейчас можно встретить древние шурфы и штольни, в которых золото рыли со времён Чингисхана.

Геологов поселили в усадьбе родичей Фотимы, и одному из них, молодому парню по имени Усмон, девушка настолько приглянулась, что он посватался. Безродному чужаку низкого происхождения, естественно, отказали. На его счастье, первый секретарь райкома был настолько заинтересован в поисках золота в своих владениях, что нередко навевывался в кишлак, — это был первый в истории Воруха случай, когда селение посещал начальник столь высокого ранга. Его-то геолог, потерпев неудачу, и попросил посвататься вторично. Такому свату родичи Фотимы отказать не сумели.

Не слишком понятно, откуда геолог раздобыл деньги на калинг — люди, искавшие золото, в золоте не купались, зарплаты получали скромные. Как бы то ни было, сословный барьер был пробит — что также случай редкий, если не уникальный, — молодой человек женился, золота всё-таки не нашли, экспедицию свернули, геолог увёз с собой в город молодую жену. Через некоторое время Фотима вернулась в Ворух с маленьким ребёнком. Муж угодил

в заключение на десять лет; в кишлаке толком не поняли, справедливо или облыжно его обвинили. Как бы то ни было, он прислал из лагеря письмо, в котором давал жене развод по шариату и советовал вернуться домой, на Дарваз. И по советскому, и по шариатскому законодательству Фотима имела право развестись, независимо от согласия мужа. Однако геолог освободил её добровольно, что свидетельствует о его благородстве и благочестивости.

В итоге Фотима стала женой своего кузена Муборакшо. У них родился чуть ли не десяток дочерей плюс один сын, Гадо, мальчик умный, скромный, благонравный, в отличие от старшего, сводного брата, буяна и задиры. По мнению патриарха, оно и понятно: один — чистых благородных кровей, а другой...

— От кривого дерева прямой тени не бывает, — завершил он рассказ. — Отец Зухура мало того, что простолюдин и в тюрьме сидел, он ещё из Матчи родом. Ты, конечно, знаешь, все матчинцы — разбойники.

— Ну, Зухуршо все же привёз гуманитарную помощь, — возразил я, чтобы вытянуть побольше сведений.

— Э, помощь — что такое? Мы газеты тоже читаем... — Старец вздохнул: — Раньше читали. Сейчас почту не возят, радио тоже молчит, где-то в горах провода порвались, починить некому... А помощь? Нет, нам эдакой милостыни не надо. Маленький узелок дадут, большой мешок заберут.

— Кажется, взять-то у вас особенно нечего.

На лице патриарха выразилось чрезвычайно учтивое и деликатное удивление по поводу моей неосведомлённости.

— Кое-что ещё имеем.

Я в свою очередь без слов изобразил учтивое недоумение: в толк не возьму, о чем вы.

— Ты человек городской, — сказал старец, — тебе, наверное, не ведомо. Земля у нас есть. Боимся, землю могут отнять.

— Ну, это вы напрасно беспокоитесь. Зачем Зухуршо земля? Он тоже городской человек.

— Люди разное говорят... Мне один парень из тех, что с ним приехали, сказал, Зухуршо сеять что-то задумал.

Я вспомнил туманные упоминания о некоем новом сорте, которые слышал в дороге и которым не придал значения, и произнёс вслух:

— А-а-а, новый сорт...

Старец поморщился:

— Назови дерьмо халвой, вони не убавится. Кукнор! Мак он хочет выращивать.

Вот те на! А я-то расквакался: горы, атмосфера, поселяне... Акция Зухуршо начала смердеть с момента, когда к каравану присоединилась шайка шпаны, но я настолько упивался пейзажами, дорожными впечатлениями и радовался случаю вновь попасть на Дарваз, что не замечал очевидного.

Вскоре мне удалось разузнать побольше о предприятии и его участниках. Информация сама шла в руки. Мне даже показалось, что её в меня намеренно запихивали. Не знаю лишь, с какой целью.

Гадо явился в мою каморку с «пузырём», оглядел пустую комнату с брошенным на пол тонким матрасиком и ватным одеялом, поставил бутылку на подоконник и вышел. Минут через пять вернулся в сопровождении женщины с тюком. Следом явился парень с рулоном на плече. Парень раскатал на полу шерстяной палас, женщина разложила курпачи и подушки. Прибежала девчонка с дастархоном, свёрнутым в узел, раскинула на паласе скатерть, выложила лепёшки и сушёный тут, расставила пиалы. Обслуга удалилась, Гадо прилёг на подушки, открыл бутылку и разлил водку по пиалам.

— Зухур мне не брат, — заговорил он без предисловий. — Сын моей матери от первого мужа и больше никто. Понимаете?

Я постарался сохранить безучастную мину, и Гадо счёл нужным выложить более убедительные доводы:

— Приведу пример: вот имеется у моей матушки в личной собственности козел. Матушка его козлёнком взяла, вырастила, заботится о нем, но никто не станет считать козла моим братом. Согласны? Аналогично: был у матушки сын. Не от моего отца, от другого человека — этот самый Зухур. Какое отношение он имеет лично ко мне? Никакое. У меня сестры есть, дочери моего отца. Ещё был брат, в детстве умер. А Зухуршо? Он мне никто.

Пришлось как-то откликнуться из элементарной вежливости:

— Идея понятна. Аналогия неточна.

Гадо возразил:

— Зря так считаете. Это, наверное, потому, что вам наши отношения не известны. Мой отец — ходжа. Мы из Бухары в это ущелье пришли, одними из первых поселились. До революции наш каун большей половиной всех окрестных земель владел... А кто отец Зухура? Я коммунистам никогда не прощу, что они насиль-

но заставили матушку выйти за него замуж. Девушку белой кости выдали за безродного матчинского простолюдина. А он, к тому же, преступником оказался. И весь его род таков. Родной дядька Зухура — тоже вор. И Зухур ничем своих родичей не лучше, только сумел в начальство пролезть. С самого института лез — учился кое-как, зато стал комсомольским секретарём факультета, через пару лет — всего института и дальше полез. Из комсомола в партию перебрался и наконец дополз — сделался инструктором заштатного партийного райкома. Выше подняться ума не хватило...

Теперь Гадо говорил холодно, бесстрастно. Точно читал сводный бухгалтерский отчёт о прегрешениях и провинностях Зухура.

— Раздулся от гордости, как лягушка. Я в то время учился, а отец рассказывал — Зухур вначале в кишлак часто приезжал. По его словам, мать проведать, а на самом деле, чтобы покичиться перед односельчанами. Ходил важный как павлин, с моим отцом обращался неуважительно, как к нижестоящим. Позднее даже мать навещать перестал. Однако не повезло ему — в девяносто первом году компартию прикрыли, и остался Зухур не у дел. Чем занимался, я не интересовался, но однажды он вдруг у меня появился. Я в Душанбе экономистом работал в... А, неважно, где... Дела неплохо шли. Зухур к тому времени в Курган-Тюбе перебрался, а в Душанбе приехал по каким-то своим делам. Я-то знаю, зачем он пришёл — передо мной похвастаться хотел. «Твои родичи — моим не чета. Чем гордитесь, нищие люди? Вот мой дядюшка родной, Каюм, брат отца, он — большой человек. Помощь мне оказал, своё дело открываю. Может, тебя к себе возьму. Ты бухгалтер, да? Посмотрим, может, бухгалтером у меня будешь». Нахвастался вдоволь и исчез. Два месяца назад опять приехал. На этот раз со слезами просил: «Гадо, помоги, я в трудное положение попал». Я спросил: «Разве вам, кроме меня, не к кому обратиться? Вы большим человеком были, в райкоме работали, неужели никаких хороших связей не осталось?» Зухур смутился, сказал: «Эти люди, поев, в солонку плюют. Добра не помнят». Я понял, что он в Пянджском районе авторитетных людей тоже против себя настроил, обидел или подвёл... Я спросил: «А ваш родич в Курган-Тюбе? Ваш дядя. Он большой человек, почему к нему не обратитесь?» Зухуршо ещё больше смутился, сказал: «Дядя Каюм тоже не поможет».

О Каюме я слышал ещё в Курган-Тюбе. Смутные упоминания лишь раздражили моё профессиональное любопытство — собрать

материал для статьи о роли криминалитета в событиях в Таджикистане, конечно, вряд ли удастся. Но хоть крохи информации хорошо бы нарыть. Прерываю Гадо:

— А кто он такой, этот Каюм? О нем разные слухи ходят...

— Говорят, бизнесмен,— презрительно скривился Гадо.— Ещё говорят, вор в законе. Я точно не знаю. Знаю, несколько раз в тюрьме сидел, теперь богатый человек, большое влияние имеет. Ещё я понял, что Зухур перед ним тоже в чем-то виноват, раз помощи у него просить не решается. Ответил ему: «Если даже ваш дядя помочь не может, то я как смогу?» Зухур долго юлил, наконец я заставил его признаться: он какое-то дело начал — какое, не сказал, Каюм деньги в долг дал, дело прогорело, деньги пропали, а Каюм долг не простит даже родному племяннику. Что теперь делать? Я посоветовал: «Вам уехать из Таджикистана надо». Зухур принялся на жалость бить: «Куда я поеду? Без денег, без связей только улицы подметать или кирпичи на стройке носить... Уеду, дядя Каюм ещё больше рассердится. Он такой человек, его люди всюду меня найдут. Я от тебя, Гадо, других слов ожидал, за хорошим советом как к младшему брату приехал. Ты очень умный, из любого трудного положения сумеешь найти выход». Когда змее хвост прижмут, она как голубь ворковать начинает. Зухур всю жизнь презрение мне выказывал. В детстве, когда я маленький был, колотил меня, обижал. За то ненавидел, что я умнее, способней...

Гадо вознаградил себя за страдания в детстве, плеснув водки в пиалы:

— Ну, давайте! За все хорошее... Я тогда Зухуру старых обид вспоминать не стал. Зачем? Будет ещё время отплатить, а я сразу вычислил, как можно его положение использовать, через него на Каюма выйти и большое дело сделать. Мне Зухур послужил ключом к сейфу, в котором воровские сбережения лежат. Я сказал: «Не беспокойтесь, я знаю способ и долг отдать, и даже доход получить. Надо в Курган-Тюбе ехать, к вашему дяде». Зухур испугался, огорчился: «У меня надежда была, что ты что-нибудь путное придумаешь». Я ему свой замысел рассказал, как можно большое пастбище в наших горах использовать. Зухур сначала обрадовался, но, подумав, загрустил: «Сложное дело, я один справиться не сумею». Я сказал: «Поеду с вами, во всем вам помогу. Вам останется только дядю убедить, что от него никаких затрат не потребуется. Он ничем не рискует — ни копейкой денег, а свой долг получит и даже прибыль. Вы

его лишь об одном попросите — пусть поговорит с Сангаком, чтобы разрешил взять с мелькомбината немного муки и сахара...»

Я смотрел на Гадо во все глаза. Вот кто, выходит, заварил кашу! Мышка рыжая, тихоня, а самим Сангаком манипулировал.

— И вы были уверены, что Сангак разрешит?

Маска мышонка на миг сдвинулась, и из-под неё на меня глянула зверушка совсем уж непонятной, но явно опасной породы:

— Представьте, что хотите разбить большой камень. Сколько ни стараешься — молот отскакивает, а камень цел. Год будешь трудиться, ничего не получится. Но если правильную точку найдёшь, один удар — на куски разлетится. Знать надо, куда бить...

Как хотелось бы мне знать, в какой болевой центр он долбанул Сангака! Но спрашивать не стал. Не расскажет.

— Повёз я Зухура в Курган, — продолжал Гадо. — Он трусил, боялся встречи с Каюмом, дрожал от волнения, но я научил, что и как говорить. Ушёл... Часа три или четыре его не было. Вернулся от своего дяди-вора измученный, встрёпанный, но счастливый: «Поможет». Спасибо мне, конечно, не сказал. Напыжился: «Так-то, Гадо! Вот каких родичей надо иметь». Он постоянно случай искал, чтоб меня унижить. Завидовал, хотел доказать, что сам выход нашёл. Вы свидетель, как он меня на людях обижает...

Молча изображаю на лице нейтральное сочувствие. Азы профессии...

— Другого не знаете — как Зухур со мной наедине разговаривает, когда рядом людей нет. Вежливый, ласковый: «Гадо, дорогой, не обижайся. Поневоле приходится — у горцев традиции дикие, а мне надо авторитет поддерживать». Боится, кто-нибудь догадается, что это я решения принимаю, а он всего лишь перед народом мои распоряжения повторяет.

— Но вам-то в том какой прок?

— Чтоб люди были уверены, что Зухурушо главный.

Каюсь, у меня вырвалось совершенно непрофессионально:

— Зачем?!

— Многие в кишлаке недовольны, — сказал Гадо. — Отца будут корить: «Твой сын народ разоряет», перестанут уважение оказывать.

К этому моменту водки в бутылке осталось на два глотка. Гадо вылил её в свою пиалу, выпил, встал с подушек и вышел из комнаты.

Какие-то очень уж нелестные для меня аналогии навевал этот уход. Во всяком случае, я уверен, что он не добивался моего уважения

или признания и не вербовал союзника. Возможно, просто хотел на время расправить свою скомканную личность перед чужим, посторонним человеком, который никому не расскажет и скоро уедет.

А я был намерен уехать как можно скорее. До меня наконец-то дошло, что происходит в действительности. Даврона я отыскал во дворе школы, окончательно обретшей облик казармы. По баскетбольной площадке вразнобой маршировал десяток-другой деревенских новобранцев в цветных куртках и полосатых халатах. На гимнастическом бревне сохли выстиранные хэбэ. Груда школьных парт, составленных у стены, за минувшие дни заметно понизилась.

Даврон на плацу жучил качка в бронежилете:

— Слушай, ты, урка, Гург тебе не указ. В отряде один командир — я. И ты будешь мне подчиняться.

Качок нагло лыбился, но молчал.

— Понял?

— Хай, командир, базара нет.

— Свободен.

Качок враскачку удалился.

— Броникними! Кур напугаешь, нестись перестанут, — крикнул Даврон вслед. Повернулся ко мне: — Тебе чего?

Держался он по-прежнему отстранённо.

— Я выяснил кое-что... — начал я.

— Ну и?

— Ты знал про мак? С самого начала знал?

Даврон мрачно:

— Не лезь в здешние дела. Тебя они не касаются.

— Чрезвычайно даже касаются. Ежу понятно, куда пойдёт эта дрянь. В Россию.

— Прикажи Зухуру не выращивать, — предложил Даврон насмешливо.

— А ты что же?! Примешь участие?

Взгляд его не стал теплее, но лёд словно бы треснул. Не сомневаюсь, что Даврон испытывал мощный внутренний конфликт, и, насколько понимаю, он — законченный интроверт. Никогда и ни с кем не делится переживаниями. Почему он внезапно открылся, начал оправдываться? Сработал эффект случайного попутчика? Вряд ли. Вероятно, я случайно произнёс кодовое слово, открывшее замок. Может, подействовало не слово, а интонация или бог знает что ещё. Впрочем, это лишь догадки.

— Я Сангаку обещание дал,— сказал Даврон.— В тот день, когда с тобой познакомился, шестнадцатого марта. Он вызвал, вхожу к нему, он говорит: «Садись». Раз предлагает сесть, разговор важный. Сангак говорит: «Даврон, надо одно дело сделать. Кроме тебя, послать некого. Это моя личная просьба. Нужно человеку помочь. Он продукты на Дарваз доставляет, возьми своих ребят, поедешь с ним, будешь караван охранять. Останешься, присмотришь, чтоб ему не мешали работать. Чтоб спокойно было и чтоб чужие не лезли. С человеком личная охрана поедет, за ней тоже присмотри. Я на тебя надеюсь».— «Ладно, всё сделаю,— обещаю.— Не беспокойтесь. Слово даю, не подведу».— «Не подведи,— говорит Сангак.— За этого человека люди просили».— «Лады,— говорю.— И надолго?» «Время придёт, сам тебя отзову».

Я спросил:

— Выходит, Сангак умолчал, что Зухуршо едет дурь выращивать?

— Да хоть бы и сообщил...

— И что ты об этом думаешь?

— Ничего.

— Я не о тебе спрашиваю. О Сангаке. Он-то почему позволил?

— Значит, по-другому не получалось.

— И послал именно тебя! Знал ведь, как тебя будет корёжить... Или ошибаюсь?

Даврон усмехнулся:

— Пораскинь мозгами.

Объяснение и впрямь напрашивалось проще простого. Сангак сказал: «присмотри, чтоб спокойно было»? А понимать следует: обеспечить, чтоб крестьяне не бунтовали. Сангак выбрал для щекотливого поручения командира, который в любых ситуациях не станет лютовать. Но перед соблазном вернуть колкость я не устоял:

— И ты, стало быть, сменил меч на бич.

— Считаю, как знаешь,— Даврон уже наглухо закрылся, двинулся прочь, словно мимо пустого места.

— Даврон, стой! Хочу попрощаться. Уезжаю.

Он отозвался безо всякого выражения:

— Прощай.

А затем ледяная оболочка неожиданно вновь раскололась. Даврон приостановился, молвил неловко:

— Не поминай лихом... Помнишь, я в Кургане предупреждал: ты сам за себя отвечаешь...

— До сих пор удавалось.

— Ну что ж, удачи.

И все. Мы расстаёмся, оставшись чужими, случайными встречаемыми, незнакомцами друг для друга. Даврон никогда не узнает, что я сын человека, который когда-то отыскал и спас его в развалинах кишлака, разрушенного землетрясением. Хотя и узнай он, вряд ли смягчился бы. Я помнил слова Джахонгира: «У него нет друзей. Он вообще ни с кем не сближается». Для меня в детстве Даврон был воображаемым братом. Года в четыре я услышал рассказ отца о том, как в как день моего рождения он нашёл мальчика. Меня заворожила эта история, я долго упрашивал: «Давайте возьмём его к себе, пусть с нами живёт». — «Да где ж его теперь найдёшь?» — Разыскать мальчонку, думаю, оказалось бы делом несложным, но родители были слишком увлечены каждый своей работой. Пришлось мне довольствоваться фантазиями: вот мы с ним играем, вот он защищает меня от обидчиков, вот мы убежали в горы, живём в пещере, охотимся на диких коз и жарим мясо на костре... До самой школы он почти постоянно присутствовал где-то рядом. Как могли сложиться наши отношения, если б родители усыновили Даврона? Оттаял бы он, оправился от потрясения, стал настоящим братом или же, к моему разочарованию, остался замкнутым чужаком, мрачным и неприступным?

Могу весьма отдалённо представить пережитый им шок. Примерно в том же возрасте, что и он, я увидел, как разрушается мой дом. Мы переехали из коммуналки в двухкомнатную квартиру в новой пятиэтажке. Родители были счастливы, я тоже радовался, пока, разбирая картонную коробку с игрушками, не обнаружил, что нет самой любимой. «А где Ия?» Была у меня золотая рыбка — большая, из жёлтой пластмассы, с широким туловищем и выпученными глазами. Она исполняла желания, звали её почему-то Анастасия. Однажды мама жарила рыбу, это занятие понравилось мне чрезвычайно. Я схватил Анастасию, положил её на спиральную электрическую плитку и даже не успел понять, что произошло: пучеглазая рыбина вдруг вспыхнула, красным пламенем, вонючим и коптящем, и в одно мгновение от неё остался один хвост — уродливая штукovina вроде обгоревшей скрюченной рюмки с раздвоенным хвостовым плавником вместо ножки. Папа сказал: «Не огорчайся, ничего страшного. Просто теперь она будет исполнять не целиком желание, а лишь часть. Придётся звать её коротко — Ия». И вот она пропала. «Кажется, я видела на подо-

коннике, — сказала мама. — Ещё подумала: как бы не забыть, но, видно, захопоталась». «Завтра сходим и заберём», — сказал папа.

Когда мы пришли к нашему дому, то увидели, что рядом придулилась приземистая железная избушка на гусеничном ходу. Из избушки торчала длинн-ю-ю-ющая решетчатая стрела. Она была похожа на колодезный журавль, однако на цепи висело не ведро, а чугунный шар. Огромный и корявый, как драконье яйцо. Избушка постояла-постояла, покачивая стрелой, вдруг подползла к нашему дому, размахнулась, ударила шаром в стену и пробила безобразную дыру. Прямо рядом с нашим окном на втором этаже. Я заплакал. «Чего ты, Олежка? — нагнулся ко мне папа. — Да мы тебе новую купим. Лучше прежней. Во всяком случае, цельную». «Не надо. Ничего не надо... Зачем они наш дом разрушают?!» Папа перестал улыбаться той нестерпимо снисходительной усмешкой, с которой отцы утешают детей, и сказал серьезно: «Сынок, наш дом — не старые стены. Дом, это место, где мы вместе: ты, мама и я... Понимаешь?» Но я понял совсем другое. Я впервые понял, сколь незащищен и хрупок любой дом, любая защитная оболочка. Ночью мне приснилось, как железная избушка ползёт по городу, размахивая своим ужасным яйцом, и рушит всё без разбора. И вот я стою среди развалин, один-одинёшенек, вокруг ни души — ни папы, ни мамы, никого — а чугунное ядро летит на меня...

Мне-то посчастливилось переболеть потерей дома в ослабленной форме, чем-то вроде недомогания после вакцины с неопасным возбудителем. На Даврона болезнь обрушилась со всей сокрушительной мощью и оставила неизлечимые травмы на всю жизнь...

Я вернулся во дворец, собрал пожитки, забросил на спину рюкзак и, миновав золочённые ворота, зашагал вниз к площади.

Найти попутку я рассчитывал около единственного в кишлаке магазина. Пятачок возле него — своеобразный клуб, в котором всегда немало народу. Со стороны может показаться, что мужчины проводят в безделье целые дни. Это неверно. Жизнь в горах неспешна, но полна трудов и забот. Постойте с часок, и вы заметите, что общество в «клубе» постоянно обновляется. Одни уходят, появляются другие. Магазин расположен в таком месте, что, куда бы ни шёл человек, он непременно проходит мимо. Останавливается, узнает новости, рассказывает свои, отводит душу в беседе с односельчанами и идёт по своим делам. Почти каждый успеваает побывать мимоходом возле магазина несколько раз за день. Лучшего информационного бюро не найти.

Мне не повезло. Заветная площадка была безлюдной. В магазине — тоже ни души, если не считать продавца за прилавком. Большая часть полок пустовала. Когда-то на них, очевидно, выставлялись продукты, а сейчас были кое-где расставлены и разложены оцинкованные ведра, резиновые сапоги, мотки верёвки, нехитрый инструмент... Остальной перечень легко дополнит всякий, кто побывал в любой сельской лавке.

Магазинщик встретил меня возгласом на русском:

— Здравствуйте! Водки нет, извините.

Я смутился:

— И слава богу, что нет. Я зашёл узнать, не намечается ли попутная машина. Вы наверняка в курсе.

— Конечно, в курсе,— подтвердил магазинщик.— Куда ехать изволите?

— В Душанбе... А вообще-то мне лишь бы на большую дорогу выбраться.

— Нет, извините, в ту сторону никто больше не ездит.

— Ну, а если пешком... Далеко идти придётся?

— Почему далеко?! — вскричал магазинщик.— Близко. Километра два. Или три. Может, пять. Только, извините, не выпускают.

— Кого не выпускают? — спросил я туповато.

— Всех не выпускают.— Он поманил меня к себе, перегнулся через прилавок и прошептал: — Зухуршо боится, что люди убегут.

— Меня выпустят,— сказал я самонадеянно.

— Конечно, выпустят,— согласился магазинщик.

Я вышел и пустился в путь, прикидывая, что до большака, вернее всего, километров десять. Быстрым шагом часа за полтора доберусь. За кишлаком дорогу стиснули с правой стороны скалы, слева — обрыв к реке, а путь преграждал самодельный шлагбаум — кривая жердь на двух сложенных из камней столбиках. Под скалой на домотканом коврикe, расстеленном возле шлагбаумной стойки, располагались двое караульных. Один лежал, другой сидел и безо всякого интереса наблюдал за моим приближением. Я кивнул ему, оглябая шлагбаум. Он крикнул вслед по-русски:

— Эй, куда идёшь?

Я приостановился:

— Уезжаю. Журналист из Москвы, брал интервью у Зухуршо. Удостоверение показать?

— Назад иди.

Пожав плечами, я двинулся дальше. Прошёл несколько шагов...

Меня догнали, схватили за плечо, развернули и сильно ударили кулаком в лицо. Молча, без слов. Это был тот, что сидел. Отступив на шаг, он неторопливо снял с плеча автомат, так же молча, передёрнул затвор. Не угрожал, нет. По невыразительной физиономии я видел, что он попросту пристрелит. Даже врать начальству не станет — уехал, мол, корреспондент. Скинет тело под обрыв, в реку, и вся недолга. За тем и поставлен, чтоб не выпускать. Всех. А чем журналист из Москвы лучше дехканина, задумавшего сбежать из ущелья?

В грудь мне упирался ствол древнего «калашниковова», истёртый до состояния тускло блестящей железки. Караульный смотрел мне в глаза абсолютно равнодушно, но каким-то запредельным чутьём я понимал: если скажу хоть слово, сделаю хоть одно движение, посмотрю вызывающе или даже если у меня просто что-то дрогнет внутри, шевельнётся, пересекая несуществующую грань, — он выстрелит.

Дрожа от гнева, страха, возмущения, чувства бессилия, я плёлся обратно. Караульный прошёл вперёд, бросил автомат на подстилку и присел рядом. На меня он более не обращал внимания. Его напарник возлежал в прежней позе, нимало не любопытствуя, что происходит окрест.

11

Зарина

Теперь она задумала раскопать папину могилу.

Утром вошла на летнюю кухню и встала эдакой Царицей ночи в синем вдовьем платье. Мама, сидя на корточках на земляном полу у очага, мыла посуду после завтрака. Была она в своей обычной красной рубахе до пят, платке, в штанах изорах и босиком. Я сидела поодаль и перебирала горюх.

Бахшанда, не глядя на маму, обратилась к Мухиддину. Обычно я перевожу, но она почему-то привела собственного толмача.

— Тётя Вера, оча говорит, идите отца смотреть.

Мама подняла голову.

— Какого отца?

Мухиддин смутился.

— Моего... И вот её тоже, — он кивнул на меня.

— Ваш отец теперь в своём раю, развлекается с гуриями, — сказала мама. — Любимое его занятие. Мне в этой компании делать нечего.

Не хочет простить, что меня просватали за этого парнишку, Карима. Смешно! Пусть кто-нибудь попробует меня заставить... Но мама сильно переживает и тревожится. Надеюсь, Мухиддин, мой юный братец, не понял, что она сказала. Во всяком случае, не подал вида.

— Оча говорит, если хотите остудить сердце, идите посмотрите.

— У меня сердце и без того холодное, — сказала мама и принялась споласкивать тёплой водой деревянные блюда и голубые китайские пиалы.

Бахшанда молча вышла. Я спросила Мухиддина:

— О чем это она?

— У нас обычай есть. Если о мёртвом сильно горюют, говорят: «Позовите Хатти-момо, пусть она пойдёт, вскроет могилу». Приходит Хатти-момо, открывает могилу, люди ещё раз смотрят на покойного.

— Слушай, а зачем раскапывать? Остались же фотографии.

— Я не знаю. Обычай такой. Оча захотела.

— А ты пойдёшь?

Мухиддин приосанился:

— Это не для мужчин. Так только женщины делают. И то тайком. Если мужчины узнают, будут ругаться. Обязательно помешают. Мусульманская вера запрещает.

Шкет, малявка, а туда же! Представитель сильного пола. Младше меня, а нос задирает.

— Ну, раз ты мужчина, то и запрети ей.

Мухиддин тут же сник, из джигита превратился в испуганного мальчишку.

— Что, не можешь?! Ну, наябедничай настоящим мужчинам, что женщины хотят могилу раскопать.

Он ещё больше перепугался:

— Ты что! Меня оча убьёт. Заринка, пожалуйста, ей не рассказывай...

Он тётю Бахшанду как огня боится. Я видела, как она его по какому-то делу послала. На солнцепёке плюнула за землю —

чтоб обернулся прежде, чем плевок высохнет. Таймер поставила. Его будто ветром сдуло. Знал, каково придётся, если не уложится в срок.

— Иди, иди, мужчина. Не расскажу.

Он бочком, бочком и — подальше от греха. Когда он ушёл, я сказала маме:

— Раз ты отказалась, я пойду.

Она возмутилась:

— Даже думать не смей! Ты не какая-нибудь дикарка.

— Мамочка, ты разве не поняла? Она с тобой примириться хотела.

— Оставь, пожалуйста! — отрезала мама. — Ей просто вздумалось вывести меня на поводке и показать соседкам, как она выдрессировала русскую жену. Меня это не задевает, я с радостью налажу с ней нормальные отношения... Но не таким же варварским способом.

— Мамочка, не отказывайся. Представь, как будет трогательно. Две вдовы примиряются на кладбище, — я чуть не расхохоталась, вообразив, как мама с Бахшандой держатся за руки над папиной могилой и дают обещание никогда не ссориться: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». — Папа был бы очень доволен.

— Вот уж верно. У твоего отца всегда были своеобразные представления.

Иногда у меня на маму зла не хватает. Тётя Бахшанда виду не показывает, а на самом деле — оттаяла. После нашего злополучного бегства...

Даже вспомнить страшно. Когда этот придурочный Рембо — тот, что в бронжилете, — стал избивать Андрюшку, я кинулась на защиту, а другой схватил меня и потащил в машину. Я сопротивлялась изо всех сил. Такое меня бешенство охватило. Убила бы, если б могла. Но он обхватил меня сзади, прижал руки, и я могла только кричать и брыкаться. Он подволок к машине и заорал третьему: «Открой дверь». Стал засовывать меня вовнутрь, но вдруг кто-то со стороны крикнул: «Эй, орёл, отпусти девочку!» Он немедленно отпустил. Я тут же обернулась и вцепилась ему в рожу. Жаль, не знаю каких-нибудь приёмов. Изничтожила бы, но удалось единственно засадить коленом меж ног — Андрей научил — и располосовать мерзкую харю. Он отбросил меня в сторону. Я вскочила и увидела: какой-то военный — откуда он появился? — без замаха вlepил кулаком в рожу ублюдку.

Раз и другой. Ублюдок не защищался. Военный приказал: «В машину. В казарме разберёмся». Ублюдок — харя в крови — уполз в фургончик, а за ним — Рембо и тот, третий. Я побежала к Андрею. Он лежал без сознания, мама хлопотала над ним и не знала, что делать. Я услышала, как военный крикнул: «Алик, принеси фляжку». Оглянувшись — напротив стояла ещё одна машина, открытая, без верха, из неё выскочил шофёр и подошёл к нам. Отвинтил крышку фляги и побрызгал Андрюшке на лицо. Военный тоже подошёл. «Откуда вы?» Я сказала: «Мы из Талхака». Одним словом, познакомились.

Даврон, как звали того военного, отвёз нас обратно. По дороге мы ему все рассказали, хотя его, кажется, наши приключения совсем не интересовали. Он молча сидел на переднем сидении, рядом с шофёром, и даже не поворачивался. А я все болтала и болтала. Вообще-то я не балаболка, но тут трещала как сумасшедшая и почему-то не могла остановиться. Андрей уже немного оправился. Остановились около мечети. Даврон спросил: «Дойдёте?» Мама сказала: «Не знаю, как вас благодарить. Страшно представить, что было бы, если б не вы...» Даврон отвернулся и уехал, не попрощавшись. Наверное, сердился, что потерял много времени...

Мама и за этот случай винит тётю Бахшанду. А я на неё зла не держу. От мамы немедленно направилась к ней.

— Тётушка, я хочу пойти. На кладбище.

— Зачем?

— Я его дочь.

Она долго смотрела на меня, подняла глаза к потолку и провела ладонями по лицу.

— О, худоё! Боже, зачем, ты все запутал.

Потом кивнула головой:

— Хорошо, иди... Подожди. Ты молиться умеешь?

— Не знаю. Наверное, умею.

— Смотри, что делают другие женщины и делай то же самое. Скажешь вместе со всеми: «Бисмиллохи рахмони рагим», — и проведёшь руками по лицу.

Это мне, конечно, известно. Каждый знает. Я думала, она научит чему-нибудь более сложному. Продемонстрировала ей, как произвожу это самое умывание без воды, а она будто не увидела и обычным своим приказным тоном:

— Не забудь. Сделай все правильно. Семью нашу не опозорь. Но я не обиделась и даже не рассердилась.

В середине дня в нашей мехмонхоне собралось десятка полтора соседок. Кого-то ждали и тихо переговаривались, как на поминках. Две женщины ввели под руки крохотную старушку в белом платье до пят. Все встали. Оказалась, это и была та самая знаменитая Хатти-момо. Ей лет сто или даже больше. Сухонькая, почерневшая — душа в теле едва держится, но казалось, есть в ней что-то такое, чего словами не выразить. Волшебная старушонка. Как фея из сказки, только очень ветхая...

Все начали молиться. Я мельком заметила, что тётя Бахшанда внимательно следит за мной, но больше в её сторону не смотрела. Мне хотелось остаться одной. Никого не видеть. Не слышать. Я крепилась весь день, а тут почувствовала, что начала трястись голова, задрожало все тело, и я с трудом удержалась, чтоб не зарыдать во весь голос. Захлёстывала невыносимая жалость к бедному папочке — ещё миг, и я бы рухнула на пол и завывала бы, забилась в припадке скорби.

Видимо, тётя Дильбар, которая молилась рядом, почувствовала, что со мной творится. Положила руку мне на плечо и прошептала:

— Доченька...

Одно-единственное слово. Будто я тонула, а она в чёрную глубину канат бросила, а я по нему кое-как вылезла наружу. Овладела собой. Несколько раз вздохнула прерывисто, со всхлипами... И окаменела, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. И когда произнесли заключительное: «Омин», провела, как и все, ладонями по лицу. Руки не дрожали, но были словно чьи-то чужие, не мои.

— Пора идти,— сказала Хатти-момо.— Солнце опустилось к западу, свет будет в могилу падать.

Все вышли из мехмонхоны на задний двор и задворками выбрались на тропу, ведущую к кладбищу. На просторе, на солнечном свете, немного полегчало. Соседки шли впереди меня и вели странный разговор.

Тётушка Лепёшка:

— Дай Бог, чтобы его тело оказалось хокі.

Тётушка Кубышка:

— Наверное, окажется. Умар был мужчиной крепким, сильным...

Я догнала их и спросила:

— Тётушки, о чем вы говорите?

Тётушка Кубышка сказала:

— Не знаешь разве, доченька? Покойники бывают двух родов: хокі и боді.

— Как это? Земляные и ветряные?

— Да,— сказала тётушка Лепёшка.— Которые хокí, земляные,— те сохраняются долго, не разлагаются.

— Которые бодí, те свойство ветра имеют,— дополнила тётушка Кубышка.— Истлевают быстро, становятся страшными. Если так, то Хатти-момо вас отговаривать станет. «Нет нужды смотреть. Зачем это?» — скажет.

Мне стало страшно. Я боялась даже вообразить, что увижу...

Кладбище было окружено невысокой каменной стеной, как обычное поле. Но росли на нём лишь палки, воткнутые возле низких могильных холмиков. К концам палок привязаны белые лоскуты, рога, а к одной фарфоровый чайник, расписанный яркими розами...

Хатти-момо остановила женщин:

— Стойте, не подходите. Я открою могилу и посмотрю на лицо покойного. Если страшное, вам лучше не глядеть.

Женщины заохали, запричитали.

— Дайте кетмень,— приказала Хатти-момо.

Тётушка Кубышка подала и сказала:

— Бабушка, я помогу.

— Сама!

Хатти-момо ухватилась за древко и поволокла кетмень за собой, как муравей соломинку. «У неё сил нету, чтобы и такую-то лёгкую железку поднять,— тупо подумалось мне.— Как она сумеет копать?»

Хатти-момо доковыляла до одного из холмиков, ничем не отличного от соседних, я поняла, что это папина могила. Мой папочка зарыт под этой земляной кучкой? Нет, представить невозможно...

Хатти-момо остановилась, шепча молитву. Женщины разом затихли и молча следили за ней с пугливым любопытством. Старушка откинула длинные рукава, взмахнула кетменём. Разгребла рыхлую землю, прокопала в ней небольшую яму — смотровое окошко, отбросила кетмень и отошла в сторону.

Женщины зашептались:

— Переживает, пока пар покойника выйдет...

— Очень для человека вреден...

Хатти-момо постояла немного, вернулась к могиле, взгляделась, протянула руку и что-то в дыре обтёрла концом рукава. Мне даже думать было страшно, что она обтирает...

— Можно посмотреть,— сказала Хатти-момо.— Подойди ты, вдова.

Тётя Бахшанда подошла, присела рядом с отверстием. По её лицу невозможно было догадаться, что она видит и что чувствует. Потом Хатти-момо сказала:

— Теперь пусть дочь посмотрит.

Не помня себя, я пошла к могиле. Решила, что не буду смотреть. Но когда опустилась рядом с тётей Бахшандой и краем глаза увидела, как солнечный свет уходит в земляную дыру, словно в какую-то воронку, что-то заставило заглянуть туда. Я слышала, как одна из женщин сказала: «Уведите девочку», но не могла тронуться с места и оторвать взгляда от незнакомого мёртвого лица в дыре...

Бахшанда обняла меня.

— Пойдём, дочка.

Я почувствовала её живое сильное тело и прижалась к нему.

И в это время внизу, в отдалении — в кишлаке? — внезапно раздались выстрелы.

— Дети! Дома дети остались! — закричала тётя Бахшанда.

Женщины закричали и, спотыкаясь о могильные холмики, побежали вниз по склону к ограде кладбища. Я побежала вместе со всеми, но остановилась, оглянулась и увидела, что Хатти-момо кетменём забрасывает сухой землёй дыру в папиной могиле.

12

Карим Тыква

У хлеба — вкус Зарины. У похлёбки тоже. Сажусь похлёбку есть, Зарину вспоминаю. Чай пью, а Зарина будто рядом. У чая — аромат, как у Зарины. Утром в тени продрогну, от счастья дрожь берёт — скоро на Зарине женюсь. Днём на солнцепёке согреюсь, в жар бросаю — Зарину обнимать, целовать буду... Коровью лепёшку на земле увижу — радуюсь, вспоминаю: Зарина в нашем доме корову доить будет. Автомат чищу, запах масла напоминает: «Долго ждать придётся». Думаю: «За делом время быстрее пройдёт». Три раза автомат разбираю-собираю. Пусть Зарина узнает, какой я умелый, ловкий... Куда ни иду — к Зарине иду. Все дороги к ней ведут. В любую сторону пойду, обязательно к Зарине приду, но очень долго идти. Печалюсь: «Почему так далеко?»

Утром Даврон говорит: «В Талхак поедешь. Ты местный, кишлак знаешь — за гида сойдёшь».

Кто такой гид, не знаю, но радуюсь — с Зариной встречусь. Едем. Шухи-шутник рядом сидит. Спрашиваю:

— У тебя жена есть?

По-хорошему спрашиваю. Он:

— Зачем интересуешься? — спрашивает. — Не сам ли жениться задумал? Нет, братишка, не женись.

— Почему?

— Опасно, — Шухи говорит. — Жены разные попадают.

— У меня хорошая будет, — говорю.

— Откуда знаешь? — говорит. — В нашем кишлаке одна девочка была. Совсем некрасивая, зато сильная. Как бык. Отец-мать откуда-то из других мест к нам переселились. Наш сосед эту девочку своему сыну в жены взял. А сын — Пустак его звали — худой был, слабосильный... Сосед радовался: «Хорошую сноху нашёл. Вместо Пустака на поле отправлю». Хай, ладно. После свадьбы неделя прошла, мимо кладбища иду, на камне кто-то сидит, худой, страшный. Голова опущена, лица не видно. Я испугался, подумал — злой дух, оджина, хотел назад вернуться. Оджина голову поднял, говорит: «А, это ты Шухи...» Смотрю: Пустак. Я подошёл, спросил: «Что такое, брат? Заболел? Наверное, все силы на жену истратил?» Он, бедный, чуть не заплакал: «Э, жена! Я б могилу отца этой жены сжёг». Я удивился, спросил: «Не любит? Играть не хочет?» Пустак: «Ещё хуже — хочет. Играет. Любит, сильно любит», — сказал. «Хорошо тебе, — я сказал. — Почему не радуешься?» Он заплакал: «Задний проход мне, как плутом, распахала». Мне смешно стало, я Пустака обижать не хотел, смех сдержал, виду не подал. Спросил: «Что же, у твоей супруги и плут имеется?» Ответил: «Имеется, пребольшой». Я спросил: «А женское что-нибудь есть?» Пустак слезы вытер, сказал: «Женское тоже есть, но она до него не допускает». Эта девочка не девочка, а хунсо оказалась.

Ребята гогочут, ругаются, на пол плюют, чтоб отвращение показать...

— Хунсо кто такой? — спрашиваю.

— Универсал, — Шухи объясняет. — И поршнем, и цилиндром укомплектован. Не слышал никогда?

— Нет, — говорю, — не слышал.

— Э, деревня, — Шухи укоряет. — Знать надо, или тоже впросак попадёшь. Такие есть, которые разом и мужик, и баба. Потому их

хунсо называют... Слушай, дальше как было. «Никому не говори,— Пустак попросил.— Стыдно. Одному тебе, другу, рассказал». Сосед все равно как-то узнал, рассердился, палку схватил, к отцу хунсо прибежал: «Девочка ваша кер имеет, оказалось! Зачем нас опозорили? Почему изъян скрыли? Почему обманули? Калинг назад отдавайте». Этот приезжий мужик спорить стал: «Не было обмана. Изъяна тоже нет. У нашей Гулджахон все, что девочке иметь необходимо, все есть. А если что-нибудь дополнительное нашлось, то это разве вам в убыток? Наоборот, нас благодарите, что цену не надбавили, невесту с походом отдали». Наглый, да? Сосед приезжего мужика палкой побил, хунсо из дома прогнал. Люди смеялись: «Абдуманон, зачем прогнал? У тебя дочери есть, одну девочку хунсо в жены отдай, на свадьбу деньги тратить не придётся. Впридачу к снохе, зятя получишь».

— Калинг отдали? — Рембо спрашивает.

Шухи сердится:

— Тебе какое дело? Ты, что ли, платил? Э, глупые вопросы не задавай, слушай... Время прошло, я один раз ночью домой возвращался, на нашей улице человека встретил. Он мимо пройти хотел, я узнал, окликнул: «Эй, Пустак, куда?» Он: «Свежим воздухом дышим, гуляем», — сказал, убежать попытался. Я за руку удержал: «Узелок кому несёшь?» Он туда-сюда, крутил, наконец признался: «Жену проведать иду». Я удивился: «Эй, ты же развёлся». Пустак что ответил? «Отец когда выгонял, я даже развод дать не успел, «се талок» не сказал. Выходит, если по закону, всё-таки жена. А мы хороший калинг дали — корову, баранов, шара-бара... Они назад не отдают. Не пропадать же добру зазря».

Ребята хохочут, Рембо говорит:

— Тыква, понял? Сразу не женись, сначала между ног пощупай.

Ребята смеются:

— Нет, Тыкве хунсо не страшен. У него теперь такой кер, что с любимым хунсо сладит.

Они меня после того дразнить стали, как я совету Шокира поверил, свой кер травой талхуган с курдючным салом натёр... Оха!.. Распух, притронуться больно. Никому не рассказал, но как-то прознали. Ребята смотреть приходили.

— Эй, Тыква, покажи.

Я не показывал — грех показывать, — но они всё равно смеялись. Другое прозвище мне дали — Кери-хар, Ослиный хер. Даврон услышал, сказал: «Если кто этого бойца ещё раз «кери-хар» назовёт, силь-

но пожалеет». Испугались, перестали. Когда опухоль ушла, кер, каким прежде был, таким и остался, а ребята до сих пор насмеваются.

— Такой кер нельзя на бабу зря изводить, — один говорит. — Тебе, пацан, в Америку поехать надо. Американцы большой олимпийский керодром построят — твой кер за деньги показывать. Тебя рядом поселят, в каморке. Будешь кер охранять, травой натирать... Знаменитым человеком станешь.

— В Америке тоже опасно, — другой перебивает. — Мафия узнает, кер украдёт. Нет, Тыкве в Муминободский район в колхоз Кирова ехать надо. Там в земле глубокая яма есть. Тыква кер в яму засунет, залупа в Америке выйдет.

— Не годится, — Шухи говорит. — Голова-то в колхозе останется. А деньги Тыква как получит?

— Э, американцы знают! Деньги как-нибудь по почте перешлют. Мафия залупу украсть захочет, грузовик подгонит, крюком зацепит, потянет... Тыкву наружу вытянет. Тыква рассердится, мафию кером насмерть перебьёт. Американский президент ему орден даст...

В Талхак приезжаем, возле нижнего моста останавливаемся, к мечети поднимаемся. Народа совсем мало. Даврон приказывает: «Ждать на площади. По кишлаку не шастать. Местное население не обижать. Тронете кого — голову сниму». Я думаю: «Жаль, что такой приказ. Пока народ собирается, я бы сбегать успел».

Примечаю, этот шакал появляется. Зову:

— Эй, Шокир!

Подходить к нему не хочу. Хоть он и старший, приказываю:

— Сюда иди!

Думаю: перед ребятами его опозорю. За нос дёрну или ещё как-нибудь. Он к нам ковыляет. Мы, пять наших ребят, кружком стоим. Шокир со всеми за руку здоровается.

— А, Карим, как дела, солдат? Кер вырос?

Шухи-шутник говорит:

— Тыква теперь его в казарме оставляет. Такой большой стал, что в машину не влезает.

— Ничего, — Шокир ухмыляется, — куда надо влезет... А вот вы, ребята, скажите, — на грузовики с мешками кивает, — сколько муки на одного человека положено?

Мы не знаем, нам не сказали, но Шухи-шутник серьёзное лицо делает:

— Дадут, сколько кто на плечи поднимет. Вы, муаллим, я вижу, человек очень сильный. Поэтому вам не меньше трёх мешков достанется...

Ребята исподтишка перемигиваются — хорошо Шуки слабо-сильного калеку поддел, а я стою, будто рот толочком набил. Не получилось. Разговор в такую сторону повернулся, что теперь Шокира ни с того, ни с сего за нос не дёрнешь. Может, ещё что-нибудь придумаю... В это время за рекой, на нашей стороне, в нашем гузаре — выстрелы. Автоматные. Та-та-та. Та-та.

Даврон кричит, командует:

— Гург, разберись! Возьми людей. Карима прихвати, он местный. И смотри: действуй осторожно! Ты понял?!

— Яволь! — Гург-волк отвечает, меня спрашивает: — Тыква, присёк, откуда выстрелы?

— На этой стороне стреляли, — говорю.

— Ты чё, пацан, глухой? — Гург-волк сердится. — Почему на этой? За речкой шмаляли, я слышал.

Объяснить хочу:

— За рекой, — наша сторона. На которой мы живём. Потому её и называем *эта*.

— А та где? — он спрашивает.

— Там, где ты стоишь. На ней люди с другой стороны живут. Потому её и называем — *та* сторона.

Не понимает.

— Мудаки талхакские. Как может быть *той* сторона, на которой мы находимся?

Ещё раз объясняю:

— Это которые на ней живут называют её *этой*, а нашу — *той*. Мы-то про здешнюю всегда говорим *та* сторона.

Гург-волк сердится, железные зубы скалит:

— Ты, кери-хар, голову мне не морочь! Та, эта — какая разница?! Вперёд, пацан! Шевели коленями. Беги, дорогу показывай.

Бежим. По мосту проносимся. Наверх, к нашему гузару, подниматься начинаем.

— Где искать?! — Гург сердится. — Ни хрена тут у вас не поймёшь...

— Эй, смотри, Рембо идёт! — Шуки кричит.

Действительно, навстречу по улице Рембо спускается.

— Брат-джон, что такое? — Гург спрашивает.

— Э, биять... — Рембо говорит, на землю сплёвывает.

— Покажи, — Гург приказывает.

Идём, мне страшно. Не к нашему ли дому ведёт? Прошу: «Дедушка Абдукарим, отведите беду. Сделайте так, чтобы наши не пострадали». Сам думаю, если что плохое случилось, поздно просить. Раньше надо было умолять. Но заранее как попросишь? Никогда не знаешь, что будет. Конечно, мы наших дедов-духов всегда почитали, никогда не забывали, всегда им уважение оказывали, вечером накануне пятницы вместе собирались — для них молитвы читали, их имена вспоминали... Мы повода не давали, чтоб на нас гневаться. Неужели нас оставят, в помощи откажут?

Рембо ребят к дому Салима, соседа, что ниже нас живёт, приводит. Когда подходим, сразу замечаю — выше Салимова двора, на крыше нашего дома отец стоит. Будто камень с души падает. Я радуюсь. Спасибо дедам-духам! Богу тоже спасибо... Через калитку к Салиму во двор входим, мне опять страшно становится. Во дворе убитые Салим и Зухро на земле лежат.

Рембо говорит:

— Эти горцы совсем дикие. Как звери. Никакой культуры нет. Их женщины не понимают, как с мужчиной себя вести.

Гург-волк говорит:

— Кончай философию. Скажи, что делать будешь?

Рембо говорит:

— Раз баба не дала, ослицу поймаю.

Ребята смеются. Шухи-шутник говорит:

— Тебе только ослиц и охаживать.

Рембо злится:

— Ослицу для тебя приведу. Себе другую бабу найду.

Ребята опять смеются. Шухи говорит:

— Даврон шутить не любит. Приказал кишлачных не обижать.

— Э, Даврон кто такой?! — Рембо говорит. — Что он сделает?

Подумал, говорит:

— Я сам Даврон.

Говорит:

— Обиженных нет. Был один, — на мёртвого Салима, нашего соседа, кивает, — уже не обижается.

Ребята смеются.

— Ладно, — Рембо говорит, — что-нибудь придумаем. Скажу, он первым начал стрелять — я защищался.

— Где автомат лишний возьмёшь?

— Пистолет ему положим.

— Выстрелы все слышали. Пистолетных не было. Лучше кетмень подложить. Ну, а бабёнка?

— Она на меня с ножом бросилась.

— А где нож? — Хучак спрашивает.

Рембо на веранду-кухню идёт, большой нож, каким овощи крошат, берёт.

— Вот нож, — говорит и рядом с мёртвой Зухро кладёт.

Потом Шухи-шутник говорит:

— На крыше какой-то мужик стоит... На нас смотрит.

Все ребята разом головы вверх поднимают.

— Эх, биять! — Рембо ругается.

Гург ко мне поворачивается:

— Кто такой?

— Мой отец.

— Скажи, пусть в этот двор придёт.

Страшно мне. Очень страшно. Ничего придумать не могу. Спрашиваю:

— Зачем?

— Э-э, не бойся, пацан. Просто поговорить... Что стоишь, мнёшься? Давай, давай, кричи ему.

Я кричу:

— Отец, пожалуйста, спуститесь.

Отец с крыши спускается, из нашего двора выходит, к Салиму во двор калитку распахивает. Лицо — как мука белое. Никогда я отца таким бледным не видел. Но шагом твёрдым идёт.

Гург-волк ему обе руки с уважением протягивает.

— А, отец, ас-салому... Как ваше здоровье? Как семья?

У отца руки дрожат, но как должно здороваются. С достоинством.

Гург говорит — вежливо говорит, уважительно:

— Отец, вы сами видели, что произошло... Вот этот человек, Рембо, пить захотел, во двор к вашим соседям зашёл, воды попросил. А эти ваши соседи, наверное, что-нибудь плохое подумали и на Рембо с ножом, с кетменём бросились, убить хотели. Рембо что было делать? Рембо защищался. Свою жизнь спасал. Пришлось их застрелить... Таких людей убивать надо. Хорошо, что вы свидетелем были. Всё своими глазами видели. Можете всем сказать, что Рембо не виноват. Соседи ваши виноваты...

Отец говорит:

— Я другое видел. Этот ваш человек, Рембо...

Гург-волк сердится, железные зубы скалит:

— Вы, отец, наверное, плохо разглядели. Сосед на Рембо первым напал.

Шухи-шутник смеётся:

— Покойник-бедняга, наверное, кетмень где-то по дороге потерял.

— Шухи, найди, — Гург приказывает.

— Рембо пусть ищет.

Гург сердится:

— Э, падарналат, не огрызайся. Иди выполняй!

Шухи на задний двор кетмень искать уходит. Гург-волк отцу говорит:

— Уважаемый, вас, оказывается, ещё учить надо. Рядом с такими злыми соседями живёте, наверное, сами от них заразились. Разве не знаете пословицу: «С дурным поведёшься — дурным станешь, с добрым — сам расцветёшь»? Зачем плохих людей выгораживаете? Надо всегда честно поступать. Надо правду говорить! Если неправду скажете... Ваш сын у нас служит. Сына пожалейте. Вот тут рядом его товарищи стоят. Если вы обманывать станете, парню стыдно за вас будет. Как ему с товарищами жить? Не сможет он жить...

Отец стоит, молчит. Вниз, на землю смотрит, даже на меня глаза не поднимает. Я будто на две половины разрываюсь: отцу помочь хочу — что сделать, что сказать, не знаю.

Гург-волк отцу:

— Ну, всё! — говорит. — Короче, мужик, ты понял. Никуда не уходи. Командир придёт, правду ему скажешь. Ребята подтвердят.

Отец, голову опустив, молчит. Даврон приходит. Спрашивает:

— Кто?

Ребята молчат. Отец тоже молчит. Гург говорит:

— Даврон, мы пришли, они мёртвые были. Вот этот мужик, — на отца указывает, — всё видел. Мужик говорит, Рембо во двор зашёл, воды попросить, а эти, — на мёртвых Зухро и Салима указывает, — точняк, что-нибудь нехорошее подумали и на него с ножом, с кетменём набросились... Мужик говорит, Рембо убивать не хотел. Рембо жизнь свою защищал...

Даврон отца спрашивает:

— Так было?

Отец головы не поднимает.

— Да. Так было, — с трудом, едва слышно выговаривает.

Даврон:

— Пон-я-я-я-я-тно, — говорит.

В это время Шухи-шутник с заднего двора выскакивает, кетмень тащит, ухмыляется.

— Вот оружие, — кричит, — с которым убитый мужик на Рембо напал!

Ребята смеются. Рембо:

— Э, Шухи, пидарас! Я твою маму таскал! — кричит. — Даврон, пусть меня Бог убьёт, я просто воды попросить зашёл. Ничего плохого не хотел.

Даврон кивает.

— Ладно, — говорит. — Бывает... Автомат ему отдай, — говорит, на Шухи кивает.

Пистолет на ремне поправляет, говорит:

— Иди за мной.

Уходит. Ребята за ним следом со двора выходят. Я чуть не плачу, отцу говорю:

— Дадо...

Он головы не поднимает.

— Уходи, Карим... Не задерживайся... Иди...

13

Даврон

Шестнадцать тридцать четыре. Вывожу Рембо на край площади. Площадь — небольшая продолговатая терраса на окраине кишлака. С северо-восточной, длинной стороны — крутой обрыв к реке. С юго-запада — отвесный горный склон. Почти вертикальная стена. У подножия стены — мечеть из грубого камня.

Троим бойцам приказываю:

— Вы — туда.

То есть, к северной стене мечети, где кучкуется охрана Зухура, десять человек. Охранять пока не от кого. Зухур таскает «гвардейцев» с собой ради престижа.

Торможу Рембо:

— Стоять!

Гургу:

— Останешься с ним.

Перед началом митинга поставлю обоих перед строем и прикажу Гургу расстрелять Рембо. За нарушение приказа. Пусть выбирает: или кончает мутить воду, или — пуля... Пора кончать с бардаком в отряде, блатной контингент наглет с каждым днём. Не факт, но Гург, возможно, откажется. Корчить из себя пахана не позволю. Охотников уложить его заодно с Рембо — немало. Если прогнётся и расстреляет, его авторитету среди духов конец. Даст малый повод, ликвидирую. Без Гурга душманы притихнут, как зайчики.

Зухур стоит у северо-восточного угла мечети. Красуется при полном параде: в камуфляже и со змеей. Позади — амбалы-телохранители, Гафур и Занбур. У стенки жмутся местные власти: раис и какой-то старик. Гадо, младший Зухуров братец, — как всегда, в стороне. Слева. Демонстрирует независимость.

Подхожу к Зухуру, информирую:

— Соберётся народ — расстреляю. Вон того, в бронезилетке.

Он, недовольно:

— Этого?! Не надо. Зачем? Солдат мало. Зачем людей тратить?

Объясняю:

— Нарушил приказ. Убил двоих местных.

Он, важно:

— Не спеши, Даврон. Разобраться надо.

Зовёт Рембо:

— Иди сюда!

Рембо подходит по-блатному развязно.

— Что такое? — спрашивает Зухур. — Что натворил?

Рембо усмехается нагло:

— Ничего не натворил. Всё нормально. Пусть Даврон скажет.

Он в том дворе был...

Разворачиваюсь, засаживаю ему в рыло. Вопит:

— За что?!

— За всё. Это аванс. Распишись. А пулю получишь... — сверяюсь с часами, — ровно через двадцать минут. В шестнадцать пятьдесят шесть.

Рембо:

— Почему через двадцать?! Почему пулю?! Я в тот двор просто так зашёл. Зухур, скажи ему, да...

Зухур, важно:

— Зачем в людей стрелял? Если дехкан убивать, кто работать будет?

— Кого я убил?! Не убивал я!

— Даврон сказал, ты двоих застрелил.

— Они первыми напали. Что делать?! Ждать, пока меня кончат? Ребят спроси. Все знают, как было...

Зухур задумывается. Я не вмешиваюсь. Хочет в судью играть, пусть поиграет. В любом случае, Рембо — не жилец.

— Ладно, на первый раз прощаю, — решает Зухур. — Иди. Провинишься — больше не прощу.

Рембо отходит. По направлению к мечети. Я ему вслед:

— Не туда! Стой с Гургом, в стороне.

— Понимаешь, — говорит Зухур — это политика. Расстреляем его — наши люди обидятся...

— Хочешь сказать, твои люди...

— Почему так говоришь? Никаких «твоих» — «моих» нет. Все одинаковые.

Врёт, как обычно. Сам уламывал меня взять в отряд его личную «гвардию». Я промолчал, что Сангак о том же просил. Позже обнаружилось, что половина его гвардейцев — блатные. Мне плевать, кто они. Но соблюдать дисциплину заставлю. Говорю спокойно, без нажима:

— Твои дела — это твои дела. Но в командование отрядом не лезь. За меня не решай. Будет, как я сказал...

Он вскидывается:

— В этом ущелье я хозяин.

Соглашаюсь:

— Хорошо, бери командование на себя. И следи, чтоб твои басмачи друг друга не сожрали. И тебя заодно...

Он, недоверчиво:

— А ты?

— Заберу своих бойцов и вернусь в Курган.

— Э, нет! Сангак приказал меня защищать.

— Не было такого приказа. Сангак не приказывал. Попросил охранять и поддерживать порядок. Заметь: попросил. И ещё: охранять, но не тебя лично...

На самом деле, вернуться в Курган-Тюбе я не могу — дал Сангаку обещание оставаться в горах, пока он сам не отзовет. Зухуру это знать ни к чему, но сегодня вечером я кое-что ему объясню. Практически. Он меня достал. Рембо — последняя капля. Таких, как Зухур, надо учить. На людях нельзя, а наедине, в укромном уголке, разобью

морду в кровь. Такой порядок и заведу: днём рыпнулся — вечером урок.

Он пытается маневрировать:

— Даврон, я шутил...

— Я не шучу.

Зухур гладит змея. Размышляет. И даёт задний ход:

— Знаешь, как я тебя уважаю. Пусть будет, как ты сказал. Ты военный человек, командир...

Улыбается льстиво:

— Нам враждовать нельзя. Надо консенсуса добиваться. Я, чтобы тебе приятное сделать, готов сам его расстрелять...

Консенсус так консенсус. До вечера.

— Ладно, — говорю, — мир и дружба. А расстрел поручи Гургу.

Он опять заводится с полоборота. Зухур любой глагол в повелительном наклонении воспринимает как приказание. Приказов не терпит. Для такой важной персоны это оскорбление.

— Учить не надо! Сказал — сделаю.

Козел упёртый, весь сценарий мне ломает! Надо не только Рембо ликвидировать, но и Гурга к расстрелу припахать. Но ему не объяснишь. Придётся как с ребёнком...

— Какой тебе смысл марать руки?

— Сам рас-стре-ля-ю...

На морде — мечтательное выражение. Нашёл новую игрушку. Новый способ ловить кайф от власти. Крови захотелось. Царь-дракон, мать его... Спрашиваю:

— Ты убивал когда-нибудь человека? Это не так просто, как думаешь.

Он, оскорблённо:

— Ты меня ещё не знаешь...

Упёрся. Теперь затаит обиду и постарается отыграться. Плевать. На худой конец и Зухур в палачи сгодится. Сверяюсь с часами. Семнадцать ноль ноль. Пора начинать.

Местное население выстроилось на противоположном краю площадки. Вдоль обрыва к реке. Впереди — мужчины. Женщины сгрудились позади. Слева — каменная глыба высотой метра три. На глыбе — стайка девушек.

Глаза помимо воли находят среди них ту самую. Зарину. Девочка накрепко засела в мозгу. С того момента, когда три дня назад, двадцать четвёртого марта, на дороге около поворота на Талхак я увидел, как

один из душманов, Хучак, силком затаскивает в «скорую» какую-то девушку со светлыми волосами. У меня в черепе точно граната взорвалась. Это была Надя! Первая мысль: «Вернулась». Но мёртвые не возвращаются. Надя умерла девять лет и семь месяцев назад. Предохранительные клапаны в мозгу начали срывать один за другим. Рухнули защитные заслонки, что-то опасно накренилось, ещё несколько миллиметров — опрокинется к чёртовой матери, и я свалюсь в полную шизу... Спас навык. Остановил, выровнял, захлопнул, наглухо задвинул запоры. Надо разобраться, что происходит. Приказал спокойно Алику: «Тормози». Подошёл. Факт, это была не Надя. Девушка, до сумасшествия на неё похожая. Точно отражение в зеркале. С поправкой на кривизну стекла. У этой другое выражение лица. Глаза смотрят иначе. Но издали от Нади не отличить... Проблема: как поступить с Рембо и Хучаком? Оба нарушили мой приказ не притеснять местных. Руки чесались ликвидировать их на месте. Сдержался. Слишком опасно. Фактически сволочи были бы наказаны не за посягательство на именно эту конкретную девушку, копию Нади, а за нарушение дисциплины. Однако подключились мои личные мотивы, а потому невозможно предугадать, как отреагирует Система и какие последствия грозят девушке. Побоялся рисковать. Выдал всей троице — третьим был парень из местных — последнее предупреждение. Нарушил свой принцип карать моментально, но по-иному не мог. В итоге Рембо обнаглед, вторично пошёл на нарушение. На этот раз получит по полной.

Приказываю себе не смотреть на Зарину, но глаза то и дело возвращаются к ней.

— Нравится девчонка?

Зухур. Смотрит хитро: застучал, мол. Отбрёхиваюсь:

— Тебе что, повсюду бабы мерещатся?

— Меня не обманешь. Ты на ту, беленькую, глаз положил.

— Вот я и говорю: кто о чем, а ты о бабах.

Поглаживает змея, величественно:

— Ты меня ещё не знаешь. Я все вижу. Та девушка, на камне...

— Ну, стоит девушка... И что?

— Хочу тебе её подарить. Приятное тебе сделать.

— Зухур, уймись. Женский контингент меня не интересует.

— Э-э-э, погляди, какая... Ромашка.

— Обойдусь без цветов.

Вздыхает притворно:

— Жаль. От подарка отказываешься...

— Завязывай. С Рембо пора решать.

Он приосанивается, гладит змея:

— Чего волнуешься? Решу.

Рембо, скот, опять нарушил приказ. Отошёл к мечети. К Зухуровой охране. Забрал у Шуки свой автомат. Гург с ним стоит. Чешут языки с бойцами. Факт, обсуждают, как Рембо обул командира. Идиот Зухур! Нельзя давать подчинённым такие поводы.

— Эй, ты! Иди сюда,— кричит Зухур.

Рембо оглядывается, бросает какую-то фразу — бойцы хохочут — отчаливает. Неспешно, вразвалку. Строит из себя киношного спецназовца в бронежилете на голое тело. Насмотрелся видео. Броник носит, как Зухур змею,— из пижонства. Приказываю:

— Оставь оружие.

Рембо перебрасывает автомат Гургу. Подваливает.

— Чё такое?

Зухур резко берет его в оборот:

— Приказ почему не слушаешь?

— Какой приказ? Ты чё, Зухур?!

— Тебе где велено было стоять? Ты где встал?

— Э, какая разница...

— Помнишь, я сказал: ещё раз нарушишь — больше не прощу.

Рембо озирается. Бросает косяка на своих. Наглеет, с ухмылкой:

— Меня Бог простил... Вон у ребят спроси.

Зухуршо звереет:

— Я здесь Бог! А ты кто?! Отребье безродное! Как со мной говоришь? Кто тебе право дал?!.. Эй, Гафур, туда его отведи,— пальцем указывает позицию в пяти метрах от себя,— на колени поставь.

Рембо отскакивает от Гафура.

— Отвали, обезьян! Зухур, бля буду, прости. Я же не всерьёз. Чё, пошутить нельзя?!

Гафур ловит его за руку, тащит, куда приказано. Поворачивает лицом к Зухуру. Рембо хорохорится:

— Ну чё? Может, ещё раком встать?

Гафур хватает его за плечи, силой опускает на колени. Рембо вскакивает:

— Зухур! Скажи обезьяну, чтоб не борзел!

Гафур бьёт его в морду. Рембо падает. Возится, поднимаясь на ноги. Бледный, с разбитой харей кричит:

— Гург, братан, скажи ему! Чё он творит?!

Гург воровской развинченной походочкой подгребает к Зухуру.

— Зухур, что за канкаты? Хорошего человека на карачки ставят. Рожу ему чистят...

— Твоя ли забота?

— Моя не моя, а люди в непонятках, беспокоятся.

— Пусть не беспокоятся. Лучше пусть готовятся по нему джанозу читать.

Гург скалит стальные клыки:

— Каюм узнает, ему не понравится...

— С Каюмом сам разберусь.

— Ребятам тоже не понравится.

— А с ними ты разберись. Понял?!

Сильно Зухура заклинило, факт. Аж на самого Гурга голос повысил... И что ещё за Каюм? Впервые о нем слышу.

Гург в ответ, задушевым, хриплым шёпотом:

— Я понял, а ты-то въезжаешь? Кто тебя защищать будет? Думаешь, Даврон? Это мы защищаем. Сам знаешь, в горах опасно...

— Угрожаешь?

Гург не отвечает. Отваливает. Зухур с беспокойством смотрит вслед. Говорю:

— Зухур, я прикажу: он и расстреляет.

— Я сам!

Сам так сам, пускай тешится. Советую:

— Скажи Гафуру, чтоб снял с Рембо бронезилет.

— Зачем? Голова есть...

— На твоём месте, я бы целил наверняка. В грудь.

— Попаду куда надо.

Комедия! Неуклюже тащит пистолет из кобуры. Стрелял он не часто — это факт. Если вообще когда-нибудь стрелял.

— Зухур, зайди к нему со стороны. Слева или справа...

— Зачем?

— Если отсюда, то на линии выстрела — люди. Мало ли чего...

— Неважно. Я попаду.

Опять упёрся. Иду на хитрость:

— Кто б сомневался! Попадёшь. Но в этой позиции тебя Рембо заслонит. А станешь сбоку — целая панорама. Как в кино. На широком экране.

Хлопает меня по спине.

— Молодец! Хорошо предложил. Слушай, а если пуля в жилет угодит — пробьёт?

— Покажи пистолет.

Протягивает какой-то изукрашенный дамский пистолетик. Пожимаю плечами:

— Смотря с какой дистанции стрелять. А тебе-то что?

— Интересно.

— По ГОСТу броник должен останавливать пулю из «макарова» с пяти метров. Знал я двух орлов, которые затеяли дуэль в жилетах. Не знаю, из лихости или на спор — проверить, пробьёт или не пробьёт. Стрелялись метров с двадцати. Один попал. Пуля бронепластины не пробила.

— Двадцать метров... Далеко.

— У того орла, что принял пулю, были сломаны четыре ребра. И лёгкие ему разможило. Умер на третьи сутки... Но то был пэ-эм. Насчёт твоей пукалки ничего сказать не могу. Пуля лёгкая, скорость маленькая... Вернее всего, броник не пробьёт и ребра не ломает.

— Пукалка! Слова выбирай.

— Ладно: твоё благородное оружие. А ты что, хочешь в броник выстрелить?

— Нет! Зачем?!

— В любом случае, бей с близкой дистанции. Метров с двух. Ещё лучше — в упор.

— Сам знаю.

Я, безразлично, в пустоту:

— Некоторые ещё оружие с предохранителя снимают...

— Где?! Покажи, как.

Показываю. Он поглаживает змея, шепчет: «бисмилло».

— Гафур, опусти его.

Телохранитель с силой давит Рембо на плечи. Рембо бухается на колени. Вскрикивает от боли. Разбил коленные чашечки, факт. Не беда, ему теперь не в футбол играть.

Зухур подходит, встаёт рядом с Рембо, лицом к толпе.

— Люди Талхака! Не для того я приехал, чтобы вас притеснять. Не за тем, чтобы нарушать обычаи. Я ваш земляк. Всех вас знаю. А вы все меня знаете...

Из толпы кричат:

— Знаем! Гиёза зачем убил?!

— Пастбище почему отнял? Все овцы погибли.

Смелые ребята, эти горцы. Или ещё не осознали, что к чему?

— Этих двух несчастных почему застрелили?!

Зухур:

— Да, товарищи, произошёл такой инцидент. Решим этот вопрос...

Кладёт на макушку Рембо руку. Левую. В правой — пистолет.

— Вот этот человек... Его обвиняют, говорят: он убил ваших односельчан. Он говорит, что защищался. Говорит, что ваши люди на него напали. Правда или не правда, пусть Бог судит. Если этот человек виновен в смерти тех несчастных, он погибнет. Если не виновен, пуля не причинит ему вреда...

Поня-я-я-ятно. Решил всех ублажить — и блатных, и местных. Потому и расспрашивал про бронезилет. Напугали-таки его духи. Ладно, пусть целит куда хочет. Без разницы. В любом случае выйдет по-моему. Если Зухур схитрит, то Гург дострелит.

Зухур отходит на пять метров вправо. Гафур разворачивает Рембо к нему грудью. Отходит в сторону. Зухур топчется: шаг назад, вперёд. Сначала не врубаюсь, к чему эти танцы с бубном. Затем соображаю: он сам ещё не знает, как поступит. И крови хочется, и боязно. Да и вообще страшно: Рембо смотрит в упор. Трудно убить человека, глядя ему в глаза.

В детстве я видел в газете снимок: во Вьетнаме какой-то узкоплёничный генерал расстреливает вьетконговца. Генерал, лысый, сухой, тощий, — руку наотлёт и прислонил ствол к самому виску партизана. Зухуру такое не под силу. Злости и бесчувственности у него хватает, но самолично убивать ещё не приладил.

Зухур наконец решается. Становится в стойку. Вытягивает руку с пистолетом. Застывает. Позирует. Растягивает удовольствие. Змей изгибается, кладёт голову ему на предплечье. Плакат...

Зухур высвобождает руку. Вытягивает вновь. Целится. Судя по углу, в грудь. Значит, пошёл у духов на поводу. Струсил.

Выстрел.

Отдача подбрасывает ствол вверх. У Рембо выносит затылок. Порядок! Гург может отдыхать. До поры... Фиксирую время. Семнадцать пятнадцать.

Басмачи гомонят. Наблюдаю. Нет, не посмеют. Однако подзываю своего бойца:

— Комсомол, сюда! Что там у вас?

— Блатные обижаются...

— Знаешь, что делать в случае чего?

— Знаю.

— Вас семеро. Ты — за главного. Если что — не раздумывай. Командуй. Бейте на поражение.

Ко мне подходит Зухур. Тычет стволом в кобуру, не попадает, руки трясутся. Реакция. Адреналин.

— Ты видел?!

Глаза светятся, как у кота.

— Нет, скажи, ты видел?! Как я...

Чего ждёт? Поздравлений?

— Для первого раза неплохо, — говорю. — Промазал всего сантиметров на тридцать.

— Почему обижаешь? Вон, смотри — лежит. Мёртвый...

— Ты целил в грудь. В следующий раз держи рукоятку крепче. И пистолет пристреляй.

Вижу по роже: опять оскорбил. Испортил праздник. Но мне обрыдло щадить его нежную натуру. Взгляд Зухура уходит в глубину... По опыту знаю — это признак: что-то замышляет... И в ту же секунду выдаёт мне:

— Спасибо, Даврон. Ты помог, хорошие советы давал. Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделать хочу. Та девочка, что тебе понравилась... Ромашка. Скажу Занбуру, чтоб сюда привёл. Себе её возьмёшь. Хочешь — женись, хочешь — так...

Грубо подкалывает. Слишком грубо. Считает, что нащупал слабое место. Рублю напрямую:

— Кончай докапываться. Все! Закрывай тему.

Он кивает: ставлю точку. Фактически, я уверен, берегает тему на будущее... Неужто резонанс?! Черт, как я ни берёгся, а затащил девочку в хреновую ситуацию. Самое паскудное — защитить не могу. Боюсь ещё больше навредить.

Зухур идёт к трупам. Достает из кармана и обмакивает в кровь белый платок. Кричит:

— Есть среди вас родичи убитых?

Население волнуется:

— Икром, выходи.

Из задних рядов вперёд пробивается старик. За ним — заплаканная пожилая женщина. Сбоку выходит мужик средних лет.

— Подойдите, — командует Зухур.

Приближаются. Зухур протягивает платок старику:

— Возвращаю кровь за вашу кровь.

Старик принимает осторожно, чтоб не замараться. Явно не знает, что делать с окровавленной тряпкой.

Зухур, величаво:

— Положишь на могилу своей дочери.

— Сын. Мой сын был убит, — по лицу старика катятся слезы.

— Я за него отомстил.

Зухур идёт назад. Раздувается от гордости:

— Вот как надо! Это справедливо. А ты надо мной смеялся.

Совсем меня не уважаешь?

Надоел. Вечером объясню, что такое уважение.

— Зухур, ты своих гвардейцев, басмачей спроси. Эти тебя почитают, сильнее некуда. Каюмом грозят...

Он осекается. Затем:

— Каюм! Плевал я на него.

— Ну-ну... А кто он таков?

— Один мой родич, ничтожный человек. Маленький человек...

— Поня-я-я-тно.

Зухур мрачнеет. Смотрит, точно прицеливается.

— Ты не думай, я про уважение ради проверки говорил. Знаю, ты меня уважаешь. Я тебя тоже уважаю. Потому про ту беленькую девочку спрашивал. Думал, может, она тебе понравилась. Не хотел у тебя женщину отнимать. Но ты сказал, тебе не нужна. Хорошо, тебе не нужна — себе возьму.

— Уточни: как это «возьмёшь»?

— А-а-а, как-нибудь...

Я почти чувствую, как вспыхивают силовые линии, тянутся от меня к девушке на камне. Линии множатся, переплетаются, окутывают её невидимым раскалённым клубком. Боюсь шевельнуться, ляпнуть что-нибудь не то, иначе разразится какая-то невыносимая беда. Надо успокоиться. Делаю глубокий вдох, медленный выдох. Порядок! Говорю абсолютно спокойно:

— Как-нибудь не выйдет. Я не позволю. Нравится — женись. Если она согласится.

Это самое большее, на что я решился. Зухур на моё «не позволю» — ноль внимания. Ему не до того. Нашупал уязвимую точку, расковырял и с наслаждением копается в ране:

— Ты меня не знаешь. Если согласится?! Побежит. Позову — все эти девушки меж собой драться будут. Как думаешь, эта беленькая, ромашка, — она побежит или не побежит? Я тебя как друга попросить хочу...

Замолкает. Всматривается: как реагирую? Усиливает нажим:

— Ты сказал, мне на ней жениться надо. Спасибо, хорошо по-советовал. Я немного сомневался, теперь не сомневаюсь... Ещё одну услугу окажи — сватом моим будь. Поговори с ней. Не захочет, уговори, чтоб согласилась. Ты сам сказал: надо, чтоб согласилась.

Приказываю себе успокоиться. Глубокий вдох, выдох. Порядок. Говорю холодно:

— Найди кого другого.

Он считает, что одержал надо мной главную победу — забирает себе женщину, которая мне нравится. Пытаюсь перебороть чувство вины. Девушка попала в зону контакта, и любое моё вмешательство лишь усилит напряжение поля. Поэтому отныне не могу тронуть Зухура даже пальцем. Повезло гаду...

Он удовлетворён. Отворачивается, зовёт:

— Гадо!

Зухуров младший братец ошивается рядом. В полуметре позади. Наблюдает. Маскируется безразличием. Подвалил минуту назад. Засек напряжённость меж мной и Зухуром и тут же — поближе к очагу конфликта. Разведка не дремлет.

Зухур указывает:

— Девчонка на камне. Беленькая...

Гадо, с готовностью:

— Сюда привести?

— Нет, узнай, кто родители, и посватайся. Жениться хочу.

Засаекаю время. Семнадцать двадцать одна.

14

Джоруб

Вчера к нам прибыл курьер от Зухуршо. Вошёл в кишлак, остановил первого встречного — простодушного Зирака — и приказал привести к нему главного. Зирак побежал к раису, по дороге разнося новость по кишлаку.

В тот час я осматривал больную козу Хилола, но, не закончив, наскоро вымыл руки и вместе с Хилолом поспешил вниз на площадь. Посланца окружали мужики, живущие по соседству с мечетью. А сам посланец... Вот тебе на! Оказалось, что это всего лишь прыщавый

и худосочный мальчишка из Верхнего селения — Теша, сын немого Малаха. Того самого Малаха, что убил моего племянника Ибода. Тьфу! В ветхой, застиранной гимнастёрке, с автоматом на плече, мальчишка походил на тощего телёнка, который лениво отмахивается хвостом от облепивших его мух. Едва слушал, паршивец, расспросы старших:

— Эй, парень, Зухуршо зачем тебя послал? Какой приказ ты принёс?

Отвечал небрежно:

— Главный придёт, ему скажу.

Наконец прибыл раис, Теша развязно протянул ему руку. Не две с почтением, как старшему или равному, а одну — как низшему. Мужики заворчали неодобрительно, раис потемнел от гнева, но сдержался и руку пожал.

— Ну, рассказывай.

Теша осведомился высокомерно:

— Где? Прямо на улице?

Наш грозный раис впервые в жизни настолько растерялся, что не нашёл достойного ответа. Промолчать — зазорно, а рыкнуть — опасно: мальчишка-то ничтожный, но ведь сам Зухуршо его прислал...

— Важное сообщение,— соизволил вымолвить Теша.— При народе нельзя... Где у вас тут укромное место?

Понятно было и без слов, что малец желает высосать из своего поручения, как из бараньей кости, весь сладкий мозг. Выручил раиса мудрый Додихудо:

— Ко мне пожалуйста. Тут рядом совсем...

И повёл, старый лис, Тешу-наглеца с почтением в свою мехмонхону. Раис и уважаемые люди поспешили за ними. Я с места не тронулся, хотя мне, как и всем, не терпелось услышать, какое распоряжение прислал нам Зухуршо. Никогда в жизни не сяду за дастархон ни с немым, ни с его отродьем!

Ёдгор вечером рассказал, что мальчишка наелся, напился, наслаждался почтением старейшин и лишь после сообщил, с чем прибыл. Завтра нас посетит Зухуршо. Весь народ должен собраться и ждать. Ничего больше Теша не знал...

Слушал я о том, как он важничал, и было жалко глупого мальчишку и тревожно. Неуважение к старшим — это симптом, и говорит он, что ослаб костяк, на котором держится общество. Испокон веков мы выживали единственно потому, что твердо держались дедовских заветов. Старшие учили младших тому, что сами получили от дедов.

Но те, кто не уважают старших, глухи к их поучениям и тем рвут свою связь с прежними поколениями. Они теряют стыд, ибо теряют страх и перестают бояться осуждения старших. Вместе со стыдом они теряют совесть, а лишившись совести, забывают об ответственности перед людьми и не заботятся ни о чем, кроме своего благополучия. Что тогда будет?! Люди перестанут помогать друг другу. Богатые и сильные перестанут поддерживать бедных и слабых, а те — питать к ним благодарность. Станут думать исключительно о том, как завладеть их достоянием. Рухнет весь стройный порядок, благодаря которому мы выживаем в суровых горах. И это всего лишь начало...

Страшно представить, как будет развиваться болезнь. Теша пробыл в отряде Зухуршо совсем недолго, но успел заразиться. Там же служат и талхакские мальчишки. Какими они вернутся в кишлак? Надеюсь только на то, что у общины хватит иммунитета, чтобы справиться с инфекцией...

Как бы то ни было, проводили Тешу с почестями и принялись гадать, зачем едет к нам Зухуршо.

Простодушный Зирак ляпнул:

— Муку раздавать.

Шокир сказал загадочно:

— Шмон наводить.

Смысла мы не поняли, однако расспрашивать Гороха не решились, никому не хотелось выказать незнание. Лишь Зирак, простая душа, не утерпел:

— Это что же такое?

Шокир ухмыльнулся:

— Шмон это когда тебе в задний проход палец суют — ищут, не прячешь ли чего. А чтоб руки не мыть, палец тебе же облизать дают.

Поморщились мы, но Шокиру выговора за непристойное слово не сделали, лишь переглянулись — что, мол, с него, Гороха, взять? Не зря сказано: «Из дурного рта — дурной запах». Но по правде говоря, я давно заметил, что даже умные и уважаемые люди слушают Шокира внимательно и на ус мотают. Словно он, Горох, знает что-то такое, что им неизвестно...

Как ни удивительно, верно угадал не он, а Зирак. Муку и сахар привёз нам Зухуршо, однако продукты оказались осквернены кровью несчастных Салима и Зухро.

Мрачные и угрюмые, собрались мы на площади. Не радовали нас мешки с мукой, выставленные напоказ на грузовиках. Каж-

дый думал о том, какую ещё страшную цену потребует Зухуршо за свою «гуманитарную помощь».

Говорят: «Тонешь — на Бога уповай, а за куст держись». Крестьянин постоянно держится за куст смертельной хваткой — боится голодной смерти и всегда рассчитывает лишь на себя. Может, я, конечно, ошибаюсь, но в предыдущие десятилетия мы словно бы чуть-чуть разжали пальцы. Поверили: утонуть нам не дадут, спасут. Советская власть изнежила людей, начали осторожно надеяться на её поддержку. Теперь, когда той власти не стало, мы вцепились в ветки ожесточённой прежнего. Вновь остались наедине со скудной землёй и суровым климатом, и государство уже не придёт на выручку. Никто не поможет. Во всяком случае, не Зухуршо, что бы он нам ни сулил.

Никто ему не верил. Да и как поверить человеку, таскающему на себе огромного удава...

— Змея, — тихо проговорил мой зять Сангин, стоявший рядом. — Он что, клоун? Зачем людей смешит?

Старый Бехбуд, отец Бахшанды, негромко отозвался:

— Чем уродливей обезьяна, тем игры затейливей, — но в голове прозвучало больше страха, чем насмешки.

Тем временем Зухуршо поставил убийцу Салима и его жены на колени и достал пистолет.

— В грудь целит! — воскликнул Шер, смело, не таясь. — При чем тут Божий суд?! У мужика бронжилет. Кого обмануть хотят?! Я служил, я знаю...

Зухуршо отошёл на несколько шагов и поднял пистолет. Все замерли. Наши люди обожают зрелища как дети. Они словно на миг забыли о гибели односельчан и о тех несчастьях, что сулил приезд Зухуршо. Представление увлекло их до самозабвения. Народ гудел, тихо переговариваясь:

— Навыка стрельбы не имеет...

— Оружие нетвёрдо держит.

— Лучше бы свою змею на него пустил.

Вдруг, как по приказу, все замолчали, ожидая... Выстрел грянул в тишине. И тут же я услышал, как негромко и глухо ударилось о каменистую землю тело убийцы. Словно кто-то приподнял тяжёлый мешок и уронил, не осилив.

— О-ха! — воскликнули мужики разом. Не от удивления или неожиданности, а как бы подтверждая состоявшуюся казнь. Женщины, стоящие позади, вскрикнули и забормотали:

— Товба, товба...

Так говорят, отводя порчу или преодолевая страх. Мужчины молчали. Не обрадовала нас казнь, поскольку творилось что-то нам не понятное. Только Зирак, простая душа, воскликнул:

— Справедливость! Кровь кровью смывается.

Мы с тревогой ожидали, что будет. Солнце уже пересекло небо над ущельем и опускалось к вершинам хребта Хазрати-Хусейн, отвесная стена которого высилась перед нами. Уже легла у подножия склона узкая тень, перекрыла крышу мечети и медленно поползла к нам.

Народ затих, и внезапно я услышал, как сзади, внизу под обывом, ревёт и грохочет вода Оби-Талх. Я с ранних лет привык к вечному шуму реки и перестал различать его среди прочих звуков. Сейчас поток гремел оглушительно, словно камнедробилка. Рокот, прежде родной, был страшен, звучал как грозное пророчество и словно вещал: ждите беды.

Беда не заставила ждать. Гадо, брат Зухуршо, отбрасывая влево длинную косую тень, двинулся к нам. Тень пересекала площадь и вонзалась в толпу, словно стрелка солнечных часов, возвещающая приближение страшного времени. По пути Гадо перешагнул через труп убийцы, ступив ногой в лужу крови, и за ним потянулся кровавый след, блекнувший с каждым шагом. Гадо словно шёл в одиночестве по пустынной дороге — люди расступались, теснились, а он хмуро шествовал по живому коридору, направляясь к камню, на котором сбились в кучку девушки. Оттуда, с возвышения, как с театрального балкона, глупые девчонки с восторженным любопытством следили за статным красавцем, перешёптывались и пересмеивались. Когда он приблизился, девушки притихли и уставились на него сверху.

— Эй, ты! — закричал Гадо, указывая на какую-то из них пальцем. — Кто твой отец?

Сердце моё сжалось от тревоги. Не к Зарине ли он обращается? Кто, как не она, выделяется в девичьей стайке! Бахшанда велела повязать платок, но Зарина наперекор мачехе даже от тубетейки отказалась, её золотистая головка светилась в пёстрой девичьей толпе. Стоя на краю каменной глыбы, она дерзко и смело глядела на Гадо с высоты. Затем отвернулась и устремила взгляд на противоположную сторону реки, на вершину Хазрати-Хасан.

— Эй, ты, беленькая! Тебя спрашиваю...

Андрей бросился к камню, но я схватил его за рукав:

— Куда?! Он просто спрашивает...

А сам поспешил туда, где, заглушая одна другую, галдели женщины:

— Сирота она. Нет отца...

— Отец умер...

Гадо бесстрастно обводил их взглядом. Я раздвинул женщин и встал с ним рядом:

— Ас салом...

Он, не повернув головы, прервал:

— Ты кто?

— Дядя этой девушки, брат её покойного отца.

Гадо перевёл на меня невыразительный взор:

— Ладно, сойдёшь и ты. Значит, слушай, дядя: Зухуршо пожелал взять... Как её имя? А, неважно... Пожелал в жены. Как это у вас, по обычаю, говорят? «Я пришёл, чтобы ты взял нас в родственники...» Или вроде того...

— Вах! — восторженно ахнули женщины.

— Счастлива ты, девочка, да буду я жертвой за тебя...

— Командир-красавчик, меня замуж не позовёшь? — крикнула вдова Шашамо, разбитная бабёнка.

Глупые бабы! Они словно забыли, что это неприлично свататься при народе. Наедине должны сваты беседовать с родителями, чтоб при отказе не потерять лица. Гадо отказа не опасался. И в моем согласии не нуждался. На словах соблюдая обычай, силком забирал девушку. Будто на колхозной ферме, да простится мне грубое сравнение. Когда корову ведут на случку к быку, зоотехнику в голову не приходит расспрашивать, хочет она или не хочет...

Зарина с высоты камня смотрела на меня в упор. Взгляд говорил: «Ну что, дядюшка, опять струсишь?»

Я опустил глаза и сказал:

— Большая честь для нас... Мы очень сожалеем...

— Что ты бормочешь?! — холодно осведомился Гадо. — О чем сожалеете?

— Она просватана. Обещана одной почтенной семье. Мы бы и рады отменить сговор, но невозможно...

В это время из-за женского круга вдруг вынырнул Шокир, словно таракан в кувшине с шербетом всплыл:

— Что-то не слышали мы о каком-нибудь сговоре. А, Джоруб? Поделись с нами — кто жених?

Будь он проклят, Горох! Я растерялся. Скажу, не таясь, испугался. Однако Гадо неожиданно для меня отрезал:

— Если этот человек, брат покойного отца, говорит, что обещана, значит, так и есть. Кому, как не ему, знать.

Он повернулся ко мне:

— А ты, брат покойного, коли столь крепок в слове, обещай, что пригласишь на свадьбу.

Я забормотал приглашения, но Гадо хлопнул меня по плечу и пошёл, словно в пустоте, сквозь расступавшийся народ. По пути аккуратно, как и прежде, перешагнул через труп... Лишь тогда я осознал, как тихо вокруг. Люди молчали и смотрели на меня. А я не мог опомниться, поражённый, что все разрешилось столь быстро и просто.

Шокир громко сказал:

— Подносят девоне-дурачку сахарную халву, а он просит: «Дайте редьку».

Глупой этой насмешкой он словно какой-то сигнал подал — мужчины, оттеснивши женщин, разразились упрёками:

— Что случилось, Джоруб?! Умный человек, а и впрямь как девица...

— О себе не печёшься, почему об обществе не подумал?

— Сто лет такой удачи ждали, а ты её по ветру развеял.

— На весь кишлак беду навлёк...

Один Шер меня поддержал:

— Молодец, Джоруб. Смелый человек.

— Молчи! — прикрикнули на него. — Что ты, неженатый, бездетный, понимать можешь?

— Зато Джоруб — многодетный отец, — съязвил Шокир.

Не часто я слышу от односельчан попреки моей бездетностью, но в эту минуту издёвка Гороха почти меня не задела, я был горд и доволен. Сделал, что мог, а будет, как решит Аллах...

Слух «Джоруб отказал Зухуршо» в один миг охватил толпу, как огонь заросли сухой травы. Когда я вернулся к своим, старый Бехбуд, отец Бахшанды, сердито зашипел:

— Почему прежде старших выскочил? Почему самолично решил? Почему меня не спросил? Зачем отказал?..

Отец молчал сочувственно и только кивнул: правильно поступил. Но меня одолевали сомнения. Сердце говорило, что Зухуршо не отступится. Я лишь отсрочил неизбежное. Разумно ли про-

тивиться тому, чего не можешь изменить? О чем они — Зухуршо и Гадо — теперь совещаются?

Поздним вечером этого дня, раис пересказал нам их разговор.

«Вижу,— повествовал он важно,— этот мужик, младший брат товарища Хушкадамова, назад идёт. Я удивился. Как он так быстро договорился? Я товарищу Хушкадамову говорю:

«Вот это сватовство! — говорю.— Два слова, и дело сделано. Такой уж в нашем кишлаке коллектив. Необычайно вас в Талхаке уважают».

Товарищ Хушкадамов ничего не ответил, но я понял, что мои слова ему понравились. Потом этот мужик, младший брат товарища Хушкадамова, к нам подошёл и сказал:

«Ничего не получится, брат. Эту девушку, оказывается, про-сватали. Скоро свадьба».

Товарищ Хушкадамов очень рассердился.

«Я тебя зачем посылал?! — закричал.— Деревенские новости собирать? Почему девчонку ко мне не привёл?»

«Брат,— ответил этот мужик, Гадо, младший брат товарища Хушкадамова,— я не хотел народ обижать».

«При чем здесь народ?! Ты меня оскорбил! Меня опозорил!» — закричал товарищ Хушкадамов.

А этот мужик, его младший брат, будто совсем глупый.

«Извините, брат... Ваша справедливость всему Санговару известна. Думал, если я стану силой действовать, то и на ваш авторитет тень упадёт...»

Товарищ Хушкадамов ещё пуще разгневался:

«Тебе самое простое дело поручить нельзя. Ты...»

Но другой мужик, Даврон, командир, сказал:

«Кончай разборки, Зухур. Пора митинг начинать. Время уходит».

Удивительно мне: как это он товарища Хушкадамова безо всякого почтения перебил. Но товарищ Хушкадамов к нему даже не обернулся. Однако гнев унял. Меня спросил: «Что думаете, раис? Что посоветуете?»

Я, конечно, всегда об одном думаю — об общественной пользе. Думаю: если товарищ Хушкадамов именно из нашего кишлака девушку возьмёт, большая выгода всем выйдет. Говорю:

«Товарищ Хушкадамов, вы сами из местных, наши традиции знаете... Но сейчас новое время, новая власть. Сегодня старые пережитки никому не нужны. Если вы главу семейства к себе призовёте и с ним это дело решите, очень правильно будет».

Товарищу Хушкадамову мои речи понравились.

«Дельный совет», — сказал. Этому мужику, пятнистому палвону-силачу, приказал: «Приведи».

Этот мужик, палвон-силач, отправился приказ исполнять. Но товарищ Хушкадамов все ещё сердился, оказалось.

«Эй, Занбур, — приказал, — девчонку тоже сюда тащи».

Раис, разумеется, прихвастнул и своё участие в разговорах начальства сильно преувеличил, но суть передал верно. Сбывалось именно то, чего я опасался: отказ разгневал Зухуршо, и даже необъяснимое заступничество Гадо нам не помогло.

— Гафур идёт, Гафур... — зашептались вокруг.

К нам шагал человек-гора со следами витилиго на лице и могучих предплечьях. Одет он был в камуфляж, и это, впридачу к белым пятнам на тёмной коже, делало его похожим на огромного пегого быка. Гафур остановился перед толпой, широко расставив ноги, и проревел:

— Кто?!

Бедные мои односельчане! По единому слову поняли, о чем он спрашивает, все как один повернулись в нашу сторону и закричали:

— Вон они стоят!

Гафур надвинулся на нас.

— Кто?!

Старый Бехбуд, отец Бахшанды, указал:

— Он. Вот этот человек. Джоруб...

Мой отец — старший в нашем кауне, но он скуп на слова, говорить на людях от имени семьи обычно высылает Бехбуда. Правда, и тот не слишком речист, а сейчас вовсе заробел.

— Идём, — сказал Гафур. — Зухуршо к себе требует.

В этот миг я заметил краем глаза, что к народу направляется второй Зухуров телохранитель, Занбур. Мысленно продолжив линию его движения, я с ужасом вычислил, куда он идёт. К Зарине!

Гафур ухватил меня за руку.

— Погоди минутку, — взмолился я.

Он обернулся, увидел товарища и неожиданно отпустил меня. Усмехнулся:

— Ладно. Поглядим...

Занбур, пробуравив народ, остановился у высокого камня и пробурчал:

— Эй! Сюда, вниз, слезай.

Я услышал сзади себя пыхтение и звуки борьбы. Обернулся: Сангин и Курбон держали Андрея, а он отчаянно вырывался. Я отвернулся. Что я мог ему сказать?..

Тем временем Занбур повторил:

— Слезай! Чего смотришь?

Зарина ответила насмешливо:

— Сам поднимись!

Он в раздумье почесал шею.

— Как?!

— Лестницу возьми.

Занбур сообразил, что наверх взбираются где-то сзади, и пошёл в обход глыбы. Едва он скрылся из виду, Зарина легко спрыгнула на землю. Будто пушинка полетела, подхваченная ветром.

— О-ха! — одобрительно вскричали мужики.

В это время наверху возник, растолкав девушек, Занбур.

— Где она?

Зарина — ему:

— Я слезла. Теперь — ты. Прыгай! Что, струсил?

И пока он раздумывал, скрылась в толпе.

Гафур вновь дёрнул меня за руку и проревел:

— Нагляделся? Идём.

Сопротивляться было бесполезно. Я произнёс: «Йо бисмилло...», — и пошёл за ним. Мысленно я умолял о помощи наших арвохов, дедов-покойников, и собирался с силами, чтобы достойно выдержать новый экзамен судьбы. Оглянувшись на народ и с ужасом увидел, что Зарина вышла из толпы и, наискосок пересекая площадь, тоже направляется к мечети. Я махнул рукой, приказывая повернуть назад. Зарина подмигнула мне и отвернулась. Проходя рядом с мертвецом, она покосилась на труп, вздёрнула подбородок и остановилась в трёх шагах от Зухуршо. Я встал с ней рядом...

Удав на плечах Зухуршо изогнулся, поднял голову и уставился на меня мёртвым взглядом. Змеи видят плохо, днём они почти слепы. Но удавы имеют удивительный орган чувств — тепловое зрение, и обоняние у них неплохое. Рептилия чуяла запах моего страха.

Сколь ни удивительно, Зухуршо благодушно усмехался.

— Вы, значит, жених? — требовательно спросила Зарина. — Давайте я вам сразу объясню: я выходить замуж не собираюсь.

Зухуршо изумился:

— Эй! Даврон, гляди, какая решительная...

Даврон отвернулся и не сказал ни слова. Зарина немного смешалась:

— Это, наверное, обидно выглядит. Не обижайтесь, пожалуйста, и на свой счёт не принимайте. Я вообще ни за кого выходить не хочу.

Зухуршо разглядывал Зарину как диковину.

— Смелая девочка. Но некультурная. Как думаешь, Даврон? Отец плохо воспитал. Девочка грубо разговаривает, а отец стоит и молчит...

— Дядюшка Джоруб мне не отец, — сказала Зарина. — Мой папа умер.

— Ц-ц-ц-ц, сирота, — притворно посочувствовал Зухуршо. — Ещё хуже. Сироте тем более надо вести себя скромнее.

Даврон сказал небрежно:

— Кончай издеваться, Зухур. Отпусти девочку.

— От-пус-тить? Шутишь?! Опозорить её хочешь? Зухуршо поспатался, а после отказался... Ты людей из кишлака спроси. Что они скажут?

— Никак нельзя отказаться, товарищ Хушкадамов, — подтвердил раис.

В это время кто-то отчаянно вскрикнул у меня за спиной. Я обернулся: в нескольких шагах поодаль Андрей вырывался из рук Занбура.

— Что?! — спросил Зухуршо.

— К тебе бежал, — буркнул Занбур.

— Террорист? Разберись.

— Не обижайте его, пожалуйста, — быстро сказала Зарина. — Это мой брат.

— Брат? Ин-те-рес-но... Эй, веди сюда брата!

Занбур подтащил Андрея поближе.

— Зачем спешил? — спросил Зухуршо. — Вместо сестры себя в жены предложить?

Я услышал, как резко выдохнул Андрей, и меня охватил страх, что мальчик ответит каким-нибудь оскорблением. Я помнил, как ужасно наказал Зухуршо покойного Гиёза всего лишь за дружескую шутку, и попытался переключить гнев Андрея на себя.

— Эй, щенок, что себе позволяешь?! — крикнул я. — Кто тебя звал?! Зачем в дела старших лезешь?!

Андрей уставился мне в глаза бешеным взглядом, говорившим без слов: «Трус! Предатель...» Богу спасибо, я достиг своей цели.

Зухуршо захохотал:

— Теперь и наш дядюшка заговорил... Поздно, дядюшка. Раньше следовало воспитывать. Ты его, конечно, не наказывал, теперь исправлять придётся. Придётся мне наказать...

— Не надо. Не наказывайте, — прошептала Зарина.

— Занбур, уведи, — приказал Зухуршо.

Здоровенный детина ухватил Андрея, поволок к стоящим в отдалении машинам.

— Оставь его, скотина! — Зарина рванулась к ним, однако я успел поймать её руку и с немалым трудом удержал девочку на месте.

Зухуршо наслаждался происходящим.

— Эй, Даврон, чего молчишь? Как его наказать? Знаю, ты расстреливать любишь, но хочется что-нибудь хорошее придумать. Я только старинные способы знаю, простые. Голову отрубить. Сжечь на костре. Утопить. Привязать к конскому хвосту... Раис, лошади в кишлаке есть? — крикнул он, не оборачиваясь.

Наш раис, который скромно топтался позади, у стены мечети, вышел вперёд и отрапортовал:

— Лошади есть, товарищ Хушкадамов!

— Хоть что-то имеете, — насмешливо произнёс Зухуршо. — И лошади, наверняка, полудохлые. Придётся со скалы его сбросить. При вашей убогости ничего другого не остаётся.

Наш раис почтительно оскорбился.

— Товарищ Хушкадамов, у нас все есть...

— Что?! Что у вас есть? Камни?.. Камнями побить предлагаешь? Нищета! В масле сварить — у вас масла не хватит. Глотку свинцом залить — у вас свинца нет.

— Ваша правда, товарищ Хушкадамов, — подхватил раис. — Мы народ бедный, с нас нечего взять...

— Ошибаешься, — сказал Зухуршо. — У каждого есть что взять. А у вас в особенности. Но не о том разговор. Что делать будем? Подскажи, раис.

К чести раиса, на этот раз он промолчал. Хоть и забавлялся Зухуршо, шутил, играл с Зариной и нашим бедным раисом, как кот с мышами, но мог в любой миг перекинуться от притворного благодушия к ярости.

Однако Зухуршо и не ждал от раиса ответа. Он погладил удава.

— Был в древности царь, который своих змей человеческим мозгом кормил... Даврон, как думаешь, Мор захочет мозг кушать?

— Не дүри! — сказал Даврон.

— Я согласна! — отчаянно закричала Зарина.

— Есть ещё один способ... — проговорил Зухуршо и внезапно замолчал. По его лицу я понял, что он всерьёз замечтался: а не испытать ли на деле какую-то страшную казнь.

— Вы слышите?! Я согласна!

Зухуршо будто очнулся, заморгал и спросил рассеяно:

— Чего кричишь?.. С чем ты согласна? Сжечь или голову отрубить?

— Замуж за вас выйти согласна. Только брата отпустите.

Зухуршо словно окончательно проснулся.

— Как? Что ты сказала?

— Я согласна выйти за вас замуж, если не тронете моего брата, — раздельно и отчётливо проговорила Зарина.

Зухуршо усмехнулся:

— Просишь?

Зарина, поколебавшись, отчеканила:

— Прошу.

— Даврон, будь свидетелем, — сказал Зухуршо. — Девушка просит, чтобы я на ней женился.

Моё сердце замерло... Что ответит Даврон? Вмешается ли? Защитит ли? Недавно в Ворухе он не захотел спасти Гиёза, плюнул, ушёл... Заступится ли сейчас за Зарину?

Даврон молчал, и Зухуршо повернулся к Зарине:

— Ты обещаешь?

На этот раз Зарина не колебалась.

— Обещаю.

Я шагнул вперёд и сказал:

— Она не имеет права обещать. Её слово ничего не значит. Не порядок, если любая девчонка начнёт выбирать, за кого ей выйти замуж... Дедовские обычаи нельзя нарушать. Вы таджик, мусульманин, вы знаете. Старшие в семье решают. Таков наш закон...

С каждым моим словом лицо Зухуршо мрачнело. Добродушная усмешка сменилась злобным оскалом. Ещё миг и...

Но тут наконец вмешался Даврон:

— Мужик прав, Зухур. У них свой устав, а уставы не обсуждаются. Пусть он решает.

Зухуршо обернулся, медленно осклабился:

— Это приказ или совет?

— Совет, — отрезал Даврон.

— Хуш, ладно. Пусть будет совет... Значит, Даврон свататься советует. Одна беда — где сватов найти, не знаю. Гадо уже один раз испортил дело. Неприлично его вновь назначать. Опять отказ получит. Может, Даврон согласится? Он мне не родня, но порой и чужих в сваты приглашают. Достойных людей...

Он прикидывался, будто рассуждает вслух, но я догадался: все же опасается обратиться прямо к Даврону. Знает, что получит резкий и оскорбительный ответ. Соблюдает границу. Он помолчал немного и продолжил:

— На Даврона, оказалось, тоже надеяться нельзя. Он дедовских обычаев не знает. Городской человек... Придётся кишлачных спрашивать.

Возвысив голос, он закричал:

— Эй, люди! Хочу взять в жены девушку из вашего селения. Кого в сваты посоветуете? Кто у вас самый почтенный?

Толпа заволновалась. Но не успели мужчины выкрикнуть несколько имён, как откуда-то из задних рядов, растолкав всех, выскочил Горох и заковылял к Зухуршо, на ходу выкрикивая:

— Меня возьмите, меня! Я сватом быть готов!

Прошкандыбал несколько шагов, остановился. Смекнул, должно быть, что слишком зарываться не стоит.

Раис крякнул:

— Э, скотина! — и к Зухуршо обратился: — Товарищ Хушкадамов, извините...

Но Зухуршо от него отмахнулся и scomандовал:

— Подойди сюда, почтенный.

Горох приблизился, встал навытяжку почтительно, но вместе с тем и шутовски, с какой-то издёвкой.

— Обычай знаешь? — спросил Зухуршо.

Шокир потупил бесстыжие глаза:

— Под дождём побывал...

— Товарищ Хушкадамов, — осторожно вмешался раис, — это у нас, извините, один такой человек, знаете... Его не слишком уважают. Совсем не годится, чтоб вашим сватом стать. Вам бы, извините, лучше какого-нибудь достойного старика пригласить.

— И этот сойдёт, — отрезал Зухуршо. — Не царевну сватаем. Какова невеста — таков и сват.

— Это всему нашему селению обида, — сказал престарелый Додихудо. — Соседи смеяться станут — в Талхаке, мол, ни одного

уважаемого человека не нашлось. А главное, вам неподобающего свата брать зазорно.

— Обо мне, старик, не печалься. Пословицу слышал: «Солнце глиной не замажешь»?

Шокир спросил:

— Как прикажете свататься? На городской манер или по-нашему, по-деревенски? Мы, горцы, — люди простые, некультурные, обычаи у нас грубые. Вам могут не понравиться...

— Сватай по-вашему, — приказал Зухуршо.

Шокир медленно потёр руки, словно готовился к работе. Отошёл немного назад, переступил с ноги на ногу и мелкими ковляющими шажками двинулся ко мне. Перекошенный, с тощей шеей, торчащей из воротника изношенного чёрного костюма, он походил на грифа, облезлого стервятника с обрубленными крыльями, который топчется в брачном танце. Подошёл, открыл рот и...

В этот миг у стены мечети раздались крики. Дрались между собой боевики, которых привёз с собой Зухуршо. Кучка дерущихся, как собачья свора, потянулась в сторону и скрылась за дальним углом. И почти сразу же грянул выстрел.

— Всем оставаться на местах! — приказал Даврон и побежал к мечети.

Вопли и брань, доносящиеся из-за угла, усилились, затем внезапно смолкли. Зухуршо бросил Гороху:

— Эй, почтенный, чего ждёшь? Приступай.

Шокир вновь потёр руки и изготовился к своему нелепому брачному танцу. Я не сомневался, что он замыслил какой-то длинный издевательский ритуал, однако Зухуршо не позволил ему разгуляться.

— Не тяни. Достаточно двух слов.

Шокир, насколько мог, вытянулся в струнку:

— Итоат! Слушаюсь!

От шутовства вновь не удержался, но приказ выполнил буквально — уставил на меня палец и каркнул:

— Отдашь девушку?

Мне для ответа хватило одного слова. Я собрал все своё мужество, отбросил приличия и ответил:

— Нет.

— О-ха-а! — едва слышно ахнули раис и престарелый Додихудо.

Горох даже расцвёл от удовольствия — опять намечалось предствление. Он заговорил внятно, ласково, словно убеждал ребёнка:

— Эх, Джоруб, Джоруб... Наверное, я тебя не понял. Или правильное сказать, ты меня, наверное, не понял. Вот они, — тут Шокир подобострастно перекопился в сторону Зухуршо, — в твоё семейство войти желают. Или правильное сказать, они желают девушку в их собственное семейство принять. В жены желают взять. Понимаешь? И они, по обычаю, спрашивают: согласен ли ты?

Я ответил твердо:

— Нет, не согласен.

Правда, не скрою, смотрел я при этом в землю — опасался, что не сумею стерпеть гневный взор Зухуршо, но с изумлением услышал, как он произнёс спокойно:

— Хорошо. Дело сделано. А вы, уважаемые, — в это время я поднял глаза и увидел, что он обернулся к раису и старому Додихудо, — вы будете свидетелями. Вы слышали, как этот человек дал согласие отдать эту девушку мне в жены. Готовы подтвердить?

Я не таю зла на моих боязливых и расчётливых односельчан.

— Да, товарищ Хушкадамов, мы слышали, — сказал раис. — Джоруб согласен.

— Мы подтвердим, — сказал престарелый Додихудо.

Гнев, возмущение, отчаяние разрывали мне сердце, но что я мог поделать?! Зарина шагнула к Зухуршо и потребовала:

— Теперь отпустите брата.

— Зачем? — удивился Зухуршо.

— Вы обещали!

— Э, нет, девочка. Ты просила брата не наказывать. Отпустить не просила, я не обещал. В солдаты его беру.

— Нет! Обещали!

— Опять грубо говоришь?! Оказывается, не понимаешь... Наш уговор ничего не стоит. Своего дядюшку благодари — он тебя замуж выдаёт.

— Дядя Джоруб, зачем вы вмешались! — сквозь слезы выкрикнула Зарина. — Зачем?!

Зухуршо спросил с притворным сочувствием:

— Почему плачешь? Радоваться надо. Твоему брату повезло — солдатом станет...

Олег

Меня поразило, насколько реальный расстрел оказался не похож на то, чего я ожидал. Я-то воображал, что выстрел, как показывают в кино, отбросит Рембо назад. Ну, если не на пару шагов, то хотя бы опрокинет на спину... Ничего подобного. Казнь произошла как-то ужасающе просто. Зухуршо подошёл, наставил пистолет. Бух! Рембо словно бы осел и повалился наземь.

Нет, я его не жалею. Общался и отлично представляю, что за мразь. Но то была не казнь, а... не знаю даже, как назвать... что-то убийственно техническое. Единственное, что придало расстрелу намёк на человечность, — это удовольствие, с каким Зухуршо провёл экзекуцию. Думаю, он потому и тянул время перед выстрелом, что ощущал себя Богом, который держит в руке жизнь человека, и страшно смаковал это чувство...

Да нет, вздор! Столь высоко он не взлетает. Его потолок — роль грозного падишаха, которую он исполняет с упоением. Разыгрывает её, конечно, для себя и перед самим собой, но хотел бы я знать, сознает Зухуршо, насколько он зависим от зрителей? От крестьян, которых презирает. И даже не презирает. Для него они нечто вроде сельскохозяйственной культуры. Он сказал мне как-то на днях: «Крестьяне как трава. Ты, конечно, не знаешь — есть у нас одна травка девзабон, спорыш. Повсюду растёт. Незаметная, жилистая, низкая, по земле стелется. Но живучая: чем больше топчешь, тем шире разрастается...»

Однако эта самая трава диктует ему технику актёрской игры, костюм, декорации... Именно ради того, чтобы заморозить крестьян, чтобы предстать перед ними страшным мифическим владыкой, он и таскает на плечах тяжеленного питона. Однако ни удав, ни автоматы Калашникова не заменят главного — фарна правителя, его харизмы. А с фарном у Зухуршо большая напряжённость. И горцы, потомки древних ариев, наполовину оставшиеся в древности, чувствуют это печёнками.

Похоже, Зухуршо одержим синдромом голодавшего. Жрёт власть в три горла. Обжирается. Представляю, как он в бытность свою партийным инструктором подчинялся, терпел, сдерживался, отклады-

вал и теперь, когда дорвался до «настоящей», абсолютной, никем не ограниченной власти, не желает себя сдерживать и хоть на секунду откладывать получение того, что захотелось. Он как ребёнок... Вероятно, не только Зухуршо, но и любой вообще психопат — это субъект, психика которого застряла где-то в раннем детстве. Остановившееся развитие. У психопата — ум, навыки взрослого и душевный склад младенца. Потому-то он настолько капризен, бесчувственен, жесток... И абсолютно неспособен повзрослеть. Увидел игрушку — дай! Во что бы то ни стало. Никаких «потом». Сейчас. Сию минуту. Загорелось попробовать, каково это — убивать. Тут же убил.

Он всегда действует импульсивно, поддавшись моменту, и чаще всего себе во вред. Сейчас ублажил себя и аудиторию — пейзажи жаждали справедливой мести, — зато оскорбил и восстановил против себя ту часть боевиков, которую Даврон именуется урками, басмачами, душманами, духами... Эти не простят, наверняка попытаются отомстить. Забыл он, что ли, про них, увлёкся? Или надеется на Даврона, который пока держит боевиков в узде...

Не могу понять, что связывает Даврона и Зухуршо. Даврон всячески демонстрирует свою независимость и, вместе с тем, служит Зухуршо. Без него Зухуршо — ноль. Вся его власть держится на угрозе применения насилия, а насилием заведует Даврон. И тем не менее, Зухуршо частенько его задирает, они постоянно грызутся.

Загадочная он личность, Даврон. Не разберу, кто он на самом деле. То ли банальный циник, то ли притворяется безразличным, сдерживает себя и спускает Зухуршо его выходки. Даже за русскую девочку не вступился, а ведь она ему небезразлична. Я заметил, как он тайком на неё посматривал. Меня эта девица заинтересовала чрезвычайно. Кто она? Каким ветром её занесло в глухой кишлак?.. Черт возьми, как было гадко на душе, как противно... Словно Зухуршо насильно сватал не девочку, а меня самого. Я должен был, обязан был вмешаться. Но чем я мог помочь? Ну, ладно, я — посторонний, наблюдатель, всего лишь свидетель. Профессия такая. А Даврон?! Он почему смолчал? Почему не вступился?

Может, напрасно себя казню? Девочка-то решительная. И очень даже. Возьмёт да скрутит Зухуршо в бараний рог. Такие решительные чаще всего забирают полную власть над мужем. И станет наш грозный Зухуршо подкаблучником. А златовласая красавица делается Шамаханской царицей, будет править ущельем Санговар из опочивальни...

А между тем Зухуршо прошествовал в центральную точку очередной мизансцены — к трупу Рембо — и спросил:

— Кто у вас асакол, староста?

Из толпы неспешно вышел человек. Плотный, кряжистый — хоть помещай его в музей с табличкой «Сельский руководитель нижнего звена». Экспонат был выполнен с идеальной точностью, которую подчёркивал даже незначительный изъян: староста сильно косил на один глаз, что не мешало ему держаться с большим достоинством.

— Я асакол.

Но в тот же миг из-за кулис на сцену выскочил, как чёртик из табакерки, кривой нескладный мужичонка — давешний сват Зухуршо. Я ещё прежде наблюдал, как он, завершив свою миссию, юркнул к углу мечети, возле которого маялись представители кишлачного руководства, и примостился с ними рядом. Оба возмущённо воззрились на наглеца, но отогнать не осмелились. Прихрамывая, он вылетел вперёд и закричал во весь голос:

— Я асакол!!!

— Эй, Горох, куда лезешь?! — взволновался народ. — У нас есть асакол.

— Он не асакол, — возразил Горох. — Он сельсовет.

— Асакол — сельсовет, какая разница?

Горох пояснил:

— Сельсовета советская власть поставила. Умерли Советы, пропал и Сельсовет. Ихней власти, — он скосбочился в сторону Зухуршо, — новые люди нужны. Теперь я старостой буду...

Зухуршо осклабился:

— Ещё кто-нибудь есть? Кто ещё староста? Выходи! У вас, талхакцев, все не по-людски. Может быть, вы все асаколы? Выходите, не бойтесь.

— Сами старосту выберем! — крикнули из толпы.

— Чем Гороха, лучше Милисú!

На сцену выпихнули из массовки новое действующее лицо — дауна, будто грубо слепленного из необожжённой глины. Лицо — кое-как сглаженный ком с дырами, обозначающими глаза, рот и ноздри. На голове у дурачка — измятая, насквозь пыльная милицейская фуражка. Из рта торчал большой глиняный свисток. Даун поправил фуражку, начальственно оглянулся на толпу и засвистал.

Зухуршо усмехнулся:

— Вот достойный вас асакол. Его и назначу. Хотите?.. Ладно, люди Талхака... Научу, как надо выбирать. Я на вас зла не таю.— Он махнул рукой Сельсовету: — Иди сюда, косою... И ты, хромой, подойди. Станьте один напротив другого... Драться будете. Кто победит, тот — староста.

Они, кражистый Сельсовет и щуплый Горох, медленно и неохотно потащились на боевые позиции, а я отчётливо увидел, что немощный на вид хромец — опасный противник. Затаённая ярость отщепенца — против физической силы... Я не взялся бы предсказывать, кто одержит верх.

Аудитория взбурлила.

— Эй, Зухуршо, мужика не унижай! — кричали старики.

— Бахрулло сельсоветом оставь!

— Бахрулло хотим!..

Молодёжь вопила радостно:

— Пусть дерутся!

— Эй, Бахрулло-сельсовет! Докажи, что мужик!..

— Бахрулло, вылуци его, как горох!

— Берегись, сзади к Гороху не подходи...

— Бокс!!!

Горох косо глянул на зрителей и неуклюже запрыгал, подражая боксёру перед поединком. Молодёжь ещё пуще возликовала:

— Горох-чемпион!

Зухуршо величаво взмахнул рукой:

— Бой!

Горох согнулся в карикатурную боксёрскую стойку и закрутил перед собой кулаками, предусмотрительно держась подалее от противника. Конечно, он работал на публику, но я невольно восхитился: по сути дела, убогий калека контролировал крайне невыгодную для него ситуацию, превращал будущую драку с минимальными для него шансами на победу в представление, в котором он при любом финале останется главным героем, центром внимания. Противнику придётся довольствоваться ролью второстепенного персонажа и лишь подыгрывать протагонисту, к чему Сельсовет, впрочем, вовсе не стремился. Он лишь повёл широкими плечами и мрачно произнёс:

— Нет, драться не буду. Это позор.

Я оглянулся на Зухуршо, ожидая, что тот придёт в ярость. Но и у него на тёмной физиономии читалось то же простодушное

любопытство, с каким следили за зрелищем поселяне. Он явно не желал вмешиваться — вероятно, решил, что разворачивающийся сюжет интересней обычной грубой потасовки.

Однако деревенская молодёжь жаждала именно мордобоя.

— Чего ждёте?! Деритесь!

Горох повернулся к публике и картинно развёл руками: я был, мол, рад, но что поделать, если противник отказывается... Громко, чтоб все слышали, он произнёс:

— Ладно. Не хочешь, я тоже не хочу.

Кто-то из молодых крикнул:

— Эй, Шокир! Что, очко жим-жим делает?!

Горох ответил невозмутимо:

— А ты проверь. Длинным своим языком...

Он порылся в кармане потрёпанного пиджака, извлёк небольшой полиэтиленовый пакетик и потряс им в воздухе:

— Бахрулло, может, миром разберёмся? Давай пока насвай покурим, все обсудим.

Если кто не знает, насвай — это табак, истёртый в пыль и смешанный с известью, куриным помётом и ещё какой-то дрянью. Его не курят. Щепоть этой гадости забрасывают под язык, и забирает она почище махорки.

Горох раскрыл пакетик, начал сосредоточенно сыпать тёмно-зелёный порошок себе на правую ладонь. Натрусив небольшую кучку, позвал:

— Эй, Бахрулло, желаешь? Тебя тоже угощу...

Сельсовет не снизошёл до ответа. Тем не менее, Горох заковылял к нему, на ходу приговаривая:

— Зря отказываешься, попробуй. Хороший насвай, андижанский...

Скорчил сладостную мину, как бы предвкушая удовольствие, слегка запрокинул голову, разинул рот и забросил было зелье под язык, как вдруг застыл, остановив руку на полпути и с удивлением вытаращившись на Сельсовета.

Тот, в свою очередь, вытаращился на Гороха:

— Что?

— Сапоги у тебя не блестят. Почему не надраил?

Обут был Сельсовет в серые парусиновые сапоги, какие в Средней Азии до сих пор ещё в моде среди сельского начальства. Он машинально опустил взгляд.

— Зачем их...

Горох мгновенным движением вывалил из пакетика на ладонь всю зелёную дрянь и швырнул Сельсовету в глаза. Подлянка нехитрая, классическая... Меня, однако, удивило, как элегантно и технично Горох провёл хлесткий выброс кисти.

— О-ха! — ахнули мужики.

Сельсовет схватился за глаза, а Горох, прихрамывая, забежал сзади, подпрыгнул и... неожиданно ловко дал ему пенделя. Когда-то, в стародавние времена, у нас в школе такой пинок именовался «поджопником».

— Э! — неодобрительно вскричали мужики.

Сельсовет — лицо припорошено грязно-зелёной пылью, глаза зажмурены, слезы текут — крутнулся назад, раскинув руки. Конечно, не поймал. Горох зашёл ему в тыл, вновь подскочил и отоварил соперника новым поджопником. Шансов изловить Гороха было у Сельсовета не больше, чем у пса, который крутится волчком и пытается выгрызть блоху, впившуюся в кончик обрубленного хвоста. А Горох, пнув беднягу раз пять, принял утомлённый вид, отошёл в сторону и театральным жестом утёр со лба пот.

— Эх, Бахрулло, Бахрулло... Со мной тягаться захотел? Нет, брат, не умеешь дерьмо хлебать, ложку не пачкай.

Зухуршо милостиво одобрил:

— Офарин! Молодец. Ты — асакол.

Народ загудел. Охрана сняла автоматы с плеча, подтянулась поближе к Зухуршо и приготовилась наводить порядок. Но обошлось без того. Слеплённого и опозоренного Бахрулло увели, дурачок Милисá строго оглядел народ и засвиристел в свой свисток. Выборы состоялись.

Нелепая была затея, но позже я вспомнил, что Зухуршо невольно проговорился одной фразой: «зла на вас не таю». Будто приоткрылась дверца, из шкафа вывалился скелет, и стало понятно, что, назначая старостой деревенского отщепенца, он попросту мстил кишлаку за какую-то давнюю обиду. Вероятно, в детстве кто-то из мужиков надрал ему уши или что-нибудь в этом роде. Теперь он отыгрывается на всем селении.

Все же я спросил на вечерней аудиенции:

— Странный персонаж этот Горох. Почему вы выбрали именно его?

Он посмотрел на меня, как на идиота.

— Не понимаешь? Он всех в кишлаке знает, про каждого полную информацию имеет. И всем чужой. В стговор ни с кем не войдёт, поблажки не даст, не пожалеет.

Он явно рационализировал свой выбор, но и я продолжал играть в наивность:

— Судя по реакции односельчан, в кишлаке его не уважают. Ни малейшего авторитета. Наверняка и навыка нет, опыта руководства.

— Зачем ему опыт? Приказ получит, следить будет, чтоб выполняли. Зачем авторитет? Ему авторитет не нужен. У меня — авторитет. В моей тени стоять будет.

Он помолчал и добавил:

— Ты не думай, со временем настоящего человека поставлю.

Да, не позавидуешь Гороху. Не хочется загадывать, как Зухуршо отблагодарит разжалованного калеку.

Ну, а новоявленный администратор, ещё не подозревая о своей судьбе калифа на час, немедленно поспешил использовать преимущества высокого положения. К Зухуршо он обратился с должным подобострастием:

— Я вам, товарищ... извините, господин Хушкадамов твердо обещаю: в кишлаке теперь полный порядок будет.

А толпу односельчан окинул хозяйским взглядом, на сей раз, как мне показалось, непритворным. Я подумал, что его обидчики ещё пожалеют о своих издёвках. Хотя могут, конечно, и пришибить потихоньку...

— Заползла вошь на царский трон, хвалится: «Я подшох», — крикнул из задних рядов невидимый насмешник.

Зухуршо свирепо заорал, обрывая смех:

— Этот человек — мой глаз и моя рука в вашем кишлаке. Выполняйте все, что он прикажет. Может, кто-нибудь из вас на него зло или обиду затаил... Может быть, кто-нибудь счёты с ним свести захочет... Помните: за это все наказаны будут. Весь кишлак.

Змей на его плечах выгнулся и поднял плоскую треугольную голову, словно подкрепляя угрозу. Похоже, Зухуршо каким-то образом насобачился управлять рептилией. Бред, конечно: змеи не поддаются дрессировке, а эмоциональный контакт между человеком и пресмыкающимся невозможен в принципе. И тем не менее, удав транслировал аудитории грозные послылы Зухуршо наподобие толмача для глухонемых — сурдопереводчика, сидящего в маленьком окошке на экране телевизора. Поводил башкой из сторо-

ны в сторону — будто озирали народ немигающими стеклянными глазами из-под нависших костяных бровей, и мельтешил языком.

— Но не бойтесь, — продолжал Зухуршо, — если будете дисциплину соблюдать, то...

Он замолчал, потому что Горох внезапно подскочил к нему и что-то зашептал, указывая на правое крыло толпы. Все обернулись туда, где собрались самые захудалые мужики. Чуть поодаль стоял какой-то человек, Прежде его не было, он словно материализовался из воздуха — во всяком случае, я не заметил, как он подошёл. И никто, вероятно, не заметил. Обнаружив его присутствие, поселяне радостно заволновались, загудели, зашумукали.

Первое, что мне подумалось, — этот человек болен. Лицо тёмное, измождённое, отрешённое. Казалось, он прислушивался к какой-то внутренней боли. Впечатление усиливал неподпоясанный серый чапан — пришелец будто сбегал из районной больницы в застиранном казённом халате. (Впрочем, подойдя ближе, я разглядел, что одежда пошита из добротной и, вероятно, дорогой материи.)

— Святой человек! — возопил Горох и с показной поспешностью зашкандыбал к пришельцу. — Святой эшон Ваххоб!

Я обрадовался не меньше поселян. Прежде я лишь читал о суфийских шейхах — не мудрецах и мистиках — Руми, Саади, Джамии, а о тех, кого можно назвать деревенскими шаманами. Во многих селениях Средней Азии, чуть ли не в каждом, есть свой шейх, живущий при мазоре, гробнице местного святого, обычно предка эшона, от которого передавались по наследству, из поколения в поколение, святость и способность совершать чудеса. Его влияние огромно, а слово — закон, ибо эшон — заступник за человека перед высшими силами. Практически все жители селения, а нередко и окрестных кишлаков, являются его мюридами — учениками и последователями, — которыми шейх не только руководит, но и помогает своим чудодейственным даром в делах и заботах. И вот мне повезло: лицезрел воочию одного из них.

Наслышан о нем немало. Хотя больше рассказывают о его отце — Каххор-эшоне. Порой истории фантастические, порой совсем незатейливые, вроде этой: «Мой отец рассказывал, эшон однажды речку Оби-Зуллол вброд по камням переходили. На ногах у них ичиги были, в калоши обутые. Как случилось, не знаю, но одну калошу с ноги водой сорвало, вниз унесло. Все очень огорчи-

лись — как эшон по горам пойдут? Сапожки-то тонкие, мягкие... А эшон на другой берег перебрались, остановились. На камне встали, будто чего-то ждали. Сколько-то времени прошло, люди увидели, что калоша назад плывёт. Вода бурлит, кипит, а калоша, как кораблик, вверх по течению поднимается, водовороты огибает. К ногам эшона подплыла. Эшон взяли, надели, дальше пошли. Все очень удивились».

Сын же славится скорее умом и добротой. С чудесами у него пока слабовато...

Меж тем Горох добрался до эшона.

— Просим, пожалуйста в президиум...

Ухватил за рукав и потащил к Зухуршо. Однако эшон оказался не слаб. Или же у Гороха силёнок не хватало. Эшона он не сдвинул ни на сантиметр, тот упёрся и — мало того — сумел в идиотском положении сохранить достойную осанку. Ближние мужики кинулись на выручку, но вдруг раздался пронзительный милицейский свисток. Горох выпустил эшонов рукав и замер, хотя и знал, кто свистит. Мужики углядели это странное замешательство:

— Эй, новый староста! Девона-то главнее тебя, оказывается.

— Давай, Милисá, наведи порядок!

Вряд ли деревенский дурачок хоть раз в жизни видел настоящего милиционера, однако каким-то непостижимым образом ухитрился точно копировать повадки своего прототипа. С внушительностью, достойной блюстителя порядка, Милисá приблизился к Гороху, остановился и... замахнулся корявым, грубо обструганным и кое-как раскрашенным черно-белым жезлом.

Ударит или нет? Психиатры утверждают, что дауны не агрессивны. Но вряд ли кто-нибудь из них наблюдал дауна «при исполнении».

— Молодец, Милисá! — одобрили мужики. — Вдарь ему. За непочтительность.

— Арестуй его...

— В зиндон посади.

Они развлекались от души. Радовались как дети приходу эшона и тому, что зрелище, тамошо, становится все более и более увлекательным. Они словно забыли, что решается их судьба.

Я наблюдал за физиономией Зухуршо — на ней крупным планом разворачивалась не менее драматическая картина. В первых кадрах всплыла досада, затем — резким монтажным стыком —

вспыхнуло раздражение, которое постепенно, наплывом, трансформировалось в гнев. Понизу задёргались субтитры, белые на чёрном: «Не сметь! На кого вылупились?! Всем на меня смотреть».

Зухуршо нащупал кобуру, вытащил пистолет, поднял его над головой и выстрелил. Стереофоническое эхо заметалось между склонами ущелья, словно включились гигантские концертные колонки. Толпа застыла и уставилась на Зухуршо. Переключив на себя внимание, он скомандовал:

— Убрать девону! Асакола за самовольство — выпороть. А вы, святой эшон, сюда идите... Гадо, проводи их.

Гадо и один из троглодитов направились было к эшону, но тот поднял ладонь, приказывая остановиться:

— Не трогайте старосту. Я его прощаю.

Из толпы выскочили два парня и утащили дурачка от греха подальше. Горох — бочком-бочком спрятался за спину эшона. Гадо с телохранителем замялись в нерешительности. На тёмной физиономии Зухуршо замелькало начало новых субтитров: «Один я имею право...» — и... плёнка оборвалась. Он пересилил себя, сдержался и повторил:

— Прошу сюда.

Впервые, пожалуй, я видел, как Зухуршо подчинился разуму, а не эмоциям. Знать, очень ему нужен эшон в качестве союзника, а не противника. Однако святой человек в союзники не спешил.

— Я сяду здесь.

Из массовки, как рабочий сцены в синем халате, выскочил рыжий парень, сорвал с себя халатишко, расстелил на земле и, почтительно поддерживая эшона, помог ему угнеститься. Эшон сел, скрестил ноги и выпрямил спину. Н-да, картинно... Сразу видно — мудрец! Народ зашептался. Безмолвное послание было принято. Эшон как бы объявил, что остаётся заодно с массаами, с бедными и сирыми. С первых же минут он выигрывал по очкам.

На прямое столкновение Зухуршо не решился. Изобразил хорошую мину при плохой игре — милостиво кивнул: «разрешаю остаться там, где сели» и, возвысив голос, то ли продолжил старую, то ли начал новую речь:

— Эй, люди Талхака, богачи, живущие в нищете! Не устали ещё от своей бедности? Не наскучило вам пробавляться пустой похлёбкой из травы? А рядом — золото, протяни руку и бери...

Люди Талхака заворчали:

— В наших горах золота нет...

— Твой отец тоже хвалился: «Золото, золото»...

— Тоже ни золотишки не нашёл!

Удав на плечах Зухуршо изогнулся и вытянул вперёд башку — похоже, был потревожен гневной бурей в душе своего носителя, — однако тот не выказал ни злобы, ни даже раздражения.

— Почему не нашли? — спросил он спокойно. — Потому что не там искали.

— Отец не знал, а ты, небось, знаешь? — иронически выкрикнули сзади.

И вновь Зухуршо пропустил оскорбление мимо ушей. Любопытно, с какой лёгкостью он сменил маску и перевоплотился из грозного тирана в опытного партийного оратора. Начал издали:

— Благо тем, кто живёт внизу, в долинах. Земли много, и тамошние люди выращивают хлеб и рис, картошку и помидоры... Всё выращивают. А вы? У вас, людей гор, земли мало. Каковы ваши земли? На поле ногу поставишь — для другой места не хватит. На одной ноге стоять приходится. А теперь скажите, что можно на таком малоземелье сажать? Что выращивать?

— Горох! — ответил невидимый насмешник из заднего ряда. — Горох надо сажать.

Народ захохотал. Горох выбежал из-за спины эшона и злобно прокричал:

— Это тебя надо! На кол сажать! В огонь сажать...

— Зато тебе-то огонь не страшен, — откликнулся невидимый. — Любое пламя выхлопом задуешь.

Зухуршо наконец рассвирепел:

— Молчать! Всем молчать, когда я говорю! Вы, талхакцы, потому в нищете живете, что мудрых советов слушать не хотите. Но я добрый. Зла не помню. Научу. По моим советам жить будете. А теперь ещё раз спрошу: если земли мало, что сажать надо?

На сей раз насмешничать никто не решился.

— Золото, — сказал Зухуршо. — Когда земель мало, выращивать следует золото.

И замолчал, выжидаясь глядя на неразумных талхакцев. Держал паузу.

— Вы спросите: как это сделать? Золото — не картошка, в земле не зреет. Но есть золото, которое выращивают в почве, — новый сорт. Вы скажете: нет, не получится. У нас, скажете, все равно земли

не хватит. Но Бог сделал вам подарок, о котором вы умалчиваете, — пастбище. Засею его новым сортом, и золото к вам рекой хлынет...

От стены мечети отделился один из томившихся там местных руководителей — статный старец — с достоинством прошествовал вперёд и остановился рядом с Зухуршо.

— Я правильно ли понял — большое пастбище собираетесь распахать?

— Верно, старик, — сказал Зухуршо. — Огромная площадь, заросшая сорной травой, пользу принести станет.

— Нельзя распахать, — твердо сказал старец. — Неправильно это, грешно. Пастбище — не земля. Разве вам наших совхозных земель недостаточно?

— О совхозных полях не упоминай, — сказал Зухуршо. — Не ваши они, мои. Были государственными, теперь моими стали. Потому что теперь я — государство.

Народ загудел, автоматчики вновь выдвинулись вперёд. Старец сказал:

— Прежде государство у нас сельхозпродукцию покупало, нам продукты завозило. Теперь с земли кормимся. Если поля отнимешь, как жить будем, чем питаться?

— О том, старик, не беспокойся, — ответил Зухуршо. — Все у вас будет. Все завезу: муку, сахар, крупы. Через несколько лет на Оби-Барф электростанцию поставлю. По одной маленькой станции возле каждого кишлака. Электрический насос на вашей речушке установлю, чтобы воду наверх, в кишлак качать. В каждый двор водопровод проведу. Не хуже, чем в городе, жить будете. Ваши женщины как жены падишаха одеваться станут. В каждом дворе «нива» стоять будет. В самых бедных хозяйствах холодильники, стиральные машины появятся. А в каждом доме — пороги из золота...

— Новый сорт, что такое? — осведомился старец. — Сорт чего?

— Новый сорт — это новый сорт. Вырастет, сами увидите. Радоваться будете...

— Однако... — начал старец, но, не закончив, воскликнул: — Святой эшон Ваххоб говорить желают!

Я ещё несколько мгновений назад заметил, что рыжий парень помогает эшону подняться на ноги. Заметили это и ближние мужики — зашушукались, вперились в эшона, а тот выпрямился во весь рост и, став лицом к толпе, спиной к Зухуршо, указал на крутой склон хребта Хазрати-Хасан на той стороне реки:

— Эй, люди Талхака, посмотрите на эти вершины. Разве не подобны они горам золота?

Люди Талхака повернулись и уставились туда, куда он указывал. Солнце клонилось к западу, тень полностью накрыла нашу сторону ущелья и начала подниматься по противоположному склону, верх которого был залит горячим предвечерним светом.

— Вещественно ли сие золото или просто обман зрения? — спросил эшон.

Серые каменные зубцы и впрямь сияли, хотя уподобить их золотым можно было только с большой натяжкой или оговоркой, что речь идёт о самородках. Впрочем, для аллегории годилось даже такое отдалённое сходство.

— А даже будь золото подлинным, доступно ли оно? Кто верит в доступность, пусть идёт, — и эшон взмахом руки проложил прямой маршрут к вершинам.

Край площади, на котором толпились поселяне, резко обрывался вниз к реке, текущей по дну ущелья. Глубина отвесного обрыва, по моим прикидкам, — метров тридцать; вполне достаточно, чтобы разбиться в лепёшку.

— Мост есть... — неуверенно проговорил безбородый старичок в первом ряду.

Его сразу же заклевали:

— Э, Зирак, помолчи! Какой мост?!

— Мудрые мысли эшон говорят, а ты про мост...

Эшон обратился к Зухуршо:

— Вот куда вы зовёте этих людей — в пропасть. Может, ваш новый мир и хорош, но путь к нему преграждает бездна. Не толкайте их туда. Жизнь в горах и без того подобна переходу по мосту Сират, узкому, как лезвие меча. Достаточно на миг потерять устойчивость, чтобы сорваться вниз и погибнуть. Потому-то эти люди цепляются за старое и страшатся нового. Старое — проверено столетиями. А новое... Вы сказали, что они нищи из-за того, что глухи к вашим советам. Я говорю: они живы потому, что не слушают ничьих советов. Но ведь вы не советуете, вы их принуждаете. Зачем?! Вы наверняка знаете, что крестьянский мир — экологическая система, любое резкое вмешательство со стороны нарушит равновесие, и ему придёт конец...

Вряд ли крестьяне поняли последние слова, да и насчёт Зухуршо я не уверен. Меня речь эшона сразила наповал. Околонаучная

лексика и ораторское красноречие в устах деревенского шамана! Да, непрост, непрост святой человек...

— Умоляю вас,— продолжал эшон,— оставьте их в покое, пусть живут, как жили. Не тащите их в новую жизнь, не заставляйте выращивать «новый сорт», что бы ни скрывалось под этим названием. Вы их погубите...

Зухуршо оторопел. Он тоже не ожидал от эшона подобных речей, переводивших спор на совершенно иной уровень, на который бывший инструктор райкома не сумел переключиться. Если вообще был на это способен. Выручил Горох. Выскользнул из своего укрытия в гуще массовки:

— Дозвольте и мне вопрос задать.

Эшон кивнул:

— Разрешаю.

Зухуршо гневно нахмурился и... промолчал. Думаю, рад был в душе, что Горох без спросу перевёл огонь на себя.

— Вы, святой эшон, много мудрых слов сказали. Конечно, люди здесь невежественные, но даже я, хоть в техникуме и учился, всей глубины не постиг... Вы сказать изволили, что власть не должна в эту самую крестьянскую жизнь вмешиваться. Кто я такой, чтоб с вами спорить! Но в прошлом советская власть в крестьянскую жизнь сильно вмешивалась. Что сажать, и когда, и где — все колхозникам указывала. Что получилось? Погибли люди? Нет, не погибли. Наоборот, хорошо жить стали...

В первом ряду безбородый старичок с простодушным лицом подтвердил:

— Хорошо жили.

— И вот я спросить хочу,— завершил Горох,— если они, товарищ... извините... господин Хушкадамов, будут в эту самую крестьянскую жизнь вмешиваться, может, у них ещё лучше, чем у советской власти получится?

Эшон ответить не успел. Зухуршо прервал диспут в выгодный для себя момент. Он толкнул в бок Гафура, пятнистого телохранителя, тот дал знак водителю одной из стоящих в стороне машин, «КамАЗ» заскрежетал стартером, завёлся, зачадил чёрной диоксиновой вонью, выкатил на середину площади и встал рядом с трупом Рембо. Народ молча следил за грузовиком. Только безбородый старичок из первого ряда торжествующе воскликнул:

— А я что сказал?! Говорил я: Зухуршо муку раздавать будет!

Второй телохранитель, Занбур, ловко вскарабкался на борт, откинул брезент, запрыгнул в кузов на кладку мешков и швырнул один вниз. Мешок хлопнулся о землю и разодрался по шву. Словно взорвалась мягкая бомба, начиненная мукой. Тонкая пыль взлетела, осела и широко прикрыла мертвеца, как саваном, белой мучной пеленой. На краю, где землю едва припорошило, медленно проступило багровое пятно не успевшей ещё застыть крови.

— Э, хайвон! — заорал Зухуршо. — Не бросай! Осторожно Гафуру подавай.

Второй мешок был опущен и уложен с должной бережностью. Зухуршо поставил на него ногу:

— Кому первый мешок?! — и сам же ответил: — Асаколу — первый мешок! Староста, иди сюда.

Горох приблизился.

— Ложись, — повелел Зухуршо. — Сначала — кнут, а мешок получишь после порки.

Если староста и растерялся, то лишь на мгновенье. Сходу вписался в ситуацию и по-военному отпартовал:

— Итоат! Слушаюсь!

Достал из кармана цветастый носовой платочек, обшитый по краям бахромой с блестками, нагнулся, чтобы расстелить, но спохватился, искоса глянул на валяющийся рядом труп Рембо, присыпанный мукой, да так и застыл с вывернутой шеей.

— Извиняюсь... дозволейте поодаль, лечь... Я, извините, мертвецов боюсь... — и, не разгибаясь, боком, на крабий манер, засеменял в сторону.

По самому краю ходил Горох, жизнью, возможно, рисковал, но удержаться не мог... А может, имел какой-то хитрый расчёт. Почему Зухуршо не разорвал его в клочья? Почему позволил ужимки и прыжки? Видимо, актёрство Гороха как-то резонировало с его собственной игрой. Кривляние шута как бы подчёркивало величие владыки и напоминало ритуальное поношение цезаря в ходе триумфа. Или, чем черт не шутит, санговарский цезарь просто засмотрелся на тамошо — зрелище, в котором был режиссёром, главным актёром и одновременно зрителем, да увлёкся спектаклем настолько, что начал подыгрывать Гороху, работать с ним в паре. А тот, хитрый манипулятор, ни разу не задел его прямой насмешкой.

Он отодвинулся шагов на пять, встряхнул платочек и разложил на земле. Сделал ныряющее движение, как если бы собирался

лечь. Оглянулся на зрителей и всем телом дал им понять, что платок слишком мал, чтоб на нем уместиться. Черт возьми, да у него талант!

Даврон шагнул к Зухуршо, на ходу поправляя кобуру. Я давно подметил у него этот жест, когда он сердит или раздражён.

— Зухур, кончай цирк.

Тот не сразу понял.

— А? Чего? — затем включился: — Э, погоди минутку.

Горох тем временем принялся растягивать платок. Потянул. Не выходит. Он дёрнул что было сил и... разодрал надвое ветхую ткань. В руках остались два обрывка.

Мужики захохотали. Женщины захихикали. Оценили... Горох растерянно огляделся по сторонам, повернулся к Зухуршо:

— Товарищ... извиняюсь... господин Хушкадамов, мне бы брезент с машины... для подстилки...

Зухуршо поманил его пальчиком.

— Эй, артист, сюда иди. Мешок видишь? На него ложись.

Горох потупился:

— Я бы рад... Но извините... я один, без бабы, никогда не ложусь. Если мне б, извините, какую-нибудь бабу сюда привели...

Из партера крикнули:

— Возмечтал Горох! Ты лучше задницу готовь. Тебе шмон делать будут.

Зухуршо кивнул телохранителю:

— Гафур, ремень.

Силач распахнул камуфляжную куртку, неторопливо расстегнул массивную пряжку брючного ремня и рывком выдернул его из шлёвок. Столь же неспешно растянул пояс во всю длину и с силой подёргал, будто испытывая на прочность. Если б толстая кожаная лента лопнула, думаю, никто не удивился бы. А может, того и ждали, памятуя Горохов подвиг...

— Концом или пряжкой?

— Сам выбирай,— равнодушно бросил Зухуршо.

Гафур оглядел Гороха, оценивая. И что же? Пожалел убогого? Видимо, так оно и было. Зажал пряжку в кулаке и взмахнул могучей десницей, камуфлированной белёсыми пятнами витилиго. Ремень щёлкнул. Конечно, не столь звонко, как бич,— шепотнул глухо, но весьма впечатляюще... Гафур проревел:

— Чего стоишь? Ложись!

И бесстрашный Горох наконец пал:

— За что?!!

— За самовольство.

— Но эшон Ваххоб... они простили... — Горох оглянулся на святого старца, ища защиты.

И все оглянулись. Эшона не было, он словно растворился в воздухе. Там, где сидел шейх, остался лишь расстеленный на земле синий чапан. Хорошая старая школа. Эти люди всегда умели эффектно покидать сцену. В народе зашептались:

— Эшон исчезли...

— Разгневались.

— Не к добру. Теперь возмездия ждите...

Гафур уложил Гороха поперёк мешка и выпорол при злорадном одобрении аудитории и под свистки дурачка. Не стану описывать подробности этой безобразной сцены.

Не слишком-то дальновидно поступил Зухуршо, неизвестно ещё, как ему это аукнется. Горох, даром что клоун и аутсайдер, но самолюбие у него, судя по всему, чудовищное. Он отныне ночами спать не будет, измышляя, как отблагодарить своего благодетеля. И ведь придумает, отблагодарит.

16

Эшон Ваххоб

Во имя Бога, милостивого, милосердного!

После бесплодной попытки образумить Зухуршо этот раб, вернувшись в свою обитель, поднялся на скалу, возвышающуюся над мазором, и сел, чтобы, собравшись с мыслями, принять решение. После долгих и тягостных раздумий о событиях в Талхаке вспомнил он эпизод из книги «Избранные цветы из букета наставлений Салахаддина ал-Хисори в саду мудрости», который до того перечитывал много раз, не в силах разгадать смысл.

Неизвестный автор «Избранных цветов» сообщает, что некий человек спросил у ал-Хисори: «Как следует поступить тому, кто оказался заперт на верхнем этаже высокой башни, охваченной пожаром? Должен ли он остаться в заточении и погибнуть в пла-

мени, или же, спасаясь от огня, броситься вниз, чтобы неминуемо разбиться о камни у подножия?»

В тот давний период жизни, когда ничтожный раб впервые прочитал эти строки, он был зачарован глубинной психологией, которую начал изучать по бледным самиздатовским ксерокопиям и перепечаткам, а посему трактовал сей вопрос как аллегорию. До примитивных фрейдистских аналогий (башня — фаллический символ, а страх перед падением — боязнь кастрации) сей раб, разумеется, не снисходил. Полагал, что горящая башня может олицетворять Эрос, огонь желаний, а её подножие — Танатос, бездну смерти. Он также отождествлял огонь в башне с пламенем сверх-Я, опаляющим личность чувством вины и стыда, а колебания в выборе — со страхом перед чёрными глубинами подсознания...

Ныне он отринул подобные бесплодные умствования, ибо понял, что скрытое в последующей беседе о башне послание обращено к нему самому.

«Искренен ли ты? От всего ли сердца задан твой вопрос?» — спросил ал-Хисори вопрошавшего.

И тот человек ответил: «Да».

Тогда шейх сказал: «Ступай и найди высокую башню, запришь в верхней комнате, разожги пожар и получишь ответ».

Неизвестный автор умалчивает, был ли исполнен наказ. Но если применить притчу к пишущему эти строки, то сей раб, сжигаемый сомнениями, не по своей воле оказался заточён в горную келью, которую можно уподобить комнате в башне. Однако именно в горах он наконец постиг истинный смысл древнего диалога и осознал, что ответ заключён в самом вопросе. И он весьма прост — из безвыходных ситуаций выхода нет!

Такова горькая истина. Ничтожный пишущий не может смириться с насилием Зухуршо над народом Санговара, ответственность за который лежит на сём рабе, ибо мир устроен таким образом, что никто иной, как шейх, обязан поддерживать гармонию и равновесие, связывая воедино человека и природу, живых людей и покойных предков, бедных и богатых, слабых и сильных...

Но что может сделать сей раб?!

Поднять жителей ущелья на восстание против Зухуршо подобно тому, как в минувшем веке минтюбинский Дукчи-эшон призвал андижанцев к мятежу против русской власти, означало бы залить Санговар кровью. Могут ли безоружные крестьяне противостоять

вооружённым аскерам Зухуршо! Но нет нужды углубляться в старину. Всего лишь год назад эшоны из Вахъё подняли простолюдинов против коммунистов, что привело в итоге к ужасной гражданской войне.

Призвать Зухуршо к повиновению? Но в наши дни слово эшона способно разжечь пожар, но не в силах его погасить. Прошло то время, когда эшоны вершили судьбы сего мира, поднимали восстания, усмиряли мятежи и не делали различия между могучими князьями и жалкими нищими, сидевшими у их ног рядом как равные. Великие правители, духовные ученики эшонов, безропотно исполняли повеления шейхов, выполняя завет «Ученик в руках шейха словно труп в руках обмывальщика».

Так некогда эшон Ходжа (да будет свята его могила), дед этого ничтожного раба, привёл к власти Саида-бедняка, самого неимущего из жителей Талхака, и сделал его «ревкомом», председателем Революционного комитета Дарваза. Причины такого возвышения ныне неведомы. Однако, получив власть, неблагодарный Саид-ревком позабыл об обете повинования и множество раз поступал вопреки приказам устоза, наставника. Нахожу, впрочем, объяснение его невольному своеволию в том, что им начала распоряжаться иная, мирская, но могучая сила, противоречить которой он был не в силах. Тем не менее, шейх Ходжа (да будет свята его могила) жестоко покарал его за предательство. Проклятье эшона настигло Саида-ревкома на вершине могущества и славы. Судьба отвернула от него поток удачи, он был арестован, брошен в тюрьму и расстрелян в тридцать шестом году. Таково было последнее проявление мистической силы и могущества эшона Ходжи, который вскоре покинул этот мир и передал джадизу, молитвенный коврик, старшему своему сыну Каххору (да святится его могила).

Каххор-эшон, отец ничтожного раба, обладал ещё большей силой творить чудеса, и в подтверждение к нему являлись два тигра, склонялись перед шейхом и кричали: «Йо, хакк», ибо были его мюридами. Впрочем, это известно пишущему исключительно по рассказам, он не имел случая наблюдать появление тигров своими глазами, поскольку в раннем детстве по решению родителя был отлучён от отчего дома и направлен в столицу, на воспитание к дяде — младшему брату эшона Махсуму Ходжаевичу Эшонходжаеву, который преподавал в университете основы марксизма-ленинизма, ибо такова традиция: младший сын обязан получить светское образование и утвердиться на

мирском поприще, а старший сын, когда настанет время, — принять молитвенный коврик и продолжить линию передачи благодати. В Душанбе сей раб был записан в русскую школу, а по её окончании послан по разнарядке в Ленинград на философский факультет и, прошедши курс наук, определён в отдел философии Академии наук Таджикской ССР, где начал работу над кандидатской диссертацией «Шейх Бахауддин Накшбанди и творческое наследие его мысли в Южном Таджикистане в XV–XVI веках». Дядина супруга сосватала для ничтожного девушку из благородного и уважаемого семейства Нишонходжевых, Малику. Он успешно защитил диссертацию и начал работу над докторской, его имя приобретало известность в востоковедческих кругах, он прекрасно обставил полученную от Академии квартиру, приобрёл автомобиль «жигули», и они с молодой супругой продолжали жить приятнейшей жизнью, пока судьба не обманула их, поступив с ними как враг. Умер старший брат, которому отец, Каххор-эшон как первенцу намеревался со временем передать свой молитвенный коврик. Это была горькая весть. Сей раб мало знал брата — крутоворот судьбы и воля отца разлучили их в раннем детстве, да и в зрелом возрасте они встречались не слишком часто — лишь когда пишущий эти строки посещал родительский дом. И всё же он глубоко скорбел о юноше, который обещал со временем стать шейхом, более могучим, чем отец. Безвременная смерть брата грозила к тому же разрывом линии наследственной передачи учения и благодати, и, как полагал сей раб, Каххор-эшону, отцу покойного, когда настанет его срок, придётся отдать молитвенный коврик одному из ближайших мюридов и учеников — тому, кто готов и достоин принять благодать и духовную власть.

Однако колесо судьбы, неумолимое в своём вращении, вскоре послало Каххора-эшона вдогонку за сыном. Сей ничтожный раб получил известие о том, что отец тяжело болен. Он немедленно вылетел на самолёте из Душанбе в Калай-Хумб, добрался на машине до Талхака и застал родителя при смерти. А вместе с тяжестью предстоящей утраты на него внезапно обрушился совсем уж неподъёмный груз — отец, святой Каххор-эшон (да будет свята его могила) вручил ему свой молитвенный коврик.

Для сего ничтожного...

Для меня это стало страшным ударом. Я не желал становиться шейхом! Ломалась вся моя жизнь... Рушилось всё, чего я добился, чего мечтал достичь в будущем... Малика не поедет со мной.

Не бросит работу. Диссертацию. Подруг. Городской комфорт. Эта княжна, горожанка, гордая красавица, модница, учёная дама, кандидат химических наук, что она будет делать в убогом домишке рядом с гробницей?! Что я буду делать?! Как жить?.. Чем жить?.. Зачем?..

Отец взвалил на мои плечи тяжкую ответственность. Передал власть, которая мне не нужна, и коли я не имею права распорядиться собственной жизнью — смогу ли властвовать над душами мюридов?

Однако сын в руках отца подобен трупу в руках обмывальщика. Прошло время, и я смирился со своей жалкой участью. Иногда утешаюсь мыслью, что лучше, пожалуй, быть суфийским шейхом, нежели изучать суфийское учение по мёртвым книгам. Но это слабое утешение. Женщина, с которой я связан семейными узами, не может заменить мне Малику. Порой я чувствую себя узником, запертым в огромной темнице. Один, совсем один...

Отсюда, с вершины, казалось, что стены моей тюрьмы накренились, как опрокинутая чаша. Верхний край ущелья — крутой откос хребта Хазрати-Хасан — выгибался высоко в небо. Нижний — рассекала извилистая трещина, в которой бурлила река. И далеко внизу, по белой нитке тропы, проложенной вдоль реки, медленно ползла точка — одинокий путник на дне огромной каменной расщелины. Кто-то направляется ко мне за помощью, советом или наставлением. Они убеждены, что я способен помочь... И идут ко мне бесконечной вереницей со своими бедами, страхами, тревогами, заботами...

Тем временем точка увеличилась настолько, что я различил в ней крохотную фигурку женщины — яркое пятнышко живой жизни среди каменной мёртвой пустыни.

Женщина в красном платье поднялась к мазору. Отсюда, со скалы, я видел, как из дома вышла мать моих детей и заговорила с просительницей. Увидел я также, к великому своему неудовольствию, что она указывает на скалу моего уединения. Женщина в красном платье вместо того, чтобы уйти восвояси, направилась к тропе, ведущей наверх, что окончательно привело меня в крайнее раздражение... Какое у крестьянки может быть дело, столь важное и срочное, что ради него она осмеливается нарушить уединение эшона?!

Я невольно отвлёкся от своих раздумий и лишь следил за тем, как она медленно поднимается вверх по склону. Женщина скры-

лась из виду за последним поворотом тропы и на некоторое время исчезла. Я понял, что она остановилась под прикрытием скалы, чтобы отдышаться и достойно со мной заговорить. Наконец она поднялась на вершину. Я узнал в ней русскую женщину, дочь которой просватал Зухуршо.

— Здравствуйте,— сказала она по-русски и, спохватившись, добавила: — Ас-салому алейкум.

В национальном платье и изорах, в неумело завязанном головном платке она походила на посредственную актрису, играющую роль таджички в каком-то спектакле.

Меня неприятно поразила вольность, с которой обратилась ко мне эта женщина. Она смотрела прямо и требовательно, хотя я никогда ничего ей не обещал. Будь она в европейской одежде, неучтивость ничуть бы меня не задела, ибо у русских нет врождённого такта, истинная вежливость для них недоступна. Однако меня оскорбил контраст между одеждой горянки и неизменной русской бесцеремонностью, хотя я привычно скрыл свои чувства.

— Как мне к вам обращаться? — спросила она.

— Это неважно,— ответил я.— Все имена в этом мире условны и непостоянны. Истинны лишь имена Божьи.

Но она, вероятно, даже не слышала моих слов.

— Я знаю, вы учёный. Работали в Академии наук. Вы должны меня понять. Я обращаюсь к вам как к образованному человеку... Мне не с кем поговорить, не с кем посоветоваться... Не у кого искать защиты... Я в отчаянии. Не знаю, что делать... Мы попали в ужасную ситуацию...

Возможно, я даже посочувствовал бы, если б она не тащила меня назад, в мир, навсегда мной утерянный. Я сказал холодно:

— Вы обращаетесь ко мне как к учёному? Вот я перед вами. Кандидат философских наук, без пяти минут доктор. Что вы просите сделать для вас? Объяснить действия Зухуршо в свете слома общественной формации в нашем независимом государстве? Или прочитать этому местному феодалу лекцию о несовместимости его волюнтаризма с принципами гуманистической этики? Или же обратиться в ООН или ЮНЕСКО с требованием призвать его к соблюдению прав человека?

Она проговорила растерянно:

— Но у вас такой огромный авторитет...

Я возразил:

— Вы преувеличиваете. Я разрабатывал слишком узкую тему. Меня знают очень немногие. Несколько специалистов в Москве и в Ленинграде. Кое-кто в Праге, Торонто... Пара человек в Кембридже. Стефан Дюдваньон в Париже... Вот, пожалуй, и всё. Даже у нас, в Таджикистане, я известен не особенно широко...

— Ах, я не о том! — воскликнула она. — Эти люди в кишлаке... Они почитают вас как святого. Они послушаются, что бы вы ни приказали...

— Вы сама себе противоречите. Я либо учёный, либо шейх. Соединить одно с другим невозможно. В научном мировоззрении — а насколько я понимаю, именно его вы придерживаетесь, — отсутствует понятие «святость».

Она растерялась, но сразу же нашлась:

— Я прошу вас... как человек просит человека... Вы можете меня понять. У вас самого есть дети...

Дети! Меня возмутило, что она прибегла к старому, как мир, стандартному приёму манипуляции, но я сдержался:

— Человек не в силах изменить то, что предопределено. Сказано: «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах».

— Да, конечно, я знаю... Все это твердят... — сказала она с горечью. — И вы тоже... И всё же, умоляю, помогите! Мы в ловушке... Я уже ни на что не надеюсь... Только на какое-нибудь чудо...

Она запнулась, словно в голову ей пришла новая мысль.

— В кишлаке без конца рассказывают о чудесах, которые вы творите. Я никогда в них не верила. По-моему, образованный человек не станет заниматься такими нелепостями... Совершенно бесполезными, от которых никому ни холодно, ни жарко... Простите, я сама не знаю, что говорю...

Я молча слушал её, окаменев от негодования.

— Но теперь я готова верить в любое чудо! Сделайте что-нибудь с этим страшным человеком, чтобы он оставил нас в покое. Напугайте его... Превратите в лягушку, и пусть его мерзкая змея проглотит. Я не знаю, просто не представляю, что ещё можно придумать... Но вы сами, наверное...

И тогда самообладание оставило меня.

— Женщина, кто дал тебе право требовать чуда?! — спросил я грозно. — Кто ты такая? Ты пришла со стороны, ты презираешь наши обычаи, ты не веришь в Единого Бога, не произносишь мо-

литвы. Ты — чужая. Почему я должен творить для тебя чудеса?! Ты не отдала мне руку, и я не несу за тебя никакой ответственности...

Она попыталась что-то сказать, но я не позволил.

— Ты даже не удосужилась принести какое-нибудь подношение... Несколько лепёшек и горшочек масла... или что ещё ты могла бы принести... Не думай, что мне нужны эти жалкие дары. Они необходимы тебе самой. Ты могла бы с их помощью выказать почтение. Прежде, чем требовать, ты должна сама что-нибудь дать... Это не плата... Понимаешь? Это не та плата за услуги, к которой ты привыкла. Это выражение искренности... А ты... Ты жаждешь чуда, но не способна на искренность...

Она закричала отчаянно:

— Я способна! Я готова сделать для вас всё, что угодно, только помогите моим детям. Хотите — буду целовать перед вами землю. Буду работать на вас как раба. Всё, что скажете. Всё, что прикажете...

— Я приказываю тебе уйти. Уходи.

По глазам я видел, что она пытается и не может уразуметь смысл моих слов, как если бы перед ней внезапно возникла надпись на неизвестном языке, а посему повторил:

— Уходи.

Она наконец поняла. Недоумение во взгляде сменилось странным выражением, в коем презрение смешивалось с... жалостью, — понял я с удивлением и возмущением. Кто дал ей право оскорблять меня состраданием?!

Она проговорила:

— Значит, и вы тоже как все... Тоже боитесь этого самодура, — и ушла, не попрощавшись.

О, мне, как никому, хорошо знаком этот тип женщин. Они требуют! Они всегда чего-нибудь требуют. Забывают, что они — женщины. Они не знают... не хотят знать своего места. Их неправильно воспитали. Они забыли, чему их учили. Почему они так яростно бьются за свою самостоятельность? Почему без конца твердят: «Если бы ты знал, как я устала, как мне надоело поддакивать, соглашаться, прижимать руку к сердцу: Хуш, муаллим, хорошо, муаллим... Как вы скажете, муаллим... Мерзко, глупо, противно! Эти наши профессора, научные светила, ничуть не лучше какого-нибудь колхозного раиса из захолустья. Баи, феодалы!» «Не обращай внимания, — говорил я. — Ты же знаешь, это традиция. Просто

надо проявлять вежливость к старшим...» «При чём тут вежливость?! Они женщину за человека не считают... Малика Хамракуловна, надо немножко спокойнее говорить... Надо немножко ещё поучиться... Ненавижу! А ты?.. Ты никогда не хочешь меня понять. Даже не пытаешься... Почему ты защищаешь этих баев? Ты сам такой же, как они! Родился в кишлаке, кишлачным и остался... Если б не ты, мы давно бы уехали... Предлагали мне в Чернологовку, под Москву... Нет, ты не захотел! Ты не поехал... Тебе папочка не разрешил, маленькому мальчику... Отчего же ты у него разрешения не спрашиваешь, когда на меня залезаешь? Отец, позвольте мне немного поиграть с этой женщиной. И не стыдно тебе? Взрослый мужчина, а как ребёнок, во всём отцу подчиняешься...»

Вот что я ненавижу в этих женщинах — непочтительность. Демонстративный отказ признавать авторитет, старшинство... Кто дал им право на непочтительность?! Кто дал право требовать? Тем более — требовать чудес! Я не сотворил бы для них самого малого, самого ничтожного чуда... даже если бы мог... О, нет, сотворил бы! Чтоб они проклинали себя за то, что осмелились требовать... Я бы... Как отец... Он никогда не прощал непочтительности. Даже самой малой...

Все помнят, как наказал он Райисполкома, который пытался отнять у него маленький клочок земли. Тот участок на солнечной стороне склона горы Сорбиён возле большой арчи, который Салимхон — мурид Ходжи-эшона, отца моего отца — преподнёс в дар устозу за исцеление сына.

И случилось так, что в хрущёвские времена приехал в Санговар человек с тетрадкой. Никто не помнит его имени. Просто Райисполком. Он был не наш, не местный. Присланный из Конибодома, где, рассказывают, воспитывался в детдоме. Вернее всего, слухи верны, потому что только человек без родительского воспитания может быть столь груб и нетактичен. Никто не внушил ему правил поведения.

Сказали Райисполкому:

«Земля эта не простому человеку принадлежит — эшону Каххору. Следует исключение сделать, надо это поле им оставить».

Но он ответил:

«Эй, люди, разве ваш эшон до ветру не ходит? Разве по нужде не присаживается? Чем он лучше простого человека? Чем от простого человека отличается?»

С этими грубыми словами сделал пометку в своей тетради и уехал.

Отец сказал:

«Не за то я его наказываю, что отнял у меня законную мою землю. Учение учит нас довольствоваться малым. Караю за грубое и оскорбительное слово. За непочтительность. Человек, лишённый почтительности, подобен свинье».

Райисполком вернулся в Калай-Хумб и должен был дать отчёт о проделанной работе на бюро, где собрались все руководители района. Вышел на трибуну и сказал:

«Уважаемые товарищи... гхрю-гхрю-ю...»

Это были последние слова, которые он произнёс на человеческом языке. Теперь, едва он раскрывал рот, из него вырывалось свиное хрюканье: гхрю-гхрю-ю... гхрю-гхрю-ю...

Несчастный ездил лечиться в Душанбе, и с ним бился знаменитый психиатр Камол Бобоевич Резоев, но не вылечил, однако написал статью «Об одном случае истероидной афазии», с которой впоследствии в течение дальнейшей своей научной карьеры выступал на всех симпозиумах по психиатрии, республиканских и всесоюзных, и даже стал академиком. А Райисполком хрюкал свиньёй до самой смерти...

Отец передал мне свой дар. Когда я вошёл в комнату, где он лежал, сразу понял, что он умирает. Он смотрел на меня безучастно, но я понял, что он видит меня и пытается что-то сказать. Я приник ухом к самому его рту. Отец едва слышно, хрипло и почти неразборчиво прошептал коснеющими губами:

«Возьми это...»

Я едва понял — скорее, угадал — смысл его слов. Отец пытался вымолвить что-то ещё, но не смог. Оцепенение уже сковало его язык.

Увы, отец передал мне дар, но не успел объяснить, как им пользоваться. Как если бы я получил в наследство сложнейшую машину без инструкции. Без единого рычажка или кнопки. Все мои знания вычитаны из книг. Единственное, чем располагаю, — способностью к сверхъестественным деяниям, которую получил по прямой линии передачи и которой не умею воспользоваться. Ко мне как нельзя лучше подходят слова шейха Али ад-Даккака: «Дерево, растущее само по себе, которое никто не сажал, приносит листья, но не плоды».

Но я страстно желаю приносить плоды. Каждый день сажусь в уединении и, как предписывает Бахауддин ан-Накшбанд, практикую вукуфи калби — остановку на сердце. Создаю мысленно картину сердца с запечатлённым в нём именем Бога и убеждаю себя, что в сердце нет другой цели, кроме Бога.

Однако сердце моё молчит. Я не знаю, где искать Бога, чтобы спросить, что мне делать и как поступить. Знаю, что Он — повсюду, но не вижу Его. Вижу горы, высящиеся над ущельем, узкую полосу неба, каменные вершины... но ничего более не нахожу в пустом мире.

Это какой-то неизлечимый дефект внутреннего зрения. Сухо и пусто внутри. Гулко, как в пещере. Я постоянно чувствую себя самозванцем. Обманщиком. Вынужден скрывать бессилие под маской надменного мудреца...

Но я не виноват! Я не хотел. Меня заставили. Бросили, словно щенка в воду. Принудили насильно, как мальчика. Как слугу. Как раба... Полагаю, именно потому я испытываю мстительное наслаждение, именуя себя по старинной персидской эпистолярной традиции «этим ничтожным рабом». Не знаю лишь, кому я мщу...

17

Андрей

Заколебал он меня.

— Брат, ты с козой играл?

Останавливаюсь:

— Отвяжись, да.

А Теша, альпинист колхозный, не замечает, что я отстал, прёт в гору по тропе, как луноход, и бубнит:

— Камол в армии служил, рассказал, как надо с козой играть. Задние ноги в голенища сапог сунуть, а хвост под ремень заправить...

Просветитель! Настучать бы ему по тылке ещё разок, но ведь от души знаниями делится. Дружбы ради. В первую же ночь, когда меня привезли, подружились.

В общем, по порядку — чтоб было понятно. После того, как отца убили, мне хотелось забиться в какую-нибудь дыру. Ни с кем не

разговаривать. И чтоб вокруг вообще — ни души. А дядька утащил нас в кишлак. Самое то, что надо. С раннего утра на поле — камни ворочать, вечером — с поля, утром — на поле... Уставал настолько, что ничего не помнил. Будто в земляную щель провалился. Темно, душно, зато боль, вроде, слегка притупилась. Зато Бахша постоянно зудела. Вроде как оса в погребке. Сядет, ужалит и опять летает, зудит. Мне-то — ничего, за матушку было обидно...

Потом в кишлак заявился Зухур. И понеслось. А все из-за Заринки. Она, когда с камня спрыгнула, надо было убежать. Спрятаться где-нибудь. Нет, пошла к Зухуру. Сама полезла в капкан. Гордость заела. А я что? Побежал на выручку. Честно, сам не знал, что скажу, что сделаю. Времени не было думать. Но этот гад Зухур даже слушать не стал. «Наказать! Занбур, уведи».

Занбур — его холуй. Здоровый, как шкаф. Схватил меня за руку. Я вырвался. Он — борцовским захватом за шею, сдавил горло и поволок. Я задыхаюсь, в глазах темнеет. Из последних сил дёргаюсь, сопротивляюсь, а он знай тащит, будто борцовскую куклу. Подтаранил к «скорой» — грязной «буханке», на которой зухуровские бесы приехали, — забросил вовнутрь и дверь захлопнул.

Я чуть отдышался, — к окошкам. А кабину водителя отделяла от салона перегородка с раздвижными стёклами. Одно разбито. Я сдвинул в сторону другое, заляпанное, как в сортире, и стал смотреть, что происходит на воле. «Буханка» стояла передком к мечети, и через ветровое стекло площадь видна — как в кино. Зарина по-прежнему стояла перед Зухуром, а из толпы к ним зачем-то ковылял хромой урод Шокир. И я буду сидеть в коробке, как морская свинка? Надо на помощь! Я — наскоро пошарил взглядом по боковым и задним оконцам: где холуй Занбур? Не видно гада. Я даже удивился — как это он шустро смылся? Заморачиваться не стал, открыл боковую дверцу... И вдруг слышу:

«Э!»

Занбур. Выглядывает из-за заднего бампера «буханки». Он на корточках сидел. Оттого-то я его в задние окна не присек. В прятки, что ли, играет? Он встал, вышел из-за угла, и я понял, что он там делал. Решил, придурок, что с площади не увидят, и присел по малой нужде. В старое время все националы так сикали — на бабий манер, чтоб не дай бог капля мочи на одежду не попала: страшный, мол, грех. На эту тему даже подковырка имеется. Когда кому-нибудь говорят: «Уезжай на свой Россия», он отвечает: «Мы

вас научили ссать стоя, когда срать стоймя научим, тогда и уеду». Занбур, выходит, эту науку ещё не одолел. Меня поразило то, что он встал и не заправился. Подходит к двери. Из ширинки член торчит. Вроде как обрезок чёрного шланга. Негромко говорит:

«Больше не открывай. Тихо сиди. Дверь откроешь, в жопу тебя сделаю. Прямо в этой машине».

Я обмер. Он на член показывает:

«Может, примерить хочешь?»

Оттянул левой рукой, пару раз погонял шкурку туда-сюда и спрятал в штаны. И резко захлопнул дверь. Я едва успел отпрянуть. Рухнул на лавку.

Я сразу поверил, что не берет на понт. Наслушался в Ватане рассказов шпаны. А у этого рожа тупая, бессмысленная. Животное, не человек. И силища. Против такой мне не выстоять. Ужасное чувство беспомощности охватило. Если вернётся, дверь закроет, никто даже не заметит, не услышит, не придёт на помощь...

И злость накатила. «Да кто он, блин, такой,— думаю,— чтоб я его боялся». Пусть возвращается. Откроет дверь, отоварю по кумполу какой-нибудь железякой. Стал искать. В салоне вся медицина срезана, выброшена, а вдоль двух сторон приварены железные лавки. Я под ними пошарил. Хоть шаром покати. «Ладно,— думаю,— камень возьму». Сколько через окна ни высматривал, а поблизости — ни одного подходящего. Выйти, поискать подальше не рискнул. Всё-таки зашугал он меня слегка. Самую малость. В конце концов решил: если увижу, что идёт, выскочу и убегу.

Перебрался опять к перегородке. На наблюдательный пункт. Опа на! Зарина с дядькой уходили от Зухуршо по направлению к толпе. От души отлегло. Через минуту опять стрём навалился. Зачем меня здесь держат? Что будет? Каша в голове. Всякого передумал, но это, в общем, неважно... Тем временем на площади много чего происходило, но это тоже неважно. Я особо не интересовался. Все равно ничего не понять. Кино без звука. Вижу, на середину выехал «камаз», из кузова стали мешки выбрасывать. Пока народ их разбирал, начало смеркаться.

Потом вижу: кто-то идёт. В сумерках морду не распознать, но точно не Занбур. Ростом пониже, телом пожиже. Забрался в кабину, завёл двигатель, включил фары. Типа врубил освещение на площади. Выбрался из кабины, обошёл «буханку» спереди, открыл дверь.

«Идём».

Я даже обрадовался. Надоело мариноваться в жестянке. В случае чего буду защищаться. Зубами, рогами, копытами. Иду вслед за шофёром. Готов к чему угодно. Вышел на середину площади. Бесы стояли кружком. Водила объявляет:

— Скорую помощь вызывали? Санитар пришёл».

Бесы раздвинулись. Один предлагает:

«Ну, чё, санитар, давай лечи».

А там трупешник Рембо лежал в луже крови. Если точнее, то кровь растеклась со стороны головы. Я-то находился в ногах. Со стороны головы стоял Тыква. Тот самый. Вроде как мой несостоявшийся зятёк.

Водила торопит:

«Э, санитары, кончайте диагноз ставить. Грузите в кузов».

Это они нас типа рабов припахали, самим западло мараться. А Тыкве, чтобы к голове подойти, придётся в кровищу ступить. Подсохла немного, но всё-таки... Я без лишних слов нагнулся, ухватил дохляка за ноги и потащил. Тяжёлый. А ведь правду говорят: своя ноша рук не тянет. Честно скажу, с кайфом волок. Протащил метра три, кровь перестала размазываться. Бесы брезент швырнули:

«Заверните».

Ну, опустили задний борт, я и Тыква кое-как забросили свёрток в кузов «камаза». Тыква наверху остался, я прыгнул на землю. Бесы кричат:

«Куда?! Лезь обратно».

Один бес, весёлый, в солдатской панаме, заломленной поковбойски, хлопнул меня по спине:

«Братан, не ссы. С нами поедешь. Весенний призыв. В спецназе служить будешь. Кино видел, да? Автомат дадут, будешь стрелять: пух-пух-пух...» — И опять меня по хребту: — «Ай, молодец!»

Что делать? Где наша не пропадала! Приедем на место, а то по дороге — как-нибудь да сбегу... Тыква сверху, из кузова, руку тянет — помощь предлагает. Я проигнорировал, вскарабкался сбоку, с колеса. Едем. Темно. Тыква в угол забился. Роба мрачная — это я подметил, когда на спуске задняя машина фарами кузов осветила. Ему-то, овощу, с чего горевать? Спрашиваю: «Слушай, что на площади было?» — «Ничего не было». — «Ну, а все же... Расскажи». — «На Зарине хочет жениться».

Я как дурак не врубился:

«Кто?!»

«Зухуршо».

«Ну, всё! Мандец тебе, Зухурка! — думаю. — Дадут автомат, в ту же минуту пристрелю. Как тот бес сказал: пуф-пуф-пуф... Четыре сбоку, и бобик сдох. Женись себе на здоровье в могиле». Заодно и с Занбуром рассчитаюсь. Нет, теперь уж в бега не уйду. Как-то сразу спокойно стало. Тыкве я, конечно, ничего не сказал. Так и ехали молча.

Приехали. Дом какой-то длинный. Как я понял — казарма. Окна едва светятся. Утром узнал, что бывшая школа. Двор большой. В стороне — очаг из камней, казан громадный. Стол небольшой, на нем — стопка лепёшек и лампа керосиновая, «летучая мышь». Другого освещения нет. Рядом мужик — похоже, повар. Дождется запоздавших. Высокий титан-кипятильник дымит. Какой-то пацанёнок суетится, суёт щепки в топку.

Тыква куда-то исчез. Бесы заскочили в казарму, вынесли свои чашки-плошки, уселись питаться за длинный стол с лавками. Перебрасываются шутками, ржут, гогочут. Я притулился в сторонке, у стены. Повар кричит: «Что стоишь? Иди».

Подхожу.

Он мне: «Чашка есть? Ладно, дам пока... А завтра найди где-нибудь».

Плеснул варево, ложку сунул. Я присел с краю к длинному столу. Сiju, хлебаю. Подваливает пацанёнок — тот, что кипятильник топил:

«Вкусно?»

«Сойдёт».

«Хочешь, вкуснее будет?»

И руку в кармане держит. Я-то сдуру подумал, перец достанет или что-нибудь такое. А он, урод, нагнулся и харкнул в миску. Ах ты, гад! Я схватил миску и выплеснул варево ему в харю. Жаль, не слишком горячее.

«Добавки хочешь?» — спрашиваю.

В рожу бить не стал, чтоб кулак не пачкать. Засадил в тулбище что было сил. В поддых. Он руками за брюхо схватился, зажался, а я думаю: «Ну, все, сейчас махаловка начнётся». Обычное дело: подсылают кого послабее, а потом как бы заступаются. Ждать не пришлось. Из темноты кричат: «Э, э! Салага! На кого руку поднял?!»

Выходит амбал. Эдак, не спеша. Я стою, кулаки наготове. Ещё двое подтягиваются. Амбал подгребаёт вплотную: «Ты знаешь, кого ударил? Это у нас самый уважаемый человек. Главный командир. Пахан...»

И всё в таком духе. Ежу понятно: зубы заговаривает. Прикалывается, заодно любопытствует — как отвечу, что отвечу. Потреплется немного и ударит неожиданно. Ну, я и ответил. Ткнул ему в будку. И понеслась душа в рай. Отмудохали меня будь здоров. Испытывали на слабину. Убедились и после особо не докапывались. Я сначала боялся, что присягу устроят. Спросил у Тыквы: «Ты у них присягу проходил? Ну, типа как у дедов в армии».

Он насупился.

Я не отставал: «Ну, так что было-то?»

Отмолчался. Точняк, уделали что-то мерзкое и унижительное.

Я ему: «Со мной почему-то тянут... Ты ничего не слышал?»

А он: «Даврон запретил. Они Даврона боятся».

Через день ко мне подкатывает тот член, что в миску харкнул. Имя — Теша — я позже узнал. Мнётся.

Я ему: «Хуля надо?»

Он: «Извини, брат, я плохого не хотел».

Дебил! Что такому скажешь? «Раз не хотел — другое дело. Тогда спасибо».

Он лопочет жалобно: «Они сказали, иди плюнь».

Я к тому моменту слегка разобрался, что к чему. Бесы им помыкают, как хотят.

«Ладно, проехали».

Теперь в друзья набивается. Жизненным опытом делится. Энциклопедист, блин! Корову надо загнать на рисовое поле, чтоб ноги увязли, а самому на земляной бортик встать, чтоб было повыше. Кошку — засунуть в сапог, чтобы не царапалась... Я ему:

— Кончай про ишаков и кошек... Противно.

Он, мудила, тряндит:

— Э-э-э, ты не понимаешь. У нас ребята говорят, если с ослицей играть, кер большой, как у осла, станет.

— Мне такой, какой есть, хорош. Пусть вообще отсохнет, к ослице не притронусь. Ты про женщин расскажи. С женщиной-то, точняк, лучше.

— Жениться денег нет. А без свадьбы — какая согласится? Ты не думай, с ослицей тоже непросто. Только добром можно взять.

Надо травой её накормить. Трава есть, от неё ослицы в охоту приходят. Никто не знает, тебе как другу скажу...

— Ты, блин, сам этой травы не наелся?

Обиделся. Но мне плевать на его тонкие чувства. Мысли в башке кипят. По наивняку думал: раз банда, то гуляй, где хочешь, шалай-валяй и все такое. На самом-то деле — дисциплина, как на атомной подлодке, и переборок между отсеками не меньше. Меня сразу засунули к «колхозникам» — во взвод, где одни кишлячные пацаны. Их, по-моему, единственно для того и захомутали, чтоб картошку чистили, котлы мыли, ну, и вообще, чтоб было на ком воду возить... А к Зухурке никого, кроме личной охраны не допускают. Сам он в казарму, понятно, ни ногой.

Я стал прикидывать, как к нему подобраться. Через день улучил момент, пошёл на разведку. Дом у него в два этажа на самой горе и окружён забором. Вообще-то в кишляке заборы невысокие, чисто для видимости, чтобы территорию обозначить. Дом Зухурки окружают крепостные стены. Высотой метра два с половиной. Подошёл я к воротам. Гляжу — дверца. Ну, я возьми да стукни. Для прикола. Высунулся бес из охраны. Я ему: «Брат,пусти поглядеть». Он: «Кто послал?» Я валенком прикинулся: «Да никто. Просто посмотреть хочу. Если пошлют, надо же знать, где чего, куда идти...» Он дверь захлопнул. А вечером Фидель Кастро, командир отделения, привязался: «Зачем ходил?!» Я ему — ту же тюльку, что караульному бесу. Он принялся меня дербанить: «Больше сам не ходи. Никуда не ходи. Срать захочешь, меня предупреждай: «Срочно отбываю в сортир по большой нужде. Через восемь минут вернусь». На минуту удержишься — порву». Хохмит, что ли? Гляжу, похоже, всерьёз. И ещё грозит: «Ты понял?» Я ему: «Да понял, понял...»

Две вещи понял: с налёта не получится, а светиться ни к чему. Нужен план. Читал я одну книгу, в которой подробно описано, как надо готовить покушения. Следят, составляют график передвижения объекта и все такое. Но это же, блин, сколько времени уйдёт!

Я прежде никогда не замечал времени. Оно как воздух. Дыши не хочу. А сейчас как будто замуровали в какой-то подвал без единой щели. С каждым вдохом все меньше и меньше воздуха остаётся. Вот и начал задыхаться от страха, что не хватит времени... И оружие пока ещё не выдали.

Теша — тот уже с «калашом». Гордый, как пингвин с морковкой. Автоматишко старенький, ободранный, но Теша, гадёныш,

нет-нет, да посматривает на меня свысока. Старослужащий, блин. Остановился, кричит:

— Эй, не отставай!

А я сошёл с тропы и поднялся по впадине, в которой лежал небольшой снежный язык. Ходить по нему — что по белому искрящемуся асфальту. Проломил каблуком спёкшуюся корку и зачерпнул из рыхлой глубины жменю крупнозернистого снега. Будто горсть холодного, мелко битого стекла. Приложил ко лбу. Не помогает. Дыру бы в черпучке проломить, чтоб перегретый пар вышел. Спустился на тропу и потащился дальше.

Шли мы типа с инспекцией. Кто-то из мужиков стукнул на соседа: у того, мол, где-то на той стороне реки — неучтённая земля, и он на ней что-то неположенное посеял. Басмачам влом переться в гору проверять, перекинули на «колхозников», а Фидель послал кого поплоче, Тешу. Ну, и мне: «С ним иди. Он за старшего». Ништяк себе! Хотя, если по-честному, без Теши я хрен бы разобрался, куда идти. Теша в горах реально ориентируется. Следопыт. Соколиный глаз.

Дошли до места. Гляжу, действительно, поле — вроде того, что мы с матушкой и Зариной расчищали, но побольше. На дальнем конце пожилой бородатый бабай ковыряется в земле кетменём. Остановились на краю, около низенькой ограды из камней. Говорю Тёше:

— Проверили, убедились? Пошли обратно.

Он кричит бабаю:

— Дядя! Кончайте работу. Все равно перекапывать придётся.

Бабай — ноль внимания. Машет кетменём, будто он один-единёшенек на белом свете. Мне-то что? Я в жандармы не нанимался. Говорю Тёше:

— Бог с ним, оставь. Может, глухонемой.

А Теша вдруг как с цепи сорвался. Скакнул через оградку, бегом через поле, подскочил к бабаю:

— Хайвон, падарналат! Ты слышал, что я сказал?! Ты глухой, да? — схватил бабая за плечо, дёрнул, развернул.

Чувствую, готов вмазать мужику в пятак. Он-то кишкарь, а бабай кряжистый, жилистый. Огреет кетменём, а то просто кулаком... и пошла гулять деревня. Мне-то за которого из них заступаться? Теша, конечно, неправ. Но он, типа, свой. Вместе пришли. Я через заборчик и — к ним. А Тешу как заклинило:

— Ты глухой?! Почему не отвечаешь?

Бабай опустил кетмень, сложил руки на рукояти, стоит, смотрит как на пустое место. Теша наглухо озверел:

— Почему молчишь?!

Пихнул бабая в грудь, отскочил назад и потащил с плеча автомат. Честное слово, я ему чуть опять не врезал. Что-то удержало. Пацан хлипкий, жалкий. Оттащил в сторону:

— Оборзел? До власти, что ли, дорвался? А если б твоего отца так?

Его вдруг прорвало:

— Ты не знаешь... они злые... смеются... за человека не считают... Никогда больше не говори, что как мой отец...

Бормочет, губы трясутся... Хотел, наверное, что-то объяснить. Махнул рукой, пошёл к тропе. Я оглянулся — бабаю хоть бы хны. Трудится как ни в чем не бывало. Спускались в кишлак молча. Я сначала гадал, отчего Теша распсиховался, да плюнул — своих проблем хватает.

Вернулись в казарму, доложили Фиделю. Он: «Ладно, отдыхайте». Я в натуре умаяся. Взял полотенце, пошёл рожу сполоснуть. Позади казармы к двум столбам прибита длинная доска, на ней — с десятков алюминиевых бачков. Умывальники. По утрам-вечерам к ним не протолкнёшься, а сейчас безлюдье. Встал возле одного бачка, полощусь, как воробей в луже, а в голове крутится: время уходит, день напрасно прошёл, сколько ещё ждать, пока оружие дадут и все такое.

Кто-то стучит по плечу.

— Русский, отойди. Хорош зря воду тратить. Я умоюсь.

А это тот бес из охраны, что меня во двор к Зухуру не пропустил. Хучак. Шустрый как таракан, заразный как тифозная вошь.

— Умывайся,— киваю на соседние бачки.— Вон сколько свободных.

Он:

— Я сказал: вали на хер.

Отвечаю спокойно, вежливо:

— Что хочешь проси — все твоё. А этот бачок не могу. Семейная реликвия, дедушка завещал.

Он таких слов отродясь не слышал.

— Ты чё гонишь? Умный, да? — и руку в карман сунул.

«Ну, блин,— думаю,— опять махаловка...» Ситуация паскудная. Таких, как этот Хучак, я знаю. Без подянки не обойдётся.

Точняк, нож вынет... Хорошо, что я рубаху скинул. Намотаю на руку, может, и отобьюсь. Не поджимать же хвост...

Пока я прикидывал, из-за угла выгреб один из давронских, Комсомол с полотенцем на шее. Не знаю, почему его так прозвали. Может, комсомольским вожаком был. А может, из комсомола с позором выгнали.

Комсомол подошёл к соседнему умывальнику, тыркнул сосок, набрал воды в ладони и как бы между прочим, не глядя на Хучака:

— Отвали от пацана,— плеснул воду в лицо и тыркнул сосок по новой.

Хучак вынул руку из кармана:

— Э, разговариваем, да.

Комсомол плеснул воду в лицо, тыркнул сосок:

— Клюв укороти.

Давронские с блатными — как кошки с собаками. В открытую до столкновения не доходит. Рычат и зубы скалят. А хилому Хучаку переть на Комсомола даже с ножом — все равно, что пигмеем выходить на мамонта с пиписькой. Он, понятно, припух:

— Комсомол, всё путём. С салагой устав обсуждаем...

Комсомол выпрямился, правой горстью аккуратно согнал воду с левой кисти, типа конец мокрого полотенца выжал. Не спеша за правую кисть принялся. Следит, чтоб капли с кончиков пальцев стекали опрятно, не брызгали, не разлетались. На Хучака по-прежнему не смотрит. Тот намёк понял:

— Хоп, как-нибудь в другой раз обсудим,— и похилил, небрежно, в развалочку.

Да, приобрёл я другана... Сначала не врубался, с чего он окрысился, а как-то ночью лежал без сна, прокручивал варианты, как до Зухурки добраться,— дошло. Вспомнил. Это было в первые дни. Как-то получилось, что сошлись в кружок давронские и блатные. Нас, пару колхозников, тоже допустили. Обсуждали, отчего умерла жена Зухура.

Один говорит:

«Зухур отлучился, змей к его жене подкатил. Приполз ночью, она не дала, он задушил».

Другие базарят:

«По-другому было. Зухур пришёл ночью, видит: жена со змеем в обнимку лежит. Змея пинками прогнал, бабу пристукнул. За блядство со змеей».

«Ты что, брат! У змей кера нет».

«Посмотри на Рахмона — тоже подумаешь: ничего нет. Чумчук как у ребёнка. А встанет — как у осла. Не знаешь разве? Кер бывает внешний и внутренний. У змей — внутренний. Иначе откуда змеёныши берутся?»

«А-а-а, какая разница — есть или нет... Змеи с бабами не паруются».

А этот самый Хучак трёкает:

«Ты не знаешь, друг. У нас дома, в колхозе Жданова, одна девушка хлопок собирать пошла и пропала. Стали искать, нашли на краю поля. Огромный змей обвил её и держит. Целый месяц никого не подпускал, люди подойти боялись. Наконец приготовили шир-равган, подмешали яду, отнесли змею. Поел и издох».

«А девчонка?».

«Тоже умерла. От тоски».

Они просто трепались, а я подумал про Зарину. Такой стрём навалился, что я со страху стал на них оттягивать. Не конкретно на Хучака, на всю толпу:

«Вы хоть анатомию в школе учили?»

Народ даже не возмутился. Лишь слегка осадили:

«Тебе, пацан, слова не давали. Вязать будешь, когда увидишь манду не в книжке, а между ног».

А Хучак, значит, решил, что я лично над ним стебаюсь. А после того случая возле умывальников вообще принялся пасти постоянно. Ни разу, скотина, вплотную не подошёл. Всю дорогу издали следит тухлым глазом. Ждёт случая как-нибудь подловить. Прыгнуть открыто он, конечно, побздехивает. Даврон завёл порядки как в настоящей армии, а за стычки между своими карает беспощадно — ребята рассказывали. Я вообще удивляюсь, как он сумел настолько блатных придавить, — они только между собой духарятся: «Да мы, де, его и так, и сяк...» При нем ни одна падла не пикнет. Включая Гурга, ихнего авторитета...

По идее, я Хучака уделаю на раз, если по-честному и один на один. Но он по-честному не рыпнется. Нож в темноте сунет, камень сверху сбросит или подстрелит где-нибудь в горах, когда никто не видит. В общем, пошёл я к Фиделю:

— Когда мне оружие выдадут?

Джоруб

Отец молчит. Лежит в своей комнатке, не хочет ни с кем разговаривать. Я присаживаюсь рядом. Лоб у него горячий. Жар не спадает.

— Отец, поставьте градусник.

Не отвечает.

— Отец, поешьте, пожалуйста. Специально для вас атолу приготовили.

Дильбар сварила похлёбку из жареной муки со сливочным маслом — лёгкую и питательную, которой кормят детей, рожениц и ослабленных больных.

Отец молчит. Затем говорит тихо:

— Эх, Джоруб, Джоруб...

Изводит себя за то, что не смог защитить внуков и невестку, которым обещал защиту. Стыдится, что он — глава кауна, знаменитый охотник, фронтовик, герой войны — оказался слабым и беспомощным.

— Сынок, я ни разу в жизни не нарушил слова. Думал, уйду в могилу с почётом. Думал, люди будут вспоминать с уважением. А что теперь будут помнить моя русская сноха и её дети, мои внуки? Все разрушилось. И твой брат Умар кончил жизнь без почёта...

Он впервые заговорил о покойном брате. С того дня, когда мы узнали, что Умар убит и как он убит, отец не обмолвился о его смерти ни единым словом. Но именно тогда он начал слабеть. Я всегда считал, что отец — железный. Смерть Умара начала разъедать его как ржа.

Стараюсь найти утешительные доводы:

— Отец, люди вас с почётом вспоминать будут. Вы ни разу в жизни запретного не совершили. На обрезание, на свадьбы весь кишлак приглашали. Молить не пропускали. Слова грубого, неразумного от вас никто не слышал. Люди скажут: «Достойный человек был».

Он шепчет:

— Эх, Джоруб, Джоруб...

Словно помощи просит. Понимаю, что его мучает. Одно дело — у людей почёт, другое — перед собой отчёт. Внуков не защитил — это терзает. Но разве человек должен винить себя за то, над чем не властен?

— Отец, вы не виноваты. Человек не в силах знать будущее. Вы правильно решили забрать внуков в Талхак, но Бог по-иному рассудил.

Убеждаю скорее себя, чем отца, но мои доводы слишком слабы, чтобы снять тяжесть с души. Не знаю, как защитить бедную девочку.

Вера не упрекнула меня ни единым словом. Вечером после того маджлиса у мечети она пришла ко мне в комнату.

— Джоруб, миленький, прошу тебя, уведи Зарину из этого страшного места.

Я опустил голову. Стыдно было смотреть ей в глаза.

— Не могу.

— Я знаю, ты можешь. Ты всё знаешь. Все дороги. Уведи её.

— Вера-джон, от нас вниз ведёт одна дорога. Она перекрыта. Возле каждого кишлака — шлагбаум. По дороге не пройти.

— Это какая-то ловушка, тюрьма... Придумай что-нибудь. Проведи по горным тропам. Спрячь её в какой-нибудь пещере, которую никто, кроме тебя, не знает.

Она не могла понять, почему я отказываюсь.

— Твой сын у него. Подумай, что Зухуршо может сделать с Андреем.

— Господи, что же делать? Не могу себе простить, что не пошла на это собрание... Я бы их отбила, и Зарину, и Андрея. Не представляю, почему вы все молчите. Я никак не могу понять, почему вы не протестуете. У вас отнимают землю, заставят выращивать эту гадость, наркотик, а вы покорно соглашаетесь... Нет, я решилась — поеду к нему и потребую, чтобы он отпустил Андрея и оставил эту идиотскую мысль насчёт Зарины.

Меня ужаснуло её безрассудное решение. Покойный Гиёз тоже ездил к Зухуршо за справедливостью, я не мог допустить, чтобы Вера постигла его участь, или, должно быть, ещё более страшная. Если она надеется на уважение к женщине, то напрасно. Женская дерзость карается неизмеримо жёстче мужской.

— Вера-джон, подумай...

— Только об этом и думаю. Не пытайся отговаривать.

— Я тебя не пущу.

Она глянула на меня с презрением, встала и вышла.

На следующее утро ко мне подошла Зарина:

— Дядюшка, вы не знаете, где мама?

— Наверное, не дождалась тебя, ушла на поле.

— Я уже там искала.

Мухиддин, сынишка Бахшанды, вертевшийся рядом, подскочил к нам:

— Тётя Вера уехала! Асакол в Ворух поехал, тётя Вера в машину к нему села.

Надо ли говорить, что я почувствовал? Зарина места себе не находила. Через день Вера вернулась. Измученная, почерневшая, с ожесточённым лицом.

— Вера, видела Андрея? Как он? Не обижают его? Зухуршо что тебе сказал? Отпустит он мальчика?

Ни слова не вымолвила. Ещё сильнее замкнулась. Не рассказала даже дочери.

Я пошёл к Шеру, водителю, — он-то должен что-то знать, раз их возил. Оказалось, не возил, Горох отстранил Шера — дерзок и непочтителен — и взял вместо него Дахмарду, парня могучего, но туповатого.

Удивительно, как имена иногда соответствуют людям. Могли отец, нарекая мальчика прозвищем, которое буквально означает «десять мужиков», сказать наперёд, что младенец вырастет в палвона, богатыря? Или же это само имя повлияло на организм и сформировало под себя соответствующее телосложение? Об уме, однако, не позаботилось.

Дахмарда топтался возле раскрытого капота старого совхозного «газона» с видом, красноречиво говорящим, что парень не может взять в толк, как подступиться к сложным внутренностям автомобиля. Заслышав мои шаги, обрадованно обернулся.

— Ако Джоруб! Муаллим, вы его, — он указал на двигатель, — лечить умеете?

Я немного разбираюсь в устройстве моторов, но мысли были заняты другим.

— Скажи, Дахмарда, как мою невестку встретили в Ворухе?

— Хорошо встретили. Плов сделали, женщинам тоже, наверное, достался...

— Я не о том. Зухуршо ей что сказал? Пропустили её к нему?

— Э, откуда я знаю. Уходила куда-то... Мне ничего не сказала...

Расспрашивать было делом бесполезным. Как сердце ни протестовало, приходилось всё-таки обратиться к Гороху.

Шокир сидел в совхозной конторе, в кабинете раиса. Против ожидания, принял меня с любезностью, которая, правда, подчёркивала его превосходство пуще любой надменности. Умён он, Горох.

— Джоруб, дорогой, говори, зачем пришёл. Все, что смогу, для тебя сделаю.

Я без предисловий задал волновавший меня вопрос.

— Разве она тебе не рассказала? — преувеличенно удивился Шокир.

— Хочу у тебя узнать.

— Раз не сказала... Джоруб, я теперь официальный человек. О делах Зухуршо информацию налево-направо разбалтывать права не имею.

Меня охватил гнев.

— Не делай из пустяка государственной тайны! Говорила она с ним? Может, просто не знаешь?

— Знаю, — гордо сказал Шокир. — Все знаю.

Я попробовал сыграть на его тщеславии:

— Э, друг, говорят: «Коли хвалится богатый — это достойно, коли нищий — позорно». Ты, наверное, хвалишься...

Не подействовало. Подлое желание оставить меня в неведении оказалось сильнее тщеславия. Горох довольно ухмыльнулся:

— Говорят ещё по-другому: «Кто много знает, мало говорит».

Расспрашивай его хоть сутки, ничего не расскажет, будет наслаждаться хождением вокруг да около. Я встал.

— Подожди, Джоруб, — встрепенулся Горох, — я тебе как другу хороший совет дам...

Трудно поверить, что в детстве он и вправду был мне другом, я им восхищался, старался подражать. На два года Шокир меня младше, а я слушался его, словно старшего. Но время то давно прошло. А он продолжал значительным тоном:

— Знаю, ты маленькое поле наверху расчистил. Не спеши, не засевай. Скоро объявят, что не только совхозные, но все личные участки под мак отобраны будут. Если кто что посеял, тому перепахивать посева придётся. С той стороны реки специалист, агроном прибыл. Условия наши посмотрел, «Большой урожай можете не собрать», — сказал. Решили земли расширять. Ты никому не сообщай, я одному тебе...

Подействовала всё-таки насмешка. Видать, подмывало Гороха, не отвечая на вопрос, доказать свою осведомлённость — вот, дескать, какие важные секреты доверяет Зухуршо талхакскому старосте.

Если ждал благодарности, то напрасно. Сказал я:

— Эх, Шокир, наверное, если бы фашисты до Талхака дошли, ты бы им тоже служил, — но дверью не хлопнул, не стал доставлять Гороху ещё и этого удовольствия.

Как всё-таки замечательно подметил наш Хирс-зод, соловей Талхака:

Князь лют, как волк, но злобней всех волков —
Овца, пролезшая в князья из бедняков.

За один этот байт и убил его Саид-ревком, которого поэт высмеял, не назвав имени. Но все в округе знали, про кого написано, и, как рассказывают старики, весь Дарваз в те дни повторял насмешливый стишок. Жаль, что теперь он почти забыт, потому что к Гороху он относится в той же мере, что к его двоюродному деду.

19

Олег

По-моему, готовится какая-то заваруха. Подслушал разговор Зухуровой шантрапы. Трое блатных, убеждённые, что московский корреспондент языка не знает, трепались открыто. Речь шла о пустяках, и вдруг один безо всякой связи спросил:

«А если Даврон джанджол начнёт?»

Другой успокоил: «Не начнёт. Он сам на Зухура зуб точит».

Третий: «Э, Даврон, Даврон! Чего боитесь? Справимся. Даврон тоже не из камня вырублен».

И опять — о пустяках.

Поколебавшись, я отправился к Даврону. Отреагировал он примерно так, как я предполагал:

— Не играй в детектива. Думаешь, у меня нет среди них своего человека?

Ну, что ж, буду спать спокойно. Мы не друзья, но дружеский долг я исполнил. Чего не скажешь про Даврона — мог бы отпустить меня на волю. Просить, разумеется, не стану.

Я умудрился отыскать в положении дарвазского пленника светлую сторону — бездну времени, чтобы записывать предания

недавней старины. Кроме моего знакомого старца, в кишлаке есть ещё пара очевидцев событий двадцатых годов. Знакового, кстати, зовут Бачабек Шобеков.

Присоединился к нашим беседам ровесник Бачабека, геройский дед, ветеран Великой Отечественной, который неизменно являлся на встречи при регалиях — медалях на стареньком халате. В два голоса, вежливо умолкая, когда вступает другой, старики поведали историю партизана, в одиночку остановившего отряд красноармейцев в местных Фермопилах.

Подвиг он совершил не в Ворухе, а в Даштаке, небольшом кишлаке над Пянджем на границе с Афганистаном. В то время через него проходила тропа — единственный маршрут, которым можно было извне добраться до Калай-Хумба, столицы Дарваза. Впоследствии, в советское время, тропу сменила автомобильная дорога, в двадцатые же годы мимо Даштака приходилось пробираться по оврингу. А это особая песня... Овринги — длинные узкие мостки, прикреплённые к боку отвесной скалы. В щели в камне вбивался ряд крепких сучьев, и на них укладывали дорожки, плетёные из веток и присыпанные камнями. В непроходимых местах такие мостки тянулись порой сотни метров. Овринги считаются самыми опасными в мире тропами. Горцам они приносили немало мучений, партизану же дали огромное преимущество.

— Диловар был мужик здоровый, рыжий. Когда я впервые увидел его, он был перепоясан двумя патронташами крест-накрест... — начал дед Бачабек.

Героический дед подхватил:

— Диловар-шох в детстве был очень сильным, зорким и смелым, всех превосходил. Говорят, его братья имели чины и однажды отправились в Бухару приветствовать эмира. В это время проводили бузкаши, козлодрание. У одного вазира была необъезженная лошадь, с которой никто не мог справиться. Гайрат-шох, старший брат, сказал: «Если эту лошадь наш Дилак не объедит, то этого никто не сможет». Привели маленького Диловара, вывели лошадь. Диловар вскочил на неё и, нахлёстывая, помчался по улице. Увидел большую собаку. Диловар на скаку схватил её за хвост и, размахивая собакой, ворвался в круг соперничающих за козла. С этого времени лошадь стала покладистой. Когда вырос, завёл лошадь маленького роста по имени Монгол. На ней он выезжал на гору, откуда Диловара было всем видно, но никто не мог его на этой лошади застрелить...

Вступил дед Бачабек:

— Красная Армия пришла из Калай-Хумба, но дальше идти не смогла — Диловар не пускал. Как только на овринге появлялся солдат, Диловар стрелял. Он был очень метким стрелком. Армия остановилась. Два человека заряжали для Диловара ружья. Когда ружье от стрельбы накаляется, пули далеко не летят. Раскалялось одно ружье, Диловар брал другое, холодное. Целый месяц воевал он, засев в своём шинаке...

Мне не надо объяснять, что такое шинак. В прошлый приезд на Дарваз я в нем побывал — в том самом, где некогда сидел Диловар. Это маленькое укрепление, засада, крохотная избушка, сложенная из грубого камня. Архаический дот сохранился до сих пор, а тропа почти исчезла, разрушенная взрывами при прокладке дороги. Проехав на автомобиле, мы поднялись в шинак по обрывистому склону. Засада показалась мне весьма древней. Думаю, соорудили её задолго до Диловара. Три бойницы позволяют контролировать афганский берег и обе стороны тропы. Сзади шинак прикрывает скала. Я нашёл в проёме одной из бойниц стеклянную ампулу с йодом. Спутники объяснили, что шинак иногда используют пограничники.

Я рассказал об этом старикам, они одобрительно поцокали языками.

Дед Бачабек пояснил:

— Вместе с Диловаром в шинаке сидели несколько человек. В кишлаке резали баранов, пекли лепёшки и туда относили. Продолжалось это очень долго...

Героический дед продолжил:

— Под оврингом текла река, и когда Диловар застрелил нескольких солдат, их унесла вода. Никто не мог к нему приблизиться. И вдруг все затихло. Люди с той, афганской, стороны сказали: «Что случилось с гази-мардом, мужем-воителем? Почему не открывает огонь?» Когда пришла ночь, они переплыли реку на салах — надутых бурдюках для переправы — и увидели, что он мёртв. Не знаю точно, кто его застрелил, солдат или командир. Люди рассказывали по-разному. Мой сосед Джамшед, который недавно умер, говорил, что был рядом с Диловар-шохом, когда это случилось. Он говорил, что пуля ударилась о скалу, отскочила и попала в Диловара...

Эту версию дед Бачабек опроверг:

— Рассказывают, что вместе с Диловаром в шинаке сидел Иматшо из Ванча. Он заряжал для Диловара ружья. И он сказал:

«Надоело мне заряжать...» Взял ружье, приставил к Диловару сзади и выстрелил. Это было на рассвете. Его убили не русские, а Иматшо. Три дня тело лежало в шинаке, наконец приплыли люди из Нусая и отвезли его на салах на ту сторону, чтобы похоронить. Сам я на похоронах не был, но когда-то давно работал на ГЭС в кишлаке Коведа, вместе со мной по ночам дежурил старик по имени Банда, который теперь умер. На дежурствах мы с ним часто разговаривали. Покойный Банда видел, как хоронили Диловара. Собралось много народа, чтобы совершить джанозу, погребальный обряд, и прочесть поминальную молитву. Положили его тело на ветки тута. И люди стали ссориться. Одни говорили: «Он воевал и стал шахидом». Другие спорили: «Нет, он не шахид». Вышел вперёд один человек, домулло, или кази с большой чалмой на голове и, обращаясь к трупу, сказал: «Эй, Диловар-шох, над тобой спор идёт. Если ты стал шахидом, покажи это». И у Диловара из ран выступила кровь, но люди продолжали спор. Тогда домулло во второй раз обратился к трупу: «Диловар, докажи, что ты шахид». И мёртвый Диловар-шох улыбнулся. Спор прекратился. Объявили его шахидом и похоронили...

Дед Бачабек завершил:

— Когда этот парень убил Диловара, все кишлаки удивились: «Эхх-а-а-а!» Все были очень довольны...

Я не понял:

— Как довольны?! Почему?

Мне-то казалось, что люди должны были опечалиться смертью героя.

— Он разве мучил народ? — спросил молодой парень, внук деду Бачабека, тоже внимавший рассказам старцев.

Дед Бачабек поглядел на нас с сожалением: эх, мол, молодёжь, простых вещей не разумеете.

— Нет, не мучил, — сказал он, — но пока сидел в шинаке, все дороги были закрыты. Никто ни прийти, ни уйти не мог. Когда его убили, дороги быстро открылись. Принесли бревна-жерди, связали и открыли дорогу. Из Калай-Хумба — в Ванч, из Ванча — в Калай-Хумб. Дорога на Хорог открылась. С той стороны солдаты пришли, с этой — народ. В стране не стало печали...

Мы с внуком переглянулись. Я подумал, что история, и особенно её конец, замечательные. Хоть вставляй в учебник по социологии крестьянства. Неизвестно, был ли Диловар Дон Кихотом, но

что до дарвазского коллективного Санчо Пансы, то его волновало единственно собственное брюхо. А лучше и точнее сказать — только выживание. И лишь идиот посмотрит на такую позицию свысока. Жить землёй рискованно повсюду, а в горах — это вообще постоянное существование в зоне повышенного риска.

Позже, мысленно перевернув рассказы старцев, я понял, что и с Диловаром все ясно. Никакой он, конечно, не Дон Кихот. Братья имели чины, допускались в Бухару, к эмиру. Стало быть, удалец воевал небескорыстно, защищал не кишлак, а положение своего семейства. Крестьянину безразлично, какая власть приходит, какая уходит. Главное, чтоб поменьше лезла в его дела и поменьше притесняла. А чужой для него остаётся любая центральная власть, сидит ли она в Бухаре или Москве. Истинный начальник для него тот, что рядом, самое дальнее — в Калай-Хумбе. А кто верховодит в «Центре», горца заботит столь же мало, как то, какая из инопланетных рас правит нынче на Марсе. Кстати, бухарские правители и их наместники были для дарвазцев абсолютно чужими. Завоевать Дарваз и присоединить его к эмирату Бухаре удалось лишь большой кровью в последней четверти девятнадцатого века, поэтому вряд ли стоило ожидать от крестьян какой-либо приверженности эмирской власти. Отстаивали старый порядок местные князья и, одновременно с сопротивлением большевикам, нередко бились между собой.

Ситуация повторяется в наши дни один к одному. Сильные мира сего бьются за власть, крестьяне стоически выжидают, пока пройдёт буря. Но сегодня их положение много трагичнее, чем у дедов. В нынешней гражданской, по названию, войне, а по сути в княжеской междоусобице, простой люд из безучастного мирного населения превратился в противника и гибнет в большем, наверное, количестве, чем комбатанты.

Поразительно, что в конце столетия противостояние проходит по тем же самым линиям, что в его начале. Меньше чем за столетие Южный Таджикистан из бедной захудалой провинции захудалого средневекового эмирата превратился в центральное ядро процветающей современной страны с большими городами, разветвлённой промышленностью, сетью автомобильных дорог, мощными гидроэлектростанциями, собственной Академией наук, системами образования и здравоохранения и прочая, и прочая. Но вновь бьются между собой князья Дарваза и Каратегина. Вновь одним из главных участников войны становится локайский вождь. И как

некогда эмир Алим-хан произвёл Ибрагим-бека в парвоначи и отдал под его начало свои разрозненные военные силы, так и нынешний правитель — председатель Совета министров Эмомали Рахмонов — присваивает Файзали Саидову звание полковника и назначает командиром бригады специального назначения МВД. Восстаёт из могилы тень эшона Султона, воплотившись в своего дальнего родича Сангака Сафарова.

Это отнюдь не современная постановка старой драмы в новых декорациях и с новыми исполнителями старых ролей, а всего лишь продолжение той же пьесы после антракта. Следующее действие. Да и перерыва-то между актами не было, хотя со стороны казалось, что занавес опускался и действие останавливалось. На самом деле оно длилось, не замирая. Просто сторонние зрители его не видели, не замечали.

«С тех-то ещё времён идёт между нами борьба», — сказал мне Сангак, имея в виду двадцатые годы, когда бывший каратегинский бек Фузайл-махсум разгромил и казнил его легендарного предка «красного» эшона Султона с братом. Об этом даже сложена народная баллада:

Пятьсот йигитов военных
Эшонов доставили пленных,
И близ городских ворот
Собрался, рыдая, народ.
Бедняки лежали во прахе,
Разрывая от горя рубахи.
Умоляли Вахъё и Дарваз,
Повторяя снова и снова:
«Эй, Максум, ради нас
Освободи святого».
Сказали эшон Сулаймон:
«Исчезла из мира правда!
Нечестивцы, забыв закон,
Шлют нас в пучину ада».
Но напрасны стоны и плач,
Даниёр туда прибыл, палач,
Кровопийца, чести лишённый,
И в петле закачались эшоны.

Рыдающие бедняки Вахъё и Дарваза — сильное, думаю, поэтическое преувеличение. Эшон был обычным феодалом, который оттяпывал землю у тех, кто якобы «лежали во прахе», и нещадно их эксплуатировал. На него даже ездили жаловаться в Бухару, но вернулись ни с чем. Любопытно, что баллада, как и народные предания о Диловаре, романтизирует своего... как бы это сказать... классового врага. То ли сказы о героях складывали их приближенные, как всегда бывало в средние века, то ли так проявляется романтичность таджиков. При всей их прагматичности, они — отчаянные романтики, а время «Тёркиных» для них ещё не наступило.

Интересно, какие баллады сложат о Сангаке. Он-то, несмотря на отчасти сейидское происхождение, — из простых. Между прочим, история его возвышения оказалась совсем не такой, какой виделась моему шефу из «Совершенно секретно». Джахонгир, телерепортёр, знал её довольно хорошо:

«В самом конце восьмидесятых никакого Народного фронта не было ещё в помине, — рассказывал он в гостинице Курган-Тюбе той ночью, когда мы ждали Даврона. — Общества и политические клубы возникали во множестве по всей республике. В Кулябе учителя, преподаватели пединститута, работники торговли создали общественную организацию «Ошкоро» — «Гласность». Пришёл в неё и буфетчик Сангак, а вскоре сделался одним из лидеров. Мужик-то могучий. Когда началась эпоха массовых митингов, «Ошкоро» удалось собрать и привезти в Душанбе пятнадцать тысяч человек. Ну, а когда митинги перешли в столкновения, Сангак оказался в своей стихии...»

Иными словами, возвысил его буфет, а отнюдь не воровская малина. Остальное зависело от личной харизмы. Её-то у Сангака хоть отбавляй. Эпический герой.

И все же приходится признать, что мой скептический шеф был прав. Или прав отчасти. Вероятно, не столь уж важно, каким именно путём пришёл Сангак на вершину — важнее, кто продвигал его наверх. Если действительно кто-то продвигал. В этом случае неизбежен острый конфликт между его собственными целями и намерениями тех, кто подталкивал. Вряд ли я когда-нибудь узнаю, как было на самом деле. Впрочем, будущее покажет. По делам их узнаете их.

В чем шеф ошибался абсолютно точно — это в воровском статусе народного вождя. Сангак не вор в законе. Был он рецидивистом, но не разбойником. Положение в тюремной иерархии занимал скромное, одно из низших — баклан, драчун. Его престу-

пленя — провинности ухаря, удальца. Первый срок получил за угон автомобиля. Отсидел год, а через несколько лет из-за лихачества за рулём задавил человека. Вышел из заключения, устроился работать буфетчиком в центральном парке Душанбе. Убийство он совершил не по умыслу — защищался от рэкетира-чеченца. Возможно, судьи решили, что он превысил меру самообороны, или сочли самозащиту ещё одним рецидивом, и он был вновь осуждён. Несмотря на формально низкий статус, авторитет Сангака в заключении был весьма велик. Бунтарь и борец за справедливость от рождения, он постоянно конфликтовал с надзирателями, организовал в лагере забастовку — массовый невыход на работу около тысячи заключённых...

На ленте моего диктофона осталась запись:

«Я не грабил, не убивал, не воровал. Свободы меня лишали из-за того, что я был слишком гордым, не желал сносить оскорблений. Из-за этого и страдал.

Долгие годы я провёл на особом режиме в полосатой робе. Немало пришлось сидеть в одиночной камере. Но я и в одиночке не давал им покоя. Нас по всему Советскому Союзу было девять таких человек, числившихся на особом счету.

Я и в тюрьмах, и в лагерях остался собой. В конце концов, многое зависит от самого человека. С шелухой я не водился и держу их на расстоянии. Эти подонки и в тюрьме всему вредили и пакостили. Я воспитал себя так, что, даже сидя в одиночке, никогда не прислушивался к тому, что происходит за стенкой. Иной раз входит надзиратель, окликает меня, а я его не слышу, настолько сосредоточен на своих мыслях или занятиях. Я установил свой режим — занимался, читал, играл в шахматы сам с собой.

С детства я остался необразованным. Удалось закончить лишь два класса. Жизнь заставила стать самоучкой, учиться у окружающих. В лагерях я общался с хорошими людьми, с теми, кто оказался репрессирован в хрущёвскую эпоху. Среди них было немало умных и талантливых. Что-то я перенял от них...»

Не знаю, когда удастся опубликовать это интервью. Похоже, я застрял в горах надолго. Оказалось, что почудившаяся мне магическая дверца ведёт не в волшебный сад, а во дворец с золотыми, а точнее, выкрашенными бронзовой краской под золото воротами дома местного князька, в прошлом — не то секретаря, не то инструктора райкома партии, что даёт мне замечательную возмож-

ность наблюдать изнутри процесс становления патриархальной власти в полном соответствии с идеей Чарльза Тилли о рождении государства из организованной преступности. Зухуршо создаёт в ущелье не что иное, как примитивное микрогосударство.

Кроме всего прочего, Дарваз теперь отрезан от Большой земли. Несколько дней назад полевой командир Хаким Банги, отступая под натиском правительственных войск, взорвал трассу на перевале Хабуробод, а другой дороги в Центральный Таджикистан нет.

Зухуршо схватился за голову: сбыт нового сорта под угрозой. Как вывозить продукцию? Выход один — везти длинным кружным путём по памирскому тракту в Киргизию. Через Бадахшан и Восточный Памир. Но и там препятствие: в Хороге сидит Алёш Горбатый, царь и бог Бадахшана.

Это ещё один колоритный герой. Низкорослый, с искривлённой из-за какой-то неизлечимой болезни позвоночника спиной, до начала гражданской войны он работал буфетчиком на хорогской швейной фабрике. Видать, ремесло буфетчика требует особой харизмы. Трудно сказать, занимался ли он прежде транзитом наркотиков или война заставила, однако в настоящее время его группировка полностью контролирует весь тамошний наркотрафик из Афганистана. Для памирцев Алёш, полное имя которого Абдуламон Аёмбеков, — национальный герой. На деньги, вырученные от операций с наркотиками, он закупал в Киргизии муку и продукты и бесплатно раздавал людям, в детсады, больницы, беженцам. С ним считается все областное руководство, пограничники и полевые командиры, отряды которых правительственные войска вытеснили на Дарваз.

Я слышал байку, как прилетал в Хорог председатель Совета министров Эмомали Рахмонов. Алёш встретил его на аэродроме и сказал: «Мы с тобой оба бандиты, у обоих руки в крови. Поэтому ладно, отпускаю тебя живым. Но учти — в первый и последний раз». Председатель тут же сел в самолёт и улетел восвояси. С тех пор в Бадахшан — ни ногой.

Без разрешения Алёша провезти через Бадахшан продукцию не удастся. На днях Зухуршо едет к Алёшу на переговоры. Я, разумеется, загорелся. Взять интервью у столь яркой личности — ради этого стоило посидеть в горах месяц-другой.

Как мне ни претило обращаться к Зухуршо с просьбой — он по-прежнему делает вид, что я остаюсь в Ворухе добровольно, — все же переломил себя:

— Слышал, вы едете в Калай-Хумб, к Абдуламону Аёмбекову. Я хотел бы с ним встретиться. Найдётся место в машине?

Он важно надулся:

— Место в машине есть, но журналистам в Калай-Хумбе не место. Переговоры за закрытыми дверями вести буду. Коммерческую тайну соблюдать приходится...

20

Эшон Ваххоб

Утром того дня, стоя на пороге моей обители, я смотрел на высящийся напротив, за рекой, хребет Хазрати-Хасан, тёмный и холодный, как будущее. Восходящее солнце успело высветить лишь его вершины, и я мог бы счесть золотое сияние обещанием надежды, однако в поле моего зрения внезапно всплыла голова Зухуршо.

Причина сего оптического эффекта в том, что обитель располагается на уступе — плоской террасе с крутым откосом. Ведущая сюда тропа резко взлетает вверх и, выходя на плато, переламывается на краю почти под прямым углом, так что при наблюдении с моей позиции — то есть, с того места, где у подножия горного склона размещаются мавзолей моего великого предка и моё скромное жилище, — создаётся впечатление, что всякий пришелец появляется из ниоткуда.

Поднимаясь по тропе, Зухуршо как бы вырастал из пронизанного утренней дымкой пространства. Возникнув полностью, он направился к обители, а за его спиной — один за другим, — как из серого провала, поднимались его серые спутники. Вырос шайтан с большим свёртком в руках... Воздвигся могучий шайтан, несущий на плече бревно... Шайтан с двумя маленькими узелками в каждой руке... Шайтан с мешком на спине... Шайтан...

Впрочем, очередного шайтана я рассмотреть не успел, ибо Зухуршо подошёл к дверям обители. Парадной змеи при нём не было — тем самым он демонстрировал, полагаю, неофициальность визита. С подчёркнутой почтительностью он первым — как более младший и нижестоящий — протянул обе руки для приветствия. К сожалению, воспитание не позволило мне отказаться от рукопожатия.

Тем временем приблизились Зухуровы шайтаны, облачённые в камуфляж. Несущий бревно сбросил ношу на землю, и выяснилось, что это свёрнутый в рулон ковёр. Когда рулон был раскатан у входа в обитель, обнаружилось, что это не ковёр, а дешёвое изделие душанбинского коврового комбината, которое Зухуршо по своему провинциальному невежеству, думаю, почитает ковром. На изделие были торжественно выложены: золототканый халат, тибетейка, шёлковый кушак. Подношения походили на стандартный обкомовский набор № 3 — «подарок для гостя средней значительности из Центра».

Пока я следил за выкладыванием перечисленных даров, мной владела снисходительная ирония, но затем очередной шайтан тяжело опустился на ковровое изделие большой мешок, слегка припудрив близлежащие предметы тонкой белой пылью. Зухуршо жаловал меня мукой!

Моя ирония сменилась гневом. После массовой раздачи провианта населению преподнесение мне мешка муки — пусть даже и в числе прочих даров — было оскорбительным, ибо приравнивало меня к простолюдинам, расположение которых нетрудно купить дармовой провизией. У этого человека нет ни малейшего представления о такте и почтительности. Этот новоявленный властелин окрестных мест и сам по образу мыслей ничем не отличается от мужиков, коими вознамерился владеть. Простолюдин обречён оставаться простолюдином, даже если соберёт дружину и провозгласит себя вождём.

Однако я скрыл возмущение и сказал сдержанно:

— Наш тарикат предписывает скромность и бедность. Шейхи не облачаются в парчу. Шерстяная накидка, власяница — одеяние мудрого. Прикажите убрать мешок.

Он сделал неопределённое движение рукой, скрывая недовольство. В этом незавершённом жесте я угадал машинальную попытку погладить змею, к чему он, полагаю, привык прибегать в моменты замешательства.

— Занбур, забери.

Могучий шайтан одной рукой ухватил мешок за угол и с лёгкостью откинул в сторону.

Зухуршо произнёс торжественно:

— Учитель, хочу поговорить с вами наедине.

Иными словами, он желал войти. Подобная нетерпеливость неприлична — посетителю следует ждать, пока его не пригласит шейх, а посему я дал понять, что вести беседу буду на пороге:

— Эти люди пришли с вами. Я над ними не властен.

Он кивнул шайтанам:

— Ждите внизу.

Шайтаны отступили к краю площадки и один за другим погрузились в серую бездну, из которой прибыли. Урок был дан, однако воспитанность, помимо моего желания, вынуждала пригласить посетителя в дом. Я кликнул Лутфулло, велел приготовить чай и повёл Зухуршо в келью, где мой великий отец эшон Каххор, да будет свята его могила, некогда предавался созерцанию и совершенствовал дух, а посему мистическая атмосфера сей каморы диктовала каждому из собеседников его статус в предстоящем разговоре — не хозяин и гость, а шейх и проситель.

Так и случилось. Разувшись, Зухуршо оставил за порогом кельи вместе с обувью и свою величавость.

— Простите меня, святой эшон,— проговорил он чуть ли не униженно,— я перед вами виноват. Сильно виноват. В Санговар давно приехал, а к вам на поклон только сегодня наконец собрался. В первый же день следовало явиться! Уважение выказать, подношение сделать...

— В этом не было нужды,— произнёс я холодно.

— Нет, нет, не говорите! Все знают, как я вас почитаю. Может, если узнаете, почему задержался, снисхождение сделаете... Вначале болезнь остановила — тутак, горная немочь. Давно в горах не был, вот и заболел. Я всё равно сказал: «Собирайтесь, подарки готовьте, к святому эшону едем...» Гадо виноват, он меня остановил: «Брат,— сказал,— нельзя вам ехать. Святой эшон ещё выше, чем мы, обитают, на высоте вам совсем плохо станет. Может, не знаете: до войны один альпинист приезжал, в горах умер. Высота его убила». И не отпустил к вам. Очень обо мне заботится... Когда я от болезни оправился, горе постигло: Аллах душу Зебо, моей жены, забрал...

Я воздержался от изъявлений сочувствия — среди жителей этих мест ходило немало толков о загадочной смерти бедной девушки; большинство убеждено, что её умертвил сам Зухуршо, каковая версия представлялась и мне вполне вероятной.

Зухуршо между тем продолжал:

— Ещё от горя не очнулся, ещё положенные дни траура не прошли... Святой эшон, сами знаете, как здешние люди живут! На краю жизни обретаются. Кто им, кроме меня, поможет? Кто о них, кроме меня, позаботится? Пропитание, что я в городе добыл, сюда привёз, стал раздавать. Их жизни устраивать пришлось. Я устраивать начал...

Он вздохнул, в горестном молчании уставился на циновку перед собой, затем воскликнул:

— Святой эшон, вы все знаете — скажите: почему?! Почему они злом на добро отвечают? Вчера кто-то за камнем спрятался, в меня выстрелил. Хвала Богу, несчастный Мор, змей, заслонил, на себя пулю принял. Что делать, святой эшон, скажите?! Один раз стреляли, в другой выстрелят. Рано или поздно убить могут... Не за себя боюсь! Дело, которое начал, завершить не успею — этого боюсь...

Так он лицедействовал, а мной владело двойственное чувство: презрение ко лживому и опасному выскочке перемешивалось с той непреодолимой неловкостью, что невольно сковывает всякую личность в присутствии начальства. Как я ненавижу эту позорную привычку повиноваться, эти унижительные паттерны, взращённые властным отцом, университетскими профессорами, академическими старейшинами, секретарями парткомов, влиятельными родственниками! О, нет, я не страшился Зухуршо, хотя и ожидал, что он в любой момент отбросит обличье славного парня и превратится в свирепого, мстительного монстра, — я знал: ударить, оскорбить, бросить на растерзание своим шайтанам он не осмелится. По крайней мере, сейчас, открыто. Окружающий меня ореол, созданный многовековой традицией почитания суфийских шейхов, служил броней, которую укрепляла, как полагаю, боязнь Зухуршо, что в наказание за посягательство я могу обратиться против него страшные магические силы. Будучи в глубине души плебеем, он бессознательно разделял со смердами их верования и убеждения. И все же постыдное смущение вынуждало меня скрывать неловкость под маской бесстрастия, благодаря которой скованность обретает видимость величественного спокойствия.

— Довелось слышать, — промолвил я, — что вы отнимаете и распахиваете под «новый сорт» все личные земли...

— Э-э, не тревожьтесь, святой эшон, ваша земля останется при вас.

— Но как крестьяне выживут?

— О них думать не стоит. Они как трава. И на камне проживут. Всегда откуда-то пищу достают.

— Предположим... Чего же вы хотите от меня?

— Защиты, уважаемый учитель. Запретите людям готовить на меня покушения. Скажите, что я нахожусь под вашим покровительством. Одно ваше слово... и мне больше не придётся каждую минуту опасаться выстрела или камня, упавшего со скалы.

Выслушав просьбу, я сказал:

— Салахаддин ал-Хисори в книге «Избранные цветы из букета наставлений в саду мудрости» рассказывает, что два путника — стражник и погонщик, отставшие от каравана, — брели по безводной пустыне, умирая от жажды. И случилось так, что погонщик споткнулся о некий предмет, полузасыпанный песком, раскопав который, к великому своему ликованию обнаружил, что это бурдюк с водой, и воскликнул: «Хвала Аллаху, пославшему нам воду! Хватит для обоих. Бережливо расходуя благословенную влагу, выберемся из этой пустыни». Однако стражник вырвал бурдюк из рук погонщика и ударил его по голове. Погонщик упал без чувств, а когда очнулся, коварного спутника рядом не было. Превозмогая слабость, погонщик пополз по следам стражника и через половину фарсанга нашёл несчастного, лежащего мёртвым с почерневшим лицом. Рядом валялся полупустой бурдюк. Погонщик, бывший человеком далеко не невежественным, догадался, что найденная им вода была отравленной. Собрав последние силы, он пополз дальше и, ещё не преодолев и половины фарсанга, нашёл колодец.

— Это все? — спросил Зухуршо с недоумением.

— Да, все.

В это время Лутфулло деликатно стукнул в дверь и, получив разрешение, внёс чай и скромное угощение. По одному моему взгляду он понял, что на сей раз должен не только расстелить скатерть, но и наполнить пиалы. Мне самому разливать и подносить чай было бы неуместно.

К моему удивлению, Зухуршо принял у Лутфулло пиалу столь неловко, что едва не уронил, — этим он выдал смущение, которое, как я с запозданием догадался, и он испытывал в моем присутствии. К сожалению, временное беспокойство ума не позволило мне раньше осознать, что партийное прошлое приучило Зухуршо трепетать перед вышестоящими, а я в его табели о рангах занимаю место, соответствующее, вероятно, посту первого секретаря обкома или даже ЦК.

— Иди, — приказал я служителю, а когда тот удалился, разрешил себе покровительственно пошутить: — Пей без опаски. Мы не в пустыне...

Зухуршо поставил пиалу и, горделиво подбоченясь, подхватил шутку:

— Отравы я не боюсь. На меня яд не действует.

Тем не менее, он не притронулся к чаю, пока я первым не отхлебнул из чаши, принадлежащей некогда моему покойному отцу эшону Каххору, да святится его могила.

Зухуршо, отпив немного, принял глубокомысленный вид:

— Басня, которую вы рассказали... Я понял. Стражник был наказан за жадность. Но мне, извините, другое непонятно — каков ответ на мою просьбу?

Снисходительная улыбка просилась мне на уста, но я сдержался, памятуя об обидчивости собеседника.

— Наказан? Ты прав, можно понять и таким образом. Однако суть притчи не сводится к назиданию. Есть несколько уровней толкования...

— Я знаю, знаю! — вставил Зухуршо. — Конечно, несколько. Много. Я всего лишь один, первый, назвал.

— Тот, что лежит на поверхности. Верная трактовка более глубока. Стражник стремился выжить в одиночку и отнял у спутника воду, обрекая его на смерть, однако в действительности уберёг погонщика от гибели и погубил себя. Погонщик же намеревался поделиться водой с товарищем, желал сохранить тому жизнь, однако сумей он осуществить своё намерение, то невольню убил бы стражника и себя самого. Никто не в силах предугадать последствий своих поступков. Таков первый уровень толкования — непредсказуемость результата наших действий, каким бы ни было намерение.

— Да, да, вы правильно сказали, муаллим! Я вспомнил. Именно это и есть первый уровень! — воскликнул Зухуршо.

— Оба путника были убеждены, что в бурдюке чистая вода, — продолжил я. — Второй уровень — это ложное знание.

— Э, конечно, — согласился Зухуршо. — Второй.

— Они не знали, что вода отравлена. Более того, путники не догадывались, что в фарсанге от них находится колодец. Таким образом, третий уровень — это незнание.

— Незнание, — подтвердил Зухуршо.

— Четвёртый уровень — случай, прихотливая игра случайностей. Шанс набрести в огромной пустыне на бурдюк с водой настолько ничтожен, что если изобразить его на бумажной полоске в виде числа нулей, следующих за нулём с запятой, то этой лентой можно было бы обернуть экватор. Пройди путники в нескольких шагах от бурдюка, события развивались бы совсем по-иному. Точно так же, погонщик лишь случайно нашёл колодец, и любая мелочь могла увести его в сторону...

— По-моему, это, наверное, пятый уровень. Или даже седьмой,— поправил Зухуршо.

С ним ли мне спорить? И я завершил перечень:

— В притче не сказано, откуда в пустыне появился бурдюк. Кто оставил его и с какой целью? Был ли он потерян или подкинут намеренно? Кому предназначался яд? Мало того, рассказ обрывается на том, что погонщик нашёл колодец. Но не говорится, была ли в нем чистая вода. Возможно, колодец пересох или оказалась отравленным, и именно из этого источника некто неизвестный наполнил упомянутый бурдюк. И наконец, нет ни слова о том, удалось ли погонщику выбраться из пустыни или он погиб в песках. А следовательно, пятый уровень — это тайна.

— А шестой?!

— Шестой, самый глубокий, не нуждается в притчах или толкованиях. Он внятен всякому, кто верует в Единого Бога: «Жизнь моя и смерть — во власти Аллаха, Господа обитателей миров». Сего достаточно.

— Омин! — сказал Зухуршо.

Толкование произвело на него немалое впечатление. Загибая один за другим пальцы на руке, он произнёс задумчиво:

— Непредсказуемость, ложное знание, незнание, случай, тайна... В чем же ответ? Вы обещаете? Или отказываете?

— Поразмысли и поймёшь.

Воистину, метафоры правят миром, и чем они смутнее, тем действенней. Я видел, что мой посетитель балансирует между гневом и растерянностью. Разочарование могло подтолкнуть его к вспышке злобы. Я произнёс: «Омин», провёл руками по лицу, обозначив тем самым конец чаепития, и сказал:

— Приближается время молитвы, мне необходимо уединение.

Зухуршо, обуреваемый фрустрацией, поднялся, вышел за порог, уселся на ковровое изделие с жалкими дарами, натянул и начал шнуровать натовские ботинки. Я кликнул Луфтулло, а когда тот явился, повелел, указывая на злополучный мешок с мукой, валяющийся в стороне:

— Сбрось в реку.

Мой служитель, нимало не удивившись, взвалил ношу на плечо, засеменял по тропе и вскоре исчез из виду за краем террасы. Зухуршо, вставая с коврового изделия, злобно ощерился:

— За что обижаете, святой эшон?

Я ответил:

— Это всего лишь испытание твоей искренности.

Зная крестьянский практицизм Лутфулло я мог предположить, что несмотря на приказ, он припрячет куль с драгоценным продуктом где-нибудь за камнем, а ночью перетащит в свою хижину. Даже если и так, я не гневался на него за сей простодушный обман — Лутфулло таков, каким сотворил его Всевышний. Крестьянин всегда заботится лишь об одном — о пропитании. К тому же, Бог в своей милости наделил простолюдинов неприхотливыми телами, потому надеюсь, что флюиды зла, пронизывающие муку, не причинят моему служителю и его семье слишком большого вреда, как не вредит им повседневная грубая пища, способная погубить человека с более чувствительным организмом, в особенности, если тот, помимо всего прочего, страдает хроническим дисбактериозом кишечника.

Перед тем, как двинуться к спуску, Зухуршо молвил:

— Спасибо, учитель. Прощайте,— и в его словах звучала угроза.

За время нашей беседы солнце поднялось и залило лучами каменный склон на той стороне ущелья. Я смотрел вслед Зухуршо. На фоне сияющей горы он казался силуэтом наподобие тех, что вырезает из чёрной бумаги уличный художник. Внезапно я отчётливо увидел... возможно, это была ошибка восприятия, живая иллюстрация к положению гештальт-теории о фигуре и фоне... Не знаю. Но я увидел вдруг не силуэт, а чёрную пустоту, дыру, оставшуюся после того, как из ослепительно яркой картины вырезали фигуру. Дыру, через которую сквозит тёмная подложка этого мира. Зухуршо словно исчез.

И в этот миг мне подумалось — словно не я подумал, но независимо от меня в моем сознании возникла мысль: «...полурусская девочка с золотыми волосами... девочка станет причиной его гибели...»

Я поднялся на мою скалу и предался размышлениям.

Что это было? Являлось ли моё мысленное пророчество истинным прозрением и долгожданным чудом? Или же подсознание сыграло со мной злую шутку, подсунуло обманку, вроде тех золотистых минеральных шариков, что встречаются иногда в кусках каменного угля, соблазняя детей принимать их за золотые слитки? Или это всё-таки предвидение, и у меня наконец прорезался пророческий дар?

Даврон

Крыса был первым. Но тогда, в семьдесят шестом, в детском доме, я этого не знал. Звали его Васькой. Крыса — из-за фамилии Крыси-ков, но фактически он смахивал на Чебурашку. Был такой же слабый и наивный. Приходилось защищать, когда над ним измывались.

Однажды пацаны втихаря чухнули на канал купаться. Казнили за это по полной. Филипп Семёнович, наш директор, всегда грозил: «Ещё раз повторится — пожалеете, что не утонули». Все равно сбегали. Васька, дурачок, потащился со всеми. На краю канала стояла будка с плоской крышей. С неё ныряли. Смелые — головкой. Бздиловатые — ножками. Васька тоже залез на крышу и жался сбоку. Джага спросил: «Ну чё, Крыса, нырнёшь или засышь?»

«Нырну».

Конечно, зассал. Переминался на краю, пока Джага не столкнул. Васька плюхнулся животом. Вода ледяная, течение быстрое, бетонные откосы крутые. Его потащило со скоростью света. Васька барахтался, а пацаны от души уматывались: «Вот, блять, Крысёныш лягушкой заделался». А я понял: ему хана, не выплывет. Прыгнул. Когда догнал, Ваську успело на серединку вынести. Он уже и не бутылкался. Отбуксировал его к борту, но стенки гладкие, не зацепишься. И Васька как будто уже не дышит. Так и волокло меня мордой по бетону. Кранты обоим, если б через каждую сотню метров по борту не были бы проложены сверху вниз толстые проволоки. Типа риск на линейке. Мимо одной пронесло, за другую я ухватился, а вылезти — ни в какую. Одной рукой в проволоку вцепился, другой Ваську держу. А он тяжёлый. В воде, что ли, разбух? Пацаны прибежали, спустились по скату, кое-как вытащили. Откачали Ваську. Он по дурости проболтался воспитателям. Всех наказали.

Через неделю он выпал из окна. С третьего этажа. Верхнего. Пацаны разное болтали. Одни говорили, сам свалился. Другие — кто-то столкнул. На окне железная сетка была оторвана... Асфальт не вода. Расшибся вдребезги. Его смерть ребят особо не зацепила. Джага сказал: «Лягушкой был говённой, а птицей и подавно. Ни хера летать не научился». Дети — жестокие зверёныши, а Крыса никогда не числился «своим». Со временем и я о нем забыл.

Вспомнился Васька, когда умирала Надя. Я с ума сходил от чувства бессилия. От невозможности помочь. День и ночь в мозгу крутился один вопрос: почему? Тогда-то меня и пробило: это моя вина! Я приношу несчастье. Понял, и тут же передо мной выстроились мертвецы. Начал считать и ужаснулся: Крыса, Костя, Анвар, Филипп Семёнович, Саид... Выпал из окна, попал в аварию, угорел в бане по пьянке, отказало сердце, погиб при неизвестных обстоятельствах, покончил с собой...

Надя пыталась разуверить. Я сидел в больничной палате возле кровати, держал её за руку, а Надя, слабая, умирающая, шептала еле слышно:

«Прекрати фантазировать. И про этого, про Крысу тоже... Ты его не погубил, а спас. Если б не вытащил из воды бедного мальчика, он бы утонул. То, что с ним случилось, не имеет к тебе никакого отношения... И в моей болезни ты никак не виноват...»

Надя умерла седьмого августа восемьдесят четвёртого года, во вторник. Рак. Но я знал: виноват. С тех пор постоянно ощущаю где-то в глубине мозга тёмную зону. Наглухо запечатанную, заблокированную область воспоминаний. Снять блокаду не даёт инстинкт самосохранения. Слишком много вырвется эмоций. Разорвёт на куски. Бесчувственность защищает как панцирь. Как укол новокаина в душу. Горечь, чувство вины, отчаянье — это только глухие отголоски. Постоянный фон.

После смерти Нади я много думал и читал. Глушил ощущение потери и старался понять, что происходит и почему. Ответ получил в июне восемьдесят пятого. Через триста двадцать два дня после Надиной смерти. Я готовился к выпускным экзаменам. Заставлял себя сидеть над учебниками. Дело шло туго. Практически не вставал из-за стола. Двадцать третьего числа, как всегда, засиделся до глубокой ночи. Заснул за столом. Проснулся как от пинка и вдруг понял, как работает система. Меня окружает мощное энергетическое поле. Зона катастрофы. Чужие могут входить в неё без всякого для себя вреда. Они — диэлектрики. Зона смертельно опасна для тех, с кем меня связывают силовые линии. Дружба, симпатия, близкие отношения. Если связь возникла, то навсегда. Ссориться, разбежаться в разные стороны, враждовать — бесполезно. Соединение не рвётся. Напряжение копится, растёт, пока не доходит до критической точки. Наконец разряд. Короткое замыкание.

Заранее узнать, на кого именно пробьёт фазу, невозможно. Если и имеется закономерность, то очень запутанная. Не для моих

мозгов. Однако кое-что я подметил. Проверил — сошлось. Чёткая периодичность. Замыкание каждые три года. Семьдесят пятый — Васька. Семьдесят восьмой — Толик. Восемьдесят первый — Филипп Семёнович. Восемьдесят четвёртый — Надя...

Последнее замыкание произошло три года назад. Весной девяностого года. К тому времени я научился распознавать приближение катастрофы. Двадцать первого марта начали поступать первые сигналы. Мне ни с того ни с сего сделалось худо. Головная боль, сердце, озноб, слабость, кошмары по ночам... Двадцать пятого внезапно полегчало. Полностью отпустило. Штиль после шторма. Морально стало ещё хуже. Я знал: кого-то пробило на фазу. Рядом никто не пострадал. Загорело того, кто находился в зоне контакта в прошлом. Писать письма, опрашивать всех подряд — бесполезно. Со многими потеряна связь. Фактически, никогда не узнаю, кто стал жертвой. Но вина гложет, как обычно. Ни на процент меньше.

Сейчас календарь не нужен. Чувствую, как концентрируется очередной разряд. Голова точно набита сырым мясным фаршем. Тесно в груди. Воздух вязок, точно глицерин. Аритмия. Вновь снится прежний кошмар...

Кого ударит в этот раз? Зарину? Вероятность — девяносто процентов. Даже девяносто пять. Олега? Маловероятно. Зухура, диэлектрика хренова? Абсолютно невероятно. Жаль! Этого гада я с бы радостью пустил под разряд. Но не я выбираю. И не в силах повлиять на выбор. Зухур — просто проводник. Вроде вибрационного датчика мины МС-4. Сработает от малейшего толчка. У него-то волос с головы не упадёт — это Зарину разорвёт на куски. Теперь с него пылинки сдуваю. Изо всех сил сдерживаю ненависть. Чтоб не увеличить напряжение. К счастью, он не в курсе. Узнай, замордовал бы. А ныне подлизывается.

Почему? Объяснение простое. Он перехватил сообщение кишлачного агентства новостей. Кто-то из мужиков попытался удрать из ущелья на отхожий промысел. И обломался. Перевал Хабуробод полностью разрушен. Придётся везти товар через Бадахшан. Конечно, если пропустит тамошний авторитет Алёш Горбатый. От погранцов Зухур надеется утаить, что везёт. Рассчитывает, они вряд ли будут особо шмонать. Никому в голову не придёт, что кто-то везёт дурь не из Афгана, а изнутри, с нашей территории. От Горбатого не утаишь.

По донесению деревенского информбюро, он в данный момент находится не в Хороге, своей столице, а в Калай-Хумбе. Зухур за-

горелся — надо использовать счастливый случай, ехать на поклон. За разрешением на провоз. Канючит:

— Даврон, дорогой, как я один, без тебя?

— А гвардия твоя на что?

Мнётся, мямлит:

— Э-э, шпана... Им доверять нельзя. Понимаешь, дорога — дело такое...

Зря опасается. Его блатные лейб-гвардейцы — люди подневольные. Без приказа курган-тюбинского начальства Зухура пальцем не тронут. А прикажут, и в Ворухе замочат. Непосредственно на дому.

— Факт, — пугаю его, — духам доверять опасно. Завалил Рембо, теперь бди.

Он вскидывается:

— Я их не боюсь! Они охранять не могут. Рычат, зубы скалят, а силы нет. Такой, как у тебя. А к Алёшу ехать — сила нужна.

Реально. Правительственные войска недавно с боями вытеснили в Дарваз и Бадашхан туеву хучу боевиков оппозиции. Многие осели в Калай-Хумбе. Соваться туда — считай, что лезть в яму со змеями.

— Лады, — говорю. — Убедил. Еду.

Зухур скрывает удивление, и тут же, покровительственно:

— Оказывается, с тобой иногда договориться можно.

Он готовился к долгим уговорам. К позиционной войне. А я вдруг — раз и согласился. Всматривается подозрительно: в чем подвох? Элементарно, Ватсон. С началом войны в Санговаре пропала телефонная связь. А мне необходим телефон. Из Калай-Хумба позволю Сангаку. Пусть присылает замену. Я ещё не решил, уеду или останусь. Во всяком случае, получу свободу выбора. Обдумывал такой вариант, но ехать в Калай-Хумб не решался. Страшно было оставлять Зарину без присмотра. Мало ли что стукнет Зухуру в голову.

Он тревожится:

— Не откажешься? Обещаешь?

— Сказал же, поеду.

Ночью снится сон: сижу в больнице у постели и держу за руку умирающую Зарину, бледную, исхудавшую...

Семь тридцать. Выезжаем на трёх машинах. Впереди — десять бойцов в фургончике. Следом — Зухур. Я замыкаю. Водитель, как всегда, Алик. Километра через полтора он поправляет боковое зеркало. Заглядывает — не едет ли кто сзади.

— Эй, Даврон, хочу одну вещь сказать.

— Ну.

— Это... знаешь, как говорится: «Каждому своя могила, каждому свой саван».

— Давай прямо. Без народных мудростей.

— Хуш,— соглашается.— Могу прямо. Ещё знаешь, как говорят: «Не мой котёл, пусть в нем хоть глина варится». Понимаешь, да? Вчера вечером ко мне Гург подошёл, сказал: «Брат, с Давроном поговори». Я сказал: «Хуш, поговорю». Он сказал: «Скажи Даврону, пусть он не боится. Каюм приказал Даврона не трогать. Но ты скажи, пусть Даврон тоже не борзееет. Каюм — в Кургане, а отсюда до Кургана далеко».

— Угрожал, значит?

— Не-е-т. Сказал: «Ты Даврону скажи, пусть он хорошо подумает. Зухура убирать пора. Зухур мышей не ловит. Если что случится, пусть Даврон не вмешивается».

Нормально! Вот почему Зухур боится свою гвардию. Стало быть, ему успели стукнуть.

— Поня-я-я-тно,— говорю.— Что ещё сказал?

— Больше ничего не говорил... Даврон, что делать будешь?

Не знаю. Сангак не поручал мне охранять Зухура. По идее, это обязанность блатных, затем они здесь и болтаются. И Сангак специально о них упомянул, иначе я давно бы вышвырнул эту сволочь к чёртовой матери. Если урки Зухура ликвидируют, Зарина будет свободна. Без моего участия. Это плюс. Огромный плюс. Но я не могу позволить самодеятельность. Ситуация наверняка пойдёт вразнос. Это факт. Устранив Зухура, блатные, по сути, захватят власть. Доход от нового сорта отправится неизвестно кому и куда. Наверняка не в Народный фронт. Это минус. Огромный минус... Выводы: нарушить обещание Сангаку я не могу. Следовательно, придётся защищать Зухура. Защищая Зухура, ставлю под опасность Зарину. Плюс и минус уничтожают друг друга. Ноль. Тупик...

Меня охватывает ощущение, что «уазик» неподвижно застыл на одном месте. Точно каменная глыба посреди горной реки. Дорожное полотно хлещет в капот мутным потоком. Бурлит, бьёт в ветровое стекло, обтекает и проносится мимо. Смотрю перед собой на дорогу в одну точку, и кажется, что пейзаж не меняется. Время остановилось.

На подъезде к кишлаку Кеврон дорога замедляет бег и разливается вширь. Справа открывается просторное устье бокового ущелья. В глубине лежит на боку развороченный остов «камаза».

Чуть дальше — обгорелые остатки легковушки. Вокруг — десятка полтора трупов. Около них бродят люди. Думаю, родичи убитых. Отыскивают своих. Бой был ночью или вчера вечером. Иначе родственники успели бы забрать тела. Бились либо местные боевики между собой, либо пограницы с боевиками.

Десять пятнадцать. Доезжаем до Кеврона. Кишлак лепится к правому пологому склону. Вдоль дороги — белёный кирпичный забор. Погранзастава. Передние машины притормаживают, останавливаются. Путь перекрыт шлагбаумом. У глухих железных ворот — трое караульных. Бойцы вываливают из фургончика. Толпой топают к часовым. По-русски:

— Открывай!

— По-хорошему просим. Иначе плохо будет...

По-таджикски:

— Рауф, сзади зайди. Не откроет — по голове бей. Автоматы отнимем, шлагбаум поднимем, проедем...

Глушу партизанщину:

— Разойтись! Отставить базар!

Подхожу к старшему из караульных:

— В чем дело, сержант?

— Приказ — не пропускать.

— Мы мирные люди. Едем в Калай-Хумб. На деловую встречу.

— Да хоть на свадьбу. Приказ есть приказ.

— У нас договорённость. С Алёшем Горбатым.

Сержант фыркает:

— А с Мишкой Горбачом не договаривались? Мне они по херу — что горбатые, что меченные... У меня своё начальство.

Говорю:

— Брось, не напрягайся. Вызови командира.

Сержант размышляет. Оценивает ситуацию.

— Михайлов, сходи.

Боец идёт к воротам. Пытаюсь установить контакт:

— Тут вчера вроде как Курская дуга проходила.

Сержант поправляет на плече ремень автомата. Прикидывает, стоит ли отвечать.

— Тоже вроде вас... По договорённости ехали. В гробу я видел такие договоры. Сначала договариваются, потом набалмашь, с дурной головы по нам пальбу открывают. Пришлось объяснить доходчиво. Так что ты мне про уговоры не толкуй...

Жду. В десять двадцать семь из КПП выходит старший лейтенант. Злой и усталый. Хмуро спрашивает:

— Кто такие?

Отвечаю:

— Мирные предприниматели. Из Санговара.

Он слегка кривится. Факт, имеет информацию о Зухуре. Уточняю:

— По торговым делам к Алёшу Горбатову. Договорились заранее.

— К Горбатову? Ну, тады ясно, какие дела.

— Он обещал, что пропустят без проблем.

Старлей усмехается:

— Алёш Горбатый у нас — юный друг пограничника. Его гостям всегда полный хуш омадед. В любой час дня и ночи. Но не сегодня. Сегодня не пропустим.

— Ждёт он, — лукавлю. — Дело горит.

Старлей:

— Коли горит, есть такое предложение. Оставьте оружие на заставе, и вперёд и с песнями в Калай-Хумб. На обратном пути заберёте стволы. Не пропадут. У нас как в лучших гардеробах Парижа. Гарантирую.

Говорю укоризненно:

— Товарищ старший лейтенант, как же без оружия? В гости ведь едем.

— Это верно: в гости без оружия нельзя. И с оружием нельзя.

Зухур выбирается из своего экипажа. Подходит. Важно протягивает руку. Старлей пожимает с видимой неохотой.

— Моя фамилия Хушкадамов, — сообщает Зухур. — Свяжите меня с комендатурой. С Маркеловым.

— Может, лучше сразу со Шляхтиным?

— Это кто?

— Генерал-полковник, командующий пограничными войсками Российской Федерации.

Зухуршо в упор не понимает иронии. Серьёзно:

— Нет, сначала с Маркеловым.

— Послушайте, как бы вам повежливее объяснить... — устало говорит старлей. — Начальник комендатуры — большой человек. Очень большой. С ним запросто поговорить непросто.

Зухур хмурится:

— Слушай ты, старлей... Я Маркелова знал, когда ты ещё у мамки сиську сосал. Работали вместе, в Пянджском районе. Он меня знает. Звони ему.

— Ты мне приказы не отдавай! — отрезает старлей.

Зухур меняет тактику. Доверительно:

— Узнает, что ты не дал нам поговорить, — обидится.

Вижу, старлей колеблется. Факт, думает: а что если этот хрен с горы и впрямь приятель Маркелова?

— Ладно, идите за мной.

Уходят в КПП. Бойцы усаживаются на корточки в кружок посреди дороги. Передают по круту пакетик с насваем, табаком. Располагаются ждать с комфортом. Трое погранцов у шлагбаума откровенно держат их под наблюдением. Чувствую: готовы в любой миг сорвать автомат с плеча.

Десять сорок пять. Зухур выходит. Рожа мрачная. Следом старлей.

— Наверное, товарищ Маркелов слишком занят сейчас, — говорит Зухур. — Даже вспомнить о нашей прошлой дружбе времени не имеет. Ничего, я не обижаюсь, вспомнит. Послушай, лейтенант, давай договоримся. Ты тоже в обиде не останешься...

— Вопрос решён, — отрезает старлей.

Остаётся стоять у шлагбаума. Контролирует ситуацию. Ворота заставы раскрываются, выползает БМП. Перегораживает дорогу.

— Веришь в приметы? — спрашиваю Зухура.

— Э, глупости.

— Поня-я-я-тно, — говорю. — Беды, значит, не хлебал. А я точно знаю: надо назад.

— Я решения никогда не меняю.

— Тебе справка из ЦК с печатью требуется? Прикинь, какова ситуация. Это ж прямое указание.

Мнётся...

Слышу: по дороге с восточного направления приближается машина. По звуку — легковушка. Выныривает из-за поворота. Бойцы поднимаются на ноги. Отходят на обочину. Следят за приближающимся «газиком».

— Ястреб летит, — говорит сержант.

Потрёпанный «козлик» подлетает к заставе. Последние метры перед шлагбаумом скользит юзом. Лихо пикирует! Но чисто. Застывает в десятке сантиметров от полосатой стрелы. Из кабины выходит высокий мужик в армейской полевой форме без знаков различия. Обут в кроссовки. Военная выправка. Короткая стрижка. Горный загар. Кричит весело:

— Саня, здорово! Держишь границу на замке?

Старлей откликается:

— Привет. А ты всё гуляешь?

— Прогуливаюсь. Дредноут, гляжу, выставил. Заминировал бы лучше дорогу, и все дела...

Мужик обменивается рукопожатием со старлеем. Протягивает краба сержанту. Обходит кружок бойцов. Пожимает руку каждому. Идёт ко мне:

— Сергей.

Называюсь. Мужик задерживает мою ладонь:

— Привет, Даврон! Знаком заочно. Сангак про тебя говорил.

Зухур ревнует, тянет ручонку, спешит представиться:

— Хушкадамов.

Мужик ему в тон:

— Ястребов. Про вас тоже слышан — в Кургане до сих пор поминают. Весь город на неделю без хлеба оставили...

Зухур пыжится:

— Городские люди. Только о своём брюхе заботятся. А что в горах от голода умирают, им безразлично. Бобо Сангак, слава Богу, не такой. Понимает... Разрешил муки взять, сколько потребно.

— Говорят, рвал и метал, когда доложили, сколько вы выгребли.

— Пусть говорят. Бобо Сангак меня знает. Как-нибудь это дело уладим.

— С ним теперь нелегко связаться.

— Почему нелегко? В Калай-Хумбе телефон есть.

Ястребов ухмыляется:

— Туда, где теперь Сангак, линию пока не провели.

Зухур тупит:

— Дело не спешное, вернётся в Курган-Тюбе, поговорим.

— Вряд ли вернётся, — говорит Ястребов. — Убили его.

— Ц-ц-ц-ц, — Зухур цыкает языком, качает головой. — Убили...

Строит равнодушную морду, пытается скрыть улыбку.

Чувствую, как внутри нарастает напряжение. Теснее сжимается в груди, начинает подташнивать. Изо всех сил сохраняю спокойствие. Вдох. Медленный выдох.

— Точно? — спрашиваю.

— Абсолютно, — говорит Ястребов. — Как в газете «Правда».

— Когда?

— Три дня назад. Двадцать девятого марта.

— Бомба? Снайпер? Поймали, кто стрелял?

Ястребов потирает нос:

— Он не в бою погиб. В разборке со своими...

Мозги гудят точно трансформатор под перегрузкой. Сквозь гул и треск пробивается голос Ястребова:

— Деталей никто не знает. В народе разные версии гуляют...

Вдруг чувствую, что внутри отпускает. Тяжесть в груди исчезает. Чёрный туман рассеивается. Остаётся лёгкая слабость. Невесомость во всем теле. Затишье после бури. Знакомое ощущение. Так бывает всегда после того, как... Внезапно меня накрывает понимание: фазу пробило на Сангака! Мысль рушится в мозг, как неразорвавшийся снаряд весом в тысячу тонн. Плющит серое вещество, рвёт нейронные связи и вот-вот взорвётся. Сангак погиб по моей вине. Он находился ближе всех в зоне контакта. Спешу обезвредить бомбу, пока не рванула. Одна за другой опускаются стальные заслонки. Отсекают, изолируют чувство вины. Контейнер проваливается в глубину. Туда, где скопилось целое кладбище. Где в бронированных камерах, как в изолированных склепах, складирована память о погибших по моей вине. Отсек Крысы, Кости, Анвара, Филиппа Семёновича, Саида, Нади... С этого момента добавился склеп Сангака. Усилием воли подавляю мысль: «Сколько ещё придётся хоронить».

Отвожу Зухура в сторону.

— Я возвращаюсь. Дальше поезжай один.

Он взвизгивает:

— Как это возвращаешься?! Ты слово мне дал!

— Тебе? Когда это? Я перед Сангаком был в ответе. И баста.

— Ты мне обещал! Поехать в Калай-Хумб обещал. Я спросил: «Обещаешь?» Ты сказал: «Поеду». Забыл? Это разве не обещание?

По сути, он прав. Формально я не произнёс: «обещаю». И что с того? Кого колышет, вслух ляпнул или подразумевал? Подразумевал — выполняй. Несмотря ни на что. Даже на приметы.

— Черт с тобой, — говорю. — Но не надейся, подгузники тебе менять не буду.

Зухур напыживается, открывает рот... Ястребов окликает:

— Парни! Время — золото. Едете или остаётесь?

Зухур, торопливо:

— Едем, едем...

Ястребов — старлею:

— Саня, отворяй ворота! Мы с ребятами трогаемся.

Старлей:

— Поезжай один. Маркелов приказал их тормознуть.

— Да ну! С чего это? Я с ним поговорю. Мигом уладим. Он где? В комендатуре?

— У себя.

— Отлично. Скомандуй своим орлам, чтоб меня соединили, — обнимает старлея за плечи, тащит к воротам.

Подхожу к сержанту:

— Мужик этот, Ястребов... Кто такой?

— А ты сам спроси. Я его не допрашивал. Кто, кто?! Мафиозо, мать его в масть. Со всеми дружит. Со всеми вась-вась: с боевиками, с местными начальниками. Ну и наши его не обижают...

— Ну, дела, — говорю. — Погранцы с мафией корешатся.

Сержант оскорбляется:

— Ты что, блядь, дурной?! С луны? Ситуации не знаешь? Не корешатся, а вынуждены считаться. Попробуй-ка его обидь, разом осиное гнездо разворошишь. Такая буча начнётся. Все местные с ним повязаны. А нам чего? Государство чужое, мы не прокуратура, наше дело — границу охранять. Мирно едет — пусть себе едет. Пропуск оформлен, документы в порядке...

В одиннадцать семнадцать зелёные ворота с красными звёздами распахиваются. БМП медленно вползает назад. Выходит старлей. Следом Ястребов. Подмигивает старлею:

— Саня, распорядись, пусть палку уберут.

Сержант поднимает шлагбаум. Путь на Калай-Хумб открыт. Ястребов рвёт с места первым. Следом отъезжают фургон с бойцами, Зухур. Алик запускает двигатель, трогается. Злорадствует:

— Это... пришлось Зухуршо голову меж ног спрятать, да? Не пропустили его погранцы? Не зря говорят: «В кишлаке ты лев, а в Бухаре тебя ставят в хлев».

Осекаю:

— Следи за дорогой.

Зухур, конечно, тот ещё скот, но дисциплина есть дисциплина. Алик сопит. Вытаскивает из-под сидения грязную тряпку, протирает ветровое стекло. Обижается.

На окраине кишлака за окном проплывает фигура у обочины дороги. Старик с поднятой рукой. На мгновение мерещится — тот самый! Гадальщик, что год назад ворожил мне в Курган-Тюбе. Одёргиваю себя: завязывай фантазировать. Другой старик, не тот. Но это знак. На что указывает? О чем предостерегает? Не знаю.

Знакам необходимо доверять. Не раздумывать. Подчиняться первому побуждению. Бросаю Алику:

— Стой! Сдай назад.

Он, недовольно:

— Чего?

— Возьмём деда.

Алик тормозит, даёт задний ход. Старик неспешно подходит. По-хозяйски распахивает заднюю дверцу. Вблизи — ноль сходства с гадалщиком. Нет, пожалуй, что-то общее имеется. Что именно — ускользает, не даётся. Черт с ним. В конце концов, несущественно... Старик устраивается на сидении. Командует Алику:

— Поезжай, сынок.

Нормально! На Дарвазе, любой бедняк-колхозник держится как президент. На всякий случай спрашиваю:

— Дед, гадать умеешь?

— Нет, не способен. Бог таланта не дал. Загадывать могу. Я много загадок знаю.

Алик оживает:

— А ну-ка...

— Скажи, к примеру, это что? — хитро спрашивает старик. — Без аркана связывает, без вины казнит, без заслуг награждает, без оси вращается. Угадаешь?

Алик откликается без задержки:

— Ха, просто! Районный прокурор.

Старик хихикает:

— Первая часть подходит, вторая не подходит. Прокурор вращается разве?

— Сафаров у нас в Хиссоре крутится. Куда ветер подует. И нашим, и вашим. И большим начальникам, и этим... авторитетам... Зато со всех имеет. Говорят же: «Хочешь жить — умей вертеться».

— Не угадал, сынок.

— Тогда — жена. Целый день кругами носится: дом-кухня-огород-коровник и мужика по рукам-ногам вяжет — то сделай, это где хочешь достань... За всякую мелочь — виноват, не виноват — всё равно мозги проедает. Зато ночью... Правильно ты сказал — награждает!

Старик хихикает:

— Хе-хе, опять не угадал! Чархи фалак это. Колесо судьбы. Круговорот небес. Вот так-то... Ладно, я попроще спрошу. Что такое? Мёртвое поглощает; живое родит.

Алик долго не думает:

— Кошка!

— Почему?

— Мёртвых мышей ест, живых котят рожает.

Старик хихикает:

— Хе-хе, опять не знаешь, оказывается! Земля это.

— Почему?

— Подумай. Покойников где хоронят? А живые злаки, травы и деревья из неё, из земли, произрастают.

Алик пытается взять реванш:

— Произрастают, говоришь? Выходит, и вы, горцы, про землю краем уха слышали. Здесь-то у вас одни камни. Как в такой стране жить?

Однако старика голыми руками не возьмёшь. Невозмутимо:

— Хорошая страна. Очень древняя... Эй, смотри! Туда смотри, на скалу. Что видишь?

Алик пригибается к рулю, заглядывает вправо, ввысь. Ворчит:

— Камни.

— Э, сынок, быстро едешь, проскочил уже. Наверху в древние времена крепость стояла. Нынче только развалины остались...

— Ну и чего? У нас в Хиссоре до сих пор стоит.

— Некоторые старые люди говорят, в крепости один волшебник жил, Акаем его звали, у багдадского царя служил. Царь на него осерчал, сюда сослал. Через некоторое время в наши земли подшо Искандар Зулкарнайн пришёл. Акай у него помощи попросил. Подшо Искандар согласился. Багдад завоевал, Акая-волшебника в Багдаде царём поставил. Но этот неблагодарный Искандара околдовал, в Калай-Хумб увёз и в зиндоне цепями приковал. Много лет прошло. А у подшо Искандара дочь была, Диова-пари. Она в птицу превратилась, узнала, где её отец, прилетела, цепи разбила, стала волшебника уговаривать, чтоб заклинания с Искандара снял. Он расколдовал. А Диова-пари на Акая свою чадру накинута и задушила.

Алик цокает языком:

— Крутая девка... А Искандар?

— Домой вернулся. У него своя страна была, Иронí. Он всех жителей в истинную веру, в ислам обратил.

Алик приоткрывает дверцу, сплёвывает в щель.

— А кувшин при чем? Почему ваш городишко «Кувшин-крепостью» назвали?

Старик, невозмутимо:

— Почему городишко? Зачем обижаешь?! Здесь в древние времена райский сад был. В саду красавица-пари жила, золотые павлины ходили. Пещера имелась, в ней каменные кувшины стояли... Подшо Искандар про тот сад прослышал, захотел себе забрать. Пришёл с войском. Но оказалось, в кувшинах двенадцать дэвов прятались. Стали они с воинами Искандара биться. Победить не могли, красавицу-пари послали, чтоб Искандара в пещеру заманила. Искандар в пещеру вошёл и исчез. Воины узнали, стали думать: «Что делать будем?» Сказали: «Здесь жить останемся». Поселились. Они, эти воины Искандара, первыми жителями Калай-Хумба были...

— Что-то я тебя, дед, не пойму. То так, то сяк говоришь. Сколько раз Искандар сюда приходил? — говорит Алик. — Э-э-э, неважно... Все равно сказки.

Старик соглашается:

— Конечно, сказки. Тёмные люди рассказывают. На самом деле, наш город пророк Сулаймон основал.

Алик поправляет переднее зеркало, чтобы видеть старика. Зовёт:

— Дед, что такое? Пять ног, а на трёх идёт, полтора хвоста, а головы нет.

Старик напряжённо думает. Не хочет ронять престиж неверным ответом.

Двенадцать сорок девять. Ещё один шлагбаум. Перед въездом в Калай-Хумб. Пограницы пропускают без разговоров. Дед выходит. Алик отъезжает, спрашиваю:

— Что за чушь ты старику загадал?

— Э, откуда я знаю! Просто от балды сказал. Пусть думает.

Нормально! Экий мудрец. А старичок знаменательный. С первых же слов — о судьбе. Хотя в чем суть знамения, я не врубился.

Въезжаем в Калай-Хумб. Посёлок вытянут в линию, стиснутую ущельем. Центральная, она же единственная, улица обсажена тополями. По узким тротуарам слоняются люди с оружием. Гражданских мало. Ястребов паркуется у обочины в конце длинного ряда автомобилей. Алик пристраивается за ним. Выхожу.

— Эй, Кабоб! — зовёт Ястребов.

Басмач в хэбэ и ковбойской шляпе идёт на зов через дорогу.

— Салом, Ястреб...

Поболтав с басмачом, Ястребов подваливает ко мне.

— Обстановка такая: Алёш в штабе, даёт разгон мелкой шелупони. Но если вам нужен кто-то из больших авторитетов — Хаким, Мухаммади или Маджнун, то...

— Нет, нет, — торопится Зухур. — Авторитеты не нужны. Мы к Алёшу.

Штаб помещается в здании райисполкома. Перед ним на небольшой площади клубятся вооружённые люди. В коридоре штаба пусто, прохладно и гулко. Из правого крыла доносится громкий галдёж. Ястребов сворачивает вправо, открывает крайнюю дверь, вваливается в комнату. Пропускаю вперёд Зухура, вхожу последним. Время: тринадцать ноль восемь.

Полевые командиры — душманы, или шелупонь, как определил Ястребов, — расположились вокруг длинного стола. Кто сидит, кто стоит. Кричат все. Быстро пересчитываю. Двенадцать. Все при оружии. Горбатого нет ни одного. Спящий имеется. Дрыхнет на дальнем конце стола, опустив башку на столешницу.

Ястребов говорит громко и весело:

— Друзья, общий привет!

Душманы приветственно гомонят. Ястребов спрашивает:

— Эй, Алёш, ты где? Куда спрятался? Я тебе гостей доставил.

Резкий голос визжит из левого угла:

— Лучше ты бы их по дороге утопил.

Душманы расступаются, я вижу Алёша. Он сидит в кресле. Атласный халат на нём сверкает точно новогодняя ёлка. Физиономия в общем-то красивая. Рядом — здоровенный парень. Телохранитель. Красные спортивные шаровары. Бронежилет на голом торсе. Зелёная бандана на голове. Не человек — ифрит из арабской сказки. Вооружён очень серьёзно. В руках — фантастическая бандура. Гибрид дробовика, гранатомёта и космического бластера. Ифрит стоит, широко расставив ноги и выставив вперёд пушку. На левую клешню натянута чёрная кожаная перчатка. Чтобы руку не обжигать, когда ствол раскалится...

Алёш вскакивает на ноги. Я слышал, что он невысок ростом. Так и есть. Метр с кепкой. Плюс минус сантиметр. Одет как картинка. Под халатом — шикарный коричнево-чёрный камуфляж. Забугорный, у нас таких не шьют. Горбун сбрасывает новогодний балахон, подбегает к Ястребову, скалит острые зубки, вопит неистово:

— Сергей, зачем его привёз?! На хера он тут нужен! Хочешь меня со всеми братьями поссорить? Куда теперь его девать? Хочешь, чтоб я его замочил? Хочешь, да? Замочу!..

Зухур стоит справа от меня. Наблюдаю, как у него отвисает челюсть. Растерян. Как же так? Разве не договаривались? Дипломат хренов!

Переключаюсь на Алёша. Пробую понять: реальный псих или на понт берет? Нет, не блефует. Себя не помнит от ярости. Тяжёлая кобура сползает на живот, он то и дело нервно её поправляет. Не факт, но, возможно, — обманный маневр. Приучает к жесту, чтобы в нужный момент неожиданно выхватить волюну. С психа станется. На всякий случай сам начинаю очень медленно готовиться. Ифрит засекает опасное движение. Поворачивается, как танк, всем телом, наставляет на меня ствол.

Алёш визжит:

— Хочешь? Голову отрежу и в Пяндж выкину...

Ястребов убеждает весело:

— Алёш, замочить никогда не поздно. Может, поговоришь сначала.

— О чем с ним толковать?! — горбун отскакивает от Ястребова, бежит вдоль стены. — наших братьев убивают. У Аслона племянника убили. А он приезжает и...

Кто-то урезонирует:

— Этот человек не виноват, что наших братьев убили.

— Не виноват?! — взвизгивается Алёш. — Из-за таких, как он, убивают. Зачем он приехал? Чего ему надо? Чего он лезет в наш бизнес? Здесь своим не хватает. Как-то уладили. Все распределили. Никто никому не мешает. А теперь опять начнётся... И без него бучи хватает...

Слова эти точно выдёргивают чеку, и душманская камарилья взрывается:

— Правильно Алёш говорит!

— Гнать чужих отсюда...

— Выслушать мужика надо. Пусть скажет, зачем приехал...

— Мочить их!

От гвалта просыпается спящий. Спросонок оглядывается. Замечает Зухура. Вскрикивает на ноги. Вопит:

— А-а, Хушкадамов!!!

Узнаю его. Сухроб по прозвищу Джаррох, «хирург». Живьём мне не встречался, но фото видел. Садист и психопат. Командир группы из полсотни боевиков. Когда-то в прошлом работал медбратом, но кличку получил по другой линии. «Хирургом» его окрестили в сентябре девяносто второго после налёта на посёлок Ургут. Вовчики

вырезали всех, включая стариков, женщин, детей. Лютовали с извращённой жестокостью. А этот, значит, особо отличился...

Зухур оборачивается на вопль. Хирург прижимает руки к груди, кланяется издевательски:

— Ас-салому алейкум, брат! Как здоровье, брат? Как семья? Как дела?

Лицо его скрывает борода, короткая, плотная. Вроде чёрной хирургической маски. На глазах очки с тёмными стёклами. Облик нелепый. Вроде одновременно и пугает, и прячется.

Зухур не рад знакомцу. Буркает:

— Ва-aleyкум, — и отворачивается.

— Эй, Хушкадамов, куда рыло воротить? Сюда смотри! — вопит Хирург. — Испугался, да? Думал, никогда не встретимся? Нет, слава Богу, встретились! Наконец смогу спасибо тебе сказать...

— На меня вину не сваливай, — хмуро говорит Зухур. — Не я, а ты человека убил.

— Сволочь ты, тварь! — вопит Хирург. — Я не убивал! Это ты на меня клевету навесил! Тебе в райкоме: «Хушкадамов, возьми это дело на контроль», — поручили. Ты на контроль взял. Сделал, как приказали. Каримову жопу лизал! Пидор, коммунист, падарналат!

Душманы затихают, прислушиваются. Толстый бородач интересуется:

— Эй, Сухроб, кто такой Каримов?

— Пидарас, враг народа первый секретарь райкома, вот кто, — вопит Хирург. — Племянник того старика, который в больнице умер. Доктор старику лекарство назначил, в историю болезни записал. Мне приказал: «Вот этим инъекцию сделай». Я сделал. Тот старик умер. Оказалось, доктор неправильно назначил. Следствие проводить стали. Доктор тоже сильную родню имел. В зятях у директора хлопзавода ходил. Запись в истории болезни подделали, а этот гандон сука блядь Хушкадамов к тому подвёл, что я виноват. Под танк меня бросили. Все знали, кто виноват. Следователь знал. Прокурор, ишак скотина, знал. Ты, Хушкадамов, бюрократ коммунист, падарналат, чтоб у твоей матери матка лопнула, тоже знал. Я твою сестру в ступе толоч, я твою...

Долговязый душман с орлиным носом — чистый Чинганчгук в исполнении Гойко Митича — встречает:

— Брат, при русском госте плохие слова не говори.

— Как про него по-другому сказать?! — дерёт глотку Хирург. — Партократ! Скотина! Дом его надо сжечь. Убить без пощады! Из-за него я на зону залетел...

Алёш, крутанувшись, тычет пальцем:

— Сухроб, заглохни, не лезь! Сам разберусь. Он ко мне приехал.

— А ты?! — вопит Хирург. — Ты к кому приехал? Ты здесь не хозяин. В Хороге командуй. В Рушане командуй...

Ифрит резко разворачивает пушку к Хирургу. Нормально! Убедительный аргумент. Хирург затыкается.

— Сергей, что я тебе говорил! — кричит Алёш. — Пока ты их не привёл, тихо было. — Переключается на Зухура: — Просить пришёл? Что-нибудь дашь взамен? Людям и без тебя трудно. Или задарма получить хочешь?..

Делает паузу. Намеренную. Определённо для того, чтоб мог вступить хор. Душманы как по команде галдят. Зухур силится перекричать общий гай-гуй:

— Не для себя прошу. Для людей Санговара. Им хочу помочь...

Горбун вновь солирует:

— Я весь Бадахшан кормлю. А ты? Ты кому помог?! Сухроб в беду попал, ты помог?

— Брешет Сухроб! — надрывается Зухур. — Ты вообще знаешь, кто он такой? Знаешь, что он в Курган-Тюбе творил?!

Хирург вопит издали:

— Зухур, хайло заткни, хайвон! Опять клевету наводишь?

Бросается к Зухуру. Опрокидывает пустые стулья, расталкивает стоящих на пути.

Пока он выдвигается на передний край, сканирую обстановку. Вдруг вижу: Алёш молча стоит в стороне и наблюдает. Очень спокойно. И очень внимательно. Фиксирует реакцию каждого. Чёрные глазки умом светятся. Всё видит, всё понимает. Замутил воду и ждёт, что из мути выплывет. Рядом ифрит с бластером наготове.

Сухроб наконец пробивается к Зухуру. Брызжет слюной:

— Я тебя на куски порежу, — тянется за пистолетом.

Выхватываю пэ-эм, подшагиваю, упираю ствол Хирургу в живот:

— Руки!

Застывает. Лапа виснет на полпути. В таких ситуациях нельзя залипать на противнике. Вижу разом всю комнату. Душман, смахивающий на Чинганчгука, вытаскивает пистолет, целится в меня:

— Брось пушку!

Вжимаю ствол поглубже в брюхо и перемещаюсь влево. Заслоняюсь Хирургом. Алёш вновь выпрыгивает вперёд. Командует Чинганчгуку:

— Убери ствол! Я им гарантию обещал.

Чинганчгук кричит:

— Э, что за гарантия?! Мне Сухроб как брат.

Ифрит самонаводится на Чинганчгука. Алёш кричит мне:

— Эй, ты, отпусти Сухроба! Ствол убери.

Отвечаю спокойно:

— Отними у него пушку, уберу.

Алёш кричит Зухуру:

— Ты, пузатый, прикажи ему!

Он, вроде, завёлся по-настоящему. Хотя черт его разберёт. При любом раскладе, ситуация патовая. Зухур молчит. Я откликаюсь:

— Алёш, говори со мной напрямую. Пузатый мне не приказывает.

Горбун подбегает, останавливается в трёх шагах от Хирурга и кричит:

— Эй, Сухроб! Этот человек сейчас ствол уберёт. Если свой достанешь, дело со мной будешь иметь.

Нормально. Правильное решение. Демонстративно поднимаю пэ-эм над головой. Медленно опускаю в кобуру. Если Хирург дёрнется, в любом случае достану скорее, чем он.

Хирург плюёт Зухуру под ноги:

— Встретимся.

Отталкивает меня, выскакивает из комнаты. Алёш атакует Зухура:

— Ну что, убедился? Ждали тебя? Быстрых денег захотел? Не забывай: быстрые деньги — быстрая смерть. Лёгких денег захотел? Легко с горы катиться. Катишься кувырком, в конце — о камень головой. Скажи спасибо — я тебя от Сухроба спас. Как расплатишься?

Опять завёл по новой. Задолбал! Пора кончать цирк. Зову:

— Алёш.

Дёргается ко мне. Угрожающе щерится. Говорю:

— Ты напугал Зухура до полной усрачки. Подготовил к серьёзному разговору. Чего тянуть? Переходи от торжественной части к концерту. По заявкам трудящихся.

Алёш визжит:

— А ты кто?..

Спокойно смотрю ему в глаза. Он замолкает и вдруг улыбается:
— Умный, да? — Бросает Зухуру: — Пойдём поговорим.

Выходят. Наконец-то. Мне тоже тут нечего ловить. Киваю на прощанье Ястребову и отваливаю.

Возвращаюсь к своей колымаге. Время: тринадцать семнадцать. Алик околачивается рядом. Смотрит вопросительно: «Едем?» — Даю отмашку: «Гуляй». — Сажусь. Надо подумать, привести мозги в порядок. Идиотство! Опять оберегал Зухура. Хотя фактически защищал себя — шлёпни его Хирург, не ушёл бы живым и я... Ладно, по барабану. Отношения с Зухуром абсолютно неважны. По сравнению со смертью Сангака все прочее несущественно. Масштаб несоизмерим. Типа — огонёк спички и атомный взрыв. Ударившая в Сангака пуля неизвестного калибра принесла разрушений поболее, чем ядерная бомба.

На нем замыкалось слишком многое. Крушение Союза, по факту, катаклизм. Словно треснула земная кора, и монолитный материк раскололся на части. Прежняя жизнь разлетелась вдребезги. Сангак начал разгребать развалины. Задумал построить... не социализм. Что-то иное. Я верил, что получится не хуже прежнего. Возможность погибла вместе с ним. Окончательно и навсегда.

Я опять остался среди руин. Эта, пятая по счету, катастрофа самая сокрушительная. Три из предшествующих — личные. Били в меня. Смерть Нади. Подлянка в Афгане. Подлянка в армии. Но крушение Союза и гибель Сангака — тотальная аннигиляция основ. Податься некуда. Главное — незачем. Исчез смысл. Винить некого. Сангака убила не пуля — короткое замыкание. Неизвестные, которые задумали ликвидировать Сангака, тот, кто стрелял, — всего лишь каналы, по которым прошёл разряд. При других условиях они были бы бессильны. Даже я — жертва, а не виновник. И всё-таки чувство вины постоянно сочится изнутри. Как радиация из трещин Чернобыльского саркофага. Доза отравляет, но не убивает. Вытерпеть можно. Я привык. Вытерплю...

Тринадцать двадцать пять. Появляется Ястребов. Распахивает дверь с водительской стороны и, не спрашивая, садится рядом.

— Сангак говорил, ты парень надёжный.

— Ему видней... — отвечаю. Поправляюсь: — Было видней.

Он усмехается.

— Вроде того. Ещё сказал, если понадобится, можно к тебе обратиться.

— Обращайся.

— Пока, вроде, проблем нет. Но буду иметь в виду.

Помолчав, спрашиваю:

— Знаешь, как он погиб?

— Никто не знает — свидетелей нет. В смысле, живых свидетелей. Обстановку мне описывали.

Подробно пересказывает. Завершает:

— Такие вот дела, чистый детектив. Так что думай, Ватсон. Увидимся.

Выходит из машины, отваливает.

В тринадцать тридцать девять возвращается Зухур. Мрачный. С ним — молодец в рушанской тубетейке. Парень распахивает дверцу «уазика»:

— Ты Даврон? Идём, Алёш хочет тебе два-три слова сказать.

Зухур, брюзгливо:

— Зачем? Мы с ним обо всем договорились.

— Теперь к Даврону разговор есть.

Парень проводит меня насквозь через здание райисполкома во внутренний двор. Алёш дожидается, привалившись боком к здоревенному джипу. С ходу берет быка за рога:

— К Зухуршо какие претензии имеешь?

— Никаких. Все нормально.

— Зачем обманываешь? Я видел.

Приметливый черт!

— Пустяки, — говорю. — Гонора у него много. Я этого не люблю.

Алёш:

— Правильно. Гонора много, дела мало... У тебя какая доля?

— В смысле?

— Какой процент Зухур тебе даёт?

— Никакой. У меня с ним ноль расчётов. Сангак попросил немного покараулить. О доле речи не было. Сангак погиб, вернусь в Курган.

Смотрит испытующе:

— Правду скажи.

— Уже сказал.

Молчит, размышляет, затем спрашивает:

— Каюма знаешь?

— И ты о том же! Последние дни только и слышу: Каюм, Каюм... Ладно, кончай допрос. Дело имеешь — говори, а нет дела — уйду.

— Подожди, Даврон, у меня хорошее предложение есть. Хочу тебя в долю взять. Этот новый сорт... Давай так: сорок — тебе, шесть-

десять — мне. Ты выращиваешь, собираешь, все остальное я делаю. У тебя — никаких забот.

— А Зухура ты куда определил?

Он удивляется:

— Какой Зухур? Ты же его уберёшь.

Нормально! Сезон охоты на Зухура. Блатные, Алёш... Кто ещё? Говорю:

— Предположим. Но я-то тебе зачем? Поставь своего человека.

— Не моя территория. Слишком много сложностей. А ты — совсем другое дело: местные к тебе привыкли, бойцов имеешь...

— Спасибо за предложение, — говорю, — но у меня тоже пара проблем. Во-первых, я не завхоз...

— Ты командуй, а завхоза найдёшь.

— Погоди, — говорю, — главное в другом: я не киллер.

Алёш смеётся:

— Я в своей жизни ни одного человека не убил. Поручи кому-нибудь.

— Не по моей части. На войне сам убивал и другим приказывал. Но не из-за денег.

Алёш вдруг взрывается. В ярости отпрыгивает от меня, отбегает шагов на пять. Застывает, спиной ко мне. Горб вспучивается, плечи напряжённо подняты... Спокойно наблюдаю. Секунд через тридцать плечи опускаются. Порядок! Умеет брать себя в руки. Конечно, когда считает необходимым. Оборачивается, подходит. Бледен от злости, но говорит холодно:

— Неправедливо обижаешь. Деньги — грязь, я не ради грязи работаю. Весь Бадахшан от голода спасаю. У любого спроси.

— Честь и хвала, — говорю, — но у меня другая специализация. Ну что, без обиды?

Алёш скалит острые зубки, топорщит усики, произносит надменно:

— Я тебе предлагал человеком стать. Под Зухуром ходишь, а мог хозяином сделаться. Но ты, наверное, подчиняться привык, свободу, наверное, не любишь... «Без обиды?» — спрашиваешь. На себя обижайся: мог плётку взять, ошейник выбрал. Поступай как хочешь, это твой выбор. Но ты мне отказал. Я не забуду. В Хорог лучше никогда не приезжай...

Олег

Эпический герой погиб, не нарушив законов жанра. Соблюдены все необходимые условия: загадка, предательство, мрак... И словно для того, чтобы придать эпосу окончательную стилистическую завершенность, явился таинственный сказитель, повествующий о смерти вождя.

— Кто он вообще такой? Откуда он взялся, этот Ястребов?

Даврон отмахнулся:

— Не знаю. Это что, важно?

— Смотря для кого. Для тебя, уверен, да. С какой радости он взял да вывалил закрытую информацию человеку, которого видит впервые в жизни?

— Ну?

— Думаю, готовит почву. Планирует как-то тебя использовать. Золотое правило вербовки — доверительные отношения, небольшая услуга.

— И что?

— Не хочу, чтоб ты вляпался...

— Не маленький, — отрезал Даврон. — Своя голова на плечах. Думай лучше о собственных проблемах.

Он всякий раз обрывал тему, когда она затрагивала его лично. Я не стал заикливаться:

— Ладно, будь по-твоему: доброму дяде захотелось поделиться с человечеством опасными тайнами. Из щедрости... Вопрос: откуда у доброго дяди сведения? Следствие не раскрывает тайны посторонним. А из этого следует...

— ...ровным счётом ничего. Я же говорил, у мужика большие связи.

— Предположим, — сказал я. — А как тебе такой вариант? Информация у него из первых рук. Он каким-то образом участвовал в ликвидации Сангака. Может, сам организовал. А то и стрелял.

— В принципе, возможно все что угодно, — согласился Даврон. — Но такие, как Ястребов, самолично не стреляют. Калибр не тот.

— Значит, организовать всё-таки мог?

— Брось гадать,— сказал Даврон.— Бесплезное занятие.

Да, конечно, бесплезное. При всей подозрительной осведомлённости Ястребова, его повествование состояло из сплошных пробелов.

— Эх, расспросил бы ты его подробнее...

Даврон появился в моей каморке поздно ночью после поездки в Калай-Хумб. Открыл без стука дверь, в темноте остановился на пороге. Наверное, я стал очень чутко спать — проснулся при первом же скрипе. Честно говоря, первой мыслью было: пришли убивать. Но убийца медлил, не входил. Я нашарил спички, в волнении чуть было не опрокинул чирог. Накануне днём, пока я бродил по кишлаку, в каморке сменили керосиновую лампу на глиняный светильник с отколотым носиком. То ли очередное проявление немилости, то ли во дворце начали экономить дефицитный керосин.

Фитиль светильника затрещал, разгораясь. Даврон вошёл, сел и начал рассказывать. Вероятно, необходимо было выговориться. Сообщение Ястребова он пересказал в своей обычной протокольной манере, ровным, бесстрастным голосом, и моё воображение, восполняя недостачу деталей, перекинулось от событийной стороны дела к детективной.

Утром в штаб Народного фронта пришли три человека. Кто они такие, никто в штабе не знал. Сангак надолго заперся с незнакомцами в своём кабинете, из-за двери слышался его взволнованный голос, выкрикивавший ругательства. После ухода посетителей Сангак сел в машину и принялся колесить по округе — объехал несколько мест, где обычно бывал Файзали: посёлок Кызыл-Калу, курган-тюбинскую больницу Караболо и его штаб.

Связана ли бурная беседа с последующей трагедией? «После» отнюдь не значит «вследствие». Кто были эти незнакомцы? Знать бы по крайней мере, как они были одеты, как держались, имелись бы основания предполагать: чиновники, спецслужбисты, боевики... Водитель Сангака сообщил, что его шеф искал Файзали. Но возможно, не искал, а пытался что-то выяснить...

Во второй половине дня Сангак встречался на границе с ходоками от таджикских беженцев, ушедших в Афганистан. Беженцы боятся возвращаться на родину, но Сангак пообещал, что лично разберётся с полевыми командирами. Неизвестно, подразумевал ли он при этом конкретно Файзали, но именно к нему он поехал после встречи, сказав: «Надо проведать ребят» и отделившись от

общей колонны. С ним было трое телохранителей, двое из них — его родные племянники.

В Вахшской долине в конце марта солнце заходит к семи часам вечера. Около десяти Сангак прибыл в совхоз имени Куйбышева. К дому Файзали он подъехал в темноте — в посёлке отключили электричество. Случайность? Обычные для военного времени перебои с электроэнергией или кто-то создавал условия для убийства?

Странные обстоятельства на этом не заканчиваются. В ту ночь отсутствовали два БТРа, которые круглосуточно охраняли дом Файзали. Кто распорядился их убрать? Хотя, вернее всего, вопрос риторический. Вряд ли кто-то осмелился бы угнать бронированные машины без ведома Файзали и не вызвав его гнева и подозрений. К тому же, сам Файзали в ту ночь отпустил свою постоянную охрану — тридцать человек. С ним остался только личный телохранитель по имени Солибой. Знал ли Файзали наверняка, что к нему придет Сангак? Правда, если Сангак побывал в его штабе, он мог предупредить людей Файзали о своём приезде.

Водитель Сангака остался в машине на дороге. Телохранители расположились во внутреннем дворике. До половины второго ночи Сангак и Файзали беседовали, пили чай. О чем говорили, неизвестно. Жена и брат Файзали клянутся, что беседа была спокойной. Около двух часов ночи Сангак собрался уезжать.

Файзали пошёл проводить его до ворот. По словам Хусейна, его брат не взял с собой оружия. За калитку вышло шесть человек — Файзали с телохранителем Солибоем, Сангак Сафаров с тремя своими охранниками. Через минуту раздались три выстрела — сначала один, потом ещё два. Следом несколько автоматных очередей...

Хусейн и жена Файзали выбежали на улицу. Их рассказ также полон неточностей и неясностей. Но можно ли требовать точности от свидетельских показаний, прошедших, как в «глухом телефоне», через бог знает сколько ретрансляторов?

Как бы то ни было, суть следующая: они увидели (с фонарями выбежали?), что все телохранители Сангака убиты. Солибой — ранен в руку и лёгкое. Водитель Сангака исчез. Файзали лежал на спине, на дорожке, ведущей к воротам. Напротив него в трёх шагах, держась за бок, лежал Сангак. Оба были ещё живы. Сангак, прижимая одну руку к ране, другой, казалось, пытался заслониться от выстрелов и хрипел: «Подождите, подождите...» Можно

предположить, что он принял бегущих родственников Файзали за убийц. Или напротив, узнал их и хотел что-то объяснить. Через минуту он скончался. Затем умер Файзали. Перед смертью успел сказать: «Подлец ты, трус, сделал своё подлое дело...» Имени не назвал, к кому обращался — неизвестно. Хусейн унёс тело брата во двор. Тело Сангака осталось лежать на улице.

На следующее утро приехала милиция и машина с солдатами. У ворот были обнаружены трупы ещё троих телохранителей Файзали. Откуда и когда они появились, никто объяснить не мог. Вдруг откуда ни возьмись нашёлся пистолет Сангака. Домашние Файзали не видели его ни у Сангака в руках, ни рядом с ним. Конечно, они могли не заметить его ночью. Но утром, когда рассвело, обнаружили бы непременно. Солдаты погрузили тело Сангака в кузов грузовика и увезли в Куляб...

— Есть ещё какие-нибудь подробности? — спросил я.

— Никаких, — ответил Даврон. — Ястребов сказал, что, по версии следователей, Сангак первым выстрелил в Файзали. В голову. Две следующие пули — в его телохранителя. На выстрелы прибежали охранники Файзали. Те, которых нашли утром. Они-то и застрелили Сангака.

— А их кто?

— По версии, телохранители Сангака.

— А этих кто?

— Спроси у следователей, — сказал Даврон раздражённо. — Охранники Файзали. Кто ж ещё?

Да, что и говорить, инсценировка была топорной.

— Бред! — продолжал Даврон. — Сангак не мог выстрелить первым. Смысла нет. Файзали, тот всегда был готов шмальнуть в человека. Под настроение. Из прихоти. Сангак — никогда. В прошлом он убивал. Открыто, не тайком. При свидетелях. Всегда был смысл. Его, мёртвого, подставляют, факт. Пытаются замарать. Политика.

— Может быть, снайпер работал? — предположил я.

— У Файзали остался ожог вокруг раны. Кто-то стрелял в упор.

— Водитель Сангака! — воскликнул я. — Он-то объявился?

— Сбежал.

— Он и стрелял. Мог подойти вплотную, никто даже ухом бы не повёл. Его допрашивали? Что он говорит?

— Не знаю, — мрачно сказал Даврон. — И вообще, кончай игру в Шерлок Холмса.

— Ты разве не хочешь понять, кто убил?

— Не хочу! — отрезал Даврон. — Какая разница, кто? Ты вообще не там копаешь. Ищешь обычную логику. А действовали совсем другие законы. Логика системы.

— Какой си... — начал я и осёкся.

Вспомнил предостережение Джахонгира — не расспрашивать Даврона о «хитрой теории». А он продолжал:

— Для тебя это забава, загадка. А для меня — полный крах. Понимаешь? Смерть Сангака — это конец всему. Помнишь слова? «Восстановим Советский Союз». Не дали бы. Но и он пузатой сволочи не дал бы разгуляться — это факт.

Было бы неуместным говорить Даврону, что вместе с Сангаком погибла ещё одна загадка — кем он являлся в действительности. Я лишь спросил:

— Веришь всему, что он говорил?

Это какой-то умопомрачительный парадокс: бывшие коммунисты рушат остатки советской системы, а бывший преступник, ненавидевший коммунистов, стремился её восстановить.

Даврон ответил вопросом на вопрос:

— Как думаешь, почему я к нему пошёл?

23

Карим Тыква

Сердце кровью плачет, слезы печень разъедают... Куда идти, не знаю, что делать, не понимаю. Почему они дядюшку Джоруба не слушали? Он: «Зарина просватана», — сказал. Он отказ дал, «Нет», — сказал. Почему несправедливо поступают? Почему без согласия родни девушку насильно забирают? Как теперь жить буду?

Едем. Куда, не знаю. Даврон приказал: «С Зухуром поедете». Оружие взяли, в «скорую» погрузились, вверх по ущелью едем. Шухи-шутник спрашивает:

— Эй, Тыква, о чем печалишься? Почему рожа, как хлеб подгорелый?

Молчу. Шухи не понимает:

— Тыква, расскажи, почему тебя тыквой зовут.

Молчу. Хол отвечает:

— С тыквами играть любит.

— Нет, с тыквой не поиграешь,— Шухи возражает.— Корка жёсткая, а мяса мало. Я одного мужика знал, он с арбузами играл. Арбуз на бахче на солнце нагреется, горячий станет, внутри — мягкий и сочный, как кус у девушки. Тот мужик в корке дыру сделает и...

В это время фургон тормозит, останавливается. Стоим. Гург-волк приказывает:

— Эй, Тыква, проверь, что за дела.

Дверь открываю, выхожу. Вижу: на крутом спуске перед ручьём Оби-Бузак стоим. Ручей дорогу перегораживает. Весной он всегда разливается. Посреди разлива передовой «газик» со снятым верхом застрял. Мутная вода, как пахтанье белёсая, выше колёс захлёстывает. На берегу машины Даврона и Зухуршо друг за дружкой стоят. Даврон в машине со снятым верхом во весь рост поднимается, мне рукой машет. Говорю:

— Даврон знак даёт. Наверное, засада.

Ребята из «скорой» вылезают, ноги разминают.

— Э-э-э,— Гург-волк говорит,— зря Даврон трухает. Кто здесь будет засаду устраивать? В войнушку играет. Командиром себя показывает...

Даврон учил, как при угрозе засады на дороге поступать надо. Осматриваюсь. Дорога узкая. Слева скала отвесная. Справа крутой обрыв, а под ним внизу река Оби-Санг бурлит. Приказа Гурга не жду. Автомат с предохранителя снимаю, ствол влево, на верх скалы направляю. Ребята смеются. Шухи говорит:

— Парни, отдыхать ложитесь. Тыква защитит.

Внизу, посреди ручья «газик» дёргается, как лягушка скачет, с места не трогается. Водитель Зухура выходит, к воде направляется, Нуру, шофёру «газика», орёт:

— Эй! Под колёсами посмотри!

Нур не слышит — вода бурлит, мотор ревет. Водитель опять кричит. Нур оборачивается, щерится: «Чего тебе?»

— Э, дурак, девона! Под колёсами проверь! — Зухуров водитель орёт.

Зухуршо из машины выходит, к воде идёт. На плечах змей лежит. «Это Зухуршо дурак, девона,— думаю.— Зачем тяжёлый груз

на себе зря таскает? Перед кем хвалится?» Раньше я Зухуршо очень уважал. Теперь совсем не уважаю. Несправедливый человек. О Зарине вспоминаю, печалюсь.

Зухуршо у воды останавливается. Наблюдает.

Нур, шофёр застрявшего «газика», в воду спрыгивает, нагибается, под передним колесом шарит. До дна не дотягивается. Вода высокая. Нур воздуха набирает, голову ко дну, будто утка, опускает. Парень на переднем сидении за борт перегибается, за руку его держит, чтоб течением не унесло. Нур шарит, шарит, выныривает.

— Эй, Нур, что нашёл?! — Зухуров водитель орёт. — Если золото, с нами поделись!

Нур, мокрый, злой, кричит, ругается:

— Тут какая-то сука...

Вдруг будто гром ударяет. Выстрел. Откуда-то сверху. Наверное, со скалы. Туда смотрю, никого не вижу. В узких местах не поймёшь, откуда звук идёт. По ущелью эхо прокатывается. В кого стреляли? Рядом со мной ребята по верхушке скалы из автоматов две-три очереди дают и за «скорой» прячутся.

Слышу: внизу, у ручья, кричат. Смотрю: у ног Зухуршо змей бьётся, извивается. Потом вижу: Нура, шофёра газика, к капоту машины отбрасывает. Наверное, выстрела испугался, руку отпустил. Вода его вокруг переднего крыла проволакивает и вниз по течению тащит. Ребята, которые в «газике» сидят, за борт спрыгивают, позади машины хоронятся.

— Тыква, чего хайло разинул?! — Гург-волк кричит. — Сюда давай!

Спыхватываюсь, тоже позади фургончика присаживаюсь.

— Откуда выстрел? — Гург спрашивает.

— Я не засёк, — Шухи говорит.

Тихо. Никто не стреляет.

— Ушёл или зашкерился?

Опять у ручья кричат:

— Мора держи!

Выглядываю, вижу: Зухуров змей в нашу сторону удирает. Огромный, длинный. Удивляюсь: почему не извивается? Будто прямая жердь, которую кто-то на невидимой верёвке вдоль по дороге тащит. Наверное, пуля в него попала. Змей мимо проскакивает. Мелкие камешки под брюхом шуршат: шшш-ш-ш-шшшш-

шшш-ш-ш-ш-ш-шшшш-ш-ш — ш-ш-шшшш... Прополз и дальше, вверх по подъёму, утекает.

— Ловите! — Зухуршо кричит.

Громко кричит, страшно. Эхо по ущелью, как гром, прокатывается. Ребята смеются, змею вслед свистят. Никто не догоняет. Слышу, Зухур опять кричит:

— Сукины дети! Мора хватайте!

Ребята один другого толкают:

— Ты лови!

Топчутся, пересмеиваются. Боятся. У меня в душе смелость вспыхивает.

— Йо, бисмилло! — кричу, за змеем бегу.

На верху спуска, слева у скалы большой валун лежит, под ним — щель. Мор в щель голову сует, внутрь заползает. Хвост снаружи остаётся. Подбегаю, автомат бросаю, за хвост хватаю, тяну. Хвост, будто лошадиная нога, толстый. Змей хвостом мотает, меня из стороны в сторону бросает. Я тяну. Мор поддаётся, назад выползает. «О-ха,— думаю.— Поймал».

Змей из щели голову выдёргивает. Передняя часть тела широкой волной изгибается и... голова на меня бросается.

— Вай!

Змей зубами в мою левую ляжку сбоку впивается. Будто собака. Я хвост из рук выпускаю, змея за шею дёргаю, кулаком между глаз бью. Змей сильнее зубы сжимает. Длинным телом ко мне подтягивается, обе ноги обвивает. Одно кольцо набрасывает, другое третье... Бедра охватывает, колени, икры, лодыжки. Не жмёт, не давит, а вырваться невозможно. Я будто в кадке с крутым тестом по самые бедра увяз. Слышу, как змей дышит: «У-у-у-у-ух...» «Ху-у-у-у-у...» «У-у-у-у-ух...» «Ху-у-у-у-у...»

«Ох, упаду,— думаю.— Он за шею схватит, задушит. Что делать?»

Автомат далеко лежит, не достану. Даже камня рядом нет. Один в стороне лежит. Острый, на баранью голову похожий. Шагнуть не могу. Если на землю брошусь, может быть, дотянусь. Но тогда змей до моего горла доберётся.

«Всё равно,— думаю,— или задушит, или от змеиного яда умру». Укус на ноге болит, сил нет терпеть. «Не стану ждать, сам его убью,— думаю.— А потом как Аллах захочет...»

На дорогу падаю, к бараньей голове тянусь. Пальцами острый край камня царапаю, ухватить не могу. На локоть опираюсь, чтоб ближе подползти, голос Зухуршо слышу:

— Удивительно! Кишлачный дурень, а Мора поймал.

Голову поворачиваю. Он и ребята вокруг толпятся. Бог спас. Я змея если б убил, Зухуршо меня бы жизни лишил. Когда за камень хватался, о том не подумал. Очень страшно было.

Шухи говорит:

— Нет, это Мор дурня изловил.

Ребята смеются, во все глаза смотрят, ждут, что дальше случится. Мор опять шуршит, ещё одно кольцо на меня набрасывает. Я терплю. От боли в бедре кричать хочется — молчу. На Зухуршо смотрю, вижу: ему нравится, что Мор в меня зубами впивается, кольцами обвивает. Силы собираю, Зухуршо говорю:

— Прикажите ему, пусть отпустит.

Зухуршо усмехается. Шухи-шутник спрашивает:

— Эта змея Тыкву заглотать сможет?

Ребята хохочут:

— Гляди, гляди, заглатывает!

Хол автомат за спину закидывает, на корточки присаживается, Мора за шею тащит. Я не выдерживаю, кричу. В это время Даврон подходит.

— Ты ему всё мясо из ноги вырвешь, — говорит. — У этой змеи зубы назад загибаются. Чем сильнее тянешь, тем глубже впиваются. Надо змее пасть пошире раскрыть. По очереди сначала нижнюю челюсть, потом верхнюю вперёд протолкнуть.

Так и делают. Потом ноги освобождать начинают. Хол голову змея держит, ребята нижнее кольцо с моих лодыжек спускают, будто толстый обруч через ступни стягивают, за следующее принимают... Наконец освобождают. Встаю, едва на ногах держусь. Укушенное место будто огнём жжёт. Даврон говорит:

— Молодец, Карим. Смелый парень.

Несколько ребят змея назад к машине несут. Я автомат поднимаю, на предохранитель ставлю, вслед за ребятами хромаю. Хол говорит:

— Если змею ранят, она всегда траву ищет. Бузчи-бузчи находит, один листок срывает, слюной мочит, к ране приклеивает.

Шухи смеётся:

— Эту змею тоже надо в горы отпустить. Пусть сама себя вылечит.

Зухуршо гневается:

— Я тебя в задний проход вылечу и в горы выпущу.

Ребята змея до машины Зухуршо доносят, в корзину кладут, на заднее сиденье ставят. Те ребята, что посреди разлившегося ручья Оби-Бузак застряли, уже в машине сидят, во все стороны автоматы выставляют. Даврон своему водителю командует:

— Алик, лезь в воду. Проверь, что под колёсами. Трос возьми...

Алик ворчит:

— Чуть беда — «Алик, сюда!» Надоело.

Верёвку из-под сиденья достаёт, один конец вокруг пояса обвязывает, другой ребятам передаёт, сам в воду заходит, трос к задку «газика» прицепляет. К передку перебирается, в воду с головой окунается, выныривает, кричит:

— Доска с гвоздями. Колесом придавило, не вытащить.

— Ладно, возвращайся, — Даврон приказывает. — Верёвку им оставь.

Алик, мокрый, на берег выходит, свободный конец троса к передку цепляет, за руль садится, застрявший «газик» назад дёргает. Один из ребят верёвкой обвязывается, в воду спрыгивает. Те, кто в кузове, верёвку держат. Парень, который в воде, доску поднять пытается.

— Чего возишься? — Зухуршо кричит.

— Камнями придавлена.

Даврон приказывает:

— Помогите ему.

Второй парень в мутную воду спускается. Вдвоём длинные доски со дна поднимают. Из досок гвозди большие торчат. Ребята доски в кузов бросают, сами туда забираются, один за руль садится. Алик тросом «газик» на берег вытаскивает. Теперь «газик» проезд загораживает. Его не объехать, дорога узкая.

— Загоняйте назад, в воду, — Даврон говорит. — В сторону, вниз по течению, чтоб место освободить. Потом заберём.

— Передние колёса спущены, — кто-то жалуется.

— Ребята подтолкнут.

Начинают в ручей загонять. Ребята изо всех сил налегают:

— Круче выворачивай! Вправо! Ещё круче!

Я на берегу сажу. Нога болит. Будто кто-то к змеиному укусу дно сковородки, на огне раскалённой, прижимает. «Наверное, мя-

со от яда горит», — думаю. Штаны спустить, посмотреть нельзя. Неприлично. Рядом Зухуршо с Давроном беседу ведут, меня не замечают. Я слушаю. Зухуршо говорит:

— Мор вместо меня пулю принял. За него весь кишлак поплачется.

— Какой кишлак? — Даврон спрашивает. — Ты знаешь, кто стрелял? Из какого кишлака?

— Из Талхака. Уверен, за парторга мстят.

— Не факт. Про родичей Зебо, твоей жены покойной, забыл? Да и в Ворухе ты многим на хвост наступил. Притом все боятся, что землю отберём. На нас в каждом кишлаке зуб точат.

— Все ответят.

— Всех не перебежьешь, а оружие реквизировать необходимо. Сегодня же. Давай так: «волга» здесь не пройдёт, ты садись к бойцам в «скорую» и дуешь в верхний кишлак. Я с остальными — в Талхак. Завтра вместе займёмся Ворухом.

Зухуршо говорит:

— Сделай всё сам. Я назад, в Ворух вернусь. Ветеринара позову, Мора надо лечить.

Даврон усмехается:

— Ладно. Лечи своего дракона, а я вечером вернусь, тебя полечу, — и кулак потирает.

«Зачем, — удивляюсь, — Зухуршо лечить, если пуля в змея попала? И разве Даврон доктор?»

«Скорая» задний ход даёт, за ней машина Зухуршо задом трогается. Вверх уезжают. Найдут, где дорога пошире, разъедутся, развернутся. Время проходит, «скорая» возвращается. Ребята, мокрые, злые, в неё набиваются. Кто не поместился, тех Даврон в свой «уазик» сзади сажает. Едем. Ногу жжёт, будто у костра сижу, у самого огня, отодвинуться не могу. Думаю: «Нуру ещё хуже. Его, беднягу, вода в Оби-Санг утащила? Что с ним? Жив ли?»

Шухи-шутник меня по плечу хлопает:

— Тыква у нас сегодня герой.

Ребята смеются. Почему, не знаю.

Шухи спрашивает:

— Хол, стук слышишь?

Я тоже слушаю. Мотор гудит, ветер в открытое окно дует, шуршит.

— Камешки по днищу, наверное, стучат, — говорю.

— Это у меня яйца гремят, — Шухи хохочет. — В ледяной воде ледышками стали.

Ребята смеются. Так до Талхака доезжаем. На площади у мечети останавливаемся. Обычно здесь всегда люди стоят. Машину попутную ждут. А то собираются, чтоб поговорить, новости узнать. Сейчас никого нет.

Даврон спрашивает:

— Орлы, кто из этого кишлака?

Шаг вперёд делаю.

— Ты как, на ходу? — Даврон спрашивает. — Ноги держат?

— Так точно! — отвечаю.

— Тут у вас есть такой чёрный, кособокий... Зухуршо асаколом его назначил. Найди.

Объясняю:

— Шокир это, Горохом зовут. Сюда привести?

Даврон молчит. Думает, наверное.

— Нет, в дом к тому деду. Солдату старому, с медалями.

Догадываюсь:

— К деду, значит, Мирбобо.

— Идём, покажешь, где живёт. И асакола туда доставь. — Ребята говорят: — Вы, орлы, здесь ждите. Местных не обижать. Грубое слово кому скажете, язык вырву.

— Нас не обидят, мы не обидим, — Хол говорит.

Даврон хмурится:

— С Рембо, дружком своим, свидеться хочешь?

К дому деда Мирбобо идём. Ногу жжёт, хромаю. Думаю: придём, Зарина увидит, что я ранен, спросит: «Что такое?» Даврон скажет: «Карим змея поймал. Все ребята испугались, один Карим не испугался. Смелый парень Карим». Зарина встревожится, скажет: «Рану надо перевязать». Я скажу: «Зачем? Сама пройдёт». Вспомнил, что её замуж выдают. Иду, печалюсь. Даврон молча шагает. Потом говорит:

— Да, — говорит, — так правильно будет. Духов к ним нельзя подпускать. Дед — старый фронтовик, ветеран. Эта семья — хорошие люди, с ними вежливо надо...

Молчит. Чтоб разговор поддержать, говорю:

— Очень большая змея. Зубы очень острые.

Даврон будто не слышит.

— Что? — спрашивает. Потом говорит хмуро: — Да, острые...

Опять молчит. Я тоже молчу. Хорошо бы с Давроном побеседовать, от горьких мыслей отвлечься. Но первым разговор начинать нельзя. Неприлично. Я когда маленьким был, отец часто говорил: «Карим, сынок, учись молчать, пока мал. При старших язык за зубами держи. В неспелой тыковке семечки не гремят». А я в подол рубашонки камешков набросаю, прыгаю и кричу: «А у меня гремят, у меня гремят». Отец с мамой смеялись, Тыковкой меня прозвали. В детстве очень болтлив был. Вырос, правильно себя держать научился.

Потом Даврон говорит:

— Эта девушка...

— Какая? — спрашиваю.

Даврон сердится:

— На которой Зухуршо хочет жениться.

— Зарина, — говорю. — Очень хорошая девушка. Красивая, работающая. Волосы золотые.

Даврон не отвечает. Чувствую: сердится. Почему сердится, не пойму. Тоже очень сильно сержусь.

— Очень хорошая девушка, — говорю.

Приходим, в мехмонхоне садимся, дед Мирбобо тоже с нами сидит. Жду, может быть, Зарина чай принесёт. Жаль, если маленькую девчонку с чайником пришлют. Хорошо, если Зарину. Даврон приказывает:

— Иди, Карим, тащи сюда асакола.

Автомат беру, выхожу, вниз по улице хромаю. Когда к деду Мирбобо шли, нога меньше болела. По верхнему мосту через Обиталх — речку, которая наш кишлак на две половины делит, — на эту сторону перехожу, к дому, где Шокир у родичей ютится, подхожу. У ворот останавливаюсь, кричу: «Эй, асакол!» Пять раз кричу. Наконец мальчишка из дома выскакивает.

— Чего?

Этот Шокир большим человеком себя выставляет. Ему теперь зазорно на каждый крик выходить. Племянника послал.

— Шокир где?

— Занят. Сказал, чтобы ты подождал.

Сержусь. Очень сильно сержусь. Автомат с плеч сбрасываю, во двор вваливаюсь. Со злости в дом вломиться хочу, но, спасибо Богу, одумываюсь. Нельзя. Женщины в доме. Чужим запрещено входить. Справа от ворот — мехмонхона. Я туда заскакиваю, воз-

ле порога ботинки военные скидываю, на почётное место усаживаюсь, автомат рядом с собой на курпачу бросаю и в раскрытую дверь мальчишке приказываю:

— Скажи, пусть сюда идёт! Скажи, Карим ждать не будет.

«Если мигом не прилетит, — думаю, — то я его...» Но гнев думать мешают. Никак сообразить не могу, как с Горохом поступить, если задержится. А если прибежит, но, как всегда, насмешничать начнёт? Злой он человек, Шокир. Ехидный. «Если потешаться станет, — думаю, — то я его...» И опять ничего придумать не могу — гнев разбирает. Слышу: шаги во дворе. Шокир-Горох к мехмонхоне спешит, ковыляет. Понял, с кем дело имеет.

Входит. Меня на ноги поднимает, будто сухой лист ветром подхватывает. Вскрываю и стою. А как иначе? Старший в комнату вошёл. Стою и сам на себя злюсь — зачем вскочил?! Не хотел, а встал. Чувствую, Шокир усмехнётся, свысока ко мне обратится, старшинство своё наружу выпятит... А Шокир ко мне подходит, первым обе руки с уважением протягивает:

— Здравствуй, Карим-джон. Добро пожаловать. Как ты? Всё ли хорошо? Как дела, как здоровье? Семья как?

Хочу я ему одну руку подать. Одну тяну, а вторая сама собой подтягивается. Обеими пожимаю.

— А-а, дядюшка Шокир. Здравствуй.

Сажусь, не дожидаясь, пока старший, хозяин дома, сядет. Шокир напротив опускается — не на мягкую курпачу, вдоль стены расстеленную, а прямо на пол, на вытертую кошму. Своё подчинённое положение подчёркивает.

— Срочное дело, Шокир, — говорю. — Даврон тебя к себе вызывает.

Не хочу с ним вежливость соблюдать — вначале о здоровье, делах и семье расспросить. В это время мальчишка через порог заползает. Чайник притаскивает, свёрнутый дастархон с угощением. А сам исчезает. Шокир, на ноги не поднимаясь, на карачках до порога добирается, дастархон ко мне подволакивает. Скатерть раскидывает, чайник с пиалой ставит, лепёшку на куски ломать начинает.

— Чаю выпей, пожалуйста, Карим-джон.

— Некогда, — говорю. — Даврон ждёт.

Неправильно так говорить, нельзя от хлеба отказываться, но я всё равно говорю.

Шокир лебезит:

— Извини, что угощение скудное. Хотя Зухуршо меня асаколом назначил, я человек бедный. Такой почётный гость в дом пришёл, а ублажить нечем. Прости нашу убогость.

— Э, асакол, не плачь,— говорю.— Скоро весь кишлак богатым будет. И ты тоже.

Шокир просит:

— Ну хоть этих райских плодов отведай.

С тарелки ягоду сушёного инжира берет, мне протягивает.

— Недосут,— говорю.

— Карим-джон, не обижай, пожалуйста.

Не хочу брать, а беру. Инжир с детства люблю. Мама мне рассказала, что инжир — райское дерево, и прародители наши, Дед Одам и Хаво-момо, когда ещё в раю жили, одним инжиром питались, и я всякий раз, как ягоду в рот кладу, будто ещё при жизни на минуту в рай попадаю.

Шокир говорит:

— Ты теперь аскер, военный йигит, всем нам защита.

Опять, как прежде, надо мной смеётся? Понять не могу. Э-э, какая разница! Я приказываю, он подчиняется. Встаю, автомат беру, у порога обуваюсь.

— Идём.

Шокир за мной плетётся. По крутой улочке к мосту через Обиталх спускаемся. Нога очень сильно болит, я терплю, изо всех сил не хромать стараюсь. Мужчина не должен слабости поддаваться. Шокир-Горох просит жалобно:

— Карим-джон, окажи милость, придержи шаг. Ты хоть и ранен на войне, никак за тобой не поспею. Как говорят, лев, даже раненый, сильнее собаки.

Приятно мне, но говорю сурово:

— Откуда знаешь, что ранен? Упал, ногу ушиб.

Шокир говорит:

— Разве такой, как ты, йигит может упасть? Ты, Карим-джон, наверняка в бою ранен. Но нам, простым людям, про ваши военные дела нельзя знать. Потому рассказать не прошу. Даже если сам рассказывать начнёшь, слушать не стану.

Обидно мне становится.

— Почему не станешь?

— Бог мне здоровья не дал, в армии я не служил,— говорит,— но про военную тайну тоже кое-что слышал. Тебя, дорогой Карим,

подводить не хочу. Расскажешь — командиры ругать будут, накажут...

Я сержусь. Этот шакал никакого уважения не имеет.

— Э-э, что знаешь?! — говорю. — Никто наказывать не станет. Мне сам Зухуршо спасибо сказал. Даврон меня похвалил.

В сердцах всё ему рассказываю. Как нас возле ручья Оби-Бузак обстреляли. Как я змея спас. Он слушает, языком цокает:

— Ц-ц-ц, молодец, Карим! Керу твоего деда хвала!

Так за разговорами до моста спускаемся, к дому деда Мирбобо поднимаемся. В мехмонхону входим, садимся. Я в углу пристраиваюсь.

— Эй, ты чего? — Даврон зовёт. — Сюда иди.

Я к дастархону перебираюсь, сбоку присаживаюсь, поближе к двери, где младшим сидеть положено. Даврон чай наливает, Шокиру-Гороху пиалу протягивает.

— Такое дело, уважаемый, — говорит, — надо народ собрать. Объявить, чтобы мужики сдали огнестрельное оружие. Всё до единого ствола.

Шокир тубетейку на лоб сдвигает, затылок потирает, умную рожу корчит.

— Важное дело, надо с умом подойти... Без меня вам бы его ни за что не осилить. Не зря уважаемый Зухуршо меня асаколом назначил. Зачем мужиков собирать? Я в этом кишлаке всё про всех знаю. Сказано: «Никакую тайну от людей не скроешь, луну глиной не замажешь».

— Ладно, — Даврон говорит. — Проверим. Сколько в этом доме оружия?

Шокир задумчивую рожу строит, глаза вверх поднимает, будто список на потолке читает. Пальцы один за другим загибает:

— Ружьё с двумя стволами, которое дробью стреляет. Раз. Карабин. «Белка», кажется, называется. Два...

Дед Мирбобо дремлет, будто Шокир про чужие ружья рассказывает.

— Три: с одним стволом ружьё. Старое, не стреляет. Починить надо.

Даврон усмехается:

— Вас, уважаемый, надо было не асаколом, а каптенармусом назначить.

«Что за должность? — удивляюсь.

Шакал Шокир опять вверх смотрит.

— Ещё одно ружье есть,— говорит.— Совсем старинное. Мультук.

Дед Мирбобо в разговор вступает. Просыпается, глазами моргает, выпрямляется.

— Это прошлых времён ружьё,— шамкает.— Дедовское ружьё. Усто Палвон из Ванча его сработал. В давние годы ванчское железо и ванчские кузнецы лучшими считались. Мой дед покойный знаменитым усто, мастером-охотником, был. В молодости у знаменитого усто Хакима ремеслу обучался. Дед это ружьё моему отцу передал, а отец мне вместе с рисолей вручил...

— Что за рисоля? — Даврон спрашивает.

— Охотничье наставление,— дед Мирбобо объясняет.— Каким охотник быть должен, какую жизнь вести, чтобы настоящим усто-мастером стать. Говорят, в прежние века рисоля на бумаге была записана. Мне-то отец на словах сообщил. А я сыну, Джорубу, передал. А все прочие охотники ныне не те...

Я думаю: «Почему дед Мирбобо про меня не сказал?!» Я от дядюшки Джоруба охотничье наставление получил. Он мне рисолю пересказал, выучить наизусть заставил. Дядюшка Джоруб — мой усто-учитель, искусству охоты меня обучает. Потом думаю: «Обижаться не надо. Скромным надо быть».

Дед Мирбобо продолжает:

— Старинный охотник прежде, чем в горы пойти, молитвой себя очищал, от жены воздерживался. Нынешний же — проснулся, встал, ружьё взял, в горы пошёл. Как в сельмаг за консервами...

В это время в раскрытой двери Зарина появляется. Через порог перегибается, блюдо, большое, деревянное, полное мяса жареного, на пол ставит. У меня сердце как бешеное бьётся. Чуть не плачу. Какая красивая! Волосы будто золото. На неё не смотрю. Шакал этот, Шокир, глазами своими шакальими Зарину разглядывает, усмехается. Зарина выпрямляется, к Даврону обращается, будто в школе у доски выученный дома урок проговаривает:

— Даврон, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как там Андрей?

— Нормально. Служит,— Даврон отвечает, пустую пиалу в руках крутит.

— Не обижают его?

Дед Мирбобо говорит:

— Иди, Зарина-джон, иди. Я спрошу. Нехорошо молодой девушке с гостями заговаривать...

Зарина взглядом деда ожигает, будто горсть раскалённых угольков бросает, убегает. Я вскакиваю, блюдо поднимаю, на середине дастархона ставлю.

— Не беспокойтесь, дедушка,— Даврон деду Мирбобо говорит.— Внук ваш за себя постоять умеет.

Правильно говорит. Андрей не испугался, сразу с троими дрался. Побили его, конечно, немного, но ничего — все кости целые остались.

— Хорошо,— дед Мирбобо кивает.— Молодым в армии служить обязательно надо.

Шакал Шокир тем временем по-хозяйски лепёшки ломает, вокруг блюда разбрасывает.

— Во имя Бога милостивого, милосердного. Берите, пожалуйста.

Сам первый кусок мяса хватает, в рот отправляет. Дед Мирбобо вздыхает:

— Сейчас-то мяса много — что снега зимой в горах. Как жить будем? Весь скот перерезали. Нельзя ружья у людей отнимать. Если отберёте, совсем мяса в доме не станет. С чем наши мужики на охоту пойдут? С луком да пращей — только воробьёв бить.

— Дедушка,— Даврон говорит,— вы на войне были, воевали, сами знаете. Стреляли в нас. Нельзя в таких условиях людям оружие оставлять.

А Шокир, дармовое мясо прожевав, за новым куском тянется.

— Без меня,— повторяет,— вы бы ни одного ствола не отыскали. Люди здесь хитрые. Прослышат, что отнимают, спрячут — не найдёшь.

Дед Мирбобо спрашивает:

— Что же, сейчас заберёте или как?

Даврон говорит:

— Как мы ваш арсенал потащим? Вечером сдадите, вместе со всеми. А вот мультук покажите.

Дед Мирбобо говорит:

— Карим, сынок, идём, принесёшь.

Встаёт. Мы все на ноги поднимаемся, я вслед за дедом Мирбобо иду. В чулане ружья на гвоздях висят. Одноствольное ружьё. Двуствольное ружьё. Один гвоздь пустой торчит. Я гляжу на гвоздь,

на котором карабин должен висеть, молчу. Дед Мирбобо на меня смотрит и тоже молчит. Потом говорит:

— Бери мультук, сынок.

Мультук — длинный, старый, из чёрного железа — в углу стоит. Беру.

— И пояс возьми,— дед говорит, с гвоздя снимает.

Из старой кожи пояс, ветхий. К нему на ремешках старинные снасти привешены: короткий толстый рог — пороховница с затычкой, мешочек кожаный, кремь и кресало, фитиль скрученный.

Приносим. Даврон к плечу мультук то так, то сяк прилаживает.

— Тяжёлый,— говорит.— Неудобный. Приклад слишком короткий.

Дед Мирбобо растолковывает:

— Сошки подставлять надо. Без сошек не попадёшь. Сюда вот, на полку, порох подсыпать. Фитиль зажжённый держать наготове надо. Хороший мультук. Калашников, конечно, быстрее. Но этот очень точно бьёт.

Даврон усмехается.

— Снайперское, говорите, оружие?

Мультук кладёт, пояс берёт. Из пороховницы затычку вытаскивает, на ладонь порох высыпать пытается — узнать, какой он, старинный порох.

— Пусто,— говорит.— А мешочек для пуль, должно быть? Тоже пустой.

— Не нужны они, заряды, теперь,— дед Мирбобо объясняет.— Козлов Джоруб из карабина стреляет, куропаток — из ружья.

Шокир сам, будто куропатка, вспархивает:

— Где он сейчас, Джоруб? С нами почему не сидит?

— Делами Джоруб занят,— дед Мирбобо говорит.— С баранами, с коровами. Недосуг ему.

— А-а-а-а-а,— Шокир тянет.— С баранами, козами... Не за козлом ли в горы ушёл?

А сам за дедом Мирбобо наблюдает, будто гадает, нет ли под большой чашкой ещё и меньшей.

Дед Мирбобо отвечает спокойно:

— Зачем за козлом? Мяса пока много. Скот кормить нечем, режем... У меня, товарищ командир — извините, звания не знаю,— просьба есть. Старое ружьё не забирайте, пожалуйста. Дедовское оно.

Даврон:

— Ладно, — кивает. — К вам лично из уважения. Да и боеприпасов к нему не имеется.

— Тысяча раз спасибо, — дед Мирбобо руку к сердцу прижимает.

— И говорить не о чем, — Даврон отвечает, встаёт.

Шокир возится, на ноги вскочить пытается:

— Уходите?

Даврон ему грубо, без учтивости бросает:

— До ветра иду.

Зачем такое сказал? Мне очень стыдно становится. Шокир, шакал, суетится.

— Я провожу, товарищ командир. Я покажу...

— Ты ещё конец мне поддержи, — Даврон говорит.

Э-э, как грубо сказал!

— Сиди, — говорит.

У двери обувается, уходит. А Шокир как сидел, так остаётся с двумя пальцами в носу. Я сижу, ни на кого не смотрю. Зачем Даврон так поступил? Не знаю, что думать. Нельзя так говорить, но он сказал. Наверное, сильным людям разрешено. Что для нас неправильно, для больших людей правильно. Говорится же, пока большая лепёшка испечётся, маленькая сгорит.

Дед Мирбобо говорит:

— Карим, сынок, возьми рукомойник, командиру руки вымыть.

Я полотенце, медный кувшин с длинным горлом беру, во двор выхожу. Даврона подождать хочу, но чувствую: рукомойник совсем лёгкий. Когда руки перед едой мыли, всю воду слили. Я на задний двор, в летнюю кухню иду. «Там, — думаю, — наберу». Через крытый коридор прохожу, вижу: на кухонной веранде у очага Даврон с Зариной стоят, тихо разговаривают.

«Почему он сюда пришёл? — думаю. — Отхожее место совсем в другом конце усадьбы. Наверное, Даврон заблудился. Не туда попал, подумал, надо из вежливости разговор завести. Наших обычаев не знает. Девушке — позор, если соседи увидят, что она с чужим мужчиной наедине остаётся. Нехорошо получается. Надо Зарину выручить».

А как Даврона окликнешь? Я нарочно рукомойник на землю роняю. Кувшин падает, звенит.

Даврон оглядывается.

— Вали-ка отсюда,— приказывает.

Я кувшин поднимаю, к мехмонхоне возвращаюсь, стою и думаю: «О чём он с ней говорит? Зачем?»

24

Зарина

Мы с мамой проговорили почти всю ночь. Вернее, я утешала её и пыталась убедить, что не случилось ничего ужасного.

— Мамочка, я просто выхожу замуж за нелюбимого человека. Ну и что? Многие так выходят. И ничего, живут... И я как-нибудь переживу. А после того, как он отпустит Андрея и все уладится, я с ним разведусь. Ты ведь сама знаешь, мусульманский закон позволяет... Скажу ему «се талок». И все! Прощай навеки.

— О чём ты говоришь?! Какой закон? Какой развод? Это не замужество. Это изнасилование!

— Мама, пожалуйста, не преувеличивай.

— Он не человек. Зверь, чудовище...

— Мама, он не страшный. Противный. Одна его мерзкая бородавка на лбу чего стоит. И змея-то с собой таскает, чтобы казаться страшным.

Хорошо, что мама не знает таджикского языка, а потому никто не может пересказать ей слухи о смерти Зебо, прежней жены Зухуршо.

Я-то наслушалась. Мы с моей сводной сестрицей Гульбахор, или по-простому Гулькой, дочерью Бахшанды, пошли к источнику. Сказали, что за водой, а взаправду — поболтать с подружками. Там уже сидели несколько девчонок с пустыми вёдрами и кувшинами. Гулька меня ещё в первые дни с ними познакомила, а после сватовства всем не терпелось расспросить меня, что да как. Но рассказывать было нечего. Стали обсуждать, отчего умерла Зебо.

Одна сказала:

— Змей её убил.

Ойша, красивая девчонка, светловолосая, сероглазая — я её про себя прозвала Сероглазкой,— стала спорить:

— Никакой не змей. У Зухуршо кер такой же величины, как его удав. Он бедняжку этим кером до смерти замучал.

Девушки тут, когда одни, вольны на язык. Сероглазку подняли на смех:

— Ты сама, наверное, о таком кере мечтаешь.

Сероглазка притворилась, что сердится:

— Э, пусть твой язык почернеет! — а сама засмеялась, польщённая.

А ещё одна девочка сказала:

— Нет, не так было. Я точно знаю, мне Хадича-момо рассказала. Зухуршо с покойной женой ни разу не спал. Его змея снесла яйцо, а он заставил эту несчастную греть яйцо собственным телом. А однажды ночью, когда девушка спала, из яйца вылупилась маленькая змея, заползла ей в нутро и укусила. Хадича-момо говорит, что змеёныш ужалил в самую матку.

— Эй, голову не морочь! Как змея могла в неё забраться?

— Ты разве не знаешь, сколько в женщине есть отверстий, через которые можно вовнутрь проникнуть?

А Гулька сказала:

— Заринка, не бойся, я тебя научу. Хорошая латифа есть. Анекдот, — очень гордо она это слово выговорила: вот, мол, какие слова знаю. — Один мальчик был, все бабушку просил: «Дай и дай». А бабушка череп козы взяла, подол задрала, изоры спустила, череп козы между ног зажала и мальчику говорит: «Раз уж просишь, желание твоё исполню. Попробуй». Мальчик свой чумчук сунул, а бабушка челюсти козы сжала. Мальчик заплакал, больше никогда бабушку не просил. Много лет прошло. Мальчика женили, а он к жене не подступает. Тогда девушка изоры сняла, на печку залезла и оттуда ему кус свой показывает, чтобы у мужа желание загорелось. А он смотрит и говорит: «Э-э, меня не обманешь! Зубы-то спрятала».

Подружки от хохота попадали. Особенно Гулька веселилась:

— Заринка, когда Зухуршо к тебе придёт, ты тоже череп между ног спрячь. Пусть коза ему кер откусит.

Нет, не стану я дожидаться, пока придёт... Я вообразила гнусную морду Зухуршо, и меня передёрнуло. Тёмная, масляная. И бородавка на лбу. Бр-р-р. Вот уж вправду Черноморд. Только никакой витязь от него не спасёт...

Хорошо, хоть лучик света в тёмном царстве проглянул. Я страшно смеялась, когда мама рассказала:

— Представляешь, о чем просила меня сегодня Дильбар? Пришла ко мне утром, принесла сладкие лепёшки, сухофрукты, конфеты... Одним словом, угощение по высшему разряду. «Сестра, прошу выпить со мной чаю». А у меня дел по горло. Ты ведь знаешь, весь дом на мне. Все бабёнки — на поле. И царица наша, Бахшанда, тоже как миленькая кетменём орудует. А эта — Дильбар — раскинула дастархан, села и смотрит умоляюще: «Сестра, возьмите, пожалуйста, чай». Налила и тянет ко мне пиалу. Пришлось взять — не обижать же. Им невозможно объяснить, что тебе недосуг, что ты вообще не пьёшь чай в этот час... Совершенно иное представление о времени. И, главное, обида... Обида страшная, если откажешься. Но вообще-то мне самой было ужасно любопытно, к чему эти китайские церемонии. Выпила я чай и говорю: «Спасибо, дорогая, ну а теперь прости, работа ждёт». Тут она мне и преподнесла: «Сестра, может быть, выйдете замуж за вашего деверя, брата вашего покойного мужа».

Я от неожиданности поперхнулась:

— Ой, мамочка! — и расхохоталась. — Поздравляю. А дядя-то Джоруб, он что?

— Бог его знает, — сказала мама. — Ни разу вида не подал, что я его в этом смысле интересую. Подозреваю, это её собственная затея. Рада лишним рукам в доме и хочет закрепить меня на рабочем месте. Ну, а зачем же ещё?

— А ты что ответила?

— Не задавай глупых вопросов. Подумай сама.

— Ты сказала: «Ну, конечно, дорогая. С радостью и удовольствием. Когда можно приступить?»

— Заринка, я тебя отшлёпаю!

— Мама, а как вы объяснялись? Ты же...

— Она немного по-русски говорит, я все же несколько слов знаю. Ты не представляешь, как мне трудно осваивать язык. Привыкла пропускать таджикскую речь мимо ушей, как журчание воды, не вслушиваясь. Теперь приходится переучиваться. Какой-нибудь другой язык осваивать с нуля было бы, наверное, легче.

— И все же, что ты сказала?

— Прекрати! Самой смешно. И не снилось, что когда-нибудь предложат левират.

— А что это такое?

— О, господи, какие у меня дети необразованные. Левират — это обычай в примитивных обществах, когда младший брат берет в жены вдову старшего.

Я сказала:

— По-моему, очень даже хороший обычай.

— Для них — может быть, и хороший. Но нам-то что до их обычаев? Прикажешь матери вечно во вторых жёнах ходить? Надоело, надоело, надоело... Хватит с меня. Давай не будем больше об этом. И вообще, о чем тут говорить? Я ведь даже башмаков не износила, — мама посмотрела на свои босые ноги.

Но я продолжала хорохориться:

— А что?! Дядя Джоруб — мужчина видный. А ты сразу не соглашайся, пусть попросят как следует. Мамочка, ты же у нас красавица. За тебя, знаешь, какой калым причитается!

Я нарочно поддразнивала её, словно ничего не случилось, словно мы с ней шушукаемся, как бывало прежде, о всяких моих секретах, но только на этот раз секретом делилась она, и в этом было что-то трогательное и забавное... Но не стоило про калым упоминать.

Мама, разом потухнув, сказала печально:

— Мало нам одного дикого замужества? Я ночи не сплю, думаю о том, что будет... Боже, боже мой! И ты, и Андрей... В какое страшное место мы попали. Как я могла быть такой легковерной и согласилась привезти вас сюда. Из огня да в полымя...

Я попыталась вернуть прежнее настроение.

— Мама, все образуется. Все будет хорошо.

Но я тоже полночи уснуть не могу. Слышу, мама не спит, изводит себя из-за нас с Андрюшкой. А меня иногда дикая злость на Андрея одолевает. Если бы не он, нас бы сюда не занесло. Не знаю, о чем думали, когда мы в Ватане сидели и ждали, как кролики перед удавом. Надо было просто уехать куда глаза глядят. В Куляб, Курган-тюбе, куда угодно... Пусть бы убили по дороге. Всё лучше, чем здесь. Ненавижу этот кишлак, ненавижу дедушку, который нас уговорил, ненавижу дядю Джоруба. Тоже мне мужчина, глава семьи... Он теперь со мной глазами не встречается. Стыдно ему...

А теперь приходится злиться на саму себя.

Вчера к дедушке пришли гости, а тётя Дильбар послала меня отнести им угощение. В мехмохоне сидели три человека. Мальчишка, Карим, мой несостоявшийся жених. Понурый, с таким

грустным видом, что мне стало его жаль, хотя замуж за него я не пошла бы ни за какие коврижки. Ещё были Даврон, тот военный, и противный урод, староста. Он мерзко на меня пялился, хотелось подойти и дать по роже.

Я пошла в летнюю кухню вскипятить ещё чаю. Поставила кумган на очаг, подбросила на угли хвороста и засмотрелась, как разгораются и пляшут красные языки пламени. Люблю живой огонь. Тот, что у нас в Ватане на плите в газовых горелках, какой-то ненастоящий, не огонь даже, а шипящее однообразное горение голубого химического цвета. Скука. А когда горят хворост и поленья, кажется, происходит что-то волшебное и очень хорошее... Вдруг вспомнился недавний сон. Приснилось, что я, совсем как в жизни, стою с нашим старым почерневшим от сажи кумганом перед очагом. Из жерла печи бьёт жуткий огонь — не подступиться. Наконец решаюсь: ставлю кувшин в пламя, отдёргиваю руку. Кумган падает, вода заливаёт огонь. Кто-то из темноты кричит страшным голосом: «Зажги! Зажги!» Я проснулась. Ничего, кажется, особенно пугающего не увидела, а сердце колотится как сумасшедшее...

Обычно сны я забываю, а этот почему-то привязался. У мамы допытываться, что он означает, — высмеивать начнёт. Я пошла к тете Дильбар, она спросила:

— Ты обожглась? Если кто увидит, что огонь одежду поджёг или часть тела, его постигнет беда.

— Вроде, нет.

— Хвала Богу. А очаг опять разожгла?

— Тётушка, я не знаю. Я сразу проснулась.

Тётя Дильбар задумалась.

— Когда видишь, что развела огонь, чтобы согреться или других согреть, значит, найдёшь полезное дело и избавишься от нищеты. А раз не знаешь... По-всякому можно толковать. Э, доченька, не грусти, жизнь у тебя счастливой будет.

Вспомнила я и подумала: «Ну как же. Счастливая! Вот оно, счастье, и привалило». Я гнала от себя мысли о предстоящем замужестве. Твердо решила: я не дамся. Пока не знаю, как, но ни за что не дамся. И стараюсь больше об этом не думать...

Неожиданно под навес вошёл тот военный, Даврон.

— Зарина, можно с тобой поговорить?

Симпатичный дядька. Видно, что сильный, и весь какой-то ладный, подтянутый. Лицо гладко выбрито, усы аккуратно под-

стрижены. Форма чистенькая, выглаженная, говорит очень чисто и правильно. От русского не отличишь.

Я ответила:

— Отчего же не поговорить. Можно.

Наверное, немного грубо получилось. Даврон все же спас нас на дороге, и все мы ему очень благодарны, но мне не понравилось, как он разглядывал меня, будто изучал или с кем-то сравнивал.

Он, видимо, не знал, с чего начать, и я спросила:

— Вы про Андрюшу правду сказали? Наверное, не хотели при дедушке говорить, как на самом деле...

— Я всегда говорю правду. У твоего брата все нормально. Служит.

— Этот ваш начальник... его не обижает?

— Не обижает. Я не разрешу. И тебя не обидит.

— Я сама не дам себя обидеть.

Он сказал:

— Надя, ты...

Я поправила:

— Зарина.

Он как-то странно посмотрел.

— Да, конечно. Зарина. Извини... Ты смелая девушка, но Зухур тебя не обидит. Слово мне дал.

У меня внутри настолько заledenело от мыслей о проклятом замужестве, что я не сразу оттаяла. Не могла поверить. Вспомнила, как все было, и сказала:

— Он вас обманет. Он пообещал, а сам Андрюшку приказал забрать.

— Не соврёт. Побойтса. К тому же, я постоянно буду рядом. И не дёрнется.

Он говорил уверенно, выглядел таким надёжным.

— Сомневаешься? Я бы тоже сомневался, факт. Почему вообще допустил сватовство? В то время были другие обстоятельства. Рассказать не могу. Очень серьёзные. Но всё закончилось. Поверь, теперь ты в безопасности.

Я спросила:

— А как же Андрей? Брата вы тоже отпустите?

— Его не могу.

Я чуть не лопнула от возмущения:

— Скажите лучше: не хочу! Или вы не командир? Бойтесь, что этот ваш... начальник... не разрешит отпустить?

— Пусть послужит. Всякий парень должен служить.

И как раз закипела вода. Чтобы не наговорить ещё больше грубостей, я подхватила кумган и ушла.

Наверное, все испортила. Он рассердился и не станет помогать. И пусть. Разве я могла не заступиться за брата?

25

Даврон

В дверь кто-то скребётся. Пытается открыть. Мгновенно просыпаюсь. Пэ-эм лежит у изголовья. Хватаю, сдвигаю предохранитель. Вход в помещение — на востоке. Напротив двери, на полу у западной стены, расстелена постель. Под одеялом — свёрнутая в рулон курпача. Имитирует спящего, укрытого с головой. Моя лёжка расположена вдоль восточной стены — той, в которой дверь. Головой на север, лицом ко входу. Чтобы увидеть меня, надо войти в мехмохону. Время — ориентировочно семь пятнадцать.

Дверь приоткрывается. Стоящий снаружи медлит. Факт, всматривался в фигуру под одеялом. В комнате полумрак. Бесшумно вскакиваю. Присаживаюсь на корточки у самой двери. Кто-то сделал большую ошибку. Дал мне время на подготовку. Надо было вернуться в комнату и моментально начать пальбу.

Дверь открывается шире. В щель протискивается ребёнок. Мальчонка лет четырёх. Сын мулло Раззака. Голова — на уровне моих глаз. Видит меня. Замирает неподвижно. Рот раскрывается от страха. Чёрные блестящие глазёнки. Точь-в-точь птенец майны.

Медленно кладу пистолет на пол. Резко хлопаю в ладоши. Птенец вздрагивает, вспархивает и улетает. Подхожу к двери. Напротив через двор на пороге дома стоит жена мулло Раззака. Птенец прячется. Утыкается лицом к колени матери. Завидев меня, женщина прикрывает лицо концом платка. Берет мальчика за руку, уводит в дом. Фиксирую время: семь семнадцать.

Возвращаюсь в комнату. Откладываю пэ-эм. Достая из вещмешка бритвенный несессер. Снаружи осторожно стучат. Три раза. Разрешаю: «Входи». Старший сын мулло Раззака — тринад-

цать лет — входит. Выкладывает стопку чистого белья на пол, застланный паласом. Справа от входа. Бормочет:

— Вода готова.

Беру бритвенный прибор, сую ноги в глубокие калоши. Выхожу. Возле стены, как обычно, поставлены кувшин с тёплой водой и круглый рукомойник. Пристраиваю зеркальце на окне мехмонхоны. Тщательно бреюсь. Сын мулло Раззака подхватывает рукомойник, поднимает повыше, чтобы мне не пришлось нагибаться. Я в первый же день объяснил, что лицо необходимо споласкивать три раза, а руки — четыре. Всего семь раз. Парень запомнил. Каждое утро без подсказок соблюдает точный счёт. Пока ни разу не сбивался. Подаёт полотенце.

В мехмонхоне переодеваюсь в чистое белье. Ношенное складываю у двери. Женщины заберут и выстирают. Мальчик завтра принесёт. Одеваюсь, тщательно причёсываюсь. Старший сын мулло Раззака приносит завтрак. Две лепёшки и чай. Небогато живёт мулло. Фиксирую время: семь двадцать две. Мальчишка уложился в срок.

Разламываю лепёшку на куски. Раскладываю их по прямой линии. Машинально, не думая. Вплотную друг к другу. Точно закладываю одну из сторон фундамента. Разламываю оставшуюся лепёшку. Выкладываю вторую сторону. Перпендикулярно первой. Ловлю себя на этой детской игре. Внутренне усмехаюсь. Плита, давящая грудь, приподнимается. На несколько миллиметров. Юмор! Разломал хлеб, чтобы выстроить что-то нелепое. Хлебный домик. Не достроил. Материала не хватило... Внезапно в мозг врывается догадка: может, это знак? Плита в груди обрушивается на прежнее место. А что, если недостроенный фундамент — указание. На что он указывает? Неужто я обязан подхватить факел Сангака и достроить то, что тот не успел. Не во всей, конечно, стране, а хотя бы на крошечном плацдарме. Установить порядок и справедливость в одном отдельно взятом ущелье.

Нет, я не согласен! Какие бы красивые лозунги ни кидал Сангак, меня он подставил. Не предупредил, что даёт поручение, от которого я фактически буду блевать. По сути отдал меня в подручные Зухуру, которого я презираю, и вынудил заниматься делом, которое противоречит моим убеждениям. Плюс урки в роли личной охраны Зухура. Все это я узнал лишь после того, как дал согласие. Отказываться было поздно. Обещание держало крепче любого капкана...

Теперь зубья разжались. Сангак унёс с собой данное ему слово. Местным я не давал никаких обязательств. Они чужие. Я не люблю горы. Это вражеская территория. Необходимо постоянно держаться настороже. Вероятно, Афган приучил. Знаю, некоторые «афганцы» ностальгируют. Скучают по горам. Война, мол, войной, а горы — это мощь, величие, красота... Для кого угодно, только не для меня. Горы — это постоянное чувство опасности. Реальной. Даже если оставить в стороне лирику, в любую минуту дня и ночи кто-то из урок может выстрелить из-за камня или из-за угла. Не боюсь смерти, но глупо погибать впустую. Хуже того — за дело, в которое не веришь.

Я свободен. Весь мир передо мной открыт. Место всегда найдётся. В таджикской армии. А не возьмут, отправлюсь куда угодно. В Узбекистан, в спецназ. В Сербию. В Иностраннный легион. Да хоть в Африку, в Анголу или Мозамбик.

Свободен... Ха-ха-ха. Шутка. Ни кола, ни двора, ни гроша в кармане. В тридцать лет вновь начинаю жизнь с начала в пустоте, заваленной обломками. Не совсем то, что обещал гадалщик. Да я особо и не поверил его предсказанию.

Было это полтора года назад, через три дня после того, как в части на меня спустили собак. Подставили меня подло. По всем правилам. С офицерским судом чести и прочей махоркой. Народ странно себя повёл. Вроде, и верили мне, и сомневались. Лишь Петька Воронин поддержал безоговорочно: «Напраслину на него вешаете!» После суда шли мы с Петей по Кургану, по центру. Я злой был, ничего не замечал вокруг, а Пётр вдруг сказал:

— Даврон, ты глянь! Чурки совсем оборзели — милостыню булжниками подают. Ну-ну... И кто-то камень положил в его протянутую руку...

На обочине тротуара сидел на земле худой старик. Перед ним лежала на платке горстка мелких камешков.

— Это фолбин, Петя, гадалщик. Судьбу предсказывает.

— Давай погадаем.

— Глупство это. И настроения нет.

— Да брось ты. Ради шутки. Развеешься немного.

Мы подошли к старику.

— Погадаешь?

Старик внимательно осмотрел меня и спросил по-узбекски:

— Как тебя зовут?

— Даврон.

Старик сгрёб камешки и легонько их подбросил. Камешки раскатились по тряпке. Фолбин секунд тридцать передвигал их как шахматы на доске, затем заговорил монотонно:

— Ярко, как светильник, горела твоя судьба, Даврон...

Узбекский знаю не очень хорошо. Но старика в общих чертах понял.

— Теперь, Даврон, бредёшь в темноте, как стреноженный конь. Не видишь, куда идёшь, не знаешь, куда идти... Долго будешь бродить, но в конце концов найдёшь своё золото.

— Все, что ли?

— Все.

Обычный развод. Общие фразы. Хороший психолог. С лету отслеживает настроение. Я ничего иного не ожидал, но стало досадно.

— Факты, факты давай. Конкретно. Что, где, как.

— Этого камни знать не могут. Сам решай, куда идти. Куда пойдёшь, там и окажешься. Как поступишь, так и будет. Сумеешь — добудешь золото. А не сумеешь...

— Сумею, сумею... Ну всё, хорош болтать зря.

Дал ему денег. Петька спросил:

— Ну и что он тебе предрёк?

— Золотые горы посулил.

— Клёво! Пусть теперь мне раскинет.

Я сказал старику:

— Мой друг тоже хочет.

Старик — наотрез:

— Ему гадать не буду.

Я перевёл, Петька возмутился:

— Что за дела?! Скажи, чтоб кидал камни.

Старик нахохлился и отвернулся.

— Камни устали. Больше не видят.

— Батарейки сели? — засмеялся Петька. — Ладно, Даврон, поделишься золотишком.

Через неделю, второго мая, его убили. Погиб по-глупому. Вот и думай, что хочешь. Я думал. Едва мозги не вывихнул. Моей вины в Петинной смерти не было. Во-первых, не по графику, а во-вторых, контакт с ним я чётко контролировал. Приятели, ни на йоту больше... Но как старик определил, что он умрёт? Судьба — не рельсы.

Даже не тропа. Хаотическое сплетение случайностей. Вычислить заранее, куда повернут события, невозможно. Как нельзя предсказать путь молекулы в броуновском хаосе. И все же старик каким-то образом знал, что произойдёт. Неужели просто ткнул пальцем наугад и попал?

Бился я над этой темой долго. В один прекрасный момент точно током долбануло: фолбин распознает зоны высокого напряжения! Как? Видит, чувствует, ощущает? Не знаю, как, но распознает. Может научить. Или, по меньшей мере, объяснить. Я бросился искать. Но старик будто сквозь землю провалился. Только и осталось от него — обещание богатства...

Во всяком случае, если меня и ждёт где-то золото, то не в этих горах, где меня ничто не держит. Даже обязательства перед Зариной. После того, как фазу пробило на Сангака, а не Зарину, она вне опасности. Молния не бьёт дважды в одну точку. Осталось защитить её от Зухура. Вчера утром поставил его в известность:

«Твоя свадьба отменяется».

Зухур ушёл в глухую оборону:

«Невозможно!»

«Для коммунистов невозможного нет. Ты же у нас коммунист».

Он, возмущённо:

«Я первым в области партбилет на стол бросил!.. Как свадьбу отменить? Калинг семье невесты уже передали. Корову, баранов...»

«Оставь им это добро. Не обеднеешь».

Зухур принялся лукавить:

«Добра не жаль, я щедрый. Корова, бараны, шара-бара — это для меня мелочи. Но обычай нельзя нарушать. Свадебный туй на завтра назначен, весь Ворух соберётся, из Талхака люди приедут. Такое здесь правило, ты сам знать должен. Можно ли тысяче людей: «Не приходите» сказать? Большой позор получится, моему авторитету урон. Уважать перестанут».

Я предложил:

«Не отменяй приглашения. Устрой народные гулянья. Без свадьбы».

«Тоже не получится — девушку опозорим. Ты подумал, что люди будут говорить? Скажут: «Наверное, Зухуршо прознал, что она бесчестная, потому не захотел в жены брать». А девушку спросил, согласна она с позорным пятном жить?»

Напугал!

«Да она в огонь пойдёт, лишь бы не за тебя».

Он, естественно, помрачнел:

«Почему так думаешь?»

«По радио сообщили. Не тупи, Зухур. Она сама тебе прямым текстом выложила».

Завёлся:

«Глупая девчонка! Это ты во всем виноват, Даврон. Простое дело запутал».

Посопел немного и:

«Давай вот что сделаем: свадьбу проведём, три дня пройдёт, я ей развод дам, она назад к родным уедет. По закону это очень просто сделать: достаточно «се талок» сказать, и все — развод. Ни мне, ни девушке никакого позора. А я, клянусь, даже пальцем к ней не притронусь».

Я изучил его рожу — не хитрит ли. Он:

«Не веришь? Богом клянусь, Даврон, она мне не нравится. Я вообще таких не люблю. Женщина пышной должна быть, в теле. А она... Ладно, молчу, не хочу тебя обижать. Ты вот о чем задумайся: неужели я насколько глуп, чтобы с тобой из-за бабы ссориться?»

«А ты попробуй».

Вызов не принимает.

«Я с семьёй этой девушки договор заключил. Как ни назови — уговор, сговор, — это контракт, хотя на бумаге не записан, печатью не скреплён, у нотариуса не заверен. Местные люди честному слову доверяют. А ты меня заставляешь безо всякой причины контракт разорвать, договор нарушить. Это грех. В Коране сказано: «Будьте верны обещанию». На грех толкаешь».

Абсурд. Зухур трактует о грехе. Я понимал, что дурачит. Ловит на принципиальности. Но возразить было нечего. Заставлю Зухура взять слово назад, фактически стану обманщиком. Нет разницы, прямо или косвенно. Приказал — значит, в ответе. Я подавил бешенство. Вдох... Выдох... Порядок. А он спешил навесить ещё один замок, надёжнее запереть ловушку. Проникновенно:

«Ты бы сразу сказал, что на девушку глаз положил. Я три раза спрашивал: нужна тебе? Ты три раза ответил: не нужна. А, ладно, дело прошлое... Даврон, дорогой, я тебе не соперник. Брак фиктивным будет. На бракосочетание, чтобы никох совершить, не по-

еду. Другого человека, вакиля-заместителя, вместо себя пошлю. Закон разрешает. После свадьбы, чем хочешь поклянусь, даже на лицо её не посмотрю, ни разу в одну комнату с ней не войду...»

Я прикоснулся к кобуре. Обозначил. Пистолет не достал. Перегнулся через столешницу и упёр указательный палец ему в лоб. В центре, правее бородавки. Отодвинуться Зухуру не позволяла прямая спинка стула. Он запрокинул голову назад. Задрал подбородок с жирной складкой на шее. Я с силой придавил лобную кость.

«Обрати внимание, пока это палец...»

Зухур осторожно положил свою руку на мою, попытался отвести. Пальцы — отвратно мягкие и тёплые. Я преодолел отвращение, усилил нажим:

«Обманешь, достану ствол. Учти, вхолостую не достаю».

Убрал руку. Зухур выпрямился. Постарался держаться, будто ничего не случилось. На лбу медленно проявлялось багровое пятно. Печать на договоре.

Теперь он тронуть Зарину побоится. Она, по большому счету, ему не нужна. Это развлечение, чтобы меня позлить. Иное дело — бабки. За них он будет драться до последнего... И черт с ним. Меня это не касается. Я продолжил:

«И ещё учти, я уезжаю, но...»

Он заохал, забил крыльями:

«Как уезжаешь?! Когда? Почему?!»

Наверняка знает, что урки готовят переворот. Кроме меня рассчитывать не на кого. Я успокоил:

«Не падай в обморок. На какое-то время задержусь. Я ребят с собой привёл, надо их устроить. Разобраться, кто хочет остаться, кто со мной уедет... И всё такое. Следовательно, дня два-три в запасе у тебя есть. Может, немного больше...»

«Умоляю, задержись!»

«Ради тебя? Смеёшься? И запомни: я вернусь. Проверить, не обидел ли ты Зарину. И если хоть что-нибудь... Найду на Северном полюсе».

Как бы не стать Зухуру после этой политбеседы импотентом. Но и это, опять же, меня не касается.

Осталось важное дело. Сгонять в Талхак и предупредить Зарину. Ей, естественно, обходной маневр сильно не понравится. Но ничего не могу с собой поделатъ. И не могу ей объяснить, зачем

необходимы такие сложности. Почему нельзя просто послать Зу-хура по матушке? Нет, не поймёт, не поверит. И все же постараюсь как-то растолковать. Во всяком случае, убедить, что ей ничто не грозит. Решаю выехать в Талхак после полудня.

Осторожный стук в дверь. Сгребаю куски лепёшки в кучу. Фиксирую время. Семь тридцать одна. В мехмонхону робко заглядывает мулло Раззак.

— Извините, если побеспокоил. Зашёл узнать о вашем здоровье...

— Заходи.

Скидывает за порогом резиновые галоши, входит в комнату. Присаживается на палас.

— Большая честь, что вы остановились в моем жалком доме, господин...

Резко обрываю:

— Давроном зови.

Ненавижу здешнюю почтительность. Лицемерие. Ползают на брюхе, а улучат момент — выстрелят в спину. Знаю по Афгану. Сбиваю его с тона:

— Ну, так чего тебе?

— Уважаемый Даврон...

— Просто Даврон.

Он прикладывает руку к сердцу: ценю, мол, и уважаю вашу скромность, и гонит опять:

— Как ваше здоровье? Как спали? Не надо ли вам чего?..

И прочая тягомотина. Тянет, собирается с мыслями. Бросаю взгляд на часы. Семь тридцать три.

— Не трать зря время. Что-нибудь понадобится — сам скажу. Дело у тебя какое?

— Люди этого селения выбрали меня имамом нашей мечети...

— Знаю. Дальше.

Он осекается, вновь начинает издали, для разгона:

— В священном Коране сказано...

— Стоп. Из Корана не надо. Сам-то что скажешь?

— Все в селении знают, Даврон, вашу справедливость...

— Слушай, мулло, если пришёл, чтобы меня хвалить, напиши на бумажке. Будет время — прочту. А сейчас, либо — дело, либо — прощай.

Он наконец решается:

— Сказали, всю землю у нас отнимут. На наших личных полях-огородах тоже будут новый сорт сеять. Нельзя так! Нельзя у людей землю отнимать...

— Нельзя, — соглашаюсь. — И чего ты от меня хочешь?

Мулло канючит:

— Не выживем мы, с голоду погибнем. Поговорите, пожалуйста, с уважаемым Зухуршо...

Закончить не успевает.

Семь тридцать пять. Стук в дверь. Командир первого взвода Комсомол.

— Даврон, есть информация.

Бросаю взгляд на мулло. Тот поднимается, выходит.

— Бунт в Верхнем кишлаке, — сообщает Комсомол.

— Докладывай.

— За порядком в селе следили двое. Один — наш, один басмач, — рапортует Комсомол. — Басмач зарезал чью-то корову. Мужики возмутились, пошла драка. Нашего, вроде, убили. Не знаю точно. На улице мотоцикл стоял, на котором караульные приезжают... Басмач с ножом пробился к мотоциклу и ударил по газам. Вырвался из кишлака, по дороге мотор заглох, басмач пешком добрался до Воруха. И сразу к своим. Те поднялись и — к Зухуру. Короче, он разрешил Рауфу взять человек пять и ехать разбираться. Представляешь, сколько крови прольют...

Очень хорошо представляю. Рауф — редкая мразь. Садист, психопат.

— Когда уехали?

— Ещё вчера утром, втихаря. Я случайно узнал...

— На чем?

— На «скорой».

— Поня-я-тно, — говорю. — Беги в казарму, подними взвод. Пусть грузятся на «газон» и ждут меня на площади. Алика с машиной пошли к дому Зухура.

Выхожу. Мулло топчется возле мехмонхоны. Говорю ему:

— Принял твою просьбу к сведению.

Семь пятьдесят восемь. Во дворе Зухурова дворца встречаю Гадо.

— Почему не в дороге?

Зухур поручил ему отвезти в Калай-Хумб подарки Алёшу Горбатову.

Мнётся:

— Машину ремонтируют...

Понятно. Специально меня поджидает, факт. В курсе событий и желает проследить за предстоящим конфликтом.

— Где? — спрашиваю.

Кивает на пристройку с кабинетом.

Зухур восседает на своём троне за огромным полированным столом. Вхожу, он вскакивает.

— Даврон! Все утро тебя ищу! Куда ты пропал?

Хитрит. Пытается перехватить инициативу. Перекладывает вину на меня. Сажусь за стол, перпендикулярно приставленный к его письменному алтарю. Указываю:

— Сядь здесь. Напротив.

Нехотя подчиняется. Прикидывается, будто снисходит. Говорю спокойно:

— Зухур, пока я здесь, не суйся. Ты завхоз.

Изворачивается:

— Прибежали, сказали: бунт. Я не хотел время терять.

— Почему мне не сообщил? Нельзя было урок отпускать одних. Они кишлак кровью зальют.

— Эти горцы разучились власть любить, пусть бояться научатся.

Я едва сдержался. Глубоко вдохнул. Медленно выдохнул...

— Кончай темнить. Хоть раз не изворачивайся. Я в курсе ситуации. Понимаю твою тактику. Не хочешь перечить бандитам. Испугался, отослал их подальше от своей особы. Но ведь это на время. Через несколько дней вернутся. И как планируешь обороняться?

Он заблеял:

— Э, Даврон, думаешь, это просто? Дело намного сложнее... Ты не знаешь...

Знаю. Едва Гург сболтнул о Каюме, я дал своему информатору, задание: «Выясни у духов, кто таков. Какие у него дела с Зухуром». Стукач раскопал немало. Но это всё не важно. Обрываю Зухура:

— Сейчас не время, а вернусь из Верхнего селения, разберусь. На тебя мне плевать, но ведь всё ляжет на местных мужиков...

На мужиков мне тоже наплевать, но вряд ли смогу бросить их на растерзание сволочи.

Подвожу черту:

— Амба. На данный момент диалог закончили. Дай бумагу и ручку.

Вчера днём я не успел рассказать Зарине о договоре с Зухуром. Она в первую же минуту: «Отпустите брата. Или боитесь начальника?» Я не мог объяснить, чего опасаясь. Факт, не Зухура. У него предо мной колени дрожат. Но я до смерти боюсь навлечь на её брата беду. Она сама по случайности избежала короткого замыкания. Рассказать — не поверит. Я никогда не рассказываю. Никому. Отбрехался: «Парни должны служить». Бред, конечно. Она фыркнула, вспыхнула и убежала. Так и не узнала, что Зухур к ней не прикоснётся. Брак будет фиктивным. Зато я успел её рассмотреть. На близкой дистанции. Сходство с Надей минимальное. Золотые волосы. Голубые глаза. Решительное выражение лица. Прямая осанка. Совпадают только отдельные черты. Иллюзия зеркального отражения исчезла вместе со страхом, что Зарину ждёт Надина судьба. Пишу ей записку. Очерчиваю полный расклад.

Клея у Зухура, само собой, нет. Выхожу из кабинета.

— Алик, быстро: горсть муки, воду, чашку какую-нибудь. Три минуты.

Мчится на кухню, через две минуты тащит. Даю инструкцию:

— Разведи до густой сметаны.

Заклеиваю письмо.

— Не вода, а жидкое, без рук держит, без замка запирает, — по ходу комментирует Алик.

— Не радио, а болтает, — подвожу итог. — Давай-ка гони к казарме...

Десять двадцать три. Подъезжаю к повороту на Талхак. Приказываю Алику:

— Тормози.

Выхожу из машины. Грузовик останавливается позади. Бойцы в кузове встают, озираются: почему остановились? Комсомол, взводный, выскакивает из кабины.

— Кто у тебя из бойцов самый слабый? — спрашиваю. — Клики его.

— Теша, сюда! — командует взводный.

Из кузова спрыгивает на дорогу хилый паренёк.

— Местный, из Верхнего селения, — поясняет Комсомол. — Пригодится для общей ориентации. Затем его и взяли.

— Обойдёмся, — говорю. — Отсылаю его с поручением.

Заезжать в Талхак нет времени. На счету каждая минута. Необходимо успеть в верхний кишлак, пока урки дел не натворили. Теща — пацан бестолковый, но чтоб письмо отнести, ума не надо. А как боевая единица он — ноль. Если дело дойдёт до серьёзного, пользы от него никакой.

Инструктирую мальчишку:

— Отправляйся в Талхак, найди дом старика Мирбобо, ветерана войны...

— Искать не надо! Знаю. Его все знают.

— Вызови внучку старика, Зарину. Скажи ей, что все нормально. Ситуацию я уладил, но вынужден отлучиться. Пусть не беспокоится. И передай записку. Задание понятно? Повтори.

— «Все нормально» — скажу, записку передам.

— И ещё: с бойцами задание не обсуждать. В кишлаке — ни слова о том, кто тебя послал. Проболтаешься, голову оторву. Выполнишь аккуратно, повышу в звании. Это понятно?

Козыряет:

— Так точно!

— Домой в следующий раз съездишь. Слышал, невеста у тебя...

Точнее, мне известно, что товарищи называют его женихом. Следовательно, в наличии имеется и невеста. Одно подразумевает другое.

Рожа у мальчишки мрачнеет. Понятно. Огорчён, что не увидится с девушкой.

— Не распускай нюни, боец,— говорю.— Вернусь, дам увольнительную. На целую неделю. Невеста надоесть успеет.

26

Зарина

Было ещё совсем темно. Я лежала и слушала, как во дворе переговариваются женские голоса. Вдруг глуховато затараторил бубен:

«Тум, тум, тум, тум-балаки-тум, тум-балаки-тум...»

И замолчал. Потом вновь несколько ударов:

«Тум, тум, тум...»

Я представила, как музыкант на летней кухне над глиняным очагом настраивает бубен. Водит им над пламенем, чтобы кожа получше натянулась, и пробует, как звучит. Позванивают стальные кольца-серёжки на деревянном ободе. Пляшут красные огненные языки. Я, как замороженная, смотрю на огонь, а дойристу-музыкант — молодой, ладный — поднимает бубен над головой и выстукивает звонко:

«Тум-балаки-тум, тум-балаки-тум... Тум, тум...»

Смех. Значит, соседки уже собрались. Почему не приходят за мной?

Помощи ждать не от кого. Даврон попросту сбежал после того, как наобещал, что защитит и мне нечего бояться. А у самого не хватило смелости явиться лично и сказать: ничего не получилось. Я бы, по крайней мере, не чувствовала себя обманутой и преданной. К тому же, нашёл кого прислать вместо себя — прыщавого уroda, что был с подонками, которые тащили меня в машину на дороге. Урод заявился, выпалил: «Даврон сказал, что все нормально» и попятился, чтобы дать деру. — «Что, и все?!» — «Да, все». — «Даже записки не написал?» — «Нет, не написал». — По глазам видела, что врёт. Потерял, видимо. Да какая разница! Я все равно не стала бы читать. Очень мне нужны извинения и прощальные приветы. Я даже не разозлилась, настолько мне стало горько и одиноко.

Стала думать об Андрее. Ему, конечно, ещё хуже, чем мне...

И тут она появилась. Как всегда — не постучалась, не спросила разрешения. Вошла, словно в коровник или загончик с овцами, нагнулась и потрясла меня за плечо.

— Поздравляю с праздником! Сегодня замуж выходишь.

Вот и выходи сама! Я лежала с краю, лицом к двери, а тут перевернулась на другой бок и притворилась, что продолжаю спать. Она сказала:

— Эй, девочка, много дел надо сделать.

Мама тоже давно не спала. Лежала рядом со мной и молчала. Услышала Бахшанду, села и сказала резко:

— Оставь мою дочь в покое.

Она на маму даже не взглянула.

— Женщины пришли. Стыдно заставлять их ждать.

Я не шелохнулась. И тут наша тигрица меня удивила. Никогда от неё не ожидала. Она присела рядом с постелью и сказала мягко, даже ласково:

— Зарина, все так замуж выходят. Девушек не спрашивают, хотят они или не хотят...

Да?! Сама-то за моего папу выходила. За моего папочку любая девушка не просто бы пошла, бегом побежала. А те девушки, которых не спрашивают, хотят они или не хотят, — их замуж за людей выдают. Не за монстров, не за зверей... За простых деревенских парней. Хороших парней, которых если и не любила вначале, то, может быть, когда-нибудь, со временем полюбишь.

Мама сказала:

— Она не пойдёт. Справляйте свою свадьбу без нас. Отдайте ему другую девчонку. Свою.

Отбросила одеяло и встала. Бахшанда тоже поднялась на ноги медленным кошачьим движением. Бровь заломлена, рот сжат... Только хвоста не хватает — хлестать себя по бёдрам. Они с мамой стояли, с ненавистью глядя одна на другую, и мне чудилось, что тигрица вот-вот вскинет лапу, выпустит когти и мощным ударом раздерёт маме лицо.

— Тётушка, встаю, — сказала я.

— Заринка, не смей! — крикнула мама. — Лежи! Ты никуда не пойдёшь. Я не позволю. Я тебя не отдам.

Но я уже вскочила, схватила изоры и платье, лежащие у изголовья, и напялила их на себя. Я не могла допустить, чтобы из-за меня мамочка пострадала от этой ведьмы. Мама отвернулась от Бахшанды и медленно оделась. Когда заговорила, меня резануло — какой тусклый у неё голос:

— Это безумие. Ты не можешь...

Я сказала:

— Могу.

Повернулась к Бахшанде:

— Тётушка, я пойду умоюсь.

— Не надо, — сказала Бахшанда. — Тебя умоют, причешут и оденут.

Она взяла меня за руку и отвела в большую комнату, где обычно собиралась семья. Она была набита женщинами в ярких платьях. Собрались все кишлячные дамы. Весь высший свет Талхака. Жена раиса, жена счетовода, соседки... Слетелись, как мухи на мёд. Все разряженные. Все делали вид, что это обычная свадьба. Мы вошли, они разом вытаращились на нас и загалдели:

— Счастлив день твой, девушка.

— Ах, какая красавица.

— Слава керу твоего деда, Вера-джон, такую дочь родила!

Мы остановились в дверях. Тётушка Кубышка потянула меня на середину комнаты, приговаривая:

— Счастлив твой муж, красавица, да буду я жертвой за тебя...

Нет, это я буду жертвой за них. Пусть прикидываются, будто собрались на праздник и готовятся к настоящей свадьбе, но я-то знала, что они — весь кишлак — откупаются мной. Покупают расположение Зухуршо.

Тётушка Кубышка оглядела меня, как хирург перед операцией. Хотя лучше подошло бы — как мясник барашка.

— Принесите воды,— приказала она.— Вымою тебе голову, невеста-цветок.

Её перебила тётушка Лепёшка:

— А волосы убраны ли?

Вчера Бахшанда несколько раз подступалась ко мне с уговорами об этих злосчастных волосах, но я чётко сказала «Нет, ни за что!» и она отступилась. Меня слегка удивило, почему она не попыталась меня сломать,— обычно тигрица во что бы то ни стало желает добиться своего. Сейчас она только гордо вздёрнула голову и ответила:

— Не убраны.

Весь цветник глянул с неодобрением. И лишь тётушка Лепёшка сказала примирительно:

— Не беда. Дело недолгое.

Я сказала:

— Нет.

Тётушка Лепёшка покачала головой:

— Позор нам, если мы отправим тебя к мужу с неубранными волосами. Закон велит убирать волосы. Не упрямясь, девушка.

Она взяла меня за руку.

— Даста б'гир! Руки убери! — крикнула мама. На этом её таджикский кончился, и она перешла на русский: — Вы что, не поняли?! Она не хочет! Вы не смеее заставлять.

Лепёшка попробовала уговорить нас обеих:

— Вера-джон, такой счастливый день — надо, чтобы всё прошло как должно. Чтобы красиво было... А ты, девочка, не бойся. Это совсем не больно. И нас не стесняйся — мы все тут женщины...

Цветник загалдел:

— Хуршеда правильно говорит. Надо, чтоб красиво было.

— Не дело это.

— Надо закон соблюсти.

— Может, у русских совсем по-другому устроено, — крикнула из угла Дилька, моя подружка.

Тётушка Кубышка цикнула:

— Э-э, что говоришь? Бог всех из одной глины лепил.

Бахшанда решительно отодвинула тётушку Лепёшку.

— Не хочет добром, уберём силой.

Мама молча её оттолкнула. Две женщины схватили маму за руки и оттащили от меня. Она вырывалась молча, с ожесточённым лицом. Подоспели ещё две и вывели мамочку из комнаты. Гулька — сестрица так называемая, предательница, гадина, уродина! — расстилала в углу курпачи.

— На мягком хорошо будет, — приговаривала тётушка Кубышка. — Ложись, мы сами всё сделаем.

Я сказала:

— Нет.

— Доченька, — проворковала тётушка Лепёшка, — обязательно надо волосы убрать. Иначе нас опозоришь...

Они уложили меня, спустили шальвары и принялись шариком из камеди, урюковой смолы, дёргать волосы на моем лобке. А я думала, каково маме, и, кажется, кричала:

— Мамочка! Мама! Где моя мама?

А потом замолчала, как Зоя Космодемьянская. Я как-то читала, как инопланетяне похищают людей. Затаскивают на летающие тарелки и ставят какие-то свои опыты. Разрезают, вставляют в тело трубочки или вообще творят что-то непонятное. А похищенные люди забывают, что с ними было. Но я-то не забуду. Я ещё с ними посчитаюсь... Колхозные инопланетянки держали меня крепкими крестьянскими руками и свежевали, как барана для праздничного угощения. И я по-настоящему поняла, что всё это — всерьёз. Прежде не верила, что меня действительно насильно выдадут замуж. Обманывала себя. Надеялась, случится что-нибудь, само собой образуется.

— Теперь хорошо, — сказала тётушка Лепёшка, и меня отпустили. — Сама будешь радоваться, как чисто и красиво...

Я чувствовала, будто меня изнасиловали. И такая злость во мне вспыхнула. Я им этого не прощу. Назло стану здешней царицей, и они у меня попляшут. Головы им побрею. Прикажу, чтоб без платков ходили, лысынами сверкали. Они ещё узнают, с кем имеют дело. Я представляла, как их накажу, а тётушка Лепёшка тем временем вымыла мне голову и стала расчёсывать волосы.

— Эх, девочка, да буду я жертвой за тебя, какие у тебя волосы. Чистое золото.

— Счастливая, за большого человека выходишь.

Тётушка Лепёшка принялась заплетать мне волосы в косички, а Гулька запела:

Девушка-цвет, косы плети,
Время в путь собираться.
Валло-билло, не пойду,
Лучше мне дома остаться.
Девушка-цвет, бусы надень,
Время в путь собираться.
Не надену, валло-билло,
Незачем мне украшаться.
Девушка-цвет, туфли обуй,
Время в путь собираться.
Ни за что не обуюсь, клянусь,
Лучше босой оказаться.

Вот так-то! Не я, значит, одна. Те, которых за молодых, хороших выдают, они тоже не хотят уходить из дома. Но им жить и жить, а мне... Не всем, конечно, жить. Сколько их, вышедших за молодых и хороших, сжигали себя по всему Таджикистану.

В нише передо мной стоял глиняный светильник, похожий на грубо вылепленный соусник с вытянутым носиком. В комнате было в общем-то светло, но огонёк всё равно горел — праздничное освещение. Обычай, что ли, такой? Я смотрела на огонь и почти не сознавала, что со мной делают.

— Подними руки, красавица, — сказала тётушка Лепёшка. — Платье на тебя надену.

Я подняла руки, и пламя светильника на миг словно задёрнуло шторой. А когда платье скользнуло вниз и штора упала, я увидела, что огонёк затрещал и начал сникать. Я следила, как он угасает,

и боялась, что кто-нибудь из женщин тоже это заметит и вновь зажжёт светильник.

Но у тётушки Кубышки глаз как у орла.

— Огонь-то погас.

Женщины зашептались, но я расслышала:

— Дурной знак.

— Счастья не будет...

— Масло выгорело, — сообщила тётушка Кубышка. — Эй, девочки, долейте.

Гулька, гадина-уродина, и здесь подоспела. Подскочила и намылилась лить масло в соусник из медного кувшина с длинным узким горлом.

Я закричала:

— Не трогайте светильник! Не зажигайте. Я не хочу.

— Судьбы не будет.

Но я всё повторяла:

— Не хочу! Не хочу!

Они отступились.

— Ладно, доченька, — сказала тётушка Лепёшка. — Как желаешь... Твоя судьба.

Меня расписали как матрёшку — нарумянили щеки, подвели брови усьмой, а глаза сурьмой, закрыли лицо красивой свадебной занавеской и повели в мехмонхону, где один угол был отгорожен свадебной занавеской, расшитой яркими узорами. В этом-то загончике, за занавеской, меня и усадили. И гадина-уродина Дилька рядом примостилась, по обычаю. Невестину подружку из себя строит. Явились какие-то тётки, родственницы Зухуршо, принялись разглядывать меня, хвалить и целовать. Тьфу, будто на вкус пробовали...

Хорошо хоть, что во всех прочих обрядах обошлись без меня. По обычаю невеста не должна показываться мужчинам, и за неё отдувается вакиль, заместитель. Так называемый женишок тоже не прибыл. Приехал младший братец, Гадо, тот самый противный красавчик, который в первый раз меня сватал и которого я мысленно прозвала Гадом. Этот самый Гад объявил, что у их королевского величества срочные дела. Как-то они без него обошлись, нашли и ему заместителя. Поэтому не знаю, как происходило само бракосочетание, и знать не желаю.

Меня повели по узкой улочке вниз, к машине. Впереди шли зурнач и дойрист, который выстукивал на бубне праздничный, будоражащий ритм. На площади около мечети стоял целый караван из пяти автомобилей и толпились люди в разномастной военной одежде. Свадебный кортеж. Завидев нас, толпа завопила и принялась палить в воздух.

Дядя Джоруб усадил меня на заднее сиденье «уазика» со снятым тентом и сел рядом. Я по-прежнему немного на него обижалась, хотя понимала, что он сделал все, что было в его силах, и ничем больше помочь не мог. Кортеж тронулся, холодный горный ветер ударил в лицо, горы, едва различимые через сетчатое окошечко в фате, начали разворачиваться перед взглядом, как колода волшебных карт. Как я прежде любила такие поездки! Ждешь, что за каждым поворотом откроется что-то замечательное. Такое, чего и на свете не бывает. Но теперь меня ожидают страх и боль. Я старалась представить, что чувствует мама, и жалела её сильнее, чем себя.

Дом Черноморда стоял на возвышении. Это он нарочно выбрал такое место, чтобы царить над кишлаком. Ко дворцу вела широкая каменная дорога, которая упиралась в золотые ворота. А возле них собрался, видимо, весь кишлак.

Машина остановилась. Дойрист ещё громче застучал в свой дурацкий бубен, а зурна завизжала ещё пронзительнее. Толпа от ворот повалила навстречу. Выскочила вперёд красотка — смуглая, весёлая, удалая кишлачная Кармен в кокетливо повязанном платке, с бровями, густо подведёнными усьмой, — и залилась высоким голосом:

Пришла невестушка в добрый час.
Эй, невестушка, порадуй нас!
Добро пожаловать под мужнин кров,
Спеши-ка скорее доить коров.

Народ расступился, и я увидела маленькую старушку в накидке из белоснежной марли — чистенькую и насквозь прозрачную, как её марлевый плат. Я поняла, что это мать Черноморда. Она смотрела ласково и, наверное, очень бы мне понравилась, если бы я не знала, кто её сын. Она разглядывала меня с детским восторгом. Словно девочка новую куклу.

Я и впрямь ощущала себя куклой, которую женщины подхватили и тормозат, переставляют туда и сюда, играя в свадьбу.

Эй, кукла, стой, мы осыпем тебя мукой и рисом.

Эй, кукла, переступи через порог.

Они утащили меня в большую комнату, похожую на ковровый магазин. Чёрно-красными коврами было завешено и завалено всё, что можно было завалить и завесить. Оставалось место лишь для полированной горки с хрусталём и расписными чайниками. На горке меня ждал древний глиняный светильник, такой же, как в Талхаке.

Эй, кукла, садись позади свадебной занавески на этот сундук, жених придёт на тебя посмотреть.

Он же уехал! Значит, скоро вернётся или вернулся?! Я собрала все силы и твердила: «Я не боюсь тебя, Черноморд. Кто ты такой, чтобы я тебя боялась?» Вдруг я вспомнила, как в первых классах боялась школьную директрису, злую ведьму, а мамочка сказала: «Запомни хороший приём. Если кого-то боишься, вообрази этого человека в смешном виде».

И я представила Черноморда совсем маленьким, росточком мне по колено. Наряжу-ка его как куколку. В короткие голубые штанишки, белую рубашечку, красный пионерский галстук ему повяжу. Вот какой он у нас, Черномордик. Всем ребятам пример. Я смотрела на него сверху вниз, но маленький Черномордик гнусно усмехнулся и начал спускать штанишки. Очень глупо. Старый, а ведёт себя, как зелёная шпана.

В общем-то, я знаю, как устроен мужской пол. Ну, не взрослые мужчины, скажем, а мальчики. Мне приходилось видеть. У нас в Ватане националки пускают малышей гулять на улицу в чём мать родила. Я сразу догадалась, что Черномордик задумал показать мне свой маленький чумчук — точно такой же, как у голеньких двухлетних мальчиков. Только ещё меньше. Совсем микроскопический... Но у него все равно ничего не выйдет — штанишки без пояса и застёжек. Не расстегнёшь, не снимешь.

Я иронически следила за его потугами, но вдруг, как в фильме «Чужой», голубые шортики взбугрились, словно из нутра Черномордика лезла инопланетная тварь. Тонкая материя с треском разодралась, и наружу вырвался огромный чёрный змей. Голова его покачивалась почти на уровне моего лица. Я вскрикнула и закрыла глаза. Змей не исчез. Он существовал в моём воображении, но

я никак не могла загнать его обратно, назад в прореху, из которой он выскочил.

Черномордик ликовал. С трудом удерживаясь на ногах под тяжестью змея, он с гордостью поглядывал то на него, то на меня... Я не знала, как избавиться от наваждения, и тут мне внезапно вспомнился идиотский Гулькин анекдот. Я крикнула: «Эй, ты! А козьи зубы видел?!» Мерзкий змей сник, съёжился и червячком юркнул назад в штанишки. Черномордик растерялся, а я разрешила: «Вот теперь снимай». Он послушно сдёрнул шортики, а там — гладкая блестящая пустота, как у розового пластмассового пупсика. Черномордик ужасно смутился, я торжествовала. Он никак не мог поверить, что ничего нет, трогал ручкой, щупал, а потом сел на землю и заплакал.

Теперь я совсем успокоилась и больше не боялась встречи с Зухуром. Чувствовала, что сумею дать отпор. Я не видела, что происходит в комнате. Слушала, как женщины возбуждённо смеются, обмениваются шуточками, и разглядывала оборотную сторону свадебной занавески. Снаружи она была очень красивой, сплошь расшитой яркими узорами, а с моей стороны обшита какой-то простой тряпкой с блеклым рисунком. Вот и вся эта двуличная свадьба такова. Правильнее было бы покрыть занавеску сзади не серым ситчиком, а чёрным траурным сатином.

Зухуршо так и не появился. Я отсидела, сколько положено, за занавеской — традиция была соблюдена. Последовал следующий номер обязательной программы. Старушке не терпелось испытать новую игрушку. Похвастаться перед соседками, какую хорошую обновку подарил ей сын.

Мне подружки рассказали заранее — новая невестка должна показать, какова она в одном из главных женских дел. Меня отвели на летнюю кухню, где всё было готово к экзамену. Открыт глиняный ларь с мукой. Расстелен кожаный дастархон, на котором месят тесто. Горшок с молоком, ведро воды... Экзаменационная комиссия — соседки — расположилась вокруг. Здесь тоже оказались свои местные тётушки Лепёшка и Кубышка. Здешняя Лепёшка была огромной, пухлой — такие пекут из белой муки и украшают всякими завитушками. Не лепёшка, а целая лепёшища в складках и складочках. А маленькую тётушку Кубышечку с лощёными боками аккуратно слепили из красной, румяной глины.

А теперь, кукла, испеки-ка нам хлеб. Очаг уже истоплен.

Ладно, я вам покажу. Чего придуряетесь? Зачем делаете вид, что на самом деле хотите меня испытать? Это всё не настоящее. Мне в этом доме не жить, хлеб не печь. Хотела замесить такое, чтобы чертям стало тошно. Но не смогла. Через уважение к хлебу не смогла переступить.

Я спросила:

— Кислый или пресный?

— Пресный, доченька, пресный пеки,— проворковала старушка, моя так называемая свекровь.

Ну, конечно: если кислый, придётся ждать, пока тесто подойдёт. А ей не терпится. Я засучила рукава и проговорила.

— Не мои руки, руки Биби-Сешанбе.

Комиссия одобрительно закудаhtала.

— Офарин! Русская девочка, а знает...

Меня учили печь лепёшки, и, вроде, обычно неплохо получалось. Но сейчас будто сама Биби-Сешанбе, наша талхакская покровительница домашнего хозяйства, подсунула мне свои руки. Они так и летали. Нагребли в сито муку из ларя и просеяли на большое деревянное блюдо. Сделали в мучной горке ямку и сыпанули туда соли. На воде или молоке? Руки сами схватили кувшин с молоком. Я опомниться не успела, а они большой деревянной ложкой смешали муку с молоком, вывалили густое тесто на скатерть из коровьей кожи и принялись месить.

— Да буду я жертвой за тебя,— охнула здешняя тётушка Кубышечка.

А руки схватили нож, разрежали ком теста на порции и налепили с десяток колобков. И тут же принялись раскатывать их скалкой. Ай да руки! Какие лепёхи раскатали! В здешних местах любят, чтоб пресная лепёшка большой была. А Биби-Сешанбе надела ватную варежку, чтоб золотую руку не обжечь, положила на варежку первую из лепёх, метнулась к очагу и ловким шлепком прилепила тесто к раскалённому внутреннему своду. Следом — вторую лепёшку. Третью... Все до одной прилепила, водой сбрызнула, тут же в блюдо, в котором тесто готовила, плеснула кипятка из кувшина, вымыла посудину. Остатки муки со шкуры смела, собрала в горсточку и — в очаг, на угли. Огню — угощение. Надо и его покормить. Да и арвохи, духи предков, тоже пусть мучицей полакомятся.

Пока Биби-Сешанбе хлопотала, лепёшки подрумянились. Она их длинным железным крючком со свода очага снимала и побросала на чистую скатерть. Старушка руку протянула, взяла одну.

— Во имя Бога, милостивого, милосердного,— и разломил горячую лепёшку на куски.

Экзаменационная комиссия тоже руки тянет, дегустировать. Одобрели и похвалили. Зачёт.

— Хорошо, доченька. Баракалло! — сказала старушка. — Покойная Зебо печь не умела. Я её, беднягу, и к очагу-то не подпускала. У неё хлеб всегда подгорал.

Подгорал, значит? Во мне будто что-то сломалось.

Едва дотерпела до вечера. Ветхая голубка, моя так называемая свекровь, отвела меня в маленькую нарядную комнатку — супружеские, стало быть, покои. Но визит Черноморда мне сегодня не грозит. Молодой супруг — это Черноморд молодой-то? — может войти к жене только на третий день после свадьбы — таков древний обычай, который даже Зухур не посмеет нарушить. Женщины не дадут, будут зорко следить. Но на всякий случай я на кухне стянула и спрятала за пазуху нож.

Старушка сказала:

— А теперь помолимся, доченька. Время вечерней молитвы.

— Я не молюсь, бабушка.

Хоть режь на куски, не могу обратиться к ней как положено — матушка. Она не рассердилась, лишь кротко произнесла:

— Надо молиться. Богу надо повиноваться.

Не хотела с ней спорить, но тут меня заело. Что она тут с благостным видом меня воспитывает! Сына лучше бы учила.

— Что же ваш сын Богу не повинуется?

Она всё так же кротко:

— Он молится, все законы соблюдает...

— А людей притеснять — это по закону?

— Он большой человек. Не нам с тобой его судить... А ты помолись, помолись, доченька. Мы с Зебо всегда вместе молились.

У меня духу не достало ей дерзить.

— Помолитесь сама, бабушка.

Голубица вздохнула, расстелила молитвенный коврик и принялась бить поклоны. Я смотрела на неё и думала, понимает ли она, что происходит. Понимает ли она, кто такой её сын? А может быть, прощает ему всё, что угодно. Это, мол, ваши мужские дела, а нам, женщинам, в них соваться нечего. Главное, чтоб в доме хорошо было. А что женщина думает — это никому не интересно...

Я не ложилась, ждала, пока она уйдёт. Старушка закончила бормотать и кланяться, свернула коврик и потянулась к керосиновой лампе, стоящей в нише. Я взмолилась:

— Бабушка, не гасите! Оставьте свет.

— Керосин беречь надо,— сказала старушка.— Такое время настало, не привозят его к нам теперь...

И задула огонёк.

Уснуть, ясное дело, я не могла. Мне все казалось, что Зухуршо подкрадывается ко мне в темноте. Я прислушивалась к каждому шороху: не открывается ли дверь. Чтобы успокоиться стала думать о хорошем — Андрей где-то совсем рядом. И представила, как мы с ним встречаемся...

27

Олег

Темнота была непроглядной, однако я решил, что наступило утро, потому что услышал, как наверху, на поверхности, открылась дверь тюремного предбанника, и тут же высоко над моей головой в потолке ярко обозначилась квадратная дыра. Падающий сквозь неё свет скупо озарил земляные стены ямы, я зажмурился. Даже эти рассеянные отблески больно ударили по ослабевшим глазам.

— Эй, сосед! Ты дома?

Я разлепил веки, поднял голову и смутно различил Гафура, который стоял на краю дыры, всматриваясь вниз.

— Как спал, сосед? Как себя чувствуешь? Здоровье как?

По тону я догадался, что его патрон в отлучке.

— Спасибо, друг. Как ты? Отдыхаешь, небось, без Зухуршо.

— Откуда знаешь, что он уехал?

— Ты сам мне сказал.

Гафур, разумеется, ничего не говорил, а посему отреагировал с недоумением:

— Эй! Когда?!

— Сегодня ночью, во сне.

— Э-э-э, тогда другое дело. Расскажи, я умею сны толковать.

Я принялся сочинять на ходу:

— А вот что приснилось. Ты вошёл, опустил вниз лестницу и позвал: «Олег, чего ждёшь? Вылезай. Зухуршо уехал, я тебя на волю отпускаю». Я обрадовался, вылез. Ты сказал: «Не торопись, Олег, времени много, спешить не надо». Пошли мы на задний двор, чтоб я умылся, а какой-то боевик тебя остановил: «Зачем арестанта освободил. Зухур рассердится». Ты ответил: «Зухуршо нет, я теперь главный». Боевик в струнку по стойке «смирно» вытянулся и тебе честь отдал. Ты меня к себе пригласил, да не в прежнюю комнату, а в мехмонхону, которая раньше принадлежала Зухуршо, а стала твоей. Ты хлопнул в ладоши, вбежали женщины, принесли горы всякой еды. Поели, и я тебе сказал: «Гафур, почему бы нам с тобой отсюда не уехать...»

Гафур был, кажется, несколько разочарован:

— Хороший сон, но толковать в нем нечего. Это мечта.

С единственной целью — логически завершить тему, я предложил:

— А почему ж мечту не исполнить? Отпустил бы.

— Разве мечты когда-нибудь исполнялись? — отвечивал Гафур и начал неспешно спускаться в яму ведро на верёвке.

Да, братцы, это Восток. Здесь и тюремщики философствуют.

Белое эмалированное ведро сверкало в свете, падающем из дыры, и медленно плыло вниз. После нескольких дней сидения в тёмной земляной тюрьме эта скромная бытовая посуда казалась мне предметом фантастической роскоши. Удивительно, как быстро меняются человеческие представления.

— Ребята вечером мясо ели, я тебе отложил, — проговорил наверху Гафур.

В ведре стоял кувшин с водой, накрытый лепёшкой, а на ней — небольшой кус чего-то подгорелого. Мой дневной паек.

— Порожний кувшин поставь, не забудь, — велел Гафур.

Пустая тара поднялась на свободу.

— Подними заодно и моё ведро, — попросил я.

Гафур фыркнул:

— По-твоему, кто я? Пришлю кого-нибудь, заберёт.

— Хоть дверь оставь открытой.

Я имел в виду вход в хибару, под которой вырыта подземная тюрьма — зиндон.

— Нельзя. Зухуршо сказал, надо закрывать.

— Послушай, Гафур, его все равно нет. А другим наплевать. Ты представь, каково это сидеть в абсолютной темноте...

— Какая разница? Все равно смотреть не на что.

— Знаешь, где-то в Швейцарии есть такая подземная река, где водятся безглазые рыбы. Белые, как молоко. Не слепые, у них просто абсолютно отсутствуют глаза.

— Сказка, да?

— Нет, бедняги так долго жили в темноте, что глаза пропали. Чувствую, что скоро превращусь в такую рыбу...

— Ладно,— сказал он.— Без глаз как фотографировать будешь?..

Странное дело, но наше недолгое комнатное соседство, вероятно, создало у него некое чувство общности. Думаю, если бы Зухуршо приказал: «Повесь журналиста», Гафур и глазом бы не моргнул — спокойно исполнил, что приказано, и спал бы безмятежно. А поскольку распоряжения морить голодом не поступало, он счёл своим долгом заботиться обо мне по-соседски. Он вовсе не злодей, просто работник. Как-то, три или четыре его посещения назад — не помню точно, у меня начала путаться последовательность событий,— я спросил:

«Гафур, тебя совесть не мучает?»

«Почему?»

«Ты того человека повесил. Парторга».

«Зухуршо приказал».

«Но казнил-то ты, мусульманина жизни лишил. Разве Аллах не запретил убивать правоверных?»

«Э, сосед, разве коммунист может быть правоверным?»

«Зухуршо тоже был коммунистом».

«Э-э-э, Зухуршо... — приговорил Гафур и присел на корточки, то ли готовясь в долгому разговору, то ли располагаясь поближе к собеседнику. — Ты змея у него видел? Хороший змей, да? Сильный. Это мой змей был. Я когда один раз в Душанбе приехал, в зоопарк зашёл. Ты там бывал? Я тогда подумал: Аллах в своей милости ад для животных не создал. Только для людей. А люди для животных ад сделали — этот самый зоопарк. Я льва видел. Медведя видел. Тигра видел. Ходят кругами. Разве это не ад — всю жизнь бегать по клетке от стенки к стенке среди своего дерьма? Разве не ад, всю жизнь дышать вонючим воздухом? Потом в одно место зашёл и за большим стеклом Мора увидел. У него ещё имени не было — просто змей. Это я Мором назвал. Я когда его увидел, решил: себе заберу. До смерти захотелось. Очень сильный змей. Пошёл

к директору, большие деньги предлагал, он не продал. Ту бабу, что за змеями ходит, уговаривал, она тоже не согласилась. Боялась, что узнают... Я всегда, когда в Душанбе приезжал, ходил на Мора смотреть. Во время войны, когда мы «юрчиков» из Душанбе выбили и в город зашли, я в зоопарк пошёл. Знаешь, стекло очень толстое оказалось. Наверное, какое-то специальное. Я автоматом несколько раз ударил — не разбивается...»

«Зашёл бы с задней стороны, через дверь для служителей».

Лица Гафура я снизу не видел, но в его голосе явно слышал неодобрение:

«Слушай, ты не понимаешь. Я что, рабочий, который за животными убирает? Я что, ветеринар? Задняя дверь — для тех, кто навоз выносит».

«Как же ты змея-то извлёк?»

«Ты умный, сам догадайся... А Мор, он сразу меня почувствовал. Сразу понял, что...»

Гафур замолчал. Я понял, что он не может подобрать слов, и сказал:

«У змей нет чувств. У них кровь холодная».

«Нет, он знает, как я к нему отношусь».

«А тебе-то откуда известно? Они ведь и говорить не умеют».

«Главного во мне признавал».

«Хозяина?»

«Нет, что ты! У Мора не может быть хозяина. Главного признал».

«Откуда ты знаешь?»

«Он силу мою чувствовал. Уважал».

«Что-то не разберусь, — сказал я. — Ты, могучий парень, и беспрекословно, за здорово живёшь, отдал удава Зухуршо. Да к тому же, почему-то ходишь у него в палачах. Околдовал он тебя?»

«Нет, — сказал Гафур. — Просто уважаю. Я в райкоме на посту сидел, там познакомились. Неприятности были, помог. Позже уже в Курган-Тюбе встретились. Он позвал, я к нему пошёл...»

Я спросил:

«Что же, много денег платит?»

«Обещает».

Думаю, дело не в обещании больших денег и даже не в благодарности за помощь. Гафур следует за Зухуршо, как утята за Конрадом Лоренцом. Каким-то забавным образом у него произошёл

импринтинг. Зухуршо запечатлелся в сознании Гафура в качестве начальственной особы, и теперь этот образ не могут разрушить никакие обстоятельства.

Не понятно почему, ко мне у него тоже образовалось что-то вроде личной симпатии, и иной раз он подходил к яме просто пообщаться. К сожалению, нынешняя беседа была недолгой. Звякнула дужка ведра — Гафур отвязал верёвку и сказал:

— Отдыхай, сосед, мешать не буду.

Я услышал над головой шаги. Он уходил. Дверь скрипнула, но не хлопнула, и свет в зиндоне не померк. Вероятно, сообщение о безглазых рыбах поразило воображение Гафура.

Обещание он сдержал. Через какое-то время наверху затопали, молодой голос крикнул:

— Эй, корреспондент! Гафур прислал, сказал: «То самое вытащи». Что тащить?

— Верёвку брось.

Посланец долго возился, и наконец в дыру полетел и шлёпнулся на землю спутанный верёвочный ком.

— Конец верёвки, кретин! — крикнул я со злобным раздражением. — Конец!

За дни подземного существования нервы истончились до предела, к тому же мне не терпелось избавиться от содержимого поганого сосуда. Правда, запах из него я почти перестал обонять, и это привыкание мучило меня посильнее того отвращения, что вначале вызывала вонь. Неужто я постепенно оскотиниваюсь? На воле о таких вещах не думаешь. Экскременты покидают тело под кустиком, за деревом или в кафельном санузле, и ты сразу же теряешь их из виду; в неволе они надолго застревают рядом, в тесной близости с тобой. В одном, так сказать, ограниченном пространстве. Смешно сказать, но для меня фекалии сделались даже предметом философствования. Сидение в яме заставило осознать, что испражнение и все, что с ним связано, занимает в жизни человека место, не менее значительное, чем антипод — приём пищи. Лишение человека возможности выделять — столь же мучительно и смертельно опасно, как отсутствие возможности поглощать...

Зухуршо знал, что делал, когда приказывал:

«Этого мужика напоите, чтоб вода из ушей лилась, и кер ему завяжите...»

Эту фразу он произнёс несколько дней назад во время показательной экзекуции, на которую он согнал все население Воруха, чтобы каждый наглядно представил, что ждёт тех, кто откажется запахать посевы на своих полях и готовить землю под высадку мака.

Удав на плечах Зухуршо подчёркивал торжественность мероприятия, а сам он распоряжался, стоя на высоком крыльце магазина — импровизированной трибуне. Другого возвышения на сельской площади не имелось, но, тем не менее, выбор места оказался непреднамеренно символическим: трибуну словно бы освящал дух торгашества, хотя Зухуршо, разумеется, этой символики не замечал и к ней не стремился. По обе стороны от крыльца выстроилась его уголовная дружина. Сбоку, чуть в стороне, понуро топталась небольшая кучка мужиков.

Прочие поселяне, мужчины и женщины, стояли напротив плотной толпой.

Два Зухуровых головореза потащили из кучки отказников того, кому была назначена пытка мочевым пузырьём. Мужик упёрся. Подошёл третий боевик и коротко саданул его прикладом автомата по почкам. Отказника повели в помещение магазина. Я очень хорошо понимал, какие мучения ему предстоят, — читал у Светония об этой пытке. Зухуршо-то откуда о ней узнал? Вряд ли он изучает античных авторов.

Головорезы вывели следующего.

«Сколько земли?» — спросил Зухуршо.

Из-за его спины вынырнул Гадо с тетрадой в руках.

«Как фамилия?»

«Камолшоев», — хмуро ответил отказник.

Гадо перелистал страницы и сообщил:

«Три поля, общая площадь — половина гектара».

«Бочка», — повелел Зухуршо.

Мужика подвели к большой бочке, стоящей у стены:

«Лезь».

Пинками загнали сопротивляющегося человека в дощатую бочку с двумя отверстиями в боку. Невысокий мужик высовывался из неё чуть повыше поясицы.

«Руки в дырки просунь».

«Как? Низко же», — сказал мужик.

«Присядь».

Мужик повиновался. Ему крепко стянули верёвкой запястья высунутых в отверстия рук. Боевик заглянул в бочку и похлопал по макушке присевшего в ней человека.

«Готов. Вставай, иди».

Оказалось, что дно у бочки выбито. Из неё, когда наказанный с натугой поднялся, торчали только голова и плечи, кисти рук и ноги.

«Куда идти?»

«Куда хочешь. Бочку снимешь — прибрьём».

Пошатываясь, человек побрёл к толпе, напоминая гротескного «человека-сэндвича», зажатого между двумя плакатами. Такие стали появляться на московских улицах. Не «сэндвич», а «сосиска в тесте», — шепнул лукавый, но я был до предела возмущён происходящим и не оценил неуместной шутки.

Приступили к очередному отказнику. У этого земли было больше, чем у предыдущего.

«По пяткам», — назначил Зухуршо.

Он тешился, перебирая экзотические наказания. Слава богу, самопальный Захлок не додумался до попытки кормить своего змея человеческим мозгом. Хотя, кто знает, возможно, и мелькала у него такая идея, но остановила техническая невозможность — пасть удава не приспособлена для высасывания или захвата студенистой массы. Пришлось ограничиться простыми, но доступными средствами. Как обычно, он превратил трагедию в комедию, и это пробуждало у меня больше негодования, чем вызвала бы, наверное, банальная жестокость.

Два боевика выволокли заранее приготовленную жердь и встали, держа её за концы на уровне пояса параллельно земле. Мужика повалили на землю, стащили сапоги, задрали вверх ноги и привязали за щиколотки к импровизированной перекладине. Грубые подошвы, покрытые мозолями и трещинами как панцирь черепахи, уставились в небо.

Гуманоид Занбур, пробуя палку на гибкость, спросил:

«Сколько?»

«Сколько у него соток, плюс полстолька, плюс четверть столька и ещё немного. Гадо, посчитай», — приказал Зухуршо.

Гадо сверился с тетрадкой и сообщил:

«Тридцать восемь».

Занбур взмахнул палкой. Я оглянулся. Народ молчал, мрачно потупившись. Один лишь рыжий мужичок средних лет следил за поркой с явным и каким-то наивным наслаждением. Должно быть, секли его давнего недруга...

Я отчётливо понимал, что остановить экзекуцию не сумею, но терпеть и сдерживаться не мог. Черт с ним, с невмешательством репортёра! Если струшу, промолчу, век себе не прощу. Обличать словом, взывать к совести Зухуршо бесполезно. Такие, как он, тем-то и отличаются от людей, что у них совести нет. Но у меня имелось оружие, которое, если не напугает Зухуршо, то, по меньшей мере, смутит. А если и не смутит, то хотя бы бросит в лицо облитый желчью дерзкий щелчок.

Придавив пугливую мысль о том, какая будет изобретена для меня пытка, я вышел, остановился напротив Зухуршо, наставил на него объектив фотокамеры и щёлкнул затвором.

Он почернел, помрачнел, прошипел:

«Зачем фотографируешь?»

Вопрос был риторическим. И без моего ответа Зухуршо прекрасно понимал, что я выражаю протест, вызов, презрение. Понимал и то, что жест — чисто символический. Из ущелья меня не выпустят, фотографии никогда не будут опубликованы. Хотя Зухуршо, возможно, был бы рад покрасоваться в прессе на фоне столь эффектной картины. Так некогда фрицы позировали возле трупов повешенных партизан. Но фотографировать без разрешения, помимо его воли — оскорбление. Насмешка. Дерзость. Тяжкое преступление.

Я отошёл в сторону, чтобы захватить заодно и человека, которого сёк Занбур, и сделал пару снимков. Затем присел и взял другой ракурс.

Думаю, и крестьяне, и головорезы понимали суть моего демарша. Все замерли, ожидая реакции Зухуршо. Застыл Занбур с занесённой тростью. Окаменел Зухуршо. Он не мог приказать прекратить съёмку или велеть своим башибузукам схватить наглеца — поставил бы себя в ещё более унижительное и смешное положение. И он всё-таки вывернулся. Воскликнул:

«Ай, молодец! Правильно. Такие большие события надо фотографировать. Вот ещё туда пойди, оттуда сними».

Я направил на него камеру, вновь щёлкнул и остановился, глядя Зухуршо в лицо. Он бросил пару слов Гафуру, стоящему рядом,

и, словно полностью забыв обо мне, переключил внимание на Занбура:

«Сколько успел?!»

«Я не считал», — растерянно сказал примат.

«Начинай сначала, — велел Зухуршо. — Гадо, теперь ты считай.

Он не умеет».

Ко мне подошёл Гафур:

«Пойдём».

Сопротивляться было глупо. Потащи он силком трепыхающегося фотографа, это свело бы на нет впечатление от протеста. Я безропотно пошёл за Гафуром к боевикам, стоящим у стены.

«Здесь жди», — рыкнул он и отошёл.

Соседний басмач рядом толкнул меня локтем:

«Брат, нас тоже сними. — И замер: — Что такое?»

Женский голос с невыносимым акцентом проквалкал что-то неразборчивое. Это ожили говорящие китайские часы, которые я перед командировкой купил на вьетнамском рынке. Сосед поцокал языком, поймал мою руку, расстегнул ремешок и снял диковинку.

«Тебе часы уже совсем не нужны».

Меня захлестнуло омерзительное чувство беспомощности. Обобрали, как мертвеца.

Меж тем экзекуция продолжалась. Зухуршо наслаждался ещё несколькими архаическими методами: ярмом, колодками, подвешиванием на вывернутых за спину руках и пошёл по второму кругу. Меня начало мутить от криков и вида истязаемых. Наконец пытки закончились. Зухуршо спустился с крыльца:

«Идём».

Я и не ожидал, что он накажет при народе. Меня усадили меж Гафуром и Занбуром в «волгу», стоявшую в стороне. Поднялись ко дворцу, во дворе которого Зухуршо приказал:

«В зиндон».

Несколько дней назад закончилось строительство подземной тюрьмы — зиндона. В дворе была вырыта большая яма глубиной метра три, перекрытая настилом с квадратной дырой посередине — входом и окном одновременно. Над ямой сложили из камня сарайчик. Тюрьма, вероятно, предназначалась для особо важных узников — не думаю, чтоб скаредный Зухуршо взял бы простого мужика на содержание, пусть самое скудное.

Гафур отвёл меня в каморку над зиндоном. Кроме Зухуршо в неё набилось столько башибузуков, сколько вместились.

«Прыгай в яму!» — свирепо приказал Зухуршо.

Ситуация становилась донельзя нелепой и унижительной. Я попытался сохранить достоинство и чувство юмора:

«А где парашют?»

«Гафур, раздень его и брось в зиндон», — приказал Зухуршо.

Троглодит схватил меня за руку. Я попытался вырвать руку, но он был силен как бык.

«Постой! Я сам...»

Потом, размышляя в темноте, я казнил себя за то, что дал слабину. Но мне было просто нестерпимо вообразить, как меня насильно бросают в эту яму. Я заранее ощущал омерзительное чувство беспомощности, когда примат потащит меня к дыре в полу. Унизительно. Но это полбеды. Оказаться абсолютно голым перед всей этой сволочью — наверное, для меня это было страшнее всего, хотя я и не считаю себя чрезмерно стыдливым. Но одно дело — нудистский пляж или сауна с друзьями, а другое — перед чужими, враждебными, насмешливыми... И где-то на заднем плане промелькнула подлая мысль: если уж ямы никак не избежать, то лучше оказаться внизу в одежде...

«Отпусти его, Гафур, — приказал Зухуршо. — Он сказал, что хочет сам спрыгнуть. Я не возражаю. Пусть прыгает».

Гафур вступился за меня:

«Ноги переломает, в сырости и холоде умрёт. Зухуршо, лестницу ему дай».

«Ладно, пусть не прыгает, — снизошёл Зухуршо. — Лестницу не дам. Пусть лезет, как хочет...»

Я обвёл глазами собравшихся и ни в ком не увидел сочувствия. Одно любопытство. Они наслаждались тамошо, зрелищем. Оказалось, что лезть в зиндон не менее унижительно, чем быть насильно сброшенным. Я сел на край дыры, спустил ноги вниз, перевернулся на живот... Повис на руках, уцепившись за деревяшку, окаймлявшую край. Разжал пальцы и полетел вниз. Удар о землю был довольно силен. Я не устоял и свалился на бок. Кажется, руки и ноги остались целы.

«Эй, фотоаппарат забыл. Возьми!» — крикнул сверху Зухуршо.

Рядом со мной тяжело, как камень, свалилась камера. Если бы я устоял на ногах, а не упал в сторону, она раскроила бы мне че-

реп. Наверху затопали, хлопнула дверь, я остался в полной темноте. Холод в земляном зиндоне стоял, как в леднике. Я подумал, что вряд ли долго протяну. Живым мне из ямы не выбраться. Не отпустит Зухуршо. Не простит прилюдного оскорбления. Вопрос лишь в том, подождёт ли он, пока я сам загнусь, или же придумает какую-нибудь особо хитрую казнь. Тайную, разумеется... А как же Даврон? Неужели не заступится?

Позже Гафур сбросил мне ватное одеяло...

Прошло всего несколько дней, а я успел опуститься до того, что выкрикиваю злобные оскорбления деревенскому недотёпе, буквально исполнившему просьбу. Недотёпа опустился на колени и свесился над дырой:

— Ты сказал: «Брось верёвку».

Ситуация становилась комичной.

— Ну подумай, зачем она мне здесь?

— Верёвка всегда нужна,— наставительно сказал недотёпа.— В любом деле без неё никак. Хворост обвязать, корову или барана привязать, если что-то поломалось, тоже верёвкой можно подвязать...

«Издевается или вправду полный идиот?»

Впрочем, я усовестился своей бессильной раздражительности. Более того, обрадовался — мерзкая, унижительная процедура превращалась в развлечение. Больше того! В игру. В общение. В увлекательное приключение.

— Ну, и что будем делать?

— Не знаю,— сказал недотёпа.— Теперь ты бросай.

Я сгрёб верёвку и швырнул. В воздухе ком распустился и пал вниз наподобие сетки-накидушки для ловли рыбы. Я отскочил, чтоб не оказаться уловленным, а после пары неудачных попыток, предложил:

— Это самое подождёт. Давай пока поговорим. Как тебя зовут?

— Теша.

— И как же ты, Теша, в разбойники-то попал?

— Я солдат,— гордо ответил Теша.— У меня командир есть, автомат есть, всё есть. Я не разбойник.

— Односельчан, значит, не притесняешь?

— Не притесняю. Мои односельчане в другом кишлаке живут. Здесь — ворухцы, глупые люди. Пользы своей не понимают. Новая жизнь настала, а они...

Обличить ворухцев Теша не успел. Откуда-то извне послышалось:

— Э, пацан! Куда пропал? Быстро сюда!

— Гафур велел...

— Тебе кто командир?! Сюда!

Теша вскочил с коленей.

— Не закрывай! — завопил я.

Однако в зиндон опустилась непроглядная тьма. Я нащупал одеяло и сел. Темнота и тишина — это, конечно, не полная сенсорная депривация, хотя для того, чтобы сдвинулось сознание, и этого достаточно. У меня пока ни разу не случались галлюцинации, но я со страхом ждал, когда они начнутся...

Но прежде я серьёзно простудился. Кашель буквально раздирал мне лёгкие, начала одолевать слабость. Не знаю, сколько дней провалялся на подстилке до того момента, когда действительно начал галлюцинировать.

Мне чудилось, что наверху разговаривают двое. Один голос звучал громко и резко, с характерными повелительными интонациями. Галлюцинация имитировала Даврона. Второй иллюзорный собеседник бубнил тихо и неразборчиво. Вероятно, моё сознание не нашло для него подходящего прототипа.

Я безучастно отметил, что пока сохранил способность отличать мнимое от действительного, и остался лежать лицом к стене, рассматривая слабый отсвет, возникший вдруг на тёмной земляной стене. Выглядел он очень натурально и убедительно. Более того, запахло воображаемым керосином, горящим в фитиле воображаемой лампы.

Голос Даврона позвал:

— Олег!

Я знал абсолютно точно, что это иллюзия, и изо всех сил старался не поддаваться мороку. Однако не удержался. Обернулся и увидел, что из квадратной дыры в потолке свисает керосиновая лампа «летучая мышь». Яркий свет нестерпимо жёг глаза, привыкшие к темноте, но я ухитрился рассмотреть руку, которая держала лампу за тонкую дужку.

Кто это?! Лица видно не было. Даврон? Он ни разу не заглянул в дыру — убедиться, что я жив. Где-то в отдалённых извилинах моего сознания пряталась надежда: он попросту решил меня проучить. Дать наглядный урок. В Курган-Тюбе предупредил, а я в ответ легкомысленно отчеканил по слогам: «Ты за ме-ня не в от-ве-

те». Потому он и не вмешивался. До поры до времени. Неужели сменил гнев на милость?!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что он мне чудится.

Я начал приподниматься, чтобы разглядеть человека с фонарём, но в это мгновенье «летучая мышь» вдруг сорвалась и полетела вниз как в замедленной съёмке. Она падала по косо́й, огонёк в стеклянном пузыре, схваченном проволочными перекрестиями, панически трепетал. Лампа грохнулась оземь и погасла. Завоняло керосином.

В темноте сверху посыпались камешки, а затем, судя по звукам, кто-то свалился в зиндон и упруго приземлился на ноги в центре ямы. Я отчётливо ощутил его плотное присутствие. Несомненно, это был живой человек, а не галлюцинация. Даврон столкнул кого-то в яму.

28

Зарина

В серой полутьме я взобралась на крышу по приставной лестнице. На краю кровли виднелась какая-то смутная тень. С заката до рассвета наверху постоянно торчит «каравул», часовой, — дела-ет вид, что охраняет, а вернее всего, спит.

Каравул не спал или проснулся и, хотя узнал меня, гавкнул:

— Э?!

Я подошла, сказала:

— Кыш отсюда! Я буду здесь сидеть.

Он мало, что не подчинился, ещё и прикрикнул:

— Э, чего?!

— Не слышал? Катись вниз. Это моё место.

— Э, женщина, ты что?

— Не уйдёшь, скажу Зухуршо, что ты ко мне приставал.

Каравул, ясное дело, струсил:

— Сестра, если уйду, командир ругать будет.

— А Зухуршо тебе голову откусит.

— Э-э-э... — и он потопал к лестнице, тихо ругаясь и беззвучно громяхая по жестяной кровле.

Я села на краю крыши и стала смотреть на небо, светлеющее над изломом горного хребта. Во рту остался тошнотворный привкус от имени Зухуршо, которое вырвалось у меня само собой. Ещё вчера я и представить не могла, что буду легко произносить его вслух. Но сейчас мне было все равно. Все чувства тонули в каком-то тяжёлом сером тумане.

Это был третий день. Последний. Назавтра ожидалось возвращение Черноморда. Правда, мне почему-то казалось, что он никуда не уезжал, а просто прятался, не появлялся мне на глаза. Как чудовище в «Аленьком цветочке». Только не доброе, щедрое и великодушное, как в сказке, а злое и хищное. Я с ужасающей ясностью представляла то, что должно произойти следующей ночью. С такой отчётливостью, будто это происходило на самом деле. Как будто произошло. Не хочу даже пересказывать, насколько всё было страшно и омерзительно.

Нет, я не позволю. Либо с ним, либо с собой что-нибудь сделаю.

Подобные мысли мелькали у меня в уме ещё дома, в Талхаке. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни о таком думает. Я утешалась, обдумывая — ещё не серьёзно — разные варианты. Представила себя висящей с высунутым языком и вытаращенными глазами, и мне стало дурно. Гадость какая! Утопиться в речке, отравиться... Тоже ничуть не лучше. Раздувшаяся в воде утопленница, или того хуже — почерневшее от яда лицо, скрюченное тело... Б-р-р... Отвратительно. Нет, так нельзя уходить из жизни — бесцветно, бессильно, покорно! Я вспомнила рассказы о таджикских девушках, сжигавших себя заживо. Прежде я удивлялась: разве нельзя как-нибудь по-другому? Чтоб умирать было не больно. Теперь, кажется, понимаю. Как ещё можно выразить гнев, возмущение, вызов, непокорность? Меня охватило странное чувство, что эти сгоревшие девушки — мои сестры. Я вспомнила картину «Свобода на баррикадах» и представила, как размахиваю огромным пылающим факелом и веду за собой бесстрашных отчаявшихся девушек всего Таджикистана...

Но мама и Андрюшка преградили нам путь. И папа тоже. Он стоял немного в отдалении, в тени. Поэтому я его не видела, но чувствовала, что он здесь.

Мама, наверное, ещё ничего не поняла или не захотела понимать. Она сказала сурово: «Зарина, сейчас же прекрати баловаться с огнём. Малейшая неосторожность, и ненароком подожжёшь дом».

Я ответила: «Хорошо, мамочка. Я отойду как можно дальше».

А сама подумала, что дом Черноморда — это змеиное гнездо, которое надо сжечь дотла. И пепел по ветру развеять.

«Что ты такое говоришь! — возмутилась мама — В доме люди живут. Ни в чем не повинные люди. Их тоже собираешься, как ты выразилась, сжечь дотла?»

Из толпы девушек выскочила Заринка, моя вторая... нет, моя десятая натура, и закричала: «Мама! Она не будет поджигать дом. Она себя собирается сжечь! Она меня, меня сожжёт! Почему ты думаешь о других, а не обо мне?!»

«Глупости,— сказала мама.— Зарина никогда этого не сделает. Я запрещаю».

Я спросила: «Ты хочешь, чтобы Черноморд... — я не знала, в каких словах поднести это маме.— Ты хочешь, чтобы Черноморд... надругался надо мной?»

«Господи, Зарина! — воскликнула мама. Потом сказала: — Но есть же другие выходы...»

«У меня их нет»,— сказала я.

«Есть выход! — крикнул Андрей.— Убей его!»

«Андрей, прекрати молоть вздор,— сказала мама.— Где ты это набрался?»

«Почему себя?! — крикнул Андрей.— Его убей! Убей этого гада!»

И Заринка, трусиха, поддакнула: «Его убей!»

Может, они с Андрюшкой правы?

Я сказала тихо: «Мама...»

«Моя дочь не способна стать убийцей,— отрезала мама.— Это даже не обсуждается».

«Почему?! — закричал Андрей.— Почему вы всегда запрещаете? Почему с вами никогда невозможно ни о чем поговорить?»

Папа подошёл, встал рядом с мамой и сказал строго: «Андрей, с матерью нельзя так разговаривать. Нельзя на мать кричать. Старших уважать надо».

Тут и Бахшанда появилась и встряла: «Э, Вера своих детей совсем не воспитала».

«А ты помолчи! — крикнула ей Заринка.— Своих-то детей, словно мышей, зашугала. Они тебя как огня боятся. Это и есть, потвоему, воспитание?»

Я все ждала, что папа вмешается и всех рассудит, но он, как всегда, промолчал и заговорил совсем о другом: «Зарина, Бог запретил нам убивать. Никого нельзя убивать — ни других, ни себя».

«Раньше надо было учить, пока жив был», — опять встряла Бахшанда.

«Если убивать нельзя, почему тебя убили?» — спросил Андрей.

«Плохие люди убили», — сказал папа.

«Почему плохим людям можно, а нам нельзя?! — вскипел Андрей. — Мы должны мстить плохим людям. Поступать, как они. Иначе выходит, что они сильнее нас».

Но мама сказала: «С плохими людьми должен разбираться закон».

Какой закон?! Здесь, в горах, есть только один закон, несправедливый. И этот закон — Черноморд.

«Мамочка...»

«Нет, нет и ещё раз нет! — сказала мама. — Мы не звери».

«Мама, ты хотя бы представляешь, что он будет со мной делать?» — спросила Заринка.

Мама промолчала.

Я спросила: «Мама, ты будешь меня любить, если я убью его? Ты не разлюбишь меня?»

«Ты не убьёшь, — ответила мама. — Моя дочь не способна убить».

Она не ответила на мой вопрос, а я не могла заставить её ответить и не была уверена, что смогу заставить себя её послушаться.

«Убегии! — завопила Заринка. — Спрячься в горах. Доберись до Калай-Хумба по тропе, о которой Андрюшка рассказывал».

«Дурочка, — сказала я, — а ты подумала, как Зухуршо отомстит маме и Андрюшке, если я убегу? А есть ещё дядя Джоруб, тётя Дильбар. И даже Бахшанда...»

Бахшанда сначала фыркнула в обычной своей манере, но всё-таки сказала: «Правильно говоришь, девочка. Молодец».

Я хотела ещё что-то сказать, но мне мешала сосредоточиться Заринка, которая начала подвывать: «Я не хочу умирать. Я не хочу умирать».

Я прикрикнула на неё: «Прекрати». Но она, ясное дело, в упор не слышала. А на меня навалилась какая-то неподъёмная, окончательная тяжесть, которую невозможно сбросить, потому что я приняла решение, которое невозможно отменить...

В это время сзади, за моей спиной, из-за хребта высунулся краешек солнца, и впереди, на холодных вершинах, высоко надо мной, тут же вспыхнула золотая полоска. Я не хотела, чтобы солнце восходило.

Зачем оно, если все равно ничего не будет? Но оно всё-таки взошло. Я ненавидела солнце. Я ненавидела узкое сияние на вершинах. Это ложь, вранье, страшный обман, дикое, непереносимое притворство. Какое у солнца право радостно сиять и возвещать, что все в мире ясно и благополучно?! Почему это подлое светило обещает светлое будущее?! Я отвернулась и стала смотреть на гору за рекой — на противоположный склон, серый, туманный... Он-то хоть не врал.

А люди обманули. Дядя Джоруб обманывал, когда обещал, что укроет нас в безопасном месте. И Даврон обманул. Наговорил, наобещал, а сам исчез.

Я услышала внизу, под стеной, голос младшего братца Черноморда — такого же гада, как старший:

— Почему не на посту?

Каравул ответил жалобно:

— Жена Зухуршо сказала: «Уходи». Сама на крыше села.

Какая такая жена?! Я их обычаев не признаю, и то, что за занавеской посидела, ничего не меняет. Я никакая и ничья не жена!

Внизу голос младшего гада спросил с иронией:

— Теперь бабы тобой командуют?

— Э, биять! Она сказала: «Зухуршо пожалуюсь».

— Хорошо, я разберусь, — сказал Гадо. — Не бойся, в обиду тебя не дам.

Верхний конец лестницы заёрзал по краю крыши — кто-то взбирался наверх. По кровельной жести забухали шаги. Над коньком возникла голова Гада. Я отвернулась, но все равно слышала, как он, гремя железом, подходит и останавливается неподалёку от меня. Кажется, я даже обрадовалась его приходу. Меня переполняли гнев и возмущение, и мне надо было на кого-то их выплеснуть. Я обернулась и посмотрела на него. Он щеголял в камуфляжных брюках с зелено-коричневым рисунком и чёрной майке. На плечи был наброшен как плащ чёрный шерстяной чекмень.

Ненавижу!

— Чего припёрся?

Он смотрел туда же, куда и я, — на раскалённую лаву, катящуюся вниз по склону. И вдруг сказал по-русски, словно говорил сам с собой:

— Э, холодно, оказывается...

Я только после его слов почувствовала, как резок воздух и как меня бьёт холодный озноб.

Гад сказал:

— Ты, наверное, замёрзла, сестрёнка.

Он скинул чекмень и очень осторожно набросил его мне на плечи — казалось, ловил птицу, которая присела на кровлю и вот-вот вспорхнёт. Я закинула руку назад, ухватила чекмень за ворот, сдёрнула его с себя и швырнула вниз. Чёрная тяжёлая одежда, распластавшись, полетела к земле, как самоубийца, бросившийся с крыши.

На Гада я не смотрела, но почувствовала, как его передёрнуло. Однако он лишь пробормотал:

— Обижаешься... — и опустился на корточки невдалеке от меня.

Сядь он поближе, я, наверное, столкнула бы его вслед за чекменём. Он помолчал и сказал:

— Я тоже как ты... Когда маленьким был... Я тоже раньше любил на крыше сидеть. Не здесь. Раньше старый дом стоял, я туда залезал. Зухуршо меня обидит, я на крышу залезу, сижу, думаю, обижаюсь. Я маленький был, Зухуршо меня много обижал... Он всех обижает. Зебо тоже обижал. Я её всегда защищал...

— Ты защищал?! Какой герой... Видела я, как ты перед братцем на брюхе ползаешь.

Его опять передёрнуло.

— Старших уважать надо.

— Вот вали отсюда и уважай.

Он вскочил, и на мгновение показалось, что он меня ударит, но он выпрямился и сделал вид, что у него затекли ноги. Закинул руки за голову, потянулся, переступил с ноги на ногу, разминая, и опять опустился на корточки.

— Ты смелая. Зебо не такая была. Ты, наверное, себя русской считаешь, а ты все равно — наша. У тебя отец таджик был, значит, ты — таджичка. Надо немножко учиться, как себя правильно вести. Немножко скромной нужно быть. Мужчин уважать тоже надо. Правильно с мужчинами разговаривать. Уважительно.

Ещё и учит, сволочь!

— Как она умерла? — спросила я.

Гад удивился:

— Кто умер?

— Зебо.

— Э, ты не бойся, — сказал он. — Если правильно сделаешь, ничего плохого не будет. Я тебя научу. Помогу. Хороший совет дам...

— Не надо советов. На вопрос ответь.

— Что за вопрос?

Я повторила отдельно:

— Отчего. Умерла. Зебо.

Он огладил свою поганую рыжую бородку.

— Заболела... Очень больная была. Зачем Зухуршо такую больную жену взял? Э, ему какая разница? Ему все равно! Зухуршо женщин не любит. Совсем женщинами не интересуется. Ему женщины не нужны. Только деньги, деньги, деньги. Жадный он, жадный...

Впервые хоть одно слово у него вырвалось искренне. Я сказала злорадно:

— Не любишь ты братца.

— Зачем его любить? Он сам себя очень сильно любит. Такую девушку, как ты, замуж взял, даже не взглянул. Совсем ничего не понимает. Женщин не любит. Я не такой. Я женщин понимаю. Уважаю. Знаю, чего женщины хотят... Я о тебе заботиться буду...

— Когда это ты собрался обо мне заботиться?

— Если одно дело сделаем... Как царица будешь жить. Куда хочешь, поедем. В Америку поедем, в Париж поедем, в Дубай поедем. Всякие платья такие, которые модные... всякие модные платья, которые жены арабских шейхов носят, тебе куплю... в Дубай поедем...

За кого он меня принимает? Я повернулась и посмотрела на него.

— Не веришь? Правду говорю. Хлебом клянусь. Где ты такого мужа найдёшь? Или ты за русского хочешь замуж выйти?

И этот туда же лезет! Ещё один жених. Мне было противно, что он со мной разоткровенничался. Хотя в общем-то — безразлично, потому что... одним словом, было безразлично, но чтобы напугать его, я процедила сквозь зубы:

— Что ты мелешь?! Руку и сердце предлагаешь? Не боишься? Вот возьму и расскажу Зухуршо, как ты мне... — его так называемой жене — руку и сердце предлагал?

Он засмеялся:

— Не расскажешь. Ты его ненавидишь. Ты, чем ему хоть одно слово скажешь, лучше язык себе откусишь.

— Расскажу, — повторила я.

— Э, сестрёнка! Ты думаешь, я глупый? Думаешь, ничего не понимаю? Я тебя очень хорошо понимаю. Знаю, о чем ты думаешь. Я тоже об этом думаю...

— Ты ещё и думать умеешь?

Он не обратил внимания на мою язвительность и сказал:

— Зухуршо убить надо.

Он произнёс это негромко, но очень серьёзно.

— Убей,— сказала я.

— Не могу,— сказал он.— Зухуршо мой брат.

— А-а-а-а, брат...— сказала я.— Тогда зачем языком болтаешь?

— Ты это дело сделай,— сказал он.

Я даже не разозлилась. Меня это даже не задело. Как ни удивительно, мне сделалось смешно.

— Послушай, юноша,— сказала я.— Ты предлагаешь мне убить твоего старшего брата. И что потом? Потом меня зароят живой в землю, побьют камнями... Или как тут у вас поступают в таких случаях? А ты останешься чистеньким и первым бросишь в меня камень...

— Нет,— сказал он.— Я на тебе женюсь. Никто ничего не узнает. Милиции нет, прокуратуры нет, никакой власти нет. Я буду здесь власть. Скажем: заболел, умер. Кто станет проверять?

Глупо и смешно, но я вдруг попыталась представить, как это будет, если будет. «Зарина, даже думать не смей!» — воскликнула мама.

А Гадо зашептал вкрадчиво:

— Старушка есть, она все знает. Я у неё взял одно лекарство. Очень хорошее лекарство. Вкуса не имеет, запаха не имеет. Если в чай положить, Зухуршо ничего не заметит. Спать ляжет, утром не проснётся.

Меня разобрало нестерпимое любопытство. Было ужасно интересно, как он собирается Черноморда травить... Почему он? Это он мне предлагает. И хотя я ни за что в жизни не войду с ним в сговор, страшно хотелось узнать, как он все задумал.

— Вот твоя старушка все и расскажет. Никакого следователя не надо.

Он даже рассердился.

— Зарина, ты вообще ничего не понимаешь! Кто мне хоть одно слово сказать посмеет? А между собой будут шептаться, пусть шепчутся. Зухуршо никто не любит. Зухуршо всех людей обидел. Все радоваться станут, никто вопросов задавать не будет. А старушка вообще ничего не расскажет...

— Почему это?

— Бабушка умерла.

Он убил её, ублюдок!

— Плохого не думай,— сказал он.— Сама скончалась. Очень старая была.

— Понятно,— сказала я.— А про меня что скажешь? Очень больная была? Как Зебо. Или просто очень глупая.

Он придвинулся ближе ко мне.

— Про тебя скажу: «Я на этой женщине женюсь». В жены тебя возьму.

Он пододвинулся совсем близко и обнял меня за плечи.

— Руку убери,— сказала я безразлично.

— Ты плохого не подумай. Я как брат...

— Лапы поганые убери! — закричала я не своим голосом.

— Зачем кричишь?

Он отдернул руки, но я видела, что он взбешён и борется с собой.

— Зарина, зачем так говоришь? Зачем на меня кричишь?

— Потому что ты мне противен. Вы все мне противны! Уходи. Его, кажется, наконец проняло.

— Хай, сестрёнка. Не обижайся. Подумай. Хорошо подумай...

И потопал к лестнице. Я крикнула вслед:

— Гадо, как умерла Зебо?

Он остановился, обернулся.

— Зухур её убил.

Эшон Ваххоб

...и таким образом, пишущему эти строки не остаётся ничего иного, как принять решение, к которому его вынуждают долг и судьба, а также обязывают принципы истинного гуманизма. Поскольку нет мирного способа отстранения от власти Зухуршо, действия коего полностью разрушат не только жизненный уклад вверенных мне Богом людей, но и сами их жизни, то остаётся лишь единственный выход — насильственное свержение несправедного

тирана, что также невыполнимо, ибо любое выступление безоружных крестьян против самозваного правителя зальёт ущелье кровью невинных, а потому придётся прибегнуть к мере жестокой, но неизбежной — его физическому уничтожению.

Множество раз я проверял и перепроверял законность этого приговора, сверяя его с Кораном и известными мне хадисами, с сожалением сознавая, что успел изучить не слишком многое, поскольку до сих пор видел своё назначение в духовном руководстве мюридами, а не в решении политических задач, и в итоге решил довериться сердцу и обратиться к Богу в надежде, что Он подскажет верный ответ.

Но прежде необходимо было успокоить встревоженный ум. Сидя глубокой ночью в своей келье, я начал сосредотачиваться на пламени чироба, стоящего передо мной на циновке. Здесь, в уединённом пристанище молитв, медитаций и раздумий, я никогда не прибегаю к иному освещению. С началом войны электричество пропало, запах керосина неприятен, а созерцание живого огонька светильника приносит немалое удовольствие и к тому же роднит меня с мудрецами древности, не знавшими иных источников света (если, разумеется, не считать того, из коего исходит истинная мудрость). Правда, когда одолевает меланхолия, грубый глиняный сосуд с торчащим из него фитилём напоминает об убожестве, в котором я вынужден жить до конца своих дней, и утешает лишь тем, что оставляет в углах кельи достаточно тьмы, чтобы скрыться в ней от бед и соблазнов этого мира...

Тяга холодного воздуха из полуприкрытой двери заставляла пламя колебаться и трепетать, словно бы в такт моим беспокойным мыслям. Раздумья мои пресёк шёпот, донёсшийся из тёмной щели меж дверью и косяком:

— Святой эшон...

Пробуждённый от дум, я пришёл в негодование. Бесцеремонность простолюдинов беспредельна! Они не имеют представления о том, что такое личное время и личное пространство, и, едва возникает нужда в услугах эшона, вторгаются к нему без колебаний с той же деловитой поспешностью, с какой открывают короб с лекарствами в собственном доме. Но я не служба скорой помощи. Не телефон доверия. Звоните ноль три.

— На сегодня приём закончен, — произнёс я холодно.

Слова мои должны были обескуражить стоящего снаружи, но он тут же нашёл ответ:

— Завтра, может, поздно будет...

Прогнать наглеца — означало оставить дерзость безнаказанной, а я хотел дать хороший урок.

— Войди.

Дверь приоткрылась пошире, и невидимый пришелец просунул в келью какой-то предмет. Я всмотрелся и в полутьме разглядел большой узел из полосатой ткани. Подношение.

— Оставь за порогом, — приказал я.

Узел уплыл назад в темноту, а его место заняла смутная фигура, в которой угадывался гротескный силуэт деревенского старосты. Я до сих пор не мог простить этому нелепому субъекту непочтительность, замаскированную преувеличенной почтительностью, с которой он тащил меня в президиум того злополучного собрания. Усилием воли я погасил разгорающийся гнев — чувство, недостойное мудреца. Не стану скрывать, в качестве огнетушителя мне послужило одно соображение: староста, хитрец и интриган, явился ко мне в неподобающий час не по недомыслию, а с каким-то умыслом, за которым, вероятно, скрывается нечто важное... И я, сколь смог милостиво, приказал:

— Садись.

Староста неуклюже уселся у порога.

— Ближе! — я хотел наблюдать за выражением его лица.

Староста, опираясь руками сзади и выдвигая вперёд скрещённые ноги, произвёл несколько перистальтических движений на собственных ягодицах, будто гусеница, и замер в метре от меня, потупившись, молча. Я не торопил его, однако затянувшееся молчание становилось непристойным. Светильник, стоящий передо мной на циновке, подсвечивал снизу лицо старосты, превращая его в маску злодея из дешёвой мелодрамы.

— Почему ты молчишь?

Тени на лице злодея задёргались, и он прошептал:

— Жду разрешения.

— Говори.

Он начал шёпотом:

— Святой эшон...

— Почему ты шепчешь? — спросил я.

— Разговор секретный... опасный разговор, святой эшон. Боюсь, кто-нибудь подслушает...

Вернее всего, это была театральная игра, привычная для этого лицедея, хотя не исключено, что он непритворно чего-то опасался, однако я не стал вникать в его помыслы.

— Здесь тебя никто не слышит, кроме меня и Аллаха. Не вынуждай нас напрягать слух.

Староста глянул на меня столь хитро, что я пожалел о своей вольнодумной шутке, ставившей его в положение равноправного собеседника, и решил впредь соблюдать в речах большую сдержанность. А он принял тот важный вид, с каким простолюдины приступают к серьёзному разговору.

— Ситуация очень сложная. Никто не знает, как жить дальше...

Я прервал торжественное вступление:

— За этим ты и пришёл? Сообщить то, что известно в кишлаке каждому ребёнку? Говори коротко и по существу.

Староста был вынужден оставить ужимки и торопливо заговорил:

— Ваш запрет нарушить собрались. Вы, святой эшон, запрет наложить изволили: Зухуршо — власть, на его жизнь посягать запрещаю. И что же? Молодёжь теперь бунтует. Говорят: нам эшон не начальник. Мы сами лучше знаем, говорят. Ещё такие слова про вас говорят, что пересказать не смею. Все перевернуть хотят. Старших не слушают, не уважают. Меня, асакола, не уважают, власти моей не признают. Мы теперь сами порядок наведём, говорят. Оружие откуда-то достали, где прятали — даже я не знаю. Говорят, Зухуршо убьём...

Если он рассчитывал поразить или испугать меня, то ошибся — добровольные соглядатаи доносят мне обо всем, что происходит в селениях. К тому же, нетрудно понять, зачем талхакский асакол примчался ко мне под покровом ночи.

— Итак, ты боишься потерять власть.

— Нет! — вскричал староста. — О себе не забочусь. Крови боюсь. Я от войны на родину убежал, а теперь и здесь война начнётся. Я за наши древние традиции боюсь...

Асакол верно оценивал ситуацию и её последствия, и несмотря на то, что забота о традициях прозвучала парадоксально в устах люмпена и отщепенца, мне пришлось признать справедливость его опасений:

— Вероятно, ты прав... Но все произойдёт, как решит Аллах. И мы ничего не в силах изменить.

— Я знаю, как избежать беды,— быстро проговорил староста и замолк, ожидая позволения продолжать.

Я на миг опустил веки, а он ухитрился в скудном свете чироба уловить сей знак.

Он прижал руки к сердцу и поклонился:

— Не сердитесь, муаллим, если что-нибудь неправильно скажу. Я, извините, немного историю вспомню. Раньше тоже было очень трудное время. И ваш дед, святой эшон Ходжа, чтобы выйти из положения, поставил моего деда Саида-бедняка ревкомом в Калай-Хумбе. Очень хорошо все вышло...

— Я помню, что сделал эшон Ходжа, да будет свята его могила. К чему ты клонишь?

— Если у наших предков хорошо выходило, то, наверное, и у нас может получиться,— произнёс он и замолк, скромно уставившись в пол.

Наконец-то его замысел выплыл наружу: запутать эшона кровавым бунтом, а тот наверняка с радостью примет любой способ предотвратить волнения... Меня позабавило простодушие этого нелепого человека, мнящего себя хитрецом. Я даже снизошёл до улыбки:

— Зухуршо вряд ли захочет отдать тебе... трон.

Староста прямо и многозначительно посмотрел мне в глаза:

— Этот вопрос я решу.

Значит, вот зачем он явился и разыграл комедию, мешая вымысел с действительностью. Его подослал Зухуршо! Задумал испытать меня. Не замышляю ли тайно против него? Не прячу ли камень за пазухой? Оставалось непонятным лишь одно — почему провокация настолько неуклюжа и примитивна. Я сдержал гнев, чтобы заставить старосту высказаться определённое.

— Решешь вопрос? А-а-а, ты теперь близкий к Зухуршо человек и сумеешь уговорить. Однако он не так простодушен, как... как некоторые эшоны.

Он наконец-то посмотрел мне прямо в глаза.

— Не я... Горы уговорят. В горах с людьми иногда разное случается.

Я продолжил игру:

— Предположим... И вот — несчастный случай. Что, по-моему, произойдёт потом? Неужели Гадо и Даврон прибегут в Талхак — звать тебя на место Зухуршо? С ними как думаешь справиться? А влиятельные люди в Ворухе? Они ведь тоже захотят использовать шанс...

— Влиятельные люди вам подчинятся — поступят, как вы скажете. Даврона опасаться не надо. Я знаю, он здесь жить не хочет. Девчонку полурусскую возьмёт и уедет. С Гадо как-нибудь справимся. Он слабый человек...

Я усмехнулся. Справимся? Староста зачислил меня в сообщники.

— Ладно, предположим, у тебя получится. Станешь главным в Санговаре. Дальше что? Какие у тебя планы? Какую жизнь думаешь устроить? Какой, — я усмехнулся, — политический режим? Общественное устройство какое?

— Нет у меня планов, — сказал староста. — Какое скажете, такое и будет. Во всем вашим мудрым указаниям следовать стану.

Этот калека возомнил, что заманит меня в ловушку грубой лестью! Возмущённый, я отбросил притворство:

— Не следовало бы тебе вспоминать о деде. Мой предок, да будет свята его могила, возвысил твоего ничтожного деда... А твой ничтожный дед, Саид-ревком, предал шейха. Не забыл ли ты об этом?! Забыл, как Саид-предатель послал людей арестовать эшона Ходжу, да будет свята его могила? Хвала Аллаху, верные мюриды предупредили эшона и спасли от расстрела... А не забыл ли ты, сколько лет эшон Ходжа вынужден был скрываться?

Я плохо помнил старинные семейные предания, и они, признаюсь, мало меня волновали. Наверное, воспитывайся я под отцовским крылом, то питал бы естественную вражду к потомкам злосчастного Саида-бедняка, но судьба отдалила меня, городского и образованного человека, от давних деревенских распрей, бушевавших будто в другом измерении, как если бы я прочёл о них в старых книгах, что не помешало мне использовать их отголоски.

— То при советской власти было! Страшное время! — возопил староста. — Не по своей воле Саид... Приказали ему!

— А тебе кто прикажет предать меня?! — вскричал я громовым голосом. — Или уже приказали? Кто велел тебе явиться ко мне с грязными предложениями? С провокацией... Не Зухуршо ли?

— Нет, святой эшон... нет, учитель... — залепетал староста в испуге, вернее всего, притворном. — Никто не приказывал...

— Хорошо, — сказал я холодно и спокойно. — Завтра поеду в Ворух и ты со мной. И в присутствии Зухуршо подтвердишь, что не получал от него приказа...

— Ка-какого... при-каза?..

— Тебе лучше знать. Того приказа, который ты от него не получил.

Старосту охватил непритворный ужас.

— Учитель, учитель!..

— Успокойся, — сказал я, испытывая мстительное удовольствие, ибо поставил провокатора в ситуацию, из которой нет выхода. — Чего тебе страшиться, если ты чист?

— Он убьёт! Он меня убьёт...

Калека завозился, пытаюсь вскочить, и по неловкости толкнул ногой светильник. Чирог опрокинулся, масло залило горящий фитиль, пламя погасло. Случай — наилучший из режиссёров — погрузил сцену во тьму и эффектно завершил тягостный диалог. В непроглядной темноте, чёрной, как душа провокатора, я приказал:

— А теперь уходи.

— Учитель, не губите! — воззвал из тьмы староста. — Не надо к Зухуршо...

— Уходи, — повторил я. — Завтра решу, как с тобой поступить.

Было слышно, как он пополз к выходу. Открылась дверь, я почувствовал, что извне потянуло холодным ночным воздухом, и дверь закрылась. Меня вновь не тяготило ничьё присутствие, и я, сидя в полной темноте, продолжил размышления.

Утром я велел Лутфулло:

— Оставь все дела и отправляйся в Ворух. Найди способ тайно увидеться с Гадо, младшим братом Зухуршо, и скажи, что эшон желает с ним поговорить. Пусть придумает какой-нибудь предлог и прибудет как можно скорее. О том, зачем он едет в Талхак, никто знать не должен.

Имя моего добровольного челядинца в переводе с арабского означает «милость Аллаха», и его услуги являются для меня подлинной милостью Всевышнего, одарившего своего ничтожного раба столь смыслённым и проворным служителем. Я не сомневался, что Лутфулло проникнет к Гадо столь же успешно и незаметно, как

мышь, которая расплывается в плоскую лепёшечку и сквозь узкую щель под закрытой дверью перетекает на ту сторону.

Призывая к себе Гадо, я желал окончательно убедиться, что он — именно тот самый необходимый мне человек, ибо устранение Зухуршо чревато последствиями, которые следует предусмотреть заранее. После падения взбалмошного деспота начнётся смута, схватка за его место, которое может занять человек, ещё более жестокий и неуправляемый. Вернее всего, им окажется Даврон, бывший советский офицер, брутальный и безжалостный, как все солдафоны, но довольствующийся ныне подчинённой ролью полевого командира. При таком исходе правление Зухуршо будет вспоминаться как счастливое царство.

Я обязан не допустить подобного развития событий и заранее подыскать того, кто сумеет управлять сей местностью разумно и заботливо. Разумеется, Гадо плохо приспособлен для роли реального управителя. По своему характеру он предназначен выполнять, а не отдавать приказания, однако в нынешнем положении этот его недостаток оборачивается достоинством.

Подозреваю, что в глубине души Гадо завидует старшему брату, был бы счастлив править сам, однако никогда не решится, поскольку боится ответственности. Иное дело, если бы кто-то взял ответственность на себя и подсказывал, как поступать, скрывался бы в тени и руководил его действиями. Но вместе с тем, Гадо боится — и справедливо, — что стоящий сзади нанесёт удар в спину. Единственный, кому он всецело доверится, — духовный наставник, ибо шейх не посягнёт на его место по той простой причине, что духовная власть выше и почётнее власти светской или военной. Необходимо лишь внушить Гадо эти мысли таким образом, чтобы он принял их за свои собственные. В этом и состоит главное искусство власти — управлять не действиями, а желаниями подвластных, чтобы желания в свою очередь управляли их действиями...

Гадо не замедлил откликнуться на зов и явился на следующий же день. Одетый в городской чёрный костюм и белую рубашку с галстуком, он, деликатно постучавшись, скинул у порога кельи остроносые лаковые туфли, запylённые при подъёме по тропе, почтительно поздоровался, подождал приглашения и расположился на самом краю циновки. Развернув небольшой узелок, он положил передо мной книжицу в истёртом переплёте с арабским шрифтом, тисненным золотом.

— Извините, пожалуйста, муаллим, книжка совсем старая... — проговорил он неуверенно. — Другой найти не сумел. Новую искал, но здесь не город...

Я взглянул на ветхую обложку. Это была подлинная драгоценность. Любая большая библиотека в Тегеране, Париже или Лондоне озолотила бы её продавца. Известная по ссылкам и цитатам, книга считалась утерянной, так что невозможно представить, каким чудом она выплыла на свет в горном захолустье.

— Место глухое, отдалённое, новую литературу не завозят... — бормотал меж тем Гадо, однако по мимолётному косому взгляду, я догадался, что он отлично понимает, какое сделал подношение, но старательно притворяется простаком то ли из деликатности, опасаясь обременить меня неслыханной ценностью подарка, то ли из врождённой потребности в самоумалении.

В придачу к раритету, это было ещё одним подарком судьбы. Умного человека убеждать проще, нежели недалёкого, а для моих целей ум кандидата в соединении с нерешительностью — сочетание идеальное. Поблагодарив, я заговорил о текущих событиях, спрашивая мнение Гадо о том, о сем, всячески подчёркивая, как ценю его мнение, и незаметно подвёл разговор к Зухуршо:

— А как здоровье твоего почтенного старшего брата?

Гадо, будучи очарованным моим вниманием, словно очнулся от сладкого сна и проговорил неохотно:

— Здоров.

— Отрадно слышать. Однако жизнь человека в Божьих руках. Судьба изменчива, хотя люди в твоём возрасте об этом ещё не задумываются. А впрочем... Размышлял ли ты когда-нибудь о бренности существования? О том, что жизнь твоя или твоего брата может оборваться в любой миг.

Он сказал нерешительно:

— Думалось, конечно, иногда... Про себя и про Зухура тоже. Думал, может, его машина попадёт в аварию или он на охоте сорвётся со скалы и разобьётся насмерть...

— Это было бы для всех великим горем...

Он окончательно смутился:

— Вам, святой эшон, солгать не смогу... Я бы, наверное, не стал горевать. Зухур — не родной брат. Сводный.

— Но ты ведь не желал, чтобы он умер?

— Нет, что вы, муаллим! Никогда!

— Не надо оправдываться. Если даже и желал, в этом нет греха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах простил моим последователям грешные мысли, которые возникают у них в голове, пока такие мысли не произносятся или не превращаются в дела». Так приведено в шести достоверных книгах хадисов... А думал ли ты когда-нибудь, как поступишь, если — да не допустит этого Аллах — с Зухуршо что-нибудь случится?

— Похороню его достойно.

— Похвально,— одобрил я и спросил: — Смог бы ты занять место брата и продолжить его дело?

— Куда мне! Зухуршо очень умный был, сильный... — вздохнул Гадо, а я, удивившись его ответу, спросил:

— Почему ты говоришь «был»?

Гадо не сразу понял, а, догадавшись, спохватился:

— Извините, оговорился... Это в мыслях... А в действительности он живой и невредимый. Что ему сделается?

Простота Гадо казалась столь умильной, что я на миг усомнился — не дурачит ли он меня... но нет, слишком робок для подобных игр. Это была классическая бессознательная оговорка. Не прошли все же даром мои увлечения психоанализом и глубинной психологией. Я понял, что Гадо, сам того не сознавая, выдал своё, проговорил свои вытесненные желания сместить брата и занять его место, и мне лишь предстояло помочь ему раскрыть подлинные желания.

Для меня он был прозрачен, как святой источник Чили-чорчашма. Посещал я некогда сие сакральное место в Бешкентской долине, где из-под земли бьют сорок четыре ключа и сливаются в один прозрачный ручей. Стоя на мостике над тихим потоком, можно видеть, как в кристальной воде медленно скользят тёмные рыбы. Точно так же просматривалась насквозь душа Гадо, я читал его мысли, проплывающие тенями на небольшой глубине.

— Расскажи о своём детстве,— попросил я.— Наверное, вы с Зухуршо были дружны. Наверное, старший брат защищал тебя, помогал, учил тому, что сам умел...

— Зачем вспоминать прошлое? — нахмурился Гадо.— Теперь все по-другому. Теперь Зухуршо меня не обижает. Теперь он другим стал.

— Однако и ты стал другим. Теперь ты не маленький мальчик, которого обижает старший брат. Можешь за себя постоять. И с де-

лом сумеешь справиться не хуже, чем он. И, кто знает, может, лучше...

— Нет, нет, муаллим! Даже как он, не смогу.

— Никто не представляет, на что способен, прежде, чем начал действовать. Не сомневаюсь, и ты сможешь стать когда-нибудь превосходным правителем.

Лесть его порадовала, но в улыбке удовольствия сквозило уныние.

— Но я ничего не знаю, ничего не умею,— проговорил он сокрушённо.

— Всегда найдётся мудрый человек, который подскажет, что делать.

Гадо вскинул голову, пытаясь понять, куда я клоню. Осторожно, словно нащупывая ногой камень в горном потоке, он начал:

— Муаллим, может, если бы вы мной руководили... — но не осмелился продолжать.

— Кончено, сейчас Зухуршо жив, и один только Бог знает, когда окажет ему милость,— вымолвил я вкрадчиво. — Однако в Книге сказано: «Аллах создал вас и то, что вы делаете», а это означает, что Его воля творится человеческими руками и, следовательно...

Не договорив, я предоставил Гадо закончить мысль. Однако он лишь сказал:

— Учитель, вы святой человек и стоите ближе к Богу, чем мы, простые люди.

Признаться, меня насторожили эти слова. Не знай я про наивность Гадо, мог бы подумать, что он вынуждает меня произнести вслух то, к чему я его подталкивал. Тем не менее, следовало проверить, не скрывается ли под внешним простодушием утончённая хитрость. Пришлось прибегнуть к испытанному методу выявления тайных мыслей и намерений, своего рода литературному аналогу теста Роршаха.

Я принял задумчивый вид и произнёс:

— Доводилось ли тебе читать книгу ал-Хисори «Избранные цветы из букета наставлений»?

Гадо горестно покачал головой:

— Не было времени. Пока учился, читал учебники, а сейчас стало совсем не до книг.

— Тогда слушай. В книге приводится следующая притча. В некоей стране люди, доведённые до отчаяния жестокостью тамошней-

го царя, убили его и решили избрать правителя из простого люда. Сказали: «Посадим на трон пастуха. Будет вести нас и направлять, как пасёт он стада. Наполнит житницы, как запасает на зиму стога сена для прокорма скота». Через год восстали и казнили царя-пастуха, сказав: «Стрижёт он нас, как овец, и режет, как баранов. Изнуряет тяжким трудом подобно тому, как кнутом принуждал волов тянуть телегу».

Сказали: «Пусть правит земледелец. Будет питать нас, как удобряет он злаки. Прольёт на нас различные блага, как орошает водой посевы. Изведёт воров и грабителей, как выпалывает с гряд сорняки». Через год взбунтовались, сетуя: «Избивает нас, словно цепом обмолачивает хлеба. Лишает голов, будто срезает серпом колосья. Обирает нас, как отрясал с веток яблоки и айву».

Убили царя-земледельца и решили призвать на царство рыбака. Сказали: «Поведёт страну к благоденствию, как направляет лодку к надёжному берегу. Привычный подолгу сидеть с удой, будет он тих, терпелив и нетороплив в решениях». Через год восстали на царя-рыбака. Сказали: «Держит нас в оковах и путах, как рыб в сетях. Изгоняет из отчих домов, как исторгал из родной стихии обитателей вод».

После долгих раздумий сказали: «Невозможно доверить бразды одному человеку. Будем править сообща». Через год страна пришла в запустение и была завоёвана соседним правителем.

Закончив пересказ, я спросил:

— Что ты думаешь об этой притче?

В ответе, как я надеялся, безотчётно отразятся его тайные помыслы.

Гадо потупился:

— Какая ужасная вещь власть...

И он пустился в рассуждения о том, как порочна и несовершенна любая форма правления — от тирании до демократии. Увы, идея умерщвления жестокого правителя его совершенно не заинтересовала. Мне же претили банальности, которые он изрекал. Вспомнилось нечаянное пророчество, которое осенило меня несколько дней назад после визита Зухуршо, я сменил тактику и спросил:

— Скажи, Гадо, эта девочка, новая жена Зухуршо... — и вновь не закончил.

Хотелось проверить подозрение — не станет ли златовласая красавица причиной распри между братьями.

— Жена Зухуршо? — равнодушно переспросил Гадо. — Живёт. Зухуршо ждёт. Мужа ждёт. В отъезде Зухуршо.

— Ты уверен, что он вернётся? — спросил я.

Гадо удивился:

— Конечно. Здесь ему хорошо. Зачем бежать?

— Может быть, тебе следует встретить его в дороге. Ты ведь не хочешь, чтобы с братом в пути случилось что-нибудь плохое. Наверное, ты ещё не готов... Наверное, время исполнить твою мечту ещё не пришло...

— Я не знаю, муаллим, — сказал Гадо. — Думаете, надо? Если надо — скажите, я поеду.

— Решай сам, — сказал я и отпустил его.

Я узнал все, что хотел, и даже больше: Гадо не решится. Вероятно, он даже не понял тонких иносказаний. Оставалось ждать, хотя я мало надеялся, что безынициативный Гадо осмелится на отчаянный поступок. Я не мог приказать: «Убей Зухуршо», и не только потому, что это грех, преступление, но главным образом из-за того, что связал бы себя по рукам и ногам и отдал во власть Гадо. Разумеется, он никогда публично не обвинит меня в подстрекательстве, и никто ему не поверит, но я сознавал, что, отдав приказание, потеряю над ним власть.

Тем не менее, неразумно упускать удобный шанс застичь Зухуршо за пределами Воруха. Я начал перебирать в уме известные мне способы устранения человека из жизни и сопоставлять их, решая, какой наиболее пригоден в данной ситуации, а также прикидывая, кто из моих мюридов способен лучше других справиться с этим тайным и опасным делом. Не исключено, что даже лукавый талхакский староста будет полезен в предстоящем предприятии.

30

Карим Тыква

В доме Зухуршо на заднем дворе дрова рублю, хворост ломаю. Такие задания взводный командир всегда деревенским даёт. Наши ребята, санговарские, обижаются: «Мы разве других хуже? Дровосеки разве?» Я сам вызвался. Взводный засмеялся: «К кухне

поближе, от службы подальше?» Я лицо глупое состроил, сказал: «Солдатская пища надоела. Может, домашним покормят». Ребята тоже засмеялись: «Э, Тыква, чем до Зухурова котла, до звёзд ближе дотянуться. Брюхо набить не мечтай».

Я и не мечтал. Зарину увидеть надеялся.

Работа привычная, лёгкая. Дрова рублю, по сторонам то и дело оглядываюсь, Зарину высматриваю. Шаги слышу, оборачиваюсь — Зарина из дома выходит, в руке медный старинный кувшин несёт, ко мне направляется. Походкой её люблю. Легко, как лань, идёт. Красное платье, как пламя вьётся. Тёмным платком голова покрыта — лицо, как луна в ночи, сияет.

Подходит.

— Здравствуй, Карим,— говорит.

Прежде думал: повезёт, если издали погляжу. Гораздо лучше вышло. Рядом стоять, разговор вести посчастливилось! Зарина говорит:

— Карим, ты ведь на мне жениться хотел...

— Да,— говорю,— очень хотел. Сейчас тоже хочу, но тебя за Зухуршо замуж отдали. Значит, не судьба. Бог не захотел.

— А если бы по-другому случилось? Если бы... если бы мы мужем и женой стали... Некоторые националы женщину за человека на считают. У вас, наверное, тоже такое отношение?

Сладостно мне с Зариной тайную беседу о нас с ней вести. Чужая жена, но все равно радость сердце наполняет, через край переливается.

— Нет,— говорю,— у нас не так. У нас мужчины женщин уважают.

— Ты бы уважал?

— Очень бы уважал.

Зарина со мной говорит, но будто о чем-то другом, своём думает.

— Жалел бы? — спрашивает.

— Да,— говорю.— Очень бы тебя жалел.

— И просьбы мои бы выполнял?

— Все просьбы выполнял бы,— говорю.— На руках бы тебя носил.

— Помогал бы?

— Обязательно,— говорю.— Во всем бы помогал. Всё, что тебе нужно, делал.

— А сейчас сможешь?

— Помогу, — говорю. — Обязательно помогу.

Зарина говорит:

— Помоги, Карим. Достань то, что я прошу.

Афтобу, кувшин с длинным горлом, протягивает:

— Налей сюда бензина. Войди потихоньку в гараж, там, видимо, есть канистры какие-нибудь. Или из бака слей.

— Зачем? — удивляюсь.

— Надо, — говорит.

Прямо не сказала, но я вдруг понял, зачем. Меня будто среди сладкого сна разбудили, на край чёрной пропасти толкнули. Почему раньше не заметил, что лицо Зарины тусклой бледностью покрыто? Почему не различил, что голубые глаза цвет поменяли? Серыми холодными льдинками на меня смотрят спокойно, внимательно, а будто не видят... Слова, какие знал, рассыпались, собрать не могу.

— Нельзя этого делать, — говорю.

— Афтобу замарать боишься? — Зарина спрашивает. — Это всего лишь кувшин. Какая разница, что в него наливать...

— Бог запрещает, — говорю. — Те, кто запрет нарушили, в рай не войдут.

Зарина говорит, тихо, спокойно:

— Ну и пусть. Мне всё равно! Я Зухуру не дамся.

Афтобу мне в руки даёт.

— Возьми кувшин, Карим, — говорит.

Я афтобу беру.

— Бог запрещает, — повторяю. Потом говорю: — Я тебя отсюда уведу.

Решимость в сердце вспыхивает, слова сами на ум приходят:

— Темнее станет, уйдём. На воротах Барфак стоит, из нашего селения. Ему что-нибудь скажу, придумаю, он выпустит. Одна тропа есть, о ней только мы, санговарские, знаем. Чужие ребята, которые с Зухуршо пришли, они не знают, им не рассказываем. По этой тропе пойдём. Я не ходил, но, говорят, до самого Калай-Хумба пройти можно. Трудная дорога, женщины по ней не ходят, но ты пройдёшь. Ты сильная. В Калай-Хумб придём, что-нибудь придумаем. В Калай-Хумбе русские солдаты стоят...

Зарина головой качает, говорит, как матери малым детям говорят:

— Головы не теряй, Карим,— говорит.— О родителях подумай. Уйдём, а с ними что сделают?

Будто крылья мне ломает. С высоты на землю падаю.

— Да,— говорю,— родители...

Зарина говорит:

— Керосин в доме есть, но горит он медленно. Если бензин... то будет быстро. Понимаешь?

Понимаю. Слова опять рассыпаются, собрать не могу. Сердце в груди кровавыми слезами плачет.

Зарина говорит:

— Карим, ты пообещал. Помнишь?

— Ради тебя умру,— говорю.— Но смерть тебе своими руками не принесу.

Она тихо говорит, без упрёка:

— Ты тоже, Карим... тоже обманул...

Будто тонкий волос, что нас на одно мгновение соединил, разрывает. Афтобу забирает, уходит. В дверях дома, будто в пещере, будто в могильной яме, скрывается. Вслед смотрю. «Дедушка Абдукарим,— умоляю,— помогите. Как Зарину от смерти, от страшного греха уберечь, совет дайте. Что делать, скажите».

Рядом ствол сухого дерева лежит. Топор хватаю, дерево, как злого врага, на мелкие щепки изрубаю.

Женщина из дома выходит.

— Эй, девона, что делаешь? — кричит.— Усердие своё показываешь? Такому дурню прикажи тубетейку снять, голову снимет.

В себя прихожу, топор роняю, думаю: «Правильно ругает — дурень! Мне не горевать надо — радоваться, дедам-покойникам и Богу спасибо сказать, что сегодня в дом Зухуршо привели. Разве сказала бы Зарина кому другому, что задумала? Кто другой смог бы остановить?»

Щепки, хворост быстро собираю, у очага на летней кухне сваливаю, на крышу большого дома взбираюсь. Наверху Ахмад караул несёт.

— А, Тыква! Чего? — спрашивает.

— Устал,— говорю.— Отдохну, с тобой посижу.

— Хоп, ладно,— соглашается.— Расскажи что-нибудь.

— Что расскажу? — говорю.— Я нигде не был.

Та женщина опять во двор выходит. Оглядывается, наверное, меня ищет.

— У Зухуршо в доме все бабы наглые,— Ахмад говорит.— Нас за слуг держат. А хлеба, даже кусок лепёшки, ни одна не вынесет.

Автомат берет, насмешки ради в неё целится.

— Та-та-та-та,— говорит.

— Увидит,— говорю.

— А-а-а,— говорит,— пусть смотрит. Я ещё кер достану, покажу. Билять, проститутка, чтоб у неё в дырке черви завелись.

Женщина к очагу подходит, дрова осматривает, пару веток поднимает, в кучу бросает. Уходит.

— Зухурова жена тебе что говорила? — Ахмад спрашивает.

— Ничего не говорила.

— С огнём не играй. Зухуршо за яйца повесит.

— Ничего не говорила,— повторяю.— Про своего брата спрашивала.

— А ты?

— Сказал, не знаю.

У Ахмада язык — что помело. Если что заподозрит, по всему свету разнесёт. Что было, чего не было — придумает.

Сидим. Солнце за гору уходит. Тень хребта Хазрати-Хасан двор накрывает. Скоро темно станет. Думаю: «Дай Бог, чтобы Зарина передумала. Всю ночь до утра сторожить буду, если что-нибудь сделать соберётся, помешаю, кувшин отберу».

Слышу, внизу дверь стукнула. Зарина?! Нет, другая женщина по двору идёт. В кухню под навесом входит, в очаге огонь разводит. Воду в два кумгана наливает, кумганы на очаг ставит. Посто-яла рядом, назад к дому идёт. Должно быть, ждать надоело, пока вода для чая вскипит.

Ахмад тоже на женщину смотрит.

— Я баб не уважаю,— говорит.— У женщин столько хитростей, сколько проса в мешке. Ты ещё молодой, не знаешь, я тебе расскажу,— насвай достаёт, под язык кидает.— Короче, сказка есть. Было, не было, один царь жил, у него царица была. Очень её любил. Дни и ночи с ней на постели лежал, сосок её груди во рту держал. Если царица за нуждой вставала, морковку брала, в рот ему клала, тогда уходила...

Что в сказке случилось, не слушаю. Думаю, если б Зарина моей царицей была... Но нас разлучили, Зарина не супружескую постель, огонь выбрала... Отчаяние меня на части рвёт. Сидеть не-возмогу. На ноги вскакиваю. Ждать, страшиться — терпения нет.

— Уходишь? — Ахмад спрашивает. — Э, дослушай!

Пересиливаю себя, сажусь.

— Ноги затекли, — объясняю.

Ахмад сказку продолжает, я с тёмного пустого двора глаз не свою.

Слышу, внизу дверь открывается. Кто выходит, сверху не видно. Та, что вышла, в полутьме двор пересекает. Женщина. Различить трудно, но сердце колотится, подсказывает: Зарина! Афтобы в руке нет. «Наверное, кипятик в дом принести послали», — надеюсь.

Зарина к кухне идёт, под навес входит. Навес её наполовину от взгляда перекрывает: голова и плечи не видны, подол платья вижу. В полусвете красное платье чёрным представляется. Зарина у очага останавливается, стоит. Свет от очага края платья красным отсветом обрисовывает.

Зарина в правый угол кухни идёт, рядом с большим глиняным ларём присаживается. Теперь почти всю вижу, навес голову закрывает. Зарина из-за ларя что-то достаёт, а что достала, разглядеть не могу — вдали от очага совсем темно. Выпрямилась — опять подол от пояса до изоров, едва из-под длинного платья выглядывающих, и туфель вижу. К очагу возвращается. Перед огнём стоит.

«Не стоит ей на пламя долго смотреть, — думаю. — Плохие мысли решимость укрепят, над разумом верх возьмут...» Хочу окликнуть, не решаюсь. Ахмад услышит, дурную славу распустил: «Жена Зухуршо с деревенщиной спозналась».

Зарина к очагу нагибается. Теперь руки её вижу, огнём освещённые. Из кучи хвороста, что подле очага лежит, ветку вытаскивает, конец ветки к огню подносит.

Я смотрю, поверить не могу.

Зарина горящую ветку из очага вынимает. Вскакиваю, к краю крыши бегу.

— Эй, Тыква! Куда?! — Ахмад кричит.

На землю прыгаю. Смотрю, вижу: Зарина перед очагом стоит, красное платье красным огнём пылает. К ней бегу. Слышу: Зарина кричит. Страшно кричит — сердце мне как ножом режет. Платье пылает.

Что делать?! Весь двор, пламенем освещённый, разом вижу. Справа, на стене конюшни попона висит. Туда бросаюсь, тяжёлую попону обеими руками хватаю, с жерди, на которой висит, сры-

ваю, к Зарине бегу, на ходу попону распяливаю. Попону на Зарину набрасываю. Зарина кричит, бьётся. Обеими руками Зарину обхватываю, попону к ней прижимаю. Подол платья горит, пылает. Зарину крепче обхватываю, от земли приподнимаю, на пол кладу. Куртку, пуговицы обрывая, рывком распахиваю, сбрасываю, Зарине ноги укутываю.

Рядом Ахмад:

— Что такое?! Что случилось?! — кричит.

— Куртку снимай! — кричу. — Воду носи!

Слышу: где-то женщины кричат.

— Ой, вайдод! — кричат.

31

Даврон

Двенадцать часов двадцать четыре минуты. Верхнее селение. На въезде, справа от дороги — одноэтажная халупа с высоким крыльцом и вывеской «Магоза». Магазин. Дверь заперта на огромный замок. Естественно: жизнь остановилась. Местные попрятались по домам.

— Куда? — спрашивает Алик.

От центральной дороги расходятся две улицы — влево и вправо. Приказываю:

— Тормози.

Позади останавливается «газон» с бойцами. Комсомол выпрыгивает из кабины, подходит. Даю указание:

— Пошли бойца в ближний дом. Пусть расспросит местных об обстановке.

Боец возвращается через семь минут.

— Обошёл всю усадьбу. Пусто. Одна кошка шастает...

Двенадцать пятьдесят. Возвращаются четыре бойца, посланные на разведку. Безлюдны и прочие дома, расположенные рядом с магазином. Люди не попрятались, а покинули селение. Ушли в горы. Вопрос в том, гонятся ли урки за ними или засели где-то в кишлаке? Моя задача при любом варианте — вернуть население в кишлак и взять контроль над урками.

— Езжай прямо, — командуя Алику.

«Уазик» карабкается вверх по извилистой улице. «Газон» идёт следом. В поле обзора — по-прежнему ни души. Алик хихикает:

— Когда в кишлаке не осталось людей, козел сам себя назвал Абдукаримом.

Как всегда, не к месту. Порой очень раздражает.

— Что за чушь мелешь? — спрашиваю сердито.

Алик объясняет:

— Народная поговорка, — и кивает влево.

В распахнутых воротах пустого двора стоит козел и строго смотрит на проезжающие автомобили.

— Эй, Абдукарим! — внезапно вопит Алик. — Ас-салому алейкум, уважаемый! Как дела?

— Отставить! — рывкаю.

В глубине двора, перед домом лежит на земле тело.

— Тормози!

Вхожу в ворота. Осматриваю труп. Древняя старуха с перерезанным горлом.

— Пулю пожалели, — говорит подошедший Комсомол.

Понятно. В кишлаке остались те, у кого не было сил на переход по горным тропам. Местные были уверены: никто не осмелится обидеть стариков. Но урки обошли покинутые дома и прикончили старых и больных.

Инструктирую Комсомола:

— Боевая задача — полное уничтожение бандитов. Передай ребятам.

Тринадцать ноль восемь. Возвращается один из разведчиков. Урки сидят в мехмонхоне дома, стоящего на правой улице, на берегу реки. Есть шанс, что они не знают о нашем присутствии — дом находится метрах в ста пятидесяти от места, где мы остановились, шум воды заглушает звук двигателей. Однако это лишь предположение. Напарник остался следить за обстановкой.

Тринадцать двадцать две. Одна за другой возвращаются две пары бойцов, посланных на разведку. Противника не обнаружили. Следовательно, все урки сосредоточены в одной точке.

Тринадцать тридцать. Скрытно подходим к дому, в котором засели бандиты. Разведчик, оставшийся следить за противником, сообщает, что изменений нет. Все сосредоточены в одном помещении, никто не выходил. Возможно, отдыхают или под наркотика-

ми. Ворота закрыты. Рядом на улице припаркована «скорая». Забор чуть выше человеческого роста.

Подзываю бойца:

— Пригнись.

Встав ему на спину, осматриваю двор. Строение, в котором находится противник, расположено справа от ворот. Единственное окно обращено на северо-запад. Отлично.

Спрыгиваю, отдаю распоряжение:

— Нужна устойчивая подставка в метр высотой или чуть более. Ящик, повозка, что угодно... Фазыл, работаешь по цели.

У него за спиной, как всегда — труба эр-пэ-гэ, а на голове — армейский зимний шлемофон.

— Выстрел жалко, — ворчит Фазыл. — Может, проще — гранату в окно, а потом из «калаша», если кто выскочит? Для надёжности.

— Выполняй, — отрезаю. — Экономист.

Не хочу даже минимального риска. Любая случайность — и кто-нибудь из ребят может поймать пулю. Нет, тварей надо прихлопнуть одним ударом. Раздавить каблуком, как ядовитых насекомых.

Один из бойцов пригоняет из соседнего двора тележку на двух колёсах. Указываю, где установить — вплотную к левому углу забора. С этой позиции траектория выстрела практически перпендикулярна стеклу в окне мехмонхоны. Расстояние — двадцать пять метров. Бойцы заклинивают колеса. Фазыл приподнимает клапаны шлемофона, затыкает уши ватой и взбирается на подставку. Раскачивает тележку, подпрыгивает — проверяет устойчивость. Снимает с плеча трубу, присаживается на колено, кивает второму номеру. Второй возится, неловко вставляя выстрел в гранатомёт.

— Болтиком на себя... — ворчит Фазыл. — Ну что, готово?

Встаёт, вскидывает трубу на плечо, укладывает ствол на верх забора. Оглядывается:

— Сзади все отошли? А то сожгу. И уши заткните... Стреляю.

Из казённой части ствола бьёт огненная струя. Звук выстрела бьёт по ушам. Ракета бьёт в окно. Время: тринадцать сорок три.

Фазыл соскакивает с тележки.

— Готово! Придётся хозяевам новую мехмонхону строить.

От старой — груда камней. От бандитов, ежу понятно, — отбивные с косточкой. Комсомол с двумя бойцами идут посмотреть,

не нужно ли подчистить. Стволы наготове. Вскоре Комсомол кричит:

— Порядок!

Стоявший с ним рядом сорокапятiletний боец по прозвищу «бобо», дед, срывается с места и бежит куда-то за дом.

— Эй, Мардон-бобо, ты куда?!

Тот кричит на ходу:

— Посмотрю, может, на заднем дворе сено горит.

Бойцы смеются, улюлюкают:

— У тебя, старый, наверное, что-нибудь жидкое в кишке загорелось...

Через минуту Мардон-бобо зовёт:

— Даврон! Сюда иди!

Бойцы хохочут.

Направляюсь на задний двор. Почти вплотную к развалинам мехмонхоны притулилась какая-то хозяйственная постройка. Сарай или хлев. Из раскрытых ворот на карачках выбирается человек в камуфляже. Ползёт по двору. Определённо, контуженный. Меня не видит. Временная слепота.

Да это же Рауф! Жив! Что он делал в сарае? Дрочил? Могли бы упустить, если б Мардону-бобо не приспичило. Пинаю гниду ногой в бок.

— Вставай.

Припадает к земле, вновь приподнимается и ползёт. Подходит Комсомол, достаёт пистолет.

— Надо бы завершить. А то один остался, ни туда, ни сюда...

Останавливаю:

— Отставить. Шлёпнешь — и что? Во-первых, в таком состоянии он даже не поймёт, что его расстреливают. Эвтаназия, а не казнь. Во-вторых, если уж казнить, так перед строем. Чтoб бандюги прочувствовали, что к чему. Усёк? Тут такое дело... Я никому ещё не говорил, тебе первому. На днях уеду, с концами. Останешься за главного. Если захочешь. Словом, учись, пока есть возможность.

— Я и учусь, — отвечает Комсомол и с размаху засаживает Рауфа ногой по рёбрам.

В сарае обнаруживается парнишка. Избитый, изрезанный ножом, контуженный, едва живой. Приказываю оказать первую помощь. Вколоть промедол из аптечки, обработать порезы антисептиком, перевязать. Расспрашивать бесполезно.

— Он сейчас ничего не соображает. Придётся ждать, когда придёт в чувство, — говорю Комсомолу. — Без него вряд ли найдём, где кишлячные прячутся. В общем, размещай бойцов на постой в соседнем доме.

Утром на свежие мозги принимаю решение: искать, где скрываются местные, или ожидать, что сами выйдут, смысла нет. Бандиты обезврежены, а остальное — не моя забота. Сегодня же вернусь в Ворух. Контуженного парнишку придётся взять с собой. Одного не бросишь, а когда объявятся односельчане — неизвестно.

Семь ноль пять. Выхожу во двор. Нахожу Комсомола на летней кухне под навесом. Шаманит над котлом, стоящим на очаге.

— Манную кашку бойцам готовишь? — спрашиваю.

— Лекарство. Вчера стали шарить по домам, искали, чем бы брюхо набить. Нажрались какой-то дряни. Ночью началось. Дрищут, блюют, температурят...

— Сколько?

— Все. Кроме Мардона-бобо и Алика.

— Меня почему не разбудил?

Разводит руками. Понимаю: хотел примерить роль главного. В любом случае, на сегодня отъезд отменяется.

— Контуженные как? — спрашиваю.

— Пацан в себя приходит, Рауф не мычит, не телится.

Парнишка сидит в маленькой каморке, прислонившись к стене. Мотает головой. Говорит с трудом. Постоянно жалуется на головную боль. На бинтах проступает кровь. В итоге из его бессвязного лепета складывается следующая картина.

Кишлячные старейшины не сомневались, что Зухур будет жестоко мстить за убийство караульного. Решили действовать, как обычно в прошлом. Знают по рассказам стариков. Лет семьдесят назад прятались и от красных, и от басмачей. Есть какое-то ущелье неподалёку от кишляка, проход в которое не отыщет ни один чужак. По словам парня, идеальное убежище. Вода, пещера, где можно разжигать огонь, не выдавая дымом местоположение. И прочие удобства. Где находится? Это из парнишки даже Рауф не вытянул, а уж как старался. Я даже не спрашивал. Мне до фонаря. Пусть хоть вечно сидят в своём тайнике.

В пустом селении остались пять парней. Не ушли со всеми из гордости. Из потребности дать отпор. Засели на въезде с охотничьими ружьями и двумя автоматами, отнятыми у караульных.

Естественно, долго продержаться против душманов не смогли. Закончились патроны. Одному из парней удалось сбежать. Трое были убиты. Один ранен. Его-то Рауф и пытал...

Входит Комсомол с чашкой какого-то горячего пойла. У него то ли дед, то ли бабка лечили травмами. Он малость перенял. Протягивает чашку парню:

— Выпей.

— Выживет после твоего зелья? — спрашиваю.

Усмехается:

— Как получится.

Неплохо получилось. Выходил и парнишку, и отделение. Не факт, что все бойцы смогли бы выжить без его лечения. Несколько дней исходили поносом, бредили, стонали... На пятый — восьмого апреля — поправились настолько, что могли забраться в «газон» и вытерпеть дорогу до Воруха.

Тринадцать тридцать две. Въезжаю во двор казармы. За неделю моего отсутствия плац сильно загадили. Через час соберу войско и объясню, как соблюдать чистоту и порядок. Расстрел сделает объяснение более понятным.

Бойцы сбрасывают связанного Рауфа из кузова грузовика на землю. Комсомол предлагает:

— Надо запереть где-нибудь Помоемся после дороги, поедим, отдохнём немного, им займёмся.

— Фактически, — соглашаюсь.

— У Зухуршо зиндон есть. Можно туда бросить. Даже без караула не убежит.

Отрезаю:

— Не наша территория.

В итоге решаю запереть его в трансформаторной будке, расположенной метрах в тридцати от казармы. Железная дверь, глухие толстые стены. Считается, что источники высокого напряжения вредны для здоровья. Однако Рауфу не грозят ни рак крови, ни нарушение половой функции, ни даже выпадение волос. В трансформаторах нет тока. Линии электропередач в ущелье разрушены.

Комсомол с двумя бойцами уводят Рауфа. Урка оборачивается. При такой-то толщине у него удивительно тонкий голос. Визжит:

— Даврон, бля буду, выйду, кровь твою по капле выпью...

— Да ты романтик, — отвечаю.

Жить ему осталось часа два.

— Караульного поставь,— кричу вслед Комсомолу.

Он, не оборачиваясь, отдаёт честь: бу сделано.

Тринадцать сорок пять. Направляюсь к себе на квартиру. Пропылится, пропотел, необходимо сменить белье. Едва скинул грязное и надел чистое, в дверь стучат. Мой осведомитель. Зовут Бури — по-узбекски, волк,— но характер и даже внешность лисьи. Явился с докладом о минувшем периоде.

— А, Даврон! Как доехал? Как здоровье?..

И прочая мудотень. Не выношу эту манеру.

— Муму за хвост не тяни. Доложи обстановку.

— Нормальная обстановка.

— Происшествия?

— Не было происшествий. Все хорошо.

— Зухур?

— Тоже хорошо. Только огорчается, наверное.

— С чего это?

— Жена сгорела.

Сразу не врубаюсь:

— Чья жена?

— Зухуршо жена.

— Хамидов, чушь не пори. Объясни чётко — что значит, сгорела?

— Керосин на себя вылила...

— Нечаянно, должно быть, облилась.

— Нет, зачем нечаянно?! Нарочно подожгла.

Не испытываю абсолютно никаких эмоций. Вероятно, реакция запаздывает. Или смерть Сангака опустошила резервы, а новых не накопил.

— Жива?

— Была. Сейчас не знаю. Они не говорят.

— А Зухур?

— Наверное, огорчается.

Чувство все же вскипает. Медленно, тяжело. Не жалость, не чувство вины. Гнев. Зухур нарушил договор. «На лицо не посмотрю, в одну комнату с ней не войду...» Обманул. Вошёл. А она не снесла насилия.

Встаю, надеваю робу, натягиваю мабуты. Кладу в кобуру пэ-эм. Лис по дороге отстаёт. Вхожу во двор. Иду в дом. В дверях — мать Зухура.

— Где?

— Нельзя. Чужим на женскую половину входить — грех.

— Где она?

Отодвигаю старуху, открываю дверь направо. Дверь налево. Пустая комната. Дверь прямо. Открываю. Здесь?! Низкий потолок. Полутемно. Горящий глиняный светильник. В правом углу комнаты — кровать, занавешенная белым пологом. Подхожу, приоткрываю. Зарина. Степень ожогов? Вторая, третья? Сколько процентов обожжено? Свыше тридцати люди не выживают. Бережно запахиваю полог. Выхожу. Тихо прикрываю за собой дверь. Старуха шепчет молитву, вздыхает.

— Где Зухур?

— Зухуршо дома нет. Зухуршо уехал.

Врёт. Защищает сына. Кто-то донёс, что я приехал. Прячется. Поднимаюсь на второй этаж. Обхожу помещения. Зухура нет. Затаился. В своём кабинете? На складе? В гараже? В коровнике?

Выхожу. Иду к кабинету. Пинаю дверь, другую. Пусто. Иду к гаражу. Справа — сетчатый загон. Питон греется на солнце. Достая пэ-эм. Пристраиваю ствол меж ячейками. Целюсь в голову. Бью. Порядок! Попадание с первого выстрела. Гадина бьётся, извивается, но знаю, что мертва.

Дверь в воротах склада распахивается. Гадо. Смотрит. Молча, бесстрашно.

— Где он?

— Уехал в горы, на охоту...

Иду в гараж. Пусто. Возвращаюсь к Гадо.

— Где машины?

— Зухуршо все взял. Свою охрану повёз.

— Ты почему не поехал?

— Заболел.

Врёт. Мне без разницы, почему и зачем. Смотрю на часы. Четырнадцать десять.

— Зокиров!

Боец бежит от ворот.

— Мчись в кишлак, пригони машину. Найди фургончик, в крайнем случае — грузовик. В темпе!

Убегает. Говорю:

— Гадо, прикажи, чтоб залили пару запасных канистр. Чтоб хватило до Калай-Хумба. Повезу в госпиталь.

Иду в дом. Нахожу старуху.

— Собирайте её. Повезу в больницу, в Калай-Хумб.

Старушонка лепечет:

— Не надо, в городе не помогут... В Талхак надо, к старой Хатти-момо. Она знает. Она вылечит...

— Кто такая?

— Знающая женщина, хотун. У нас, в Ворухе, тоже очень сильная хотун была. Теперь нет, умерла. Больше никто не знает, как лечить. Хатти-момо знает.

Выжила из ума бабка... И вдруг меня точно молнией прошивает. Вспоминаю: комнату, где лежит Зарина, освещает не лампа, а древний светильник. Это знак. Я просмотрел. Упустил. Это подсказка! Огонь. Ожоги. Старая вещь. Примитивная. Старинная. Указание прямым текстом на старую знахарку. А что, если не знак, а простая случайность?

Кости укажут. Достаю из кармана мешочек с зарами. Загадываю. Любое чётное число: светильник — не знак, а просто обычный предмет. Следует везти девушку в Калай-Хумб. Любое нечётное: светильник — это знак. Необходимо доставить знахарку в Ворух.

Присаживаюсь, бросаю зары прямо на ковре, постеленном на полу. Пять и два!

Собираю зары, встаю.

— Убедила, мать. Но Зарина дорогу не вынесет. Привезу лекарку сюда.

— Хатти-момо совсем старая, слабая. Не поедет.

— Поедет. Добром не согласится, в мешок засуну.

— Силой нельзя, — лепечет старушонка. — Мусульманам так поступать запрещено. Если силой заставить, лечения не получит-ся.

— Ладно, как-нибудь уговорю.

Жду. В четырнадцать тридцать семь Зокиров пригоняет машину. ЗИЛ-80. Приказываю загрузить в кузов две резервные канистры. Сажусь в кабину.

— Поехали. В Талхак.

Водитель удивляется:

— А девушка? Сказали, девушку везти...

— Поезжай.

Четырнадцать сорок пять. Спускаемся вниз по улице, к площади. Слышу, где-то неподалёку стрекочет вертушка. Кричу водителю:

— Стой!

Тормозит. Выскакиваю. На северо-западе, из-за горы выплывает вертолёт. Идёт на небольшой высоте. Кричу водителю:

— Тряпки есть? Давай сюда.

Роемся под сиденьем, протягивает мне промасленный лоскут.

— Это все? Больше нет? Дай заводную ручку!

Хватаю заводную ручку, запрыгиваю в кузов. Обматываю короткий конец изогнутой железяки тряпкой. Мало. Сбрасываю куртку, срываю с себя рубашу и наматываю её поверх тряпки, туго на перехлёст перетягиваю рукавами и завязываю, чтобы не слетела. Откидываю крышку одной из канистр, перегибаюсь через борт кузова, поливаю тряпичный набалдашник бензином. Взбираюсь на крышу кабины. Достая из брючного кармана зажигалку. Поджигаю. Размахиваю факелом над головой. Тряпки чадят чёрным дымом.

Заметят? Продолжаю сигналить.

Увидели! Вертолёт снижается. Спрыгиваю с крыши в кузов, отшвыриваю факел назад, на дорогу. Накидываю робу, перебираюсь в кабину.

— Туда! В темпе.

— А ручка?!

— На обратом пути подберёшь.

Выкатываем на юго-западный край площади. Вертолёт — камуфлированная двушка, опускается. Дверца открывается, выходит мужик в полевой форме. Неужели Ястребов?! Порядок! С ним договарюсь. С ним будет легко. Направляется ко мне. Иду навстречу.

— Здорово, Даврон. Чего это ты Робинзона на острове изображаешь? Мы бы и без твоих сигналов сели. К вам летели. Захотелось, понимаешь, вас проведать, поглядеть, как дела идут...

Врёт или нет? Мне все равно. Говорю:

— Кстати прилетел. Даже не представляешь, как кстати...

— Отчего же? Представляю. Я на расстоянии чую, что нужен. Добрый волшебник Ястребов.

Заставляю себя улыбаться. Не до гордости. Подхватываю:

— А чудо сотворить слабо?

— Заказывай.

— Девушку надо транспортировать. В Талхак.

— Что так жидко? Я-то думал, что-нибудь серьёзное попросишь... Транспортировать, конечно, можно... Однако не слишком

ли чудесами разбрасываешься? Прибереги для важного случая. Тем более, что транспорт, вижу, у тебя самого имеется...

— Случай важный, — говорю. — Важнее некуда.

— Тебе виднее. Да понимаешь ли, горючки в обрез. Меня летуны за перерасход сожрут. Я обещал, что недалеко полечу.

— Убеди парней. Я им возмещу. Не сейчас... Через несколько месяцев. За каждый литр керосина — литр водяры.

Присвистывает:

— Ты хоть представляешь, сколько сожжём? Туда да обратно — в водочном эквиваленте хватит, чтоб целый год керосинить... А что за девица? Стоит эдаких подвигов?

— Жена Зухура.

— А-а-а, эта девочка... Я её видел. Красивая. Везёшь красавицу к родителям? Зухуршо не станет ревновать?

— Спасать её надо. Ожоги. Третья степень.

— Да ты что! Ну, даёшь! Третья степень, и зачем-то тащишь в кишлак. Там что, израильскую клинику открыли? Даврон, окстись. Даже в Калай-Хумбе, в госпитале не спасут... Слушай, у меня в вертушке аптечка. Вколем ей промедол, хоть боль снимем. Если по уму, то надо, конечно, такую дозу, чтоб заснула и не проснулась. Зачем девочке страдать зазря. Выжить она при любом раскладе не выживает.

— Выживет. Есть шанс.

— Ой ли? Не знаю, не знаю... Ну, а несчастный муж что?

— На охоту уехал.

— Он-то знает, что с женой?

— Знает.

Задумывается на миг. Что-то прикидывает.

— А ты, стало быть, бескорыстный друг, спасатель, спаситель и все такое... Ну да, ну да... Ты прости, что бесцеремонно... Это я по дружбе.

Делаю глубокий вдох. Медленный выдох. Говорю спокойно:

— Не обо мне речь. Помоги, буду должником. Сделаю все, что скажешь.

Молчит. Спрашивает:

— Подумал прежде, чем обещать?

— Подумал.

— Тады держись, ловлю на слове. Я вообще-то не к Зухуру, к тебе прилетел. Разговор есть.

— По дороге поговорим.
— Не выйдет, надо без свидетелей. Разговор серьёзный, пилоту его слышать ни к чему... Да не дёргайся ты. Пять минут погоды не сделают.

Смотрю на часы. Четырнадцать пятьдесят семь.

— Погнали.

— Одно условие,— говорит Ястребов,— язык на замке. Договоримся, не договоримся — чтоб молчок.

— Мог не предупреждать.

— Верю. Ну, а дело... Дело-то в общем простое. Надо вальнуть одного пассажира.

Сговорились они, что ли? Сначала Алёш, теперь этот.

— Не по адресу.

— Да ты погоди, дослушай. Как-никак в должники набиваешься.

«Понятно,— думаю.— Использует момент».

— Предположим... Дальше.

— А дальше — пустяки. Ты этого пассажира знаешь, встречал недавно. Алёша Горбун. Он все ещё в Калай-Хумбе. Шанс — зашибись, сто лет ждать, пока такой же подвернётся. А уедет в Хорог, где его достать — задачка, ох, непростая.

— Почему я? Местных не нашёл?

— Ты разве этих орлов не знаешь? Ни у одного вода в жопе не держится. Непременно разболтает, не сегодня, так завтра. А дело, мягко говоря, щекотливое.

— Факт. Рука Москвы и все такое.

— Типун тебе на язык. Какая на хер Москва! Россия-матушка тут вообще ни сном, ни духом. Чисто местные разборки. Тутешние мои компаньоны заинтересованы... А я в ваших палестинах надолго, вот и не хочу рисковать. Залётный нужен, чтоб следа не оставил. Исполнил, улетел и ищи-свищи. Где он? А нет его...

— Вот как, значит? — говорю. — Нормально!

Он запинается на миг. Догадывается:

— А-а-а, ты вот о чем!.. Прикинь, зачем мне, деловому человеку, время терять, чужой керосин жечь, лишний долг перед летунами на себя брать, в горы лететь — и все это ради одноразового исполнителя, чтоб его после задания ликвидировать? Был бы нужен одноразовый, я б вышел на улицу, свистнул — целая толпа набежит. Как, логично?

— Предположим.

— Итак, задача: ищем профессионала и человека со стороны. А ты... Скажу честно, но чтоб без обиды. Лады? Про боевой опыт и прочее молчу. И без того ясно. Главное, ты, с одной стороны, по обличью как бы местный, во всяком случае, всегда проканаешь за местного. А с другой, как в анекдоте говорится, — гвоздь от совсем другой стены. Для подобных дел — самое то. Идеальная кандидатура.

— У идеального кандидата есть один недостаток, — говорю. — Не согласится.

— Уговорю. Психология, мой друг, психология. Я тебя приметил ещё у Горбатого. Поверь, в людях разбираюсь. Когда на денёк в Курган наведывался, кое-кого порасспросил. Теперь много про тебя знаю.

— И что выяснил?

— Разное... В общем, хорошо о тебе говорили.

— Копнул бы глубже — узнал, что гражданские у меня в Красную книгу записаны. Отстрелу не подлежат.

— Пустяки. Одного-то, небось, вычеркнешь.

— Причину назови.

— Ну-у-у, брат, причину ищи сам. Поднатужься.

Даёт понять: откажусь — и хрен мне, а не вертолёт. Торопит:

— Решай поскорей. Или летим, или...

— Три минуты. Дай подумать.

— Отчего ж не дать? — демонстративно выставляет руку с часами.

Через пятнадцать секунд говорю:

— Согласен. Одно условие: доставим девушку и летим на пастбище. По воздуху — от кишлака рукой подать.

— Травки захотелось пощипать?

— Хочу с Зухуром парой слов перекинуться.

— Нет проблем. Для своего человека — хоть на край света.

Говорю:

— Дай ещё десять минут. Я — за девушкой.

Бегу к грузовику.

Особо раздумывать было не над чем. Все чётко. Для меня не существует понятий «хорошо» и «плохо». Есть только «правильно» и «неправильно». В данной конкретной ситуации правильное решение — валить Алёша и дать девочке шанс. За неё я в ответе.

Перед ней в долгу. За него не отвечаю. Горбун сам напросился — подошёл слишком близко и угодил в зону контакта. Я не зазывал.

Говорю водителю:

— Сейчас — к дому Зухура, отвезём девушку к вертолёту. Затем дуй в гараж. Найди Алика, скажи ему: Даврон приказал подготовить машину к завтрашнему утру. В семь ноль ноль — выезд в Калай-Хумб.

32

Карим Тыква

В фургоне в Талхак еду. Могучую силу в себе чувствую, дедов покойников призываю. Не к дедушке Абдукариму — напрямую к древнему старшему деду, от которого наш каун происходит, обращаюсь:

«Дед Абдушукур, помогите. Зухура убивать буду. Если поможете, то, прошу, знак, пожалуйста, подайте. Знак не подадите — все равно тысячу раз спасибо. Я сам то, что задумал, исполню».

В жар меня бросает. Это деды-духи знак подали — помогут.

Шухи-шутник на скамейке рядом сидит, локтем меня толкает:

— Эй, Тыква, ты когда жену Зухура из огня тащил, наверное, пощупал немного? Мягкая, наверное, сладкая...

Другие хохочут:

— Нет, Тыква говорит: совсем жёсткая, подгорелая.

— Нет, Тыква говорит: совсем сырая была. Мало прожарилась..

— Тыква сырых баб не любит. Говорит: сырая — невкусная. Тыква жареных баб любит.

— Если посолить, сырая тоже сойдёт...

Молчу. Даже презрения у меня к ним нет. Раньше думал — волки, теперь знаю — жалкие шакалы. Сила меня распирает. Сдерживаю силу, наружу вырваться не даю. Зарина силу даёт. Не знаю, жива или нет, но постоянно её рядом чувствую. Не печалюсь, не скорблю — пылающую Зарину в себе постоянно ощущаю.

В Талхаке фургон на краю площади, около мечети останавливается. Наружу выхожу. Люди в отдалении стоят. Зухур из «волги»

вылезает. Ближе к нему подхожу. Шакалы тоже подходят. Зухур любит, чтоб за ним войско толпилось.

Горох-асакол навстречу Зухуру спешит, ковыляет.

— Добро пожаловать в Талхак, господин.

— Приготовил? — Зухур спрашивает.

— Все готово, — отвечает. — Но лошадей для ваших солдат не нашлось. Селение у нас бедное, ослов много, а лошадей совсем нет. В стороне, у мечети, слева — жеребец и пять ослов наготове стоят, осёдланные.

— Верно ты сказал, ослов у вас много, — Зухур говорит и на народ смотрит.

— Извините, солдатам вашим пешком подниматься придётся, — Горох говорит.

На шакалов взгляд перебрасывает. Хитрым глазом шарит — выискивает, не обиделся ли кто? Не затаил ли злобу? На меня взглядом натывается. Застывает. Глаза удивлённо: «Эй, Тыква, ты ли это? — спрашивают. — Чего это, Тыква, ты героический вид принял? Почему из себя тёмного витязя строишь?» — Сами себе отвечают хитренько: «А-а-а, поняли... Знаем, что ты задумал. Мы тебя, Тыква, насквозь видим».

Я, будто из другого мира, из своего холодного гнева на Шокира гляжу. Безразличен он мне. Будто он — сухой глины комок. Будто тень от камня.

Горох усмехается. От меня взгляд отводит, Зухуру говорит:

— Совет, извините, хочу дать. Тыквы следует опасаться...

Зухур договорить не даёт. Смеётся:

— По себе судишь? Разве тыква опаснее гороха?

Люди хохочут. Шакалы, что вокруг меня стоят, тоже хохочут. Горох — чёрный, старый, сухой — от злобы зеленеет. Как молодой горошек, зеленью наливается. Глаза, чтоб злобу не выдать, вниз опускает. Потом смеётся натужно:

— Ха-ха-ха, — смеётся. — Правду сказали. Тыква тоже очень опасной быть может. Если вокруг тыквы, скажем, змея обовьётся...

Хоть и Горох, а смело говорит, по-мужски поступает. Глаз не поднимает, на Зухура не смотрит, но в ответ на насмешку — насмешкой бьёт.

Люди хохочут. Зухур молчит. Люди тоже замолкают. Ждут, что Зухур ответит, как поступит. Если рассердится, то пусть хоть

на куски Шокира разорвёт, но победа в аскиябози — состязании острым словом — все равно за Горохом останется. Горох над ним верх одержит.

Зухур говорит:

— Неверно ты сказал. Если в гороховой грядке змея прячется, то горох намного опаснее... Но не бойся. Сейчас недосуг, а будет время — я тот горох обязательно прополю.

Народ хохочет. Зухур — чужой, враг. Горох — тоже чужой, враг. Приятно, когда враги меж собой грызутся...

Горох молчит. Потом говорит:

— Не про овощи речь велась. У вас в армии парнишка служит. Тыквой его зовут...

Отступает, себя соблюсти не может. Опять чёрным, старым, сухим делается.

— Хватит! — Зухур его обрывает. — Знаешь пословицу? «Захочет осел плети — лезет в двери мечети».

Гафур к Зухуру коня подводит. Зухур кое-как в седло взбирается. Шухи меня локтем толкает.

— Про тебя, Тыква, кривой говорил. Опасный ты, оказывается, человек.

Шакалы хохочут, насмеваются.

— Тыква — богатырь. Один-одинёшенек целую армию мух от горшка с кашей отгоняет.

— Э, над Тыквой не смейтесь. Рассердится — нас тоже, как мух, перебьёт.

— Страшно с таким героем в горы идти. Может, свяжем его, здесь оставим?

— Дорогу кто показывать будет?

— Автомат у него отнять надо.

— Эй, Гург, прикажи Тыкве, чтоб автомат отдал.

Гург говорит:

— Баланду не трави. Потопали. Вперёд, пацан.

Подумав, на меня смотрит и через плечо Шухи приказывает:

— Возьми у него автомат.

Шухи:

— Лучше пусть Тыква мой и свой автоматы несёт, — говорит. — А я на нем, на Тыкве, верхом поеду.

— Пургу не гони, — Гург сердится. — Отдай ему ствол, пацан.

Автомат с плеча снимаю, Шухи отдаю.

— Тыква, вперёд! Дорогу показывай.

Впереди иду, за мной Гург идёт. За кишлак выхожу, оглядываюсь. Снизу из Талхака караван шакалов тянется. Впереди Занбур, за ним Зухур на коне тащится, следом Гафур шагает, за Гафуром наши мальчишки ослов гонят. Ослы коврами, корзинами, ящиками нагружены. За ослами шакалы идут: Гитлер, Шухи, Гург и другие. Семеро. Семь шакалов Зухура охраняют.

По тропе подниматься начинаю. Хорошо, что Зухур змею с собой не взял. Если перед охотой со змеей встретишься, удачи не будет. То же, если с кошкой или лисой. Наверное, поэтому тот, кто в Зухура возле речки Оби-Бузак стрелял, в цель не попал. Мор, Зухуров змей, его удачу нарушил...

Иду, к развилке Марги-шоир приближаюсь. К месту, где одна тропа прямо уходит, другая налево ведёт.

— Куда? — Гург сзади спрашивает.

— Прямо, — говорю. — Налево роща, где люди дрова берут.

К развилке Марги-шоир поднимаюсь, ладонями по лицу провожу, «омин» произношу — покойного поминаю. Гург замечает, спрашивает:

— Что за место?

— Поэта Хирс-зода здесь убили, — объясняю.

Гург — мужик приметливый. Тошно мне с ним толковать, но и молчанием выдать себя не хочу.

— У Хирс-зода семьи не было, — говорю. — Детей не было, дрова сам собирал. В верхнюю рощу поднимался, осла перед собой гнал, Саид-ревком на лошади его настиг. Ничего не сказал, в Хирс-зода выстрелил, лошадь повернул, назад, вниз ускакал.

— Почему убил?

— Из-за обиды, из мести убил.

Человека убивать запрещено. Если из мести — то за пролитую кровь. Но Зухура убить не грех. Это не убийство, охота.

Гург-волк стоит, караван поджидает, по окрестным горам взглядом шарит — нет ли где засады. Я тоже смотрю: снизу караван приближается. На подъёме перед Марги-шоир стою, наблюдаю, как Зухур на коне подъезжает. Не умеет верхом ездить. В седле, как цветок на лысине плешивого, сидит. Волнуется, в седле ёрзает, коня с шага сбивает. Конь оскальзывается, подковами по камню скребанув, напрягается, прыжком наверх выскакивает. Зухур едва из седла не вываливается.

Думаю: это деды-покойники вновь мне знак подали. Помогут. Опять вперёд ухожу. Гург-волк за мной идёт.

До Дахани-куза — Кувшинного горла — дохожу. Это место и впрямь узкое горло большого кувшина напоминает. Тропа по узкой расщелине в скале проходит — сквозь горлышко протискиваться приходится. А дальше — широкое пространство открывается. Протиснешься и как бы внутрь кувшина попадаешь — на просторную поляну, обломками камня засыпанную. Дальше вверх тропа широкая идёт. На этой поляне наши люди всегда противника уничтожали. Заманивали тех, кто сверху к кишлаку спускались или снизу в горы поднимались.

Иду, думаю: место хорошее, но плохо, что оружия нет. Не то здесь бы Гурга-волка убил, а Зухура из засады застрелил. Гадаю: каким приёмом Зухура брать? Охотничьему искусству меня усто Джоруб учил. Говорил: «У каждого зверя своя повадка. К каждому особый приём применять следует».

На выдру, водяную собаку, осенью с кувшином охотятся. Около реки большой кувшин с узким горлом кладут. Кишку берут, один конец ко дну кувшина прикрепляют, другой — на берегу бросают. Водяная собака кишку находит, радуется. На кишку набрасывается, заглатывать начинает. Заглатывает, до кувшина добирается, голову в горло протискивает, назад вытащить не может. Так её берут.

На куницу с помощью камня охотятся. Каменную плиту находят, под ней землю роют, в ямку кусочек мяса кладут. Куница мясо находит, съедает. Три-четыре раза такое повторяется, куница привывает, ни о чем плохом не думает. Затем охотник яму углубляет, мясо под самый край камня кладёт, плиту палочкой подпирает. К палочке верёвку привязывает, сам прячется, конец верёвки держит. Куница мясо есть приходит, охотник верёвку дёргает, плита падает, куницу в яме придавливает.

На горных козлов охота разной бывает. В зависимости от года. Их в один год дэвы, а в другой — пари пасут. Чередуются. Если дэвы присматривают, охота удачной бывает: дэвы — ленивые, о козах плохо заботятся. Когда пари пасут — год для охоты несчастливый. Пари охотника издали замечают, кричат козлам: «Мусульмане пришли». Те убегают. Летом и осенью охотятся по-разному. Летом заранее высматривают: днём — где козел пасётся, а вечером — где ночует. На следующий день козел пастись приходит, его подстерегают, убивают. Козу с козлятами убивать нельзя.

Осенью козлы к козам приходят. Охотники знают дороги, по которым козлы своё стадо водят, в тех местах маленькие хижины из камней строят, в них сидят-прячутся, оттуда козлов стреляют. Дед Мирбобо, отец усто Джоруба, в давние времена в хижине восемь суток просидел, трёх козлов убил.

На сурка с водой охотятся. Нору водой заливают, сурок выбегает, его палкой бьют.

Медведя, в засаде сидя, из ружья бьют.

Как на Зухура охотиться? Мне его повадки самому определить надо. Самому решить, в каких местах его взять удастся.

Усто Джоруб, искусству меня учивши, говорил: «Охотник-стрелок осторожность соблюдать должен. Зверя трудно убить. Но трудно и свою жизнь сохранить. Охотник-стрелок о двух вещах помнить-заботиться должен — как зверя взять и как самому не пострадать, с гор без урона для себя спуститься».

Думаю: как разом и Зухура взять, и невредимым уйти. Потом думаю: не время сейчас о том думать.

До Дед-камня, за которым наше пастбище начинается, дохожу. Проходя, до камня дотрагиваюсь, чтобы удачу дал. За камнем позади каменная хижина стоит, в которой летом пастухи живут. Рядом — очаг, из камня сложенный.

— Иди, Тыква, посмотри, не прячется ли кто в хибаре, — Гург приказывает.

В хижину захожу. Пусто. Голо. Как будто бесы хулиганили.

— Чё тут за свалка? — Гург входит, спрашивает. — Разве люди так живут?

— Вазиронцы, — говорю. — Они здесь жили. Когда прогнали их отсюда, второпях собирались.

— Тряпки, войлоки... Зачем? — Гург говорит.

Оглядел. На пол земляной сплюнул:

— Тут ночуете?

— Здесь, — говорю. — Дом это.

— Дом? Хата в крытке и то лучше, — Гург говорит. — Стены каменные, пердячим паром провоняли... Я бы снаружи спал. Холодно, да на свободе. Лежишь, звезды над тобой...

Вне дома спать нельзя. Неподальёку — Кухи-Мурдон, страшное место, опасное. Гора, на которой дэвы своих мертвецов хоронят.

Один человек — не наш, чужой, — из города приехал — тоже под открытым небом ночевать задумал. «Очень у вас душно. Я све-

жий воздух люблю», — сказал. Отговаривали его, не послушал. Курпачу на траве расстелил, одеяло взял, лёг. Утром люди проснулись — нет того человека. Курпача и одеяло остались. Одежда вокруг разбросана. Человек пропал. Искали, не нашли. Время прошло, мальчишки ремень на склоне под пастбищем собирать пошли — тело того приезжего нашли. На камнях голый лежал, зверями-птицами обглоданный. Но все равно знающие люди на теле знаки различить сумели. Сказали: «Дэвы его умертвили».

Но я того Гургу объяснять не желаю.

Тем временем караван приходит.

— Тыква, иди разгружай, — Гург приказывает.

Разгружаю. Из нашего кишлака мальчишки, которые ослов гнали, — помогают. Поклажу с ослов снимаем. Ковры снимаем, неподалёку расстилаем. Один для Зухуршо. Поодаль другой — для шакалов... Ящик с водкой к Зухурову коврику относим. Вьюки, мешки, канистры с водой к пастушеской хижине переносим. Большой котёл возле очага ставим.

Гург говорит:

— Тыква, за огнём будешь следить. Дрова рубить.

Подзывает Шухи, приказывает:

— На перешеек иди. Возле кучи камней садись, за тропой следи. Чтобы никто втихаря не подошёл.

— Пусть Тыква туда идёт, — Шухи говорит.

Гург железные зубы скалит:

— Шухи, пургу не гони. Иди!

Шухи говорит:

— Ладно. Если Тыкву на камнях посадить, разве что-нибудь хорошее вырастет?

Автомат берет, уходит.

Зухур на ковре, опершись на подушки, лежит. Шакалы кружком сидят. Я дрова-хворост рублю-ломаю. На Зухура незаметно поглядываю. Как его брать, прикидываю. Занбур-повар огонь разжигает. На очаге котёл установить мне приказывает. Масло в котёл льёт, калить начинает.

— Руки вымыть не из чего, — говорит. — Тыква, я в хижине кувшин видел. Иди, принеси.

В хижину иду. Кувшин справа на полке на стене стоит. Беру кувшин, вдруг вижу: под полкой в углу камонгулак, лук-праща, стоит. Когда я в первый раз сюда заходил, лука не заметил. Был он

здесь или не был? Дедушку Абдукарима вспоминаю. «Держи лук покрепче, — дедушка говорил. — Вот так, Карим, молодец. Теперь тетиву натягивай...» Кувшин назад на полку ставлю, лук, как дедушка учил, в руки беру. Хороший лук, мощный. Думаю: «Зачем он мне? Из лука только птиц бьют. Может быть, знак это? Или, может, деды-духи мне лук как оружие дали? Если они, то им лучше знать... Или вазиронцы, когда их Зухур с нашего пастбища прогнал, в спешке вещи собирая, в хижине лук забыли? Возьму. Если знак — хорошо. Если пастухи лук оставили — тоже ничего плохого не будет».

Тетиву снимаю, сворачиваю, в карман кладу. Лук без тетивы от простой палки ничем не отличается. Пусть думают: «Тыква-дурачок с кривой палкой ходит». Кувшин беру, Занбуру отношу.

— Палку зачем притащил? Дров много, — Занбур говорит.

— А, палка, — говорю. — Палка, да...

— Дурак ты, Тыква, — Занбур говорит. — Полей на руки.

Руки моет, мясо режет...

Потом Шухи от харсанга приходит.

— Тыква возле плова на кухне, а я палец сосу? Несправедливо. Теперь пусть Тыква возле кучи сидит. А я тебе, Занбур, помогать буду. Ты не против?

— Мне бара-бир, без разницы, — Занбур говорит.

Говорю Шухи:

— Автомат дай.

— А кривая палка у тебя зачем? — Шухи говорит. — Увидишь врага, палку на него наставь и кричи: «Ту-ту-ту!» Но смотри, всю обойму разом не выпусти. Короткими очередями бей...

— Ладно, — говорю.

— Неправильно сказал. Скажи: «Пост принял».

— Пост принял, — говорю.

Шухи меня по лбу пальцами щёлкает:

— На боевой пост шагом марш!

К харсангу иду, сажусь, тетиву к луку прилаживаю. Если деды послали, может, лук особенный. Разглядываю. Обычный лук-праща, из ветви иргая, кизильника, сработанный. Две тетивы из бараньих кишок рога лука стягивают. Посредине меж тетивами — перемычка: кусочек тряпки нашит. Лук испытываю. Камешек малый — с перепелиное яйцо — беру, в тряпицу закладываю и тетиву на всю длину руки оттягиваю. Хороший лук, мощный. У нас в Тал-

хаке и старые, и малые из камонгулаков стреляют, птиц бьют. Но этот лук натянуть, который мне деды-духи послали, ни у старика, ни у ребёнка сил не хватит. Большой камешек — с куриной яйцо — нахожу, в лук-пращу закладываю.

Шаги слышу, сажусь, лук-пращу рядом кладу. Спросят: «Зачем лук?» — «Перепёлок настрелять, чтоб плов слаще был», — скажу.

Из-за Дед-камня Зухур выходит. Спиной к Деду-камню встаёт, ремень на штанах, озирая окрестности, расстёгивает... Меня замечает.

— Чего уставился?! Отвернись, скотина, — кричит.

Отворачиваюсь. В уме за один миг много мыслей проносится. «Знаки не зря были... Зухур сам ко мне пришёл... Сейчас не убью, возможность упусти... Будет ли другая?.. Деда-духи камонгулак послали... Они знают... Они знак дают: Зухура из лука-пращи убить возможно... Иначе не послали бы... В голову или грудь бить?.. В грудь легче попасть... Если в голову — вернее убить... До Зухура — тридцать шагов... Уверен — точно попаду... Если не убью, а только оглушу, подбегу, ножом дорежу... Если закричит, пусть кричит... Не смогу живым уйти — значит, так тому и быть... Пусть будет, что будет...»

Лицом к Дед-камню поворачиваюсь. Вижу: Зухур на корточках сидит, тужится. Теперь знаю, какой для охоты на Зухура способ есть... Его, когда он испражняется, бить следует.

Лук беру, тот же камень в тряпицу вкладываю. Во весь рост встаю. Говорю: «Не мои руки — пира святого Довуда, всех охотников покровителя, руки». Лук до отказа натягиваю.

Страшная сила меня одолевает. Как в увеличительное стекло Зухуршо вижу. Бородавки, родинки и все прочее, как будто я своё лицо вплотную к его лицу приблизил, разглядываю. На меня не смотрит. В середину лба целюсь, камень выпускаю. Камень Зухуру в середину лба бьёт, назад отбрасывает. Зухур на спину падает.

Думаю: «Если ранил или оглушил, добить надо». Быстро спускаюсь, к Деду-камню спешу, на бегу нож вынимаю. Подбегаю, Зухур лежит. На спину упал, свой помёт телом накрыл. Смотрю, камень глубоко в лоб ушёл. Наверное, череп проломил, в кости застрял. Ногой Зухура потолкал — мёртвый.

Рядом с тушей Зухура присаживаюсь. Однако осторожность соблюдаю. Может, ещё оживёт. Если бы медведя или козла убил, горло бы перерезал, тушу головой вниз по склону передвинул — чтобы вся кровь вышла.

Тушу Зухура на живот переворачиваю. Шея у него толстая, жирная. Пальцами на шее позвонки нащупываю, между двумя позвонками острый конец ножа втыкаю. Удивляюсь — нож легко входит, хрустит. Голову отрезаю. Думал, струя ударит... Нет, кровь, как из опрокинутой бутылки, вытекает. Нож о рукав Зухура вытираю, в ножны кладу. Голову за шерсть беру: из неё кровь капает, чёрная, тягучая. Кровь о траву вытираю, чтобы свою одежду не замарать.

Голову беру, к харсангу возвращаюсь. «Брать лук или не брать?» — думаю. Потом думаю: «Зачем он теперь?» Как уходить буду?

Три пути есть.

Слева от Дед-камня — на западе — ущелье есть, узкая расщелина, вверх по горе поднимается. По нему пролезть, на гору забраться — дальше пути нет, за горой ущелье, а за ущельем — гора Кухи-Мурдон. Дорог туда нет, там человеческие владения заканчиваются, дэвов владения начинаются. Люди туда никогда не ходят. До границы человеческих владений дойду, остановлюсь, шакалы меня догонят, схватят.

К щели, что в гору ведёт, пробираюсь. По узкой щели-ущелью подниматься начинаю. Голову неудобно нести. Шерсть на Зухуровой голове короткая, из пальцев выскальзывает. Рот ему открываю, два пальца левой руки — указательный и средний — в пасть, под язык, запускаю, изнутри нижнюю челюсть зацепляю, а большим пальцем снаружи, под подбородком прижимаю, придерживаю. «Мёртвый, — думаю. — Не укусит». Так ловчей нести. По щели поднимаюсь, наружу, на гору вылезая, из-за камня выглядываю.

Отсюда, сверху, все далеко вижу. Шакалы возле Дед-камня, вокруг безголовой туши Зухура толпятся... Потом вижу: Гафур или Занбур, сверху не различить, на лошадь садится, мимо Дед-камня проезжает, по тропе скачет, за поворотом скрывается... Думают, я в сторону Талхака ушёл.

Кто-то к краю пастбища бежит, на откосе меня высматривает. Нечаянно себя выдаю. Из-под ноги камень выскальзывает, скачет, прыгает, вниз на траву падает. Шакалы слышат, вверх смотрят.

— Вон он! — кричат.

— По горе лезет!

— Эй, Тыква, спускайся! Все равно догоним!

Вижу, вверх лезут, за мной в погоню идут. Дальше поднимаюсь, левый склон огибаю, в диком месте оказываюсь. Люди здесь

не ходят. Никогда не ходили. Зачем здесь ходить? Куда идти, не знаю. Быстро гляжу, путь прокладываю. Наконец вылезаю. Передо мной — большая площадка. Шагов сто, наверное, в длину. Будто длинная узкая полка на каменной стене висит. Будто к каменной стене полка — длинная, узкая — приделана. Справа резко вниз обрывается. Вижу: площадку в дальнем конце трещина пересекает.

Назад дороги нет. Вперёд идти надо. На площадку вылезаю, к трещине бегу. Подбегаю, вижу: очень широкая трещина. Шагов семь. Или, может быть, даже больше. Что делать? Думаю: «Очень опасно. На краю трещины мелкие камешки, каменная крошка. Отталкиваться ногой буду, поскользнуться можно». Быстро-наскоро ногой крошки-камешки сметаю.

Площадка покатая. От моей стороны к той стороне наклонена. От стены влево, к обрыву наклонена. Голову на ту сторону бросаю — чтобы к самой стене упала. Голова летит, на той стороне падает... Влево к обрыву катится... «Скатится, вниз упадёт! — думаю. — Как тогда быть? Достать не смогу». Голова на самом краю обрыва останавливается.

Назад для разбега подальше, сколько есть места, отхожу. Бога призываю, «Бисмилло» произношу, бегу. На краю ногой с силой отталкиваюсь, через трещину лечу.

Очень сильно толкнулся. На ту сторону перелетаю, меня вперёд тащит... На руки падаю, ладони о камень раздираю, колено ушибаю. Вскрываю, голову беру. Осторожно, чтоб ненароком вниз не столкнуть — двумя руками поднимаю. Дальше бегу.

Площадка выступ скалы огибает. За выступ забегаю. Здесь площадка в осыпь упирается. Голову бросаю, сажусь, спиной к скале прислоняюсь. Здесь отдохнуть можно. Выступ меня от шакалов заслоняет. Они через трещину перескочить не смогут...

Сижу, отдышаться не могу. Вдруг меня трясоти начинается, будто на механическое сито бросает. Будто на мелкие кусочки разваливаюсь, как куча щебня на железной сетке, трясусь и подсакиваю.

Чтобы дрожь унять, голову беру. Нож вынимаю... В каком ухе дырку делать? Если в левом — лицом вперёд голову понесу, Зухур вперёд смотреть будет... Если в правом — назад... Какое у Зухура ухо левое, а какое правое, никак разобрать не могу. Концом лезвия в одном ухе — в каком, не понимаю, — дырку прорезаю. От подола рубахи полосу отрываю, один конец трясущейся рукой скручиваю, в дырку продеваю, насквозь продёргиваю. «Не оторвётся ухо?» —

почему-то думаю. Знаю, что не оторвётся, но все равно сомневаюсь. Концы тряпицы кое-как связываю, разок-другой дёргаю — ухо не отрывается. Теперь хорошо. Теперь голову удобно нести.

Все равно дрожу. Зубами стучу, слова непонятные бормочу. Потом дрожь утихает, и на меня будто лавина обрушивается. Внезапно Зарину вспоминаю. Рыдаю, по камню кулаками бью. Боли не чую. Горе унять не могу. Прежде сила, теперь горе меня распирает. Рвётся наружу, выйти не может. «Почему?! — кричу. — Почему?!» О чем спрашиваю, сам не понимаю. Хочу горе высказать, а как — не знаю. Нет таких слов.

Голову Зухура за петлю хватаю, размахиваюсь, головой о скалу бью. Хрустнула голова, хряснула — этим на мой вопрос отвечает. Головой Зухура о камень колочу, «Почему?! Почему ты так сделал?!» — кричу. Обеими руками голову хватаю, о стену бью...

Голову бросаю, ничком падаю. Плачу. Теперь плакать могу.

Долго ли плакал, не знаю. Слезы вытираю, гляжу. Передо мной гора Кухи-Мурдон из красной глины высится. Будто тысячу лет стояла, ржавчиной покрылась. Вся насквозь проржавела. У самой вершины чёрные камни торчат — утёсы, временем выщербленные. Надмогильные камни, дэвами возведённые и по склону купами расставленные. Пять надгробий. Поодаль — три. Чуть выше — семь. Наверное, дэвы тоже как люди мертвецов хоронят, каждый каун своих покойников вместе кладёт, от чужих отдельно.

Стороной никак не обойти. Через кладбище дэвов идти придётся. Если живым пройти и по другой стороне с Кухи-Мурдон вниз спуститься, то попадёшь, рассказывают, в ущелье, которое к Оби-Хингоу ведёт. А оттуда можно к людям выйти. В Тавильдару или куда ещё...

А здесь либо от голода, либо от жажды умру. Человек долго может без пищи жить. Без воды, говорят, можно три дня прожить. Если здесь умереть не хочу, то придётся через кладбище Кухи-Мурдон идти. Думаю: «Наверное, дэвов мертвецы, чем человеческие, в тысячу раз опаснее».

Голову беру, по осыпи на дно ущелья спускаюсь.

Нечистое место, болезненное. А вода, наверное, чистая, хотя, может, из нечистого источника вытекает. Даже нечистая вода если быстро течёт, то три оборота по течению сделав, чистой становится.

Голову на берегу, на камни бросаю, к воде подхожу. Рубаху снимаю, от крови Зухура отмывать начинаю. Все время по сторонам

оборачиваюсь. Слежу. Прислушиваюсь... Плохо будет, если дэвы меня врасплох застигнут. Никого не замечаю. Ничего не слышу, лишь ручей тихо журчит. Воздух неподвижно стоит. Рубаху сначала семь раз в воде стираю, один раз землёй оттираю и ещё один раз споласкиваю — положено, если от свиньи или собаки нечистота на одежду попадёт.

Теперь рубаха чистой сделалась, мокрую на себя надеваю. Нельзя в горы, на кладбище дэвов, голым, без рубахи идти. Голову Зухура беру, через ручей перепрыгиваю.

Раньше на границе стоял, теперь во владения дэвов вломился. Думаю: может быть, голову Зухура им надо отдать? Скажу: гостинец, подношение принёс... Не знаю, нужна им голова или не нужна, но своё к ним уважение покажу.

К мёртвым дэвам обращаюсь.

— Извините, — говорю, — обидеть вас не хочу. Не по своей воле ваш покой нарушаю.

Подниматься начинаю.

Никакой растительности — ни деревьев, ни кустов и даже трава не растёт. Одни лишайники местами камни покрывают. Некоторые чёрные, другие такого цвета, какой на ладонях у девушек бывает, когда они их хной для красоты красят. Камни будто пятнами крови — свежей и давней, засохшей — вымазаны.

Чувствую, будто рядом кто-то идёт. Шагов не слышу, внешности не вижу, но чувствую, что-то большое и невидимое рядом со мной присутствует.

Дедушка Абдукарим, когда живой был, меня учил, «Карим, — говорил, — на всякое дело умение нужно иметь. Опасно с дэвом встретиться. Но если знаешь, что делать, то не страшно. При умении можно и с дэвом совладать, без вреда для себя уйти».

Останавливаюсь, имя Аллаха произношу, «Во имя Бога, милостивого, милосердного», — громко говорю. Дальше иду. Чувствую, невидимый не уходит. Рядом идёт, Божьего имени не боится. «Может быть, ангел мне послан?» — думаю.

Потом слышу: где-то на востоке, далеко за горой — вертолёт стучит. Тихо, едва различимо стучит...

Даврон

Пятнадцать сорок пять. Ждать знахарку нет смысла. По оптимистическим прикидкам, прибудет минут через тридцать. По реалистическим — через час.

— Летим на пастбище, — говорю Ястребову.

Он разглядывает меня с весёлым любопытством:

— Насколько понимаю, торопишься начистить ему рыло.

— Не угадал.

— Ну, не орденом же будешь награждать.

— Он дал мне слово и нарушил. Я такого не прощаю. Отвезу в Ворух и при всех разжалую в рабочую скотину. Дрова будет рубить. Или отдам какому-нибудь мужику, чтоб огород на нем пахал...

— Н-да, серьёзно. А чего вдруг загорелось? Подожди, пока сам вернётся.

— Принцип. Афган научил: задумал важное дело — делай сейчас же. Отложишь на вечер, а днём тебя убьют.

Ястребов усмехается:

— Одобряю.

Пилот стоит у вертолёта, разминается, потягивается. Ястребов подходит, обнимает его за плечи:

— Тарас, не в службу... Давай ещё в одно местечко сгоняем.

— Серёга, это ведь не такси. Боевая машина.

— А у нас именно боевой вылет. Диктатора отправляемся свергать. Ордена тебе, конечно, не дадут, но поглядеть будет любопытно.

— Ну, если диктатора... — ворчит Тарас.

Сообщаю направление. Ястребов садится в кресло правака, штурмана-оператора. Справа и чуть позади пилота. Я располагаюсь по правому борту. Вертушка взлетает.

Шестнадцать ноль пять. Разглядываю в окно вид на пастбище. Внизу разворачивается в длину с востока на запад обширная плоскость. На северо-западной оконечности пастбища виднеется небольшое строение. Рядом несколько пятнышек, по цвету отличных от растительности. При подлёте становятся узнаваемыми детали. Строение — пастушья летовка. Два цветных прямоугольника —

ковры, большой и малый. Яркое пятнышко — туристская палатка. Начинаю различать людей — муравьёв, сгрудившихся на ковре.

Ястребов оборачивается, знаками показывает: ларинг возьми. Ларингофон висит рядом на кронштейне. Надеваю. Голос Ястребова в наушниках комментирует:

— Царская, мать его, охота. Идиллия...

Идиллия, факт, но вряд ли для Зухура. На большом ковре скопилось слишком много муравьёв. Около десятка. Должно быть трое — Зухур и два его питекантропа. Духи обязаны сидеть отдельно. Зухур боится своих гвардейцев, но вместе с ними за один дастархон не сядет. Ниже его достоинства. Вывод? Вернее всего, духи распоясались на воле. Нагло уселись рядом с Зухуром. Или загнали его в палатку, а сами заняли почётное место. Ликвидировали? Маловероятно. В последние дни в Ворух не приходила извне даже собака. Стало быть, принести приказ было некому. Да это, в общем, не существенно.

Вертушка снижается. Зависает метрах в пятнадцати над землёй. Духи вскакивают. Оружие кучей свалено рядом. Духи хватают автоматы, рассредотачиваются.

Пилот прекращает снижение. Слышу, Ястребов спрашивает:

— Что за архаровцы? Твои?

— Зухурова гвардия!

— Я было решил, не к тем залетели. Сам-то он где?

— Хрен его... В палатке прячется.

Голос Тараса в ларинге:

— Учтите, мужики, я улетаю. Ситуация стрёмная. Пальнёт какая-нибудь сука...

Говорю сколь могу убедительно:

— Тарас, это свои.

— А стволы на хера похватили?

— Не знают, кто и зачем прилетел. Поставь себя на их место.

— Не нравится мне ситуёвина. Что-то твои «свои» шибко на душманов смахивают...

— Развернись правым бортом,— предлагаю.— Я открою дверь, покажусь. Тогда точно не шмальнут.

Слышу, спрашивает Ястребова:

— Серёжа, что скажешь?

— Тарас, не парься. Я бы сел без затей.

— Твоими бы устами... — ворчит пилот. Мне говорит: — Ладно, сейчас развернусь. Покажи им личико.

Вертушка разворачивается. Я открываю дверь, высовываюсь, машу духам. Узнают. Несколько человек сходятся. Совещаются. Гург машет в ответ.

Закрываю дверь, перебираюсь к пилоту:

— Порядок! Садись.

Вертушка опускается, садится. Тарас оглядывается на меня:

— Ты надолго?

— Глуши.

Тарас щёлкает тумблерами. Гул двигателей стихает. Лопасты винта хлопают, замедляя вращение.

Открываю дверь, выхожу. До духов — метров тридцать. Кричу:

— Гург, подойди!

Гург несколько секунд размышляет, подзывает одного из блатных, бросает ему несколько слов, тот направляется к вертолёту. Тухлый тип по кличке Хучак, нервный, взбалмошный. Подходит:

— Здоров, Даврон, — с блатной оттяжкой.

— Где Зухур?

Ухмыляется:

— Охотится где-то.

— Один?

— А чё ему? Не маленький.

— Куда пошёл?

Хучак неопределённо кивает куда-то на северо-запад — туда, где на краю пастбища поднимаются откосы хребта. Меняет тон на дружелюбный:

— Слышь, Даврон, ребята тебя приглашают. А чё? Пока будешь Зухура ждать, хоть раз посидишь с нами по-человечески. Ну, плов, водяра, туда-сюда... А воякам скажи, пусть улетают. Чё, тебе и отдохнуть нельзя?..

За кого меня держат? Заманивают конфеткой точно малое дитя. Говорю:

— Кончай пургу гнать. Иди, скажи Гургу, пусть сам подойдёт. И чтоб шестёрок не высылал.

Хучак кривит рожу, но чапает обратно. Ястребов распахивает дверь пилотской кабины, высовывается:

— Проблемы?

— С Зухуром непонятки. Не мог он уйти в одиночку. Во-первых, не охотник. Во-вторых, взбреди ему такая блажь, погнал бы с собой свиту.

— От тебя прячется, — смеётся Ястребов.

К вертушке направляется новый посланец. Гафур, телохранитель. Служит Зухуру точно пёс, но в общем нормальный мужик. Подходит:

— Ас салом, Даврон. Как дела, здоровье?.. — неспешно выпускает обойму вежливых вопросов, не требующих ответа.

— Нормально. Ты как?

— Не знаю. Подумать надо.

— Ну, думай. А в чем загвоздка?

— Блатной сказал, что Зухуршо на охоте, да? Не верь. Я тебя уважаю, зла не хочу. Потому подошёл...

Киваю: понимаю, мол. Спасибо.

— Зухуршо не жди. Не вернётся.

Непонятно. Не такая здесь местность, чтоб реально от меня смыться.

— Не в Афган же удрал.

Гафур указывает на небо.

— Туда.

Ощущение, будто бежал, а на пути внезапно опустилась стена, и я с разбегу, в горячке погони — мордой в бетон.

— Сам?! Или кто помог?

— Парнишка здешний. Тыква из Талхака.

Приказываю себе остыть. Зухур получил своё. Несущественно, кто наказал — я или кто-то другой. Делаю глубокий вдох. Медленный выдох. Порядок. Тыква? Да, помню... Боец из местных, Гуломов. Тот, что сопровождал меня в дом, где живёт Зарина.

Ястребов открывает дверцу, выходит, Гафур рассказывает, что и как произошло.

— У вас тут, как в кино, — говорит Ястребов. — Деревенский детектив... Ну что ж, Даврон, проблема решилась сама собой. Летим обратно.

— Погоди, — говорю. — Тыкву этого надо изловить.

Ястребов хлопает себя по бедру:

— С тобой не соскучишься! Изловим, дальше что? Душанбе бомбить полетим? Лётное время, брат, — штука недешёвая, время и керосин... Ну зачем тебе пацан? Пусть бежит.

Растолковываю:

— Боец совершил тяжкий проступок. Необходимо наказать. Показательно. Чтобы никто в отряде не думал, что можно уकोко-

шить вышестоящего по званию и сбежать. Расстреляю перед строем.

Он отводит меня в сторону.

— Не понял,— говорит негромко, чтоб не слышал Гафур.— Тебе-то об отряде какая забота? Теперь на меня работаешь. Я свои условия выполнил, твоя очередь. Наплюй на высокие материи, и возвращаемся.

Ага, хозяин заговорил! Расставляю точки над «и»:

— Давай проясним: я на тебя не работаю. Всего лишь подписался выполнить один заказ. Насчёт долговременного контракта уговора не было.

Ястребов задумывается.

— Торгуешься или доброту мою испытываешь? А, так и быть! Получил лошадь, бери и уздечку. Охота на Тыкву пойдёт как бонус. Для закрепления отношений. Вот только насчёт керосина... Ты своё обещание-то не забыл? Гляди, весь будущий гонорар ухлопаешь на расплату с летунами.

— Дисциплина дороже.— Возвращаюсь к Гафуру: — Ты видел, куда он направился?

Гафур понижает голос:

— Наверное, блатные его на Кухи-Мурдон загнали. Нас в детстве пугали: «Там мертвецы живут, люди оттуда не возвращаются». Хотя один старик рассказывал, какое-то ущелье есть, по которому он в молодости к Тавильдаре вышел. Тыква вряд ли найдёт...

— Меня-то не пугай. Лезь в вертолёт. Покажешь страшное место.

Вертушка поднимается над хребтом, вдоль которого тянется пастбище. Горные отроги внизу плывут, точно складки измятого бурого одеяла. Такими укрываются в детских домах. На северо-западе одеяло окаймляет охряная полоса. Гафур тычет в окно в ту сторону и кричит, пытаясь переорать рёв двигателя:

— Кухи-Мурдон!

На подлёте понимаю, почему про гору рассказывают сказки. Пологая стена цвета ржавчины поднимается уступами. На ней, точно могильные обелиски, в беспорядке разбросаны выходы тёмных скальных пород.

Шестнадцать двадцать. Гафур, глядя в окно, тычет пальцем — указывает вниз. Перехожу к левому борту. Внизу, по одной из террас в нижней трети склона движется маленькая человеческая фигурка. Гуломов. Возвращаюсь к правому борту, надеваю ларинг.

— Тарас, слева от тебя. Видишь?

— Вижу.

— Сможешь сесть?

— Ща узнаем.

Разворачивает машину, снижается. Сообщает:

— Облом. Уклон восемь градусов. Не хочу рисковать.

— Неужто зря летели?

— Могу подвиснуть. Площадка широкая, ветер позволяет...

Он подводит вертушку носом к склону, на высоте висит над террасой и плавно опускается вертикально вниз. Вижу Гуломова. Стоит неподвижно справа от снижающейся машины. Попыток бежать не предпринимает.

Вертушка подвисает над самой площадкой. Голос Тараса информирует:

— Приехали.

Вешаю ларинг на кронштейн. Гафур встаёт, орёт:

— Я приведу!

Отмахиваюсь:

— Отставить. Сиди.

Открываю дверь. Высота — метра полтора. Спрыгиваю, иду к Гулому. Он не трогается с места. Подхожу. В правой руке бойца — трофей. Зухурова башка.

— Дай-ка.

Гуломов протягивает мне тряпичную петлю, на которой висит голова. Поднимаю её на вытянутой руке. Голова перекашивается набок — грязная тряпица оттягивает ухо. Разглядываю с холодным любопытством. Зухура не узнать. Сейчас он напоминает гнилую дыню в базарной оплётке. Лицо смято, нос разможжен вдребзи, губы расплющены, но крови почти нет.

Мне приходит на ум, что система, вероятно, действует сложнее, чем представлялось. Я считал, что Зухур — всего лишь запал. Шарахнуло и его, да пострашнее, чем Зарину. И этого деревенского паренька тоже зацепило.

Возвращаю трофей бойцу. Спрашиваю:

— Штрафные удары на башке обрабатывал?

Он, мрачно:

— Нет, я вратарь... Когда играем, на воротах стою.

— Неважно. Жёлтая карточка тебе обеспечена. Знаешь, что это такое?

— Конечно. Радио слушаю.

— Так вот, в сегодняшнем матче жёлтая карточка — расстрел.

Боец, мрачно:

— Знаю.

— Факт, знаешь, раз бегством спасался...

— Я не спасался... От них уходил.

— Логика где? — спрашиваю. — Уходил, значит, спасался.

Боец, упрямо:

— Нет. Они шакалы. К ним в руки попасть — позор.

— Предположим. А сейчас почему стоял, ждал? Дунул бы в гору.

Боец выдаёт:

— Вы человек. От людей бегать позорно.

— Хочешь сказать, что смерти не боишься?

— Не знаю...

Подумаю:

— Боюсь.

Мгновенно принимаю решение. Порядок превыше всего. Это бесспорно. Однако доблесть и честь по рангу стоят выше порядка.

Говорю:

— Слушай внимательно, Гуломов. Что ты убил Зухура, меня не колышет. Мне без разницы, почему, за что и прочее. Но дисциплина есть дисциплина, и в данный момент отпустить тебя невозможно.

— Я не прошу...

— Да погоди ты! Сумеешь сбежать, я на поимку посылать не стану. Понял?

— Нет, не понял.

— Неважно. Подумай по дороге.

Спасти или дать шанс — вещи разные. В последнем случае вероятность реального контакта очень невелика. В самом худшем варианте — это отсрочка смерти. На неопределённое число лет. Награда за доблесть и честь.

— Иди в вертушку.

Подвожу бойца к машине, зависшей над террасой. Гафур открывает дверь. Кричу:

— Залезай!

Гуломов сует голову в дверной проем, хватается за кромку, подтягивается и ловко забирается вовнутрь. В вертолёте поднима-

ет голову, стоит, не зная, куда приткнуться. Вскрабкиваюсь, указываю на место слева от Гафура:

— Садись!

Боец садится. Голову держит на весу. На верёвке. Кричу:

— Чего ты в неё вцепился?! Бросай!

Бросает. Вертушка поднимается, кренился при развороте. Голова перекачивается по полу. Надеваю ларинг, говорю:

— Тарас, ей богу, последняя просьба... Ещё разок — на пастбище. Подсядь, на пару минут.

Молча кивает. Ястребов оборачивается, корчит ироническую рожу.

Шестнадцать тридцать семь. Борт приземляется на пастбище. Духи валяются на ковре. Вывожу Гуломова, веду к ним. Подхожу, командую:

— Встать.

Поднимаются с демонстративной неторопливостью. Гург остаётся лежать.

— Ты тоже!

Нагло таращится. Взглядом ломаю его взгляд. Сдаётся. Встаёт, бурчит на публику:

— Из уважения, командир. Ты такого бандюгана заловил.

Объявляю:

— Этот боец, Гуломов, за проступок будет расстрелян перед строем. Отведёте его Ворух, в расположение отряда. Ты, Гург, — ответственный. Если хоть кто пальцем его тронет, волос у парня с головы упадёт, ответишь лично. Накажу по полной.

Поворачиваюсь, иду к вертушке. Гург кричит вслед:

— Эй, командир, а трупешник? Захвати с собой.

Отрезаю на ходу:

— Тащите сами. Вертушка — не говновоз.

Борт поднимается в воздух. Ястребов оборачивается, знаками показывает: надень ларинг. Спрашивает:

— Теперь куда? В Лондон, Париж? Где ещё будешь наводить порядок?

Отвечаю:

— На сегодня все. В Ворух.

А сам ухожу мыслями в Калай-Хумб. Планирую завтрашнюю командировку.

Исходные условия. Небольшой городок, зажатый между узким ущельем и рекой. На другом берегу — Афганистан. Пограничный пост на въезде. Большинство местных знают друг друга в лицо. Въеду в Калай-Хумб открыто и моментально отошлю водителя. Чтоб не пострадал заодно со мной.

Объект будет находиться в одном из трёх мест. Раз — дом родича или земляка, у которого он остановился. Пешком он не передвигается, в этом не сомневаюсь. Слишком важная шишка. Следовательно, автомобиль — это два. И штаб Народного фронта — три. Комендатуру погранотряда можно не считать. Ни в одном из этих мест не удастся ликвидировать объект, не подставившись. Пустить в ход снайперскую винтовку невозможно. Нет открытых пространств. Все тесно, все в куче, все на виду. Подорвать в автомобиле?

В любом случае, необходима подготовка. Минимум несколько дней. Ястребов поставил условие — срочно. Как можно скорее. Другое условие я поставил себе сам — не должен пострадать никто, кроме объекта. Это условие оставляет одну возможность: подойти к объекту и выстрелить в упор. Просто, надёжно и эффективно.

Неожиданно осознаю, что два часа назад, торгуясь с Ястребовым, ставил на кон не жизнь Горбатого, а свою собственную. Это честный обмен. Моя жизнь за жизнь Алёша.

Семнадцать ноль пять. Борт приземляется на площади в Вооружении. Жму руку Тарасу. Думаю: «Пообещал парню проставиться, а смогу ли?» Послужит ли смерть оправданием за то, что не выполнил обещанного? Покидаю вертушку, Ястребов выходит следом. Перекрикивая гул винта:

— Завтра убываю из Калай-Хумба. Сразу же приступай. Не тяни. Алёш может в любой момент сорваться с места.

Молча киваю. Он протягивает руку:

— Удачи.

Кричу в ответ:

— Если что, выставь ребятам водяру за меня.

Он кивает и лезет в кабину.

Отхожу в сторону и наблюдаю, как вертушка взлетает, переваливает через хребет Хазрати-Хасан и исчезает. Весёлый, лихой он парень, Ястребов. Но чужой. По сути, враг. Впрочем, если разобраться, мне все чужие. А я перед ними — перед Ястребовым

и летуном — ещё и в долгу оказался. Медленно иду через площадь к дому муллы. Позади кто-то кричит:

— Даврон!

Оборачиваюсь. Гадо. Бежит вниз по дороге от дома Зухуршо к площади.

— Даврон, подожди!

Я, естественно, иду, как шёл. Догоняет, пристраивается рядом.

— Ты один прилетел... Зухуршо когда вернётся?

— Никогда.

Молчит. Начинает раздумчиво:

— Ты правильно поступил, Даврон. Наверное, думаешь, гневаюсь, обижаюсь... Нет, брат. Ты знаешь, как я тебя уважаю. Раз ты решил, значит...

Прерываю признания в братской дружбе:

— Ошибаешься. Я ни при чем. Деревенский мальчишка камнем его пришиб.

Обдумывает, меняет курс. Задумчиво:

— Народ его не любил. За что было уважать? Хотя и моей ма-тушки сын, но отец-то — низкого происхождения. Как говорят, у кривого и тень кривая. Покойный Зухуршо — коммунистом был, райкомовцем, но высоко не поднялся. Простолюдином был, как простолюдин умер. Плохим человеком был.

Конкретно даёт понять, что сам он другой. Спорить не стану. Мужик, в целом, неплохой. Во всяком случае, упрекнуть его особо не в чем. Правда, рохля и старается постоянно быть в курсе происходящего. Следствие слабости, зависимости от тех, кто сильнее. Это он сейчас хаёт сводного братца, а прежде полностью ему подчинялся. Что теперь? Попытается встать на ноги?

Он поглядывает искоса.

— Скажи, Даврон, что делать собираешься?

Понятно. Беспокоится.

— Не волнуйся,— говорю,— на место Зухура не претендую. Завтра уеду. С концами. Останешься за хозяина.

Вздыхает:

— Знаю, ты в дорогу собрался, мне донесли. Я рассчитывал, скоро вернёшься, вместе работать начнём.

— А что, без меня никак?

Прижимает руку к сердцу:

— Брат, за тобой как за крепостной стеной: не обманешь, не подведёшь.

Выходит, я ошибся. Самостоятельности он боится. Ищет, к кому бы опять прилепиться.

— Сочувствую,— говорю.— Придётся другую стену искать.

Соблазняет:

— Урожай соберём, прибыль поделим, богатым человеком станешь. Вот и уедешь, если не передумаешь.

— Плохо меня знаешь,— говорю,— если мечтаешь богатством соблазнить.

Улыбается почти снисходительно:

— Э, брат, я знаю. В каждом шелковичном кокоёне червяк живёт.

Философ, мать его. Психолог.

— А-а-а-а,— говорю,— вот на что полагаешься...

Он поправляет:

— Не полагаюсь, рассчитываю. Только нитки надо долго разматывать.

Нормально, а?

— Не ошибись,— предостерегаю.— Разматываешь, а внутри не червяк, а змей. С крыльями. Дракон.

Он, умоляюще:

— Хай, пусть будет дракон... Ладно, не хочешь остаться, задержись, пожалуйста, на неделю-другую. Как брата прошу. Когда Гург с пастбища вернётся, обязательно война между его людьми и твоими начнётся. Кроме тебя никто не справится. Порядок наведёшь и уедешь. Да? Куда тебе спешить?

— Оставлю Комсомола старшим. Не хуже меня справится.

— Ну, хоть несколько дней...

— Нет, не проси.

Забегает вперёд, преграждает путь. Остановливаюсь. Он:

— Даврон, у тебя забот не будет, я все подготовил. Когда в Калай-Хумб подарки возил, с Алёшем договорился. Он мне сам предложил: «Ты выращивай,— сказал,— я сам покупателей найду...»

«Ай да Алёш,— думаю.— Нашёл все же компаньона». Спрашиваю:

— Больше ничего не предлагал?

— Мне и этого хватит. Понимаешь, без горбуна ничего не получится. Без помощи Алёша провезти товар через Бадахшан и Па-

мир невозможно. В этих местах он всем распоряжается. Мне он и покупателя найдёт, и проследит, чтоб не обманули или попросту не убили...

— Не он, другой найдётся,— говорю.

Он головой качает:

— Если Алёш от дел отойдёт, война за его место начнётся, ни с кем договориться будет невозможно. А с тем, кто победит и главным станет, заново придётся отношения налаживать. Удастся ли? А если удастся, то сколько времени придётся затратить... Нет, без Алёша всему делу конец.

«Знал бы ты,— думаю,— что завтра твой компаньон всё-таки отойдёт от дел...»

Он, без эмоций, чисто формально:

— Даврон, в последний раз: может, всё-таки передумаешь?

— Не передумаю,— отвечаю.— Справляйся как-нибудь в одиночку.

Гадо протягивает руку:

— Раз решил, прощаемся. Жаль, Даврон... Но если хочешь бедняком остаться, уговаривать не стану.

Рука у него мягкая. Мелькает мысль: «Бедняком быть не хочу, но разбогатеть — не судьба. Выходит, соврал старик-гадальщик. Золото мне как не светило, так и не светит.

Гадо говорит:

— Рохи сафед, Даврон. Счастливого пути.

Поворачивается, чтобы уйти. Вдруг спохватывается:

— Корреспондента здесь оставишь или с собой возьмёшь?

— А это ещё кто такой?

Ответ бьёт точно обухом в лоб:

— Тот из Москвы. Которого ты привёз.

Кричу:

— Где он?!

— В зиндоне, который покойный Зухуршо построил. В яме...

Тёмное и липкое чувство вины, как грязевая лавина, сбивает меня с ног, тащит в глубину, обволакивает, мешает дышать.

Зарина, Олег — слишком много даже для меня.

— Кто посмел?!

Гадо вздыхает:

— Не хочет выходить. Утром, когда Зухур уехал, я хотел его наверх поднять — на время, пусть на солнце посмотрит, свежим

воздухом подышит, по двору погуляет. Даже беседовать отказался. «Здесь останусь» — и больше ничего не сказал. Наверное, в темноте умом повредился. Жалко человека. Поговори с ним, тебя он признает, опомнится...

Меня охватывает злость. Предупреждал же балбеса: я за него не в ответе. Отвечает сам за себя. Нет, всё-таки вляпался. Почему?! Я не понимаю. Он не должен был пострадать. И Зарина тоже. Произошло что-то ненормальное. Фазу закоротило на Сангака 29 марта. Я узнал об этом позже, но это ничего не меняет. И Зарину, и Олега шарахнуло уже после смерти Сангака, когда заряд был сброшен. А новая энергия еще не успела накопиться. Поэтому до последнего момента я был уверен, что оба благополучно проскочили зону катастрофы. Что произошло?! Почему нарушилась закономерность? Почему пробило на двоих? До сих пор удар всегда обрушивался на кого-то одного...

Голова шла кругом.

— Пошли.

Иду по двору. В загоне за сеткой неподвижно вытянулся дохлый удав. Мимоходом бросаю Гадо:

— Скажи, чтоб падаль убрали.

Подхожу к курятнику, под которым вырыт зиндон. Гадо распахивает дверь. В центре каморки квадратная дыра. Гадо откидывает решётку, закрывающую дыру. Всматриваюсь в глубину ямы. Глаза медленно адаптируются к полутьме. Различаю внизу Олега. Сидит на земле, прислонившись к стенке. Голова опущена. Присаживаюсь на корточки. Окликаю:

— Олег!

Он вздрагивает, медленно поднимает голову. Хрипло произносит:

— Ты настоящий? Или кажешься?..

Мощный удар в спину. Толчок швыряет меня грудью на противоположный край проёма. Ноги проваливаются в пустоту. Успеваю схватиться за окаёмку. Повисаю. Под пальцами — деревянная рама, припорошённая землёй. Осыпаются камешки, сухие комочки. Пальцы скользят. Едва удерживаюсь. Поднимаю взгляд вверх. Сразу же зажмуриваюсь. Сверху летит песок, пыль. Режет глаза. Мельком, за сотую секунды успеваю увидеть подошву башмака. Острая боль. Гадо каблуком сбивает мои пальцы с рамы.

Джоруб

Четвёртые сутки пошли с того злосчастливого дня, когда я отвёз Зарину в логово Зухуршо, и все это время меня терзали и терзают, не отпуская ни на миг, страх за её судьбу и стыд за моё малодушие.

Отец по-прежнему болен. Молчит. А Вера... Было бы, наверное, легче, если б она произнесла хоть слово упрёка, но она, Вера, молчит. Безмолвие поселилось в нашем доме, тишина, как перед грозой.

И вчера наконец грянул гром.

Возвращаясь от Мирзорахмата, у которого занемогла корова, я услышал рокот вертолёта. Пока гадал, куда он направляется, вертолёт косо снизился и завис над нашим домом. Я подоспел вовремя — с оглушительным рёвом он опускался на маленькое поле за задним двором. Со всех сторон сбегались ребятишки. Соседи вышли на крыши, чтобы поглядеть на летающую машину, которая последний раз приземлялась в кишлаке лет десять назад, когда можно ещё было вызывать санитарную авиацию. Дильбар с детьми Бахшанды стояла у забора.

Винт остановился. Дверь открылась, вышел Даврон, махнул мне рукой и крикнул:

— Подойди.

Я подошёл. Даврон заглянул в раскрытую дверь и сказал:

— Подавай.

Высунулся конец переносных брезентовых носилок, которые употребляют в скорой помощи. Даврон взялся за ручки и вытянул носилки почти до самого конца. Лежащий на них был закутан в цветное вышитое покрывало, лицо прикрыто чем-то вроде марли. Должно быть, мне привезли на лечение больного или раненого.

Я сказал:

— Вы ошиблись, я ветеринар, а не врач. Вам в нижнее селение, в Ворух, к медбрату надо лететь. А лучше — в Калай-Хумб...

— Берись за носилки, — приказал Даврон.

В дверях вертолёта показался русский военный и, нагнувшись, выдвинул заднюю часть носилок на самый край проёма. Я пере-

хватил у него ручки и удивился, сколь лёгким оказался мой неожиданный пациент.

— Понесли, — Даврон двинулся к калитке.

Топча посевы, мы пересекли поле и вошли на наш задний двор. Ребятишки стайкой следовали за нами, возбуждённо перешёптываясь.

— Говори, куда заносить, — распорядился Даврон.

— В мехмонхону. Прямо через дом, во дворе...

— Знаю, — оборвал меня Даврон.

Мы прошли через дом, в переднем дворе свернули налево к мехмонхоне. Мухиддин, сынишка Бахшанды, забежал вперёд и распахнул дверь. Мы, не снимая обуви, вошли в гостевую, поставили носилки посреди комнаты.

— Зови старуху. В темпе, — приказал Даврон.

Я не понял.

— В доме нет старых женщин.

— Да не в доме, — нетерпеливо сказал Даврон. — В кишлаке. Кто тут у вас знахарка? Знаменитая.

Я понял, о ком речь.

— Хатти-момо.

— Факт. Вот её и зови. Побыстрой.

Я велел Мухиддину, сынишке Бахшанды, который стоял на пороге и сгорал от любопытства:

— Беги к старой Хатти-момо. Скажи, Джоруб просит прийти как можно скорей.

Мухиддин убежал. Даврон взглянул на часы:

— Далек старуха живёт?

— Не очень. На нашей стороне. Старушка древняя, бегать не в силах.

Не промолвив ни слова, он шагнул к выходу.

— Кто это? Кого вы привезли? — крикнул я вдогонку.

— Зарину, — ответил Даврон, не оборачиваясь. — Облила себя керосином и подожгла.

Не спрашивайте, что я почувствовал. Я образованный человек, я знаю, горе — это болезнь души. Но лучше сорваться в пропасть, кости переломать, лучше чумой заразиться, проказой, лучше от тифа умирать, чем страдать от этой болезни. Я, словно старик, дрожащую руку протянул, хотел марлевое покрывало с лица Зарины откинуть — силы не хватило. Стоял, от боли стонал...

Дильбар потихоньку вошла, остановилась рядом.

— Не убивайтесь, Бог захочет, всё обойдётся. Сейчас Хатти-момо придёт, посмотрит, скажет... Может быть, и не очень опасно, может, нетрудно вылечить.

Ответить не смог — спазм сдавил горло, дыхания не доставало. Не знаю, сколько времени прошло. Прибежала Вера с верхнего поля. Ворвалась в мехмонхону.

— Это не она! Какая-то ошибка... Не может быть, чтоб она!

Боязливо откинула марлю, увидела лицо, замерла. Бессильно опустила у изголовья и окаменела. Я вышел, не смог вынести тяжести её скорби.

Во дворе толпились, перешёптываясь, соседки. Наконец привели Хатти-момо. Две женщины поддерживали её под руки, двигалась она медленно и осторожно, но держалась очень прямо. Белоснежное платье до пят и головной платок обветшали от бесчисленных стирок, были сшиты, казалось, из хирургической марли. Я словно малый ребёнок на неё смотрел, с детской надеждой, почти верил, что спасёт Зарину. Непонятную силу чувствовал в ветхой старушке, силу выветренного камня. Тысячелетиями разрушали его высокогорное солнце с ледяным ветром, одолели, вылушили все брэнное и непрочное, с несокрушимой основой не совладали.

Старушку ввели в мехмонхону, я вошёл следом. Хатти-момо присела в головах носилок по другую сторону от Веры, откинула широкий белый рукав, хрупкими тёмными пальчиками прикоснулась к лицу Зарины, сказала:

— Пусть все выйдут.

Я, преодолев оцепенение, сказал:

— Пойдём, Вера. Хатти-момо хочет, чтобы мы ушли.

Она проговорила глухо, безжизненно:

— Я мать. Я должна остаться.

Я перевёл.

— Мать пусть тоже выйдет, — сказала Хатти-момо.

Я бережно обнял Веру за плечи, поднял и повёл. Калека вёл калеку, больной вёл больную... Потянулось время, мы ждали во дворе, не отводя глаз от двери мехмонхоны. Соседки тихо переговаривались:

— Скажет: «Буду лечить» — есть надежда. Молча уйдёт — значит, помочь нельзя.

— Эх, сестра, один Бог знает. Говорят же: некто всю ночь у постели больного проплакал, наутро сам умер, больной жив остался...

Дверь наконец открылась. Вера словно очнулась, кинулась к Хатти-момо:

— Что?! Выживет она?!

— Буду лечить, — сказала знахарка.

Она подозвала помощницу, перечислила, какие из трав и снадобий следует принести, и вновь уединилась с Зариной. Соседки постепенно разошлись. Хатти-момо несколько раз выглядывала из мехмонхоны, ставшей больничной палатой, и требовала то горячей воды, то старый железный серп — непременно старый, сточенный почти до обушка, то свежего коровьего навоза... Поздно вечером она приказала не входить к Зарине, чтоб не тревожить, сказала, что придёт утром, и удалилась, опираясь на помощницу.

Вера к этому времени нервно расхаживала по двору, беседуя сама с собой:

— Нет, я не понимаю, почему он сюда привёз, почему не в город?! Ну хотя бы в Калай-Хумб. Там все же врачи. Наверное, военный госпиталь есть. А эта старуха... Она же едва дышит. Её саму надо реанимировать, а туда же — лечить... И чем? О, господи, навозом!

Неожиданно Бахшанда сказала с непривычной мягкостью:

— Сердце понапрасну не надрывай, Вера-джон. Она хорошо лечит. К ней много людей даже из Калай-Хумба, из Дангары, отовсюду приезжают. Тамошние врачи не могут, а Хатти-момо умеет. И Зарину вылечит...

Вера вдруг взорвалась.

— Не притворяйся, что за неё волнуешься! — крикнула она яростно. — Я знаю, ты Зарину терпеть не можешь. Ты её ненавидишь. И это ты, ты сломала ей жизнь. Все беды начались с твоей идиотской затеей с замужеством...

Неукротимая Бахшанда против обыкновения промолчала. Должно быть, понимала, какими тягостными для близких путями изливается порой горе. Меня тоже переполняло желание проклинать Бога, судьбу и обвинять всех вокруг, но я укротил себя и терпеливо переносил страдание, ибо терпение — это тусклый факел, который освещает наши жизни.

Вера продолжала бушевать:

— Я не понимаю, не представляю, как можно жить по-вашему. Вы своих девушек замуж выдаёте — точно коров на случку гоните... И ты тоже, — она с ненавистью обернулась ко мне, — ветеринар! — последнее слово выкрикнула с презрением, как оскорбление.

Я принял укор с благодарностью — он был сродни тем жгучим лекарственным средствам, что оказывают, говоря языком медицины, отвлекающее воздействие и приглушают главную боль.

Вера прошагала к мехмонхоне, открыла дверь и скрылась внутри. Я войти не решился, хотя не видел разумного смысла в запрете Хатти-момо. В кишлаке говорят, она лечит не столько зельями, сколько джоду, колдовством, магией. В магию я, разумеется, не верю, но всё-таки не хотел рисковать...

Ночь промаялся, рано утром решил забыться в тяжёлой работе. Взял кетмень, лопату, поднялся к верхнему полю, которое Вера с детьми полностью расчистили от камней. Остался лишь вросший в землю обломок величиной с откормленного барана. Одному человеку с таким не справиться, разумнее было оставить лежать посредине поля. Так обычно и поступают. Я же взялся за бессмысленную работу — начал окапывать валун, чтобы впоследствии выкатить его из ямы, используя жерди как рычаги. Через какое-то время пришла Дильбар. Остановилась и молча наблюдала за моими усилиями.

— Что? — спросил я, не оборачиваясь.

— Наши мужики вернулись с пастбища, — сказала Дильбар. — Сказали, что Зухуршо мёртв. Они, наверное, его убили. Народazole мечети собирается. Наверное, вам тоже нужно пойти...

Я продолжал копать. Она постояла немного и ушла. С удивительным равнодушием выслушал я сообщение о смерти Зухуршо, однако весть эта, подобно зерну, постепенно набухала в тёмных глубинах скорби, и вдруг проросла вспышкой мстительной радости. Одновременно пробудилось и любопытство. Меня охватило нетерпение, бросив лопату, я зашагал вниз.

Вошёл на задний двор, чтобы смыть пот и грязь, и вдруг услышал тихий шёпот:

— Джоруб, эй, Джоруб...

Ворота коровника были приоткрыты, я распахнул их и увидел Шокира. От неожиданности я расхохотался. Слышал, словно со стороны, свой злой смех, звучащий, как рыдания. Не в силах сдер-

жаться, выплёскивал боль, тревогу, напряжение. Не понимал, смеюсь или плачу.

Внезапно умолк. Холодная ярость захлестнула сердце. Шагнул к нему, занёс кулак. Шокир съёжился. Но рука не подчинилась, дрожала от напряжения, застыла, не ударила. Ненависть во мне кипела, тело не повиновалось.

— Друг, не бей, — пролепетал Шокир. — Помоги...

Словно чары с меня снял этими словами. Рука опустилась, а разум одобрил, что не ударила слабого.

— Друг, — повторил Шокир, — друг, помоги.

Жалобная его просьба вдруг напомнила мне далёкие времена детства, а он, увидев, что я разжал кулак, быстро заговорил:

— Ты, Джоруб, наших людей знаешь. Горцы! Гордые, скупые, недобрые... Завидуют, злобствуют, что Зухуршо меня начальником над ними поставил. Теперь-то осмелеют. Зухуршо боялись, а на мне отыграются, свой подлый, жестокий нрав выкажут...

Гнев мой внезапно сменился любопытством. Я не сомневался, что Шокира ищут, спросил:

— Как же ты сюда-то сумел добраться?

Живёт он на той стороне реки, путь оттуда — через все селения.

— Бог спас, — сказал Шокир. — На вашей стороне, у вдовы Шашамо ночь провёл. Когда про Зухуршо услышал, то задами, верхней тропой к тебе прибежал.

Он расправил узкие плечи.

— Я знаю тебя, Джоруб. Знаю, какой ты человек. Не выдашь, убеждения не позволят. Ты даже ударить не смог — воспитание, как наручниками, сковало. И сердце мягкое, твёрдости в тебе нет. Жалостливый ты. Потому прятать меня будешь, из кишлака выведешь...

Говорил он снисходительно, но жалкой была его надменность. Я сказал:

— Плохой ты психолог. Спасать не стану, хотя и не выгоню. Сиди здесь, хоронись от людей. Лучше тебе с толпой мужиков встретиться, чем с Бахшандой или, пуще того, с Верой.

Он усмехнулся:

— Как-нибудь совладаю.

Обычно я не находчив на слова, но сердце подсказало, как ответить:

— Твоя правда, против женщин ты герой. Однако наших не знаешь. Найдут они тебя — как стручок гороха вылушат.

Вмиг слетели с Гороха надменность и снисходительность, он оскалил зубы, готовясь укусить издёвкой, но я вышел из коровника, оставил его злобствовать в одиночестве.

Спускаясь к площади, я издали услышал гул голосов, а, подойдя к толпе, рассмотрел из-за голов стоящих впереди мужиков, что перед дверью мечети лежат на земле носилки, наскоро связанные из веток и двух тонких стволов. На носилках — завёрнутое в старое одеяло тело. Я понял, что это труп Зухуршо, принесённый с пастбища. Рядом стояли, горделиво выпрямившись, Шер, совхозный шофёр, и Табар, его товарищ. Одеты они были по-охотничьи, в короткие, туго подпоясанные халаты, на ногах — обмотки, за спину закинута на ремне автоматы. Они-то, орлы, удалцы, должно быть, и одолели Зухуршо.

Я прислушался к разговорам в толпе. Шёл начавшийся до моего прихода спор о том, как теперь жить. Одни кричали:

— Каждый пусть свою землю заберёт.

— А совхозные земли? С ними как быть? — возражали другие.

— Да что земля?! Все посеы Зухуршо погубил. А заново сеять нечем. Зерна не осталось, картошки нет, ничего нет...

В это время заговорил Шер, народ умолк.

— Покойный Зухуршо плохим человеком был,— сказал Шер,— но глупым не был. Народ угнетал, но своё дело правильно делал. Он хорошо сказал: «Если земли мало, надо золото сажать...» Почему бы нам к хорошим словам, хоть и плохим человеком сказанным, не прислушаться?

— Эй, Шер, про кукнор говоришь? — крикнул кто-то.

— Называй, как хочешь,— сказал Шер.— Я золотом называю. Может, даже платиной назову, потому что у нас земли теперь много будет. Большое пастбище у вазиронцев назад отберём, кукнором засеём. Вазиронцы против нас — что лягушка против слона. Наступим, раздавим. Мёртвый Зухуршо на помощь им не придёт, а у нас оружие есть,— он скинул с плеча автомат и потряс им над головой.— Скоро, когда завал разберём, двенадцать калашей молодёжи раздадим...

Молодые парни, которые кучкой теснились на левом крыле толпы, засвистели, заикали. Взрослые мужики усмирили их суровыми окриками. Молодые слегка притихли, а вперёд вышел престарелый Додихудо и сказал:

— Мы, старики, разрешения на это не дадим. Пастбище нельзя распахать, пастбище — не земля. Зухуршо хотел распахать, но Зухуршо — он... Он был...

Не нашёл слова и презрительно плюнул.

— Не разрешите?! — воскликнул Шер. — Мы не спросим. Сделаем, как замыслили. Ваша власть прошла. Раньше, может быть, правильным было стариков слушаться. Теперь по-другому. Жизнь совсем другая, а вы думаете, что все по-прежнему осталось.

Присмирившая было молодёжь вновь засвистела.

Мне впервые пришло в голову, что молодые, воспитанные в почтении к старшим, и в прежние-то время втайне глядели свысока на стариковскую немощь, на медлительность, тугоумие и, главное, угасшую мужскую силу. За почительностью всегда скрывалась снисходительность. Теперь же, когда интересы младости и старости столкнулись, тайное вырвалось на волю.

Молодёжь засвистела, а Шер закричал:

— Эй, люди, на своих землях выращивайте для пропитания, кто что захочет. Но большое пастбище мы заберём. Совхозную землю тоже. Кто захочет, пусть к нам со своей землёй присоединяется.

Вновь разразились крики и споры. Престарелый Додихудо вновь поднял руку, требуя тишины:

— Совхозные земли из дедовских наследственных земель собраны. Хоть время и прошло, но мы помним, кому каждое из полей принадлежало. Каким Ахмад владел, каким — Махмад. Эти земли надо прежним владельцам вернуть.

Шер усмехнулся:

— Вы сами сказали, почтенный: время прошло. А я скажу: в реку можно любые помои вылить, вода три оборота сделает и чистой становится. Время действует так же. С той поры, когда Ахмад с Махмадом землями владели, время столько оборотов совершило, что совхозная земля давно от права собственности очистилась, ничейной стала.

Престарелый Додихудо, его не слушая, продолжал:

— У Зухуршо запас был. Мука была, сахар был. Масло хлопковое обещал привезти. А у тебя что есть? Землю под кукнор забрать хочешь, а подумал ли о том, что люди есть будут?

— Горох! — закричал простодушный Зирак. — Горох!

— Глупые шутки брось, — осерчал престарелый Додихудо. — Горох вырастить, тоже земля нужна.

— Зачем земля? — крикнул Зирак. — Без земли появился!

Он отирался на краю толпы и первым усмотрел удивительное явление, которое от прочих скрывал правый угол мечети. Вниз по улице, ведущей к площади, брёл Шокир, хромая и запинаясь, словно смертник к месту казни.

Мой зять Сангин, стоявший со мной рядом, засмеялся:

— Эха! Мыши горошину выронили, искали, искали, весной сама нашлась — проросла.

Я-то знал, где прятался Горох, но, как и прочие, изумился неожиданному появлению. Удивительным было то, что Шокира конвоировала Вера, моя золовка. Она шла позади с дедовским мультуком и подгоняла пленника длинным стволом. Ребятишки, шнырявшие в толпе, с воплями бросились им навстречу.

Мужики заулюлюкали, засвистали, загоготали:

— Охо-хо, хо-хо-хо...

— А-ха-ха-ха...

— И-хи-хи-хи...

Вера дотолкала Шокира до середины площади, огляделась растерянно, увидела в толпе знакомое лицо и пошла ко мне.

— Вот, привела.

— Вера, как ты его добыла?!

Мужики обступили нас, раскрыв рты от любопытства. Веру била дрожь, она говорила быстро, почти захлёбываясь:

— Ты знаешь, пришла старуха, выставила меня из комнаты... где Зарина... Я теперь готова выполнить все, что она потребует. Понимаю, что глупо, но только на старуху и надеюсь. Я ушла. Не знала, куда деваться, места себе не находила. Вышла на задний двор. И вдруг услышала, в коровнике шаги, будто кто ходит. Я почему-то подумала, что это ты вернулся. Заглянула и увидела его. Он стоял у стены, где все эти сельскохозяйственные железки, и трогал серп. По-видимому, собирался снять с гвоздя. Услышал скрип ворот, повернулся и посмотрел. Знаешь, он усмехнулся... Злобный, страшный. И ещё серп... Я убежала... Ты не думай, я не испугалась, я стала думать, что делать. В доме ни души, кроме твоего отца больного, даже дети убежали... А этот?! Зачем он пришёл и прячется? Что задумал? От него всего можно ожидать. Как его прогнать? Ты же сам видел, он с этим сильным мужчиной... как его... Сельсоветом справился. Нужно какое-нибудь оружие. Не уполовник, не сковородка... Я побежала в каморку, где у вас ружья хранятся. А внутри пусто — и вот эта древность.

— Вера, мультук не заряжен...

— Подожди, подожди... Я знала, что не заряжен. Я не собиралась стрелять. Я лишь прикидывала: как бить? Ружье длинное, тяжёлое. Если с размаха, прикладом — слишком медленно. Он или увернётся, или схватит и вырвет из рук. Решила: ткну стволом в живот. Вошла, он засмеялся и сказал: «Дура баба». Если бы не презирал, не думал, что глупая и слабая, то, наверное, сумел бы увернуться. А тут я как ударю! Влепила ему прямо в брюхо. Он согнулся, а я — стволом по спине, по горбу. Получилось очень неловко. Я перехватила ружье и ударила прикладом. Он упал и лежал на боку, согнувшись. Я зашла сзади, чтоб он как-нибудь не отнял ружье, и стала думать, как быть дальше. Выставляю со двора, а он незаметно вернётся и бог знает что сотворит. Я решила, что отведу к мужчинам, пусть разбираются. Насколько знаю, с ним многие желают свести счёты. Сказала ему: «Вставай, пойдёшь к людям, на площадь». Он меня обругал, а я сказала: «Не встанешь, я тебе голову размозжу».

Знаешь, когда мы шли, я сама себе удивлялась. Будто это не я, а кто-то другой. Будто я страшное кино смотрела и одновременно говорила и действовала. Убить я, конечно, не убила бы. Не смогла бы... Хотя, не знаю. Он-то думал, что обманет по дороге. Несколько раз пытался заговорить мне зубы, но едва открывал рот или начинал поворачиваться, я легонько толкала в спину стволом. Я ему сказала: «Побежишь или дёрнешься, ударю в позвоночник, сломаю». Он, кажется, поверил...

— А ты бы ударила?

— Не знаю... Я в то время об этом не думала. Наверное, у меня был такой голос, что он поверил... Может быть, и ударила бы. Ты не представляешь, какая во мне злость кипела... Да, я бы ударила! Никогда не прощу ему, ведь это он виноват в том, что случилось с Зариной... — она замялась на миг, но произнесла твердо: — Тоже виноват...

В сотый, должно быть, раз я подивился этой женщине.

— Ай, Вера-джон, молодец! — закричали мужики.

Она оглянулась с недоумением, зябко повела плечами и двинулась через толпу по направлению к нашей улице. Я позвал её:

— Вера.

Словно и не слышала. Вновь замкнулась в безмолвном скорбном одиночестве.

Шокир тем временем ждал своей участи. Понурая поза говорила, что он приготовился к худшему. Нахохлился, скрючился, перекопился сильнее обычного. «Жалость вызывает хитрец»,— догадался я, заметив зоркие косые взгляды, которые Горох то и дело бросал на односельчан. А мужикам было не до расправы. Насмехались вяло, без особой злобы:

— Эй, асакол, тебя женщина командовать привела. Почему не командуешь?

— Нас в тупик завёл, объясни, как выходить...

И Шокир завёл старые песни.

— Меня вините, насмехаетесь...— проговорил он с приторной горечью. — А бедный Шокир в чем виноват? Я когда про смерть Зухуршо узнал, к народу пошёл. По дороге эта женщина меня встретила... Зачем ружье взяла, зачем угрожала — не знаю. Я-то спешил, думал: как людям помочь? Я всегда о народе душой болел...

— Неправду говоришь! — крикнул Сельсовет. — Единственно, о том заботился, как Зухуршо угодить.

— Эх, Бахрулло, Бахрулло, сначала свой воротник понюхай, а потом у других недостатки ищи,— грустно укорил его Шокир. — Ты разве в советское время приказы начальников не выполнял? Разве не угождал? Если бы тебя Зухуршо старостой назначил, ты и ему бы подчинился. Хочешь не хочешь, а власти покоряться приходится.

Народ загудел, потому что толика правды в ответе Гороха имела. Однако у лжеца даже правдивое слово — ложь.

Шокир, почуяв хоть и малое, но согласие, приободрился, голос окреп:

— Если что дурное происходило, то не по моей воле. Зухуршо обещал: «Пороги будут из золота». Я о том же мечтал. Знать не знал, как далеко разорение зайдёт. Это он, Зухуршо, виноват. Его вините.

— Ты наши поля разорять помогал,— крикнули из толпы.

— Что мог поделать? — сокрушённо вымолвил Шокир. — Распоряжения получал. Но вы, люди Талхака, тоже приказы Зухуршо выполняли. Себя почему не вините? Я ни одной грядки, ни одного ростка не сгубил. К мотыге даже не прикасался. Вы сами, собственными руками свои поля опустошили. Лопатами и мотыгами посева перекапывали. И что же? Сначала меня осудите, затем лопаты и мотыги судить начнёте?..

Мужики негодуяще заворчали, всех сильнее возмутился простодушный Зирак:

— А кто нас выдавал?! Ты боевиков Зухура повсюду водил, ты им земли показывал. Каждый клочок в горах, каждый малый огородик. Без тебя не отыскали бы. Хайвон, предатель!.. — захлебнулся от гнева и, не найдя, как ещё выразить негодование, нагнулся, подобрал камешек и швырнул в Гороха.

Правда, не попал — сил не хватило добросить. Молодёжь радостно завопила:

— Незачёт!

— Дед, вторую попытку бери!

Из левого края толпы, где сгрудились юнцы, вылетел камень величиной с яйцо, ударил Шокира в грудь.

— Учись, дед Зирак. Вот как в цель надо бить...

Горох вскрикнул, отшатнулся. Женщины ахнули.

Вылетел новый камень и угодил несчастному Шокиру в ногу. Молодые заржали:

— Э, опозорился, Бако, в команду стариков переходи.

Сам на себя накликал беду Горох. Увлёкся оправданиями, неудачное выбрал время перекаладывать вину на народ. Вряд ли все без исключения мужики одобряли бесчинство, но юнцов ни один не одёрнул. И молодые распоясались, чего не посмели бы ещё месяц назад. Порча, которую занёс к нам Зухуршо, заразила и старших, и младших. Несколько парней шарили по земле, искали подходящий для метания снаряд. Миг, и станет Шокир мишенью для разгулявшихся йигитов.

Но в это время произошло то, чего никто не ожидал. Раздался пронзительный свисток, из толпы выскочил Милисá, наш деревенский дурачок, подбежал и заслонил собой Гороха. Высоко подняв полосатую палку, он грозно уставился на народ... Да, печальны времена, когда одно только безумие противостоит неразумию.

— Эй, девона, отойди! — закричал Дахмарда, здоровенный дегтина, готовясь к броску.

Но мудрость уже опомнилась. Престарелый Додихудо крикнул Дахмарде гневно:

— Э, пёс! Камень положи. Кто бить позволил?

Парень не посмел ослушаться, неохотно опустил руку, а престарелый Додихудо обратился к народу:

— Прежде, чем этого человека наказывать, мы разобраться должны, виноват он или не виноват. Если виноват, то следует решить, в чем виноват и какое наказание за эту его вину назначить. Если не виноват, обижать его — грех.

— Правильно! — выкрикнул Горох из-за спины дурачка.

Я-то понимал, что Додихудо не столько к справедливости взывал, сколько утверждал своё пошатнувшееся главенство. Наверное, все это понимали.

— Выходит, если козел огород потравил, надо повестку ему вручить, в районный суд отвести. А палкой поучить грешно. Так, что ли? — спросил Сельсовет.

— Не нужно суда! — прокричал простодушный Зирак. — И без того знаем: виноват Горох.

Мужики загудели. Заговорил Шер, который до той поры молчал:

— Уважаемый Зирак верно сказал. Общее мнение выразил — виновен Шокир. А ещё прежде уважаемый Зирак правильное наказание предложил...

— Это какое же? — спросил Зирак.

— Камнями побить, — ответил Шер. — Как вы, уважаемый, давеча предложили.

Никогда прежде простеца уважаемым не именовали. Зирак гордо огляделся и подтвердил:

— Да, я предложил. Камнями.

— Самосуд! Беззаконие! — вскричал престарелый Додихудо.

Роковым для Шокира стало его заступничество. Не вмешайся он, самое худшее — поколотили бы злосчастного Гороха и прогнали бы из кишлака. Теперь же Шер пошёл наперекор Додихудо. Оба они, как на козлодрании, рвали Шокира друг у друга из рук — боролись не за жизнь его или смерть, а за первенство.

— Самосуд? — переспросил Шер. — Нет, мы судить не станем. Пусть шахид его судит, — и он указал на тело, лежащее на грубых носилках.

Я был ошеломлён. В наших местах шахидами — кроме тех, кто погиб за веру, — почитают также убитых молнией, погибших при несчастном случае или умерщвлённых насильственной смертью. Но у кого повернётся язык назвать шахидом Зухуршо? Я тронул плечо Сангина, моего зятя:

— О ком говорит Шер? Кто этот покойник?

— Карим, сын Махмадали,— ответил Сангин.— При жизни Тыквой прозывали. Э, шурин, да ты как из пещеры вышел...

Со вчерашнего дня я вправду блуждал по подземельям печали, ничего не слышал вокруг, ничем не интересовался. На время забылся, но слова Сангина вернули меня к горестным мыслям, и чтобы их отогнать, я продолжил расспросы:

— А Зухуршо? Он-то где?

— Голова его в том мешке,— Сангин указал на небольшой куль, валяющийся у Шера под ногами.

Его слова прозвучали странной загадкой, разгадку которой мне довелось узнать после похорон шахида, когда мой друг Ёдгор поведал о том, что произошло накануне. Собралось множество слушателей, и Ёдгор начал, как обычно, издали:

— Вы знаете, что вчера к нам Зухуршо явился. Вы сами видели, как мешки и ящики на ослов погрузили, как Зухуршо на лошадь сел, со своими йигитами на наше пастбище отправился. Я тоже на площади был, смотрел, примечал. Палатки, колья с собой везут — значит, ночевать собираются. Может быть, день-другой на пастбище проведут. «Подготовиться успеем»,— подумал.

Шера подозвал. Молодой, смелый, в армии служил.

Он спросил: «Что задумали, ако?»

Я сказал: «Назад пойдут, мы их встретим».

Он сказал: «Ако, у нас оружия нет. Если что-нибудь и спрятано, то разве, пожалуй, старый дробовик... А у них десяток автоматов. Пусть даже повезёт — Зухуршо застрелить сумеем, но боевики весь кишлак перебьют». Я сказал: «У нас посильнее автоматов оружие имеется. Дедовское оружие. Времени терять не станем, сейчас и тронемся. Ещё одного человека возьмём. Трёх достаточно».

«А что за оружие?» — Шер спросил.

«Увидишь».

«Табара позовём,— Шер предложил.— Он парень сильный».

Собрались в путь — каждый платком с завёрнутой в него лепёшкой перепоясался, обмотками ноги туго перетянули, мех с водой, топоры, верёвку взяли и пошли Зухуршо воевать.

До могилы поэта Хирс-зода поднялись, заметить успели, как далеко впереди хвост каравана мелькнул и за поворотом тропы скрылся.

До Дахани-Куза — Кувшинного горла — дошли, с тропы свернули, по узкой расщелине пролезли. В том месте скала как отвес-

ная стена возвышается. Разулись, обувь и мех с водой на спину забросили, топоры за пояс заткнули, свёрнутую верёвку через плечо перекинули и вверх по скале карабкаться начали. За выступы в камне, за трещины руками и ногами цеплялись, как ящерицы по стене ползли. Тяжело было лезть, опасно, однако иным путём туда, куда мы направлялись, никак не доберёшься...

В старые времена, когда Шухрат-палвон с тремя товарищами с войском Курбонбека, эмирского миразора, воевал, на той стене у одного юноши по имени Нур из-под ноги камень выскользнул. Нур со скалы упал и разбился. Рассказывают также, что в более давние годы ещё три человека сорвались и убились, но я в эти рассказы не верю и правдивыми их не считаю — никто не может точно сказать, когда это было, с кем воевали и как тех людей звали.

Мы-то, спасибо Богу, живыми и невредимыми до самого верха добрались. Передохнули немного, по гребню Хазрати-Хусейн дошли до Джои-Сангборон. Среди скал на краю гребня — небольшая площадочка. А размер... В старину про такой говорили: как раз, чтоб одной тибетейкой ячменя засеять...

На этом слове рассказ Ёдгора прервал Лутак, педантичный старик, который лучше, чем кто-либо из слушателей, разбирался в старинных мерах и тем не менее потребовал:

— Ты по-нынешнему размер назови.

— По-современному, — пояснил Ёдгор, — это сотка приблизительно. Будь путь ближе и легче, здесь бы непременно кто-нибудь махонькое поле распахал, не беда, что площадочка к обрыву крепится.

Вышли мы на неё, я сказал: «Пришли».

Шер и Табар огляделись, спросили: «Где же оружие?»

Я сказал: «На край станьте, взгляните».

Они подошли, заглянули. Склон круто вниз спускается. В глубине, у подножия, по узкому обрывистому берегу Оби-Талх тропа бежит. И до противоположного склона рукой подать — хребты-близнецы совсем близко сходятся, ущелье в узкий проход сжимают.

Я сказал: «Вот это оружие и есть», — и с молодыми политбеседу провёл.

Предки наши с давних времён врагов в ущелья заманивали, засады на них устраивали. Наверху — в таких, как это, покатых местах на самом краю обрыва, вдоль кромки, бревно закрепляли,

а позади, впритык к нему, большую кучу камней наваливали. Когда бревно убрали, камни лавиной вниз сходили, врагов убивали, рассеивали. Поэтому назвали — сангборон, каменный дождь. Против сангборона даже Искандар Македонский бессильным оказался. Не выдержали его отряды, бежали с Дарваза.

Молодые сказали: «Рассказы стариков слышали, но своими глазами не видели, вот и не признали».

А мне раньше даже не снилось, что сам к древнему оружию прибегну. В Талх-Даре за него в последний раз брались лет семьдесят назад. Тогда слух среди народа разнёсся, что на Талхак с большим войском Мамадамин идёт. Не знали, за кого воюет — за Анвар-пашу, за большевиков, против красных или просто народ грабит, однако подготовились. Мужики решили: если появится, отведём женщин и детей на пастбище, а погонится вслед, обрушим сангборон. Не пришёл Мамадамин — зачем ему наше бедное селение? Ложными оказались страхи, а поэтому я надеялся, что груда камней осталась с тех пор неистраченной.

Не подумал я о том, что за десятки лет деревянный затвор сгниёт, разрушится, камни постепенно вниз скатятся. Что и случилось. Пришлось новый заряд налаживать.

На восточном краю поляны одинокое дерево стояло — хубак, ясень. Столь высокий, что, казалось, до неба достаёт. Откуда в таком диком месте ясень появился? Наверное, наши древние предки специально несколько саженцев посадили, потому что бревно туда не затащишь. Ясень триста лет живёт, и никто не знает, сколько деревьев за прошедшие столетия на сангборон изведено. Ныне один этот хубак остался.

Мы ясень срубили, ствол от веток освободили, на край обрыва положили, кольями закрепили. К одному концу бревна верёвку привязали. Камни начали собирать, позади бревна в кучу складывать. Дело тоже непростое. Умеючи надо класть, чтобы груда до времени держалась, не рассыпалась, а в нужный момент разом вниз рухнула. Чтобы на бревно давила, но с места не сталкивала. Нам искусство это не передали. Однако разобрались, начали носить, укладывать.

Трудились долго, устали. «Может, отдохнём?» — молодые предложили.

Я сказал: «Нельзя отдыхать. До вечера надо закончить. Что, если Зухуршо передумает, сегодня обратно поедет?»

Сбылись те слова. Когда солнце к хребту Хазрати-Хасан приближилось, мы ещё камни таскали, а вдали на тропе караван показался. Богу спасибо, Табар случайно заметил, сказал: «Идут». Куча уже большая была.

Я сказал: «Ладно, сколько успели, столько положили. Иншалло, хватит».

Табар сказал: «Дядюшка Ёдгор, они наших мальчишек, троих ребят, с собой повели ослов погонять. Как быть? Как мальчикам вреда не причинить?»

Я ответил: «О них не беспокойтесь. Я предусмотрел».

На край лёг, стал вниз смотреть, чтобы нужный момент рассчитать. Прикинул, на какую ширину лавина раскатится, какой отрезок тропы накроет. Бог или природа устроили на склоне скат, похожий на жёлоб, — наверху узкий, а книзу расширенный, и оттого каменный поток вначале струёй хлынет, а затем веером распустится, большую зону поражения охватит. Я ориентиры наметил — где голова и хвост каравана находиться должны в ту секунду, когда мы сангборон запустим.

Вскоре караван в поле зрения во всю длину растянулся. Я убедился, что он полностью в зоне поражения поместится. наших ребятшек в караване не было. Однако, к недоумению моему и тревоге, Зухуршо я тоже не увидел, сколько ни высматривал. Пересчитал боевиков: двенадцать ушли, двенадцать возвращаются. Неужели Зухуршо один на пастбище остался? Другое объяснение в голову не пришло. Вынужден был по ситуации решение принимать. Решил: Зухуршо — как мышь в мышеловке, уйти некуда. Мимо нас не проскочит. Покончим с боевиками и с ним без труда разберёмся.

Сигнал подал. Шер и Табар за верёвку схватились, к бревну привязанную.

Меж тем первый в цепочке боевик к переднему ориентиру подходил — кусту облепили, что на краю тропы рос. А хвост каравана большой камень миновал — задний ориентир. Я рукой махнул, «Огонь!» — скомандовал.

Шер и Табар силы напрягли, Бога призывали, верёвку рванули. Бревно, как соломинку подкинуло, вниз за каменным потоком утащило. Страшный грохот ущелье заполнил. Видел я, как враги внизу метались. Кричали, наверное, но крики гром лавины заглушал. И вот тишина наступила, только отдельные камни ещё стучали, шуршали, по склону сползая, скатываясь...

Шер сказал: «Спустимся вниз, соберём оружие».

Мы к опасной скале вернулись, по которой на гребень поднимались, верёвку привязали, спустились и вышли туда, где недавно тропа проходила, под каменными обломками теперь скрытая...

В этом месте наш мулло Раззак рассказ прервал:

— Скажи, Ёдгор, всех ли боевиков побил камнями?

Ёдгор помедлил несколько мгновений, словно задумавшись, и ответил уклончиво:

— Когда мы уходили, живых не осталось.

Тогда мулло задал другой вопрос:

— А Тыква? Вы ведь знали, что Карим с ними идёт?

Ёдгор сказал:

— Бог видит... Что делать было?

Провёл руками по лицу и продолжил:

— Спустились, видим: кого полностью завалило, кого камнем-другим придавило. Одного — того, что впереди шёл и, должно быть, убежать пытался, — мы в стороне от завала заметили, мёртвый железные зубы скалил... Мы принялись Карима искать, нашли, удивились, что верёвкой связан. Руки Кариму развязали, кровь с его лица отёрли. Сказали: «Похоронить сегодня не успеем — солнце заходит. Переночуем на пастбище, а утром отнесём тело в кишлак. Греха в том не будет, закон разрешает: если человек умер в пути, то временное захоронение позволено».

В этом месте Ёдгора вновь перервал педантичный Лутак:

— А как же боевики? Их ведь тоже надо по обряду похоронить, заупокойную молитву прочитать, чтоб непогребённые мертвецы людям зла не чинили.

— Не наша то забота. Народ соберётся, похоронит, — сказал Ёдгор и продолжил рассказ: — Шахида в стороне от тропы уложили, сверху камнями прикрыли, чтобы до тела дикие звери не добрались. Взяли автомат покойного человека с железными зубами, собрали оружие, какое найти удалось, к большому пастбищу поднялись.

На пастбище трое мальчишек в летовке прятались. Вначале испугались, нас узнали — обрадовались. Из них старший, Мумин, стал рассказывать:

«Сначала Карим Тыква Зухуршо убил. Потом Даврон на вертолёте прилетел. У мужика с железными зубами спросил: «Где Зухуршо?» Мужик с железными зубами обмануть хотел, но другой му-

жик, прокажённый, сказал: «Зухуршо убит». Даврон спросил: «Кто убил?» Прокажённый мужик ответил: «Тыква убил». Даврон спросил: «Где Тыква?» Прокажённый мужик сказал: «Убежал». В какую сторону убежал, рукой показал. Даврон спросил: «Остальные где?» Мужик сказал: «Тыкву ловить ушли». Даврон в вертолёт сел, прокажённого мужика с собой взял, улетел. Потом другие вернулись, которые уходили Тыкву ловить. Сели на ковёр, водку открыли, стали пить. Услышали, вертолёт назад летит, бутылки спрятали, на ноги вскочили. Вертолёт опустился, дверь открылась, Тыква вышел. В руке что-то круглое держал. Круглое на землю бросил. Посмотрели, это голова. Тот, что с железными зубами, к Тыкве подошёл, замахнулся. Даврон крикнул: «Отставить! Не трогать! Отведите в Ворух». Улетел.

Мужик с железными зубами приказ отдал: «Эй, пацаны, тащите сюда трупешник». Мы пошли, взять хотели, а как нести? От плеч до пояса — в крови, от пояса до ног — в дерьме. Вернулись назад. Он спросил: «Почему не принесли?» «Завернуть бы», — мы попросили. Разрешил: «Заворачивайте». В летовку вошли, в углу одеяла навалены. Самое старое выбрали. Около очага дрова лежали, Усмон три палки взял. Одеяло расстелили, палками на него кое-как с трудом закатали. Усмон сказал: «Тяжёлый. Как понесём?» Я сказал: «Волоком потащим». За край одеяла ухватились, потащили. Долго тащили, притащили. Мужик с железными зубами рассердился: «Воняет. Почему не завернули? Тот маленький ковёр возьмите, в него заверните». Они опять водку пить сели.

А мы когда из Талхака уходили, нам дядюшка Ёдгор потихоньку сказал: «Назад с ними не идите. Спрячьтесь где-нибудь. Тыкву тоже обязательно предупредите. Они уйдут, в летовке переночуйте, с Каримом домой вернётесь». Мы убежали, спрятались. Они искать не стали. Водку выпили, на лошадь ковёр с телом навьючили, голову тоже забрали и ушли. Тыкву с собой на верёвке повели».

Так из рассказа мальчиков мы узнали о том, что произошло, и ещё сильнее горевали о смерти Карима. На пастбище ночь провели, утром спустились к месту, где его тело оставили, носилки соорудили, шахида на них уложили, в одеяло, какое было, завернули, сожалея, что достойного савана не нашлось, и на плечах вниз понесли. На осле не хотели его везти...

— А Зухуршо? — строго спросил педантичный Лутак. — Про его тело почему не рассказываешь?

— Когда лавина падала, лошадь, на которой труп везли, испугалась, наверное, в сторону скакнула, с берега сорвалась, в Оби-Талх свалилась. Река, наверное, унесла.

— Голову как нашли? — спросил Лутак.

— Шер нашёл, — ответил Ёдгор.

Ответ объяснял, отчего Шер носил с собой мешок с головой как личный трофей. Правда, в то время, когда около мечети решалась участь Гороха, я, разумеется, этого объяснения ещё не слышал и не понимал, что приватизированная голова — одно из средств, какими Шер присваивал славу Карима, победителя Зухуршо. Народ на площади не ведал, что произошло в горах. Люди, подобно мне, были убеждены: владелец Зухуровой головы и есть герой, избавивший Талхак от тирана.

Злую шутку сыграло с нами тщеславие Ёдгора. Готовясь к эффектному рассказу, он до самого вечера не поддавался на расспросы, не промолвил ни слова о событиях в ущелье и на большом пастбище. Желал поразить слушателей неожиданностью. Не хочу думать, что мой друг поддался малодушию, побоялся Шера. Должно быть, попросту не предвидел последствий своей скрытности. Как бы то ни было, Ёдгор промолчал, даже когда Шер возгласил:

— Шахид будет судить Гороха.

А когда возразили: «Мёртвые немые», — ответил:

— Я за него скажу.

Гомон разом стих, люди приготовились слушать. Не заметили подмены или признали право Шера выдавать свою волю за волю шахида.

Шер сказал:

— Не будь мёртвые немые, шахид спросил бы: «Эй, люди Талхака, скажите, за какую вину следует казнить Гороха? Что это за причина, по какой он заслужил смерть?»

Мужики, удивившись простоте вопроса, принялись перебирать поводы и мотивы, сами собой разумеющиеся:

— Поля разорял...

— Самовольно в старосты пролез...

— Зухуршо помогал...

Одним словом, мысли покатались по старой колее. Шер опроверг все предположения:

— Неверно.

Общество притихло, призадумалось. Наконец простодушный Зирак спросил:

— За что же должно его казнить?

— Вам, не мне, задан был вопрос, — ответил Шер. — Вы и найдите причину, мне сообщите.

Однако очевидные варианты были исчерпаны. Зазвучали раздражённые голоса: «Все сказали, нет больше ничего», «Казнить и все, а эту самую причину потом, на досуге, отыщем», «Пусть теперь дед Додихудо что-нибудь измыслит», но тот утрюмо молчал.

И тогда взял слово наш раис, которого борьба между Шером и престарелым Додихудо отодвинула в тень. Теперь он решил, что настал момент показать, кто есть настоящий руководитель, и произнёс важно:

— Я думаю, надо казнить по той причине, что это правильно будет.

Собрание разочаровано зароптало.

— Очень уж хитроумно.

— Слишком просто.

— Небось, какой-то другой ответ имеется...

Тем временем несколько стариков и уважаемых людей окружили престарелого Додихудо, спешно совещались. Шер же подозвал одного из подростков, шнырявших в толпе, и что-то негромко сказал. Через несколько минут орава мальчишек таскала отовсюду небольшие камни и складывала в кучку около угла мечети.

— Гороха надо спросить! — догадался вдруг Кафтар. — Горох знает. Столько с ним вышло мороки, пусть за это помощь народу окажет.

Все повернулись к Гороху, который томился посреди площади, на время забытый. Милиса по-прежнему стоял рядом с корявой палкой. Охранял.

— Нет, не скажет. Зловредный он, — засомневался кто-то. — Назло нам утаит.

— Скажу! Обязательно скажу! — завопил Горох. — Знаю ответ.

Он даже запрыгал от нетерпения, припадая на ушибленную ногу.

— Говори, — приказал Кафтар. — Только не обманывай...

— Причина эта — кровь, — сказал Горох. — Шеру кровь нужна, чтоб всех вас кровью повязать.

— Э, глупости, — разочарованно возразил Кафтар. — Кровь не верёвка.

— Зато крепче верёвки вяжет, — сказал Шокир. — Вы ведь меня убивать не хотите, каждый про себя думает: «Бог запрещает мусульман жизни лишать». Но если человека заставить через этот запрет переступить, то его к чему угодно принудить несложно...

Никогда прежде не говорил он столь серьёзно, без намёка на шутовство и, наверное, убедил бы народ, но не устоял — заступил за черту, пересекающую которую в его положении было неразумно.

— Эх, люди, люди, — проговорил со вздохом, — вечно вас вокрут пальца обводят, палками, как овец погоняют.

Эти справедливые, но обидные слова отвратили от него сердца. Верно говорится: язык способен погубить голову. «Зачем овцами назвал?!» — даже те, кто сознавали, в какую пропасть толкает нас Шер, возжелали обидчику смерти, ибо оскорбление есть худшее из преступлений. В сторону Гороха полетели тяжёлые негодующие взгляды. Хвала Господу, до большего дело не дошло, взоры всё-таки — не булыжники.

Надо же было случиться, что именно в это время старики и уважаемые люди закончили совещаться. Престарелый Додихудо раздвинул народ, прошёл к углу мечети, чтобы оказаться на виду, и поднял руку, требуя внимания. Ещё раз он помимо воли оказал Гороху роковую услугу.

— О-ха! — воскликнул Шер. — Почтенный Додихудо первым бросить камень желает!

Старик гневно нахмурился, топнул ногой, но Шера перекрыть не сумел, тот продолжал насмешливо:

— Оказывается, нет! Почтенный Додихудо боится, что силы не хватит. Опасается, что камешек поднять не сможет. Надо кого-то помоложе, посильнее. Ако Сельсовет, может, вы начнёте?

Сельсовет молча потупился.

— Дядя Занджир, — позвал Шер.

— Дядя Каландар...

Не добившись толку от старших, обратился к младшим:

— А ты, Дахмарда?

Глуповатый удалец, который недавно забавы ради целился в Гороха, как в мишень, пробормотал:

— Лицо надо бы закрыть...

— Платок накинуть или что-нибудь... — подхватили мужики.

— У меня, вроде, подходящее имеется,— сказал Джав, пастух. Все повернулись к Джаву, а он извлёк мешок, аккуратно сложенный и заткнутый сзади за поясной платок.

— Приготовил у соседа пшена взаймы попросить.

— Ты и накинь,— приказал Шер.

Джав пошёл к Гороху. На ходу он разворачивал мешок,— судя по иностранной надписи, один из тех, в которых Зухуршо привёз в Талхак муку. Шокир невысок, но и Джав не велик ростом. Потоптался возле Гороха, примеряясь так и сяк, решил, что обратиться стоящего во весь рост несподручно, и попросил:

— Опустись на колени, друг.

Шокир, изжелта бледный, замотал головой. Говорить, вероятно, был не в силах. Джав зашёл сзади, духа не хватило готовить к смерти человека, глядя ему в лицо. По-крестьянски ладными, скупыми движениями расправил пошире горловину, чтоб плечи уместились, накинул, потащил за края и мало-помалу натянул мешок на Шокира.

Дурачок строго следил за его действиями. Когда Джав отошёл, не поглядев на результат, Милисá одёрнул мешок, старательно выровнял перекошенные края и вернулся на свой пост в двух шагах от Гороха.

Страшной казалась фигура, застывшая посреди площади под покровом из мешковины. Ещё страшнее было ожидание того, что вскоре произойдёт. Хотелось бежать с места казни со всех ног, но я пересилил страх. Недостойно оставлять Шокира умирать в одиночестве. Пусть в момент смерти рядом окажется хоть одна сочувствующая душа. Ум негодовал на Гороха, сердце сострадало.

Должно быть, мужиков тоже устрасил вид смертника. В гробовой тишине переминались, оглядывались на Шера, словно ожидали приказа. Шер молчал.

Внезапно из-под мешка послышался хриплый голос:

— Чего ждёте? Бейте!

Словно какой-то порыв ветра пролетел над толпой, как над сухой травой. Мужики на миг дрогнули, качнулись и вновь застыли. И тогда Махмадали, отец покойного Карима, тяжёлым шагом прошествовал к углу мечети, порылся в куче, выбрал, широко размахнулся и швырнул со столь скорбным и ожесточённым лицом, словно бросал не камень, а упрёк односельчанам. Камень ударил в мешок с глухим стуком. Шокир взвизгнул. Вскрикнули в отда-

лении женщины. Дурачок Милисá зарыдал и бросился прочь, издавая пронзительные свистки.

Вновь наступило тяжёлое молчание. Наконец отважился простодушный Зирак. Подскочил к куче, схватил камень, отчаянно вскрикнул:

— Иэх! — неловко замахнулся и бросил.

Опять не добросил. Даже молодые не засмеялись. В толпе поднялся ропот:

— Э, проклятый Горох! Людей измучил.

— Даже умирать исхитрился по-особому.

Я чувствовал, как копилось, нарастало, усиливалось мучительное напряжение. Достаточно вскрика, громкого звука, резкого движения, и мои односельчане не выдержат — бросятся всем скопом казнить несчастного.

В это время откуда-то из глубины толпы возник Маддох — парень нервный, слабый, болезненный — и подобно сомнамбуле двинулся к кучке камней. Мужики следили за ним с угрюмой сосредоточенностью, а он почти доплёлся до угла мечети, когда я крикнул что было сил:

— Маддох!

Он замер, будто того и ждал, чтоб его остановили. Мужики повернулись и с тем же хмурым вниманием уставились на меня.

— Нельзя Гороха жизни лишать! — выкрикнул я и умолк.

Я не знал, как удержать односельчан от ужасного деяния, в котором они будут горько раскаиваться. Что сказать? Чем их убедить? А Шер? С отчаянием я сознавал, что его гордое сердце глухо к доводам разума.

Народ мрачно ждал продолжения, а не дождавшись, недобро заворчал.

— Почему это нельзя? — зло спросил Кафтар. — Тоже потребуешь, чтоб мы сами причину искали?

И в этот миг внезапно пришли слова. Я заговорил громко, уверенно, словно по чьей-то подсказке. Не к мужикам обратился — к Шеру:

— Эй, Шер, вот ты выращивать кукнор собрался. Подумал ли, как продавать? Знаешь ли нужных людей? Известны ли тебе цены? Умеешь ли торговаться? Мы, горцы, не торговые люди. Торговли у нас испокон веков не бывало, нам, деревенским простакам, в коммерческие дела соваться — что под зубья пилы попасть...

— Ако Джоруб, не время сейчас... — прервал меня Шер.

— Время,— сказал я.— Потом поздно будет. Собираемся убить единственного среди нас волка, который под дождём побывал. В тюрьме сидел, среди разного народа потёрся. Знакомцев наверняка завёл, которые тёмными делами занимаются...

Словно Иблис мне нашёптывал. Я образованный человек, в сатану не верю, но трудно представить, чтобы кто иной мог внушить эти сатанинские аргументы. Я видел, что Шеру они приходится по душе. Скрестив руки на груди, он не сводил с меня взгляда — к доводам корысти его гордое сердце прислушивалось с большой охотой.

— Ум имеет хитрый, изворотливый,— продолжал я расхваливать Гороха.— Случайно ли Зухуршо его старостой поставил? Такой советчик и тебе, Шер, пригодится...

— Уверены, ако, что у него знакомцы нужные есть? — проговорил Шер с сомнением.

— Спроси. Пусть он и скажет.

В один миг я очутился около Шокира, сдёрнул мешок. Тюбетейка слетела, редкая щетина на черепе Гороха была припорошена мучной пылью, отчего могло показаться, что он посидел за минувшие несколько минут. Я спросил:

— Слышал разговор? Теперь адвокатствуй за себя сам.

Горох поковылял к Шеру. Они долго и негромко беседовали, Шер внимательно слушал Шокира, покачивая ногой свёрток с головой бывшего властителя, как футбольный мяч.

К ним подобрался простодушный Зирак:

— С головой, Шер, что делать будешь?

— Собакам выброшу,— Шер подмигнул молодым, и ухари разразились весёлым молодецким улюлюканьем.

Старики заворчали:

— Не по-мусульмански.

— Не по закону.

Простодушный Зирак произнёс наставительно:

— Не знаю, правду ли ты, Шер, говорил, что Зухуршо не боишься, но теперь мёртвого его побойся. Покойник, ещё вреднее, чем живой. Тело надо в Ворух отвезти, и голову тоже. Пусть родные о нем позаботятся.

— Ты, дед, и вези,— сказал Шер.— Если Зухуровы родичи награду не дадут, то боевики обязательно наградят. Пулей или ещё чем...

— На нашем кладбище похороним, — важно произнёс престарелый Абдугафор. — За погребение плохого человека, благодать такая же даётся, как и за хорошего.

Народ растерянно загудел. Не бывало ни в старину, ни в наши дни, чтоб хоронили голову без тела, и все опасались, что наградой за самодеятельность окажется не благодать, а какая-нибудь неизвестная беда.

Простодушный Зирак тем временем не унимался. Протолкался к Табару, товарищу Шера, герою, победителю боевиков Зухура, и спросил:

— Сынок, стало быть, прощаем Гороха? Как же так? Шахид сказал...

Табар поправил ремень автомата:

— Шахид велел: «Причину найдите». Нашли?

Зирак смутился и промямлил:

— Пока не придумали.

— Коли причины нет, то и убивать нет нужды, — сказал Табар.

Мужики, что слушали разговор, переглянулись. Джав, пастух, заключил:

— Мешок, выходит, больше не нужен, — и пошёл забирать своё добро.

Скомканный куль валялся посреди площади, напоминая огромный змеиный выползень. Я подумал: «Каким явится нам Горох, сменив кожу, выскользнув из смертельной оболочки?»

Да, я уберёг односельчан от коллективного убийства, однако кто знает, сколько несчастий принесёт в будущем моё вмешательство. В этом мире, создавая что-либо одно, всегда разрушаешь нечто другое. Чтобы испечь хлеб, надо извести дерево на дрова. Чтобы получить муку для хлеба, надо раздробить зерно. Чтобы получить зерно, надо срезать колос...

Понимание жестокой диалектики мало меня утешало. Что ни говори, я принял участие в разрушении нашей прежней жизни. Хоть малым, но помог Шеру в чёрном деле. Спас Гороха и, хуже того, — возможно, вернул ему власть. Я мог бы, конечно, сказать в свою защиту, что распад давно начался без меня, исподволь, незаметно, когда развалилась большая община, Советский Союз. Мог бы сказать, что в те годы и поползли бесшумно первые трещины по нашей сельской общине, хотя мы не замечали, не слышали, как надламываются основы. Но это жалкое оправдание... Как теперь жить?

Что всех нас ждёт? Я молил Бога, в которого не верю, чтобы он оставил жизнь Зарине. Молил, чтобы спас Андрея — наш бедный мальчик словно в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Может, ранен? Жив ли? Что станется с Верой, если она лишится дочери и сына?..

А я? Андрей и Зарина заменили мне родных детей, которых у меня никогда не будет. Давно знаю, что не Дильбар тому виной. Должно быть, какой-то сбой в генетическом аппарате сделал меня бесплодным. Несчастье — смерть брата — наделило нас с женой сыном и дочерью, которых я не сумел сберечь... Как смогу жить, если их потеряю?

Мой зять Сангин словно подслушал мои горестные мысли. Обнял за плечи:

— Да, брат, печальный нынче день. Шахида похороним, а ещё и Додали хоронить придётся... Э-э-э, шурин, да ты и этого не знаешь?! Сегодня утром Додали умер. Тот, что на той стороне жил. Одна беда за другой...

Не ответив Сангину, я пошёл прочь. Дома свои беды ждут-дожидаются.

Солнце уже пересекло зенит. На ярко освещённой земле лежали резкие чёрные тени, отчего казалось, что не солнце, а луна заливат округу холодным мертвенным светом. С сокрушённым сердцем я брёл вверх по крутой улице и слышал, как высоко над селением, где-то на горе, пронзительно свистит дурачок, а с той стороны реки доносится сквозь шум воды погребальный вдовий плач:

Дом мой, дом мой, разрушенный дом...

35

Даврон

Камешки на краю рамы осыпаются. Пальцы соскальзывают...

Падаю в темноту. Глубину погреба успел оценить, пока горел фонарь. Координируюсь. Приземляюсь. Ноги автоматически пружинят. Гасят удар. Резко отскакиваю к юго-западной стенке. Рефлекторно ухожу от выстрела. Мгновенно осознаю: если бы он хо-

тел убить — не стал бы толкать в яму. Выстрелил бы в спину. Или ударил ножом исподтишка...

Странное ощущение: будто между лопатками застрял камень. Там, где в спину впечаталась ладонь Гадо. Тактильный след предательства.

Вслушиваюсь. Шаги. Направляются к двери. Скрип дверных петель. Гадо уходит. Дверь хлопает. Ушёл! Вспышка ярости. Подавляю усилием воли. Короткий вдох. Медленный выдох. Вдох. Выдох...

Определяю время. Цифры и стрелки успокоительно светятся в темноте. Пятнадцать тридцать семь. Пытаюсь оценить ситуацию. Спокойно, без эмоций. Шагаю от стены до стены. От юго-западной стенки до северо-восточной. Разворот. От северо-восточной до юго-западной. Разворот. В полной темноте. От юго-западной до северо-восточной...

Понятно... Цель Гадо — задержать меня в Ворухе. Вынудить сотрудничать. Способ давления — угроза расправы. Предположим, завтра урки вернутся в Ворух с телом Зухура и обнаружат меня в погребе. Учитывая мои отношения с Гургом, вряд ли следует ожидать чего-либо полезного для здоровья. Именно на этом Гадо строит расчёт. Убеждён, что соглашусь на любые условия, лишь бы выскочить из ловушки.

Логично! Однако ошибочно. Я-то знаю, что у него кишка тонка отдать меня Гургу. Не выдержит и выпустит. Но я выйду самостоятельно. Во-первых, чтоб не принимать от него милостей. Во-вторых, чтоб не терять ни часа. Необходимо как можно скорее попасть в Калай-Хумб. Хочу или нет, выполнить обещание Ястребову придётся. Слово есть слово.

Сколько в запасе времени? На ночь урки останутся в Талхаке. Больше негде. В темноте с места не тронутся. Выедут часов в десять утра. Следовательно, в Ворух прибудут в середине дня. Ориентировочно между часом и тремя. Нормально.

Вопрос в том, как выбраться.

Погреб у Зухура был объектом особой важности. Пока копали, он каждый день бегал смотреть, глубока ли яма... Видел я как-то персональную тюрьму у одного колхозного раиса. У того была без затей: бетонированная яма в углу двора. Зухура кичливость заставила ещё и сарай над ямой отгрохать. И вышел курятник с подвалом. А сколько похвальбы было: «У меня зиндон, как у эмира в Бухаре...» В действительности — погреб размером три на три.

Высота три с половиной. Стены земляные. Нетрудно складным ножом выбить ямки и подняться к потолку. Однако перекрытие — бетонное. Зухур самолично следил за его укладкой.

В итоге сию в яме, будто лягушка в крынке с крышкой. Причём, в пустой. Прыгать бесполезно, масла не собьёшь... Пойдём другим путём.

— Эй, корреспондент! Ты почему здесь?

Он кашляет. Сквозь кашель:

— Тебя поджидаю.

— Почему не уехал?

— Не выпустили.

— Мне почему не пожаловался?

Кашляет:

— Даврон, ты... сказал: выбирайся... как умеешь.

Ничего другого я сказать не мог. Не хотел вмешиваться, чтоб не навредить. А если бы всё-таки вмешался? Было бы хуже, чем сейчас? Не факт.

Расспрашиваю:

— Кто сторожит? Кто приносит жрачку?

— Вообще-то Гафур, телохранитель... Но сегодня его сменил паренёк... обычно он вместо ассенизатора... довольно забавный... Теша...

Отлично! Теша — это шанс. Удача. Парнишка недалёкий, но исполнительный. Принести лестницу или сбросить верёвку вряд ли осмелится. Но до казармы добежит и сообщение бойцам передаст. На это особой решимости и особых мозгов не требуется. Только бы завтра пришёл! Только бы не прислали кого другого... Дальше... Как быть с Гадо? Да никак. Пару раз в рыло — и достаточно. Большого не заслуживает.

Олег подаёт голос:

— Даврон, утро вечера мудренее... тут это... ну, одним словом... как-нибудь уместимся вдвоём на матрасе... на земле нельзя... простудишься насмерть...

— Спи,— отвечаю.— Береги силы.

Как-нибудь перекантуюсь. Посплю сидя. Снимаю с пояса кобуру, вынимаю пистолет. У северо-восточной стены кладу на землю кобуру и сажусь на неё. Удобно — будто в цирке слону стоять на тумбе. На одной ноге. Но на голой земле сидеть опасно. Гланды можно отморозить.

Уснуть не успеваю.

Наверху хлопает дверь курятника. На часах — шестнадцать ноль три. Под потолком в западном углу погребка возникает световое пятно. Пятно ширится, ползёт вниз. В просвете решётки, закрывающей дыру, появляется фонарь и опускается на край лаза. Вошедший нагибается, чтобы отомкнуть решётку. Фонарь освещает его лицо. Гадо. Вернулся! Решётка откидывается. Гадо берет фонарь, переходит на юго-западную сторону лаза, чтобы свет падал на меня. Ставит фонарь на землю. Присаживается на корточки. Вдыхает. И сходу принимается упрекать:

— Эх, Даврон, Даврон, ты меня в какое положение поставил! Я всегда знал, как надо поступить, а теперь в первый раз не знаю...

— Чего тут думать?! Тащи лестницу.

Вдыхает:

— Конечно, принесу. Но ты одну мою просьбу, пожалуйста, выполни.

— Ну, проси.

— Даврон, как брата умоляю: то, что собрался сделать, пожалуйста, не делай.

— Ты о чем?

— Сам знаешь.

— Кончай темнить! Не детский сад, чтоб в загадки играть.

Гадо перемещает фонарь на край лаза. Будто сдвигает рычаг какого-то переключателя. Меняет тон. Произносит холодно и жёстко. По сути, приказывает:

— Алёша не убивай.

Нормально! Я-то его за рохлю держал, а он — маршал Жуков, не меньше. Прикидываюсь валенком:

— Кто тебе про убийство сказал?! Где ты раскопал такую информацию?

Он, так же холодно:

— Это тебе нужна информация, а мне логики достаточно. Я вычислил.

Поддеваю его:

— Или выдумал...

Откликается на подначку. Следовательно, способен невольно сказать больше, чем намеревался:

— Зачем выдумывать? Думать надо...

Держусь прежней линии:

— И как, получается?

Ошибка. Вышло слишком грубо, и он не реагирует. Продолжает, будто колкость к нему не относится:

— Когда Ястребов в первый раз в Ворух приехал, я удивился: «Зачем ему Зухуршо понадобился?» Я таких людей знаю. Для него наше ущелье — вроде огорода на даче пенсионера. Мелочь. Нет, ему не Зухуршо, а ты был нужен. Тобой интересовался, про тебя спрашивал, скоро ли из Верхнего селения вернёшься. Чего хотел? Может, чтобы ты плов ему сварил? Или часы починил? Или...

Подхватываю тему:

— Надеялся, что я его в банду запишу?

Гадо практически не реагирует:

— Погоди немного... Когда я в Калай-Хумб ездил, кое-что узнал. Тамошние ребята рассказали. Оказывается, у Алёша с Ястребовым давно конфликт идёт. Я на заметку взял. Следующая примета — Ястребов на вертолёте прилетел, согласился даже обгоровшую девчонку к родителям отвезти. Зачем? Почему? Зачем-то ты ему очень сильно понадобился.

— В бескорыстную мужскую дружбу не веришь? — иронизирую.

Он смеётся:

— И в женскую тоже. Зато знаю, что именно он тебе поручил.

Сооружаю на лице усмешку:

— На убийство Алёша намекаешь? Бред. Абсурд. Ты часом втихую дурью не балуешься?

Он вздыхает укоризненно:

— Эх, Даврон, Даврон, напрасно неучтивость допускаешь. Ты лично мои расчёты подтвердил. На все сто процентов.

Теперь он меня зацепил. Невольно спрашиваю:

— Это как?

— Полчаса назад ты сказал: «Завтра уеду». Я просил задержать — ты отказался. Зачем спешить? Несколько дней что решают?

— Слабоватый довод, — говорю. — Очень даже слабый.

— Э, — отвечает, — ты не знаешь. У меня всюду люди есть, доносят. В гараже тоже есть. Знаю, для тебя машину в длинную дорогу готовят. Ты от меня утаил, куда собрался. Сказал, насовсем уезжаешь. Зачем в Калай-Хумб направляешься? Дорога с Дарваза в центр совсем в другой стороне. Вот так-то. Я вычислил, а ты подтвердил. Твоя реакция...

— Вздор! Не мог ты ничего заметить.

Смеётся:

— Конечно. Лицо, как камень. Глаза, как лёд. Вот только...

Замолкает. Наслаждается. Ждёт расспросов. Наконец прикидывается, что снизошёл до объяснения:

— Я специально разговор про Алёша завёл. Про то, как он мне нужен... Хотел окончательно убедиться. Подумал, может, ты себя выдашь. Не надеялся, а на всякий случай. У тебя привычка есть: если сердисься, кобуру гладишь. Я когда про Алёша сказал, ты к поясу потянулся... Спыхватился, кобуры не коснулся, руку отвёл... Кроме меня, никто бы не увидел. Незаметное движение тебя разоблачило.

— Бред! — говорю. — Из-за глупых догадок столкнул меня в погреб. На кого мне было сердиться?

При таком освещении лица не различить, но, судя по голосу, лопается от самодовольства:

— На себя самого. Если бы Алёша убил, до конца жизни казнил бы. Совестью бы мучился... Знаешь, Даврон, ты мне ещё спасибо скажешь. Я тебе большую услугу оказываю. Ты и слова не нарушишь, и совесть не замараешь.

Хитрый ход. Теоретически — в самую точку. Но в реальности благодарить не за что. Погреб — не убежище. Даже если допустить, что я способен в такой ситуации залечь на дно, урки рано или поздно меня найдут. Однако я не донный житель. В ямах не живу. Завтра поднимусь на поверхность. Выходит, убежать от совести не удастся.

Тем не менее, возобновляю игру:

— И как долго собираешься оказывать услугу?

Гадо уходит в защиту:

— Пойми: ты меня вынудил. Что мне делать? Выпущу — Алёша убьёшь. Ликвидировать тебя? Нет, убивать не хочу. Я добрый человек, крови не люблю.

Врёт. Точно знаю, что врёт. Но сейчас не время анализировать, отчего, зачем и почему он не поручил одному из урок меня пристрелить.

— Понятно, — говорю, — решил про запас придержать. Законсервировать. Но учти, у меня срок хранения короткий. Закончится тотчас же, как Гург вернётся.

Гадо, важно:

— Гурга не бойся — мой человек. Что скажу, то и будет делать.
— Ой ли? Прикинь: когда урки узнают, что Зухуру каюк, а меня нет, то банда моментально сожрёт тебя с потрохами. И Гург, между прочим, бросится первым...

Молчит. Как бы даёт понять: на глупости не отвечаю.

— Ладно,— продолжаю.— А как тебе другой вариант? Завтра утром, ещё до возвращения духов, мои ребята примутся искать командира, найдут и разберут тебя на запчасти. Не боишься?

— Не боюсь. Пущу слух, что ты в Калай-Хумб уехал. Тайно. По секретному делу, на машине из гаража Зухура.

Пора кончать бесполезную трепотню. Заклинило мужика.

— У тебя есть какой-нибудь антибиотик? — спрашиваю.— Человеку худо. Пневмония.

Он, с предельной искренностью:

— Ты что, Даврон?! Откуда в кишлаке такие роскоши?

Сто из ста — враньё. Есть у него. Привёз из города или выгреб из сельского медпункта. Но как, сидя в яме, заставить, чтоб отдал?

— Будем считать, что нет,— соглашаюсь.— В таком разе пошли человека в дом Раззака. В мехмонхоне, в моём рюкзаке — аптечка.

Он тянет назидательно:

— Э-э-э, Даврон... У нас воспитание другое. В чужой дом не входим, чужие вещи не берём.

— Издеваешься?! — еле сдерживаюсь.— Парень загнуться может.

— Вот ты и помоги. Сделай, что прошу,— сразу лекарство как-нибудь найдём, вы с Олегом из тюрьмы выйдете. Почему не хочешь товарища спасти?

Нет, пару раз в рыло — мало. Выберусь, сразу же серьёзно займусь его смазливой мордочкой.

— Молчишь?

Он выволакивает откуда-то сзади что-то громоздкое. Узел или свёрток. Протискивает в лаз. На миг в погребке становится темно. Узел летит вниз. Гадо захлопывает решётку на лазе, забирает фонарь и уходит.

В темноте разворачиваю свёрток. Одеяло и подстилка. Расстилаю. Ложусь. Слушаю, как в темноте надсадно кашляет Олег. Кашель сухой, резкий. Спрашиваю:

— Слабость чувствуешь? Грудь болит?

— Болит. При вдохе...

Сто из ста — пневмония. Холод, высота, спёртый воздух... В таких условиях он без антибиотиков долго не протянет. Завтра перед отъездом вколю ему оксациллин из моей аптечки... Не было бы поздно. Одышка у него нехорошая. Задыхается.

Встаю, нашариваю в кармане зажигалку, подхожу к нему. Высекаю огонёк. Точно! Как я и думал, дрожит от озноба, лицо покрыто потом.

— Холодно?

Стучит зубами.

Подтаскиваю к нему свою постель. Укрываю Олега одеялом. Приподнимаю верхнюю часть его туловища, сажусь в изголовье, вытягиваю ноги и кладу голову Олега себе на колени. С приподнятой головой легче дышать. И будет не так страшно задышаться в темноте. Подстилку расправляю у себя за спиной, чтоб не застудить лёгкие, прислоняюсь к ледяной стене. Это все, чем я могу помочь. Системной индукции не опасаясь. Хуже не станет. Просто некуда. Мало-помалу засыпаю. Просыпаюсь от шёпота:

— Знаешь, это даже хорошо, что темно...

Бредит? Крупозная пневмония может и бред вызвать, и галлюцинации. Все же откликаюсь:

— В самую точку. А ещё лучше, когда сыро и холодно.

Поддакивать бреду больного — нелепо. Но это я самого себя подбадриваю. Олег, наверное, даже меня не слышит, шепчет:

— При свете, наверное, не получилось бы рассказать... А сейчас... мы словно братья... в земляной утробе... или в одной могиле...

Ворчу:

— Насчёт могилы не особо спеши...

Он хриплым шёпотом продолжает своё:

— Когда я услышал твой голос... наверху... подумал, что это галлюцинация. Был уверен, что ты не придёшь. Даже если узнаешь, что я... Ты ещё в Курган-Тюбе предупредил: ты за меня не в ответе. И я подтвердил... Но все равно надеялся. В глубине души. Думал: ты хочешь дать урок. Вот и не вмешиваешься. До поры до времени. А когда решишь, что урок усвоен... Но я знал: обманываю себя. Не вмешиваешься, не придёшь... Ты не представляешь... я чуть не рехнулся, когда понял, что это не галлюцинация... а действительно ты...

Усталость берёт верх. Незаметно ухожу в сон. Просыпаюсь в одиннадцать ноль пять. Олег продолжает бредить. Речь по-прежнему идёт о моей особе. Естественно. Я оказался рядом с ним после недели полного одиночества, и ему представляется, что он знал меня с самого детства.

Шепчет:

— ...а ещё я тебя во сне видел... один сон яркий... помню, словно сейчас приснился... родители говорят: «Олежка, мы уходим, а ты смотри, останешься один, без нас в угол не становись»... Я во сне думаю: вот ещё! что я, дурак что ли, добровольно в углу стоять?.. Очень не любил, когда меня этим наказывали. А самого тянет в запретное место. Почему нельзя? Что там такое?.. Подошёл, встал... И вдруг вижу, что стены угла начинают расходиться... меня словно затягивает куда-то... грозит чем-то непоправимым, смертельным... и это вызывает у меня не просто страх, а ужас... трудно передать... какой-то запредельный, экзистенциальный ужас...

Кашель. И запинаящееся продолжение:

— Ты ведь знаешь, сны монтируются, как кинофильмы... Только что ты участвовал в некоем событии... и вдруг — ты не замечаешь момента перехода — оказываешься в другом месте, где происходит какое-то другое действие, иногда совсем не связанное с предыдущим... В том сне следующий кадр — полная темнота. Почему-то знаю, что это пещера, хотя не вижу ни стен, ни свода... Мне очень страшно, потому что чувствую: отсюда нет выхода... ни мама, ни папа не придут на помощь. И вдруг из темноты выходит большой белый пёс, вроде волкодава... и что-то говорит... меня не удивляет, что пёс разговаривает, потому что я знаю: на самом деле это не собака, а ты... то есть не совсем, конечно, ты... а тот мальчик, каким я тебя воображал... мой несостоявшийся брат... страх проходит, мне становится очень спокойно... Когда я проснулся, не мог вспомнить, что ты мне сказал... Что-то очень важное...

Олег опять задыхается от кашля, а мне приходит в голову, что его бред имеет свою логику и последовательность. Надо думать, он пытается мне что-то сообщить. Но я не психиатр, а завтра — трудный день... Привычно заставляю себя уснуть. Необходимо как следует отдохнуть перед командировкой в Калай-Хумб.

Замок звякает. Семь часов четырнадцать минут. Олег спит. На потолке погребца высвечивается квадрат лаза. За перекладина-

ми решётки возникает фигура. Откидывает решётку. Нагибается, чтобы видеть меня. Лихо козыряет в положении чуть ли не раком и без головного убора. Теша. Радостно объявляет:

— Здравия желаю, товарищ командир, я вам шара-бара принёс.

Осторожно приподнимаю голову Олега, отодвигаюсь в сторону. Укладываю его поудобнее, стараясь не разбудить. Встаю. Сдерживаю себя, чтобы не сделать мальчишке внушение за приветствие не по уставу.

— Вольно.

— Товарищ командир, разрешите шара-бара опустить.

— Отставить! Неси лестницу.

Боец испуганно:

— Зачем лестницу? Нельзя лестницу.

— Раз приказываю, значит, можно.

— Увидят, накажут.

Реакция — на сто процентов именно такая, как я предполагал.

— Ладно, шуруй в казарму, сообщи Комсомолу, где я нахожусь.

Бравая, но согнутая строевая стойка рушится. Теша упирается руками в колени, сгибает колени и лепечет:

— Гадо приказал никому не говорить. Накажет...

— Не дури. Кто посмеет наказать, когда выйду. Не тяни время.

Ноги в руки — и пошёл!

Козыряет:

— Итоат! Так точно, товарищ командир, — выпрямляется и пропадает из поля зрения.

Хлопает дверь, звякает замок.

Время: семь часов шестнадцать минут.

Секунд через пятнадцать новое звяканье и хлопок. В осветившемся лазе возникает полусогнутая фигура. Теша отдаёт честь.

— Товарищ командир, что сказать Комсомолу? Как вы в зиндоне оказались?

Ну не дурень ли?

— Ничего не объясняй. Скажи, чтоб поднял бойцов по тревоге и срочно сюда.

Козыряет:

— Итоат! Так точно, товарищ командир.

Пятится задом, хлопает дверью, звякает замком. Подсчитываю: сейчас — семь часов семнадцать минут. Пятнадцать минут

у него уйдёт на дорогу. Если Комсомол в казарме, понадобится минут семь, нет, десять, чтобы собрать народ. Далее минут десять...

Наверху — новая серия звуков: замок-дверь. Теша нагибается к проёму лаза:

— Товарищ командир, когда Комсомол ребят по тревоге поднимет, ему их с собой взять или в казарме оставить?

Три вдоха, три выдоха. Спокойно:

— Сам сообразит. Просто передай ему два слова: «Даврон в зиндоне». Запомнишь?

— Это три слова.

Сдерживаюсь.

— Да, три. Не стой. Ходу!

— Можно я повторю, чтоб не забыть? — Произносит громко и отчётливо: — Даврон в зиндоне! Даврон в зиндоне! Даврон в зиндоне...

Пятится, продолжая повторять и исчезает.

Ситуация понятна. Паренёк откровенно изгаляется. Причина? Мысленно перебираю возможности. Прямых контактов с ним — раз, два и обчёлся. Притеснять я его особо не притеснял. Раз как-то вlepил ему восемь нарядов на кухню. Но это вряд ли повод. Патологически злопамятен? Однако важна не столько причина, сколько следствие. А следствие таково: парень не намерен выполнять приказ. Сообщит ли в казарму, где я нахожусь? Вероятность — процентов восемьдесят. Либо Гадо уверил его, что я из погреба не выберусь. Либо мальчишка просто увлёкся. Есть у местных манера насмеяться втихаря. Прикидываться почтительным, сочувствующим и незаметно перемигиваться со зрителями. Обычно такие представления устраивают на людях. И тут мне в голову приходит ещё одна мысль. Пять дней назад я поручил ему отнести записку...

На этот раз Теша отсутствует секунд тридцать. Нагибается к лазу:

— Товарищ командир, разрешите обратиться. Я правильно запомнил: «Даврон в зиндоне»?

Приказываю:

— Отставить!.. — Спокойно спрашиваю: — Давно на меня зуб точишь?

Теша внезапно кричит:

— Эй, Олег! Ты знаешь, ты скажи. Про то, как я товарища командира уважаю...

Зовёт в зрители. В соучастники. Олег не откликается. И правильно делает.

— Не ори, человек болеет, — говорю пацану. — Ночь промаялся, уснул наконец, дай поспать. Лучше скажи, ты записку отнёс?

— Какую записку?

— Не тяни. Тебе же самому до смерти охота высказаться...

Топчется в нерешительности.

— Давай, — подбадриваю, — рожай...

Он выпрямляется, насколько может в согбенном положении, и издевательски отдаёт честь.

— Так точно, товарищ командир. Никак нет.

— Доставил или нет?

— Так точно. Доставил. Но не вручил.

— Съел, что ли?

Тиша присаживается на корточки.

— Потерял.

— Ты при мне карман застегнул.

— Драка была. Талхакские ребята меня встретили. Мы всегда с ними дерёмся. Я всех побил, но они записку отобрали.

— Деревенские пацаны? Напали на бойца с автоматом?

— Очень смелые. Но я всех побил.

Рявкаю:

— А теперь — правду!

Топчется. Мнётся. Вдруг плюхается на задницу. Садится на край лаза, свешивает ноги вниз. Кричит гневно:

— Чужой невесте разве дозволено записки писать? Это девушке позор, жениху позор...

Обрываю его:

— Экзамен по морали будешь своим старикам сдавать.

Не слышит, частит:

— Ты сказал, голову оторвёшь. Но я не испугался. Над тобой тоже начальник есть. Зухуршо прикажет, ты возразить не посмеешь. Поэтому я твою записку Зухуршо отдал. Он сказал: «Молодец. Хорошо поступил». Сегодня с охоты вернётся, тебя накажет...

— Не уверен, что Зухур сможет кого-нибудь наказать, — говорю. — А тебя накажу непременно. Получил приказ — обязан был выполнить.

Мальчишка взрывается. Вскакивает на ноги. Упирается левой рукой в колено, правой тычет в моем направлении. Кричит.

— Почему учишь?! Какое право имеешь учить?

— Стоп! Отвечай чётко, конкретно. Какие имеешь претензии?

— Сам знаешь!.. Я тебя уважал. Больше, чем отца, уважал...

Думал, ты... ты командир... Но ты ещё хуже, чем другие...

Нагибается, захлопывает решётку и выскакивает за дверь.

Моя ошибка, моя вина. Посылая Тешу с запиской, я расценил задание как не имеющее особой важности. Лучших бойцов приберёг для предполагаемого боестолкновения и отправил с простым поручением деревенского сопляка. Глупого, мнительного, самолюбивого. Мышонка. А мышонок гору обрушил. Людей погубил, девочку искалечил... Страшная сила — мышинное самолюбие.

Мне следовало учесть: важно все, что происходит в зоне действия Системы. В итоге неверный выбор посыльного обернулся катастрофой... Отставить! Не время для самокритики. Надо искать способ, как выбраться из подвала. Прежде всего, установить, сколько человек обслуживают зиндон. Теша отпадает. Гафур? Под вопросом. Хотя не исключено, что сумею его уболтать. Есть ли кто-нибудь ещё?

Внезапно осознаю, что с некоторого момента, — конкретнее не засек, задумавшись, — не слышал кашля Олега, а теперь не слышу дыхания. Зову:

— Эй, братишка!

Не откликается.

Нащупываю в кармане зажигалку, щёлкаю. Олег лежит в том положении, в каком я его оставил. Подхожу, прижимаю палец к сонной артерии. Результат отрицательный. Отсутствие пульса. Должно быть, он умер во сне, или я принял предсмертные хрипы за кашель.

Сверяюсь с часами. Текущее время: семь тридцать. Время смерти: не известно даже приблизительно.

Надо беречь газ в зажигалке. В темноте на ощупь выпрямляю ноги Олега, складываю руки на груди и накрываю с головой одеялом.

Он мне понравился при первой встрече, а это происходит не часто. Вынужден был создать защитную прокладку. Полностью подавить личное к нему отношение. Привычка глушить чувства настолько закрепилась, что я не позволил себе откликнуться на ночные признания, напоминавшие бред больного. Был ли это бред на самом деле? Мне следовало поддержать его в последние мгнове-

ния. Но он умер в темноте и одиночестве, хотя и у меня на коленях. Как в том сне, который он пытался пересказать.

Теоретически на мне нет ответственности за его смерть. Но я обречён, не будучи виновным, мучиться чувством вины. Мне нельзя приближаться к людям. Надо надеть глухой балахон. С бубенцами. С капюшоном, чтоб скрывал лицо. Взять в руки трещотку. Прочь с дороги! Прокажённый идёт...

Неужели я сам виноват в смертях и бедах близких мне людей?! Не проводник, не центр притяжения, не приводной ремень... Даже не курок. Я — рука, что спускает курок... Нет, это неверная гипотеза! Нет доказательств. Нет оснований. Нет подтверждений...

Но почему не защищает изоляция? Почему люди гибнут, несмотря на все мои усилия избежать близких контактов?

Когда Олегу взбрело вдруг в голову ехать с караваном на Дарваз, я оказался в патовой ситуации. Прямой отказ был бы активным влиянием на его судьбу, вызванным подавленной симпатией. Точно таким же влиянием — наведением статической индукции — явилось бы моё согласие на его поездку. Оба решения стали бы проявлением личного отношения, и шансы Олега попасть под короткое замыкание Системы — чистые сто процентов. Я его предупредил. Он упёрся, настаивал... Я бросил кости — пусть решает случай. Без моего вмешательства. Я был уверен: опасность, что он попадёт в зону действия Системы, — нулевая. Не учёл, что стремление избежать вмешательства само по себе является влиянием...

Но это был полностью выбор Олега. Никто не посылал его в горы. Он получил задание взять интервью у Сангака и вернуться в редакцию. Но он ушёл в самоволку. За утраченным временем, как он сказал. В мирных условиях такие проступки наказываются простым взысканием. В наше время те, кто нарушают порядок, погибают...

И в этот момент в голове точно полыхнул ослепительный свет. Будто вспыхнул фотоблиц. Успеваю взглянуть на часы. Фиксирую время: восемь часов сорок пять минут. Точно глаза открылись. Озарение. Странно, что прежде не понимал! Секрет предельно прост. Всего лишь одно слово: порядок! Оно все объясняет. Система стремится к порядку. К поддержанию стабильности и упорядоченности. Все пострадавшие нарушили порядок. Мои личные эмоции или контакты в действительности не важны. Короткие замыкания происходят, когда некто создаёт беспорядок.

Перебираю в уме известные мне эпизоды короткого замыкания. Стопроцентное подтверждение. Во всех случаях — нарушение нормы. Степень беспорядка не имеет значения. Васька Крыса всего лишь нарушил детский запрет «не мамсичать». Провинность кажется ничтожной. Если, конечно, не учитывать, какая в итоге возникает скрытая цепочка причин и следствий, ведущих к мощной вспышке энтропии...

В чем провинность Сангака? Человека, который восстанавливал порядок как никто другой. Тем не менее, помог Зухуршо — и вскоре коротнуло! Впрочем, не я учёл возможность других нарушений. Не знаю, сколько их было.

Провинность Зарины? Не могу судить. Не знаком с её прошлым. Виделся с ней всего четыре раза. Недостаточно информации.

Но Надя? Почему она? Почему погибла фантастически правильная девушка, которая не могла нарушить порядок ни при каких условиях?

Внезапно вспоминаю... В среду четырнадцатого марта, почти за пять месяцев — точнее, за сто сорок шесть дней до смерти она сказала: «Дан, завтра мы не сможем встретиться». — «Срочное дежурство?» — «Не совсем. Понимаешь, к нам поступил мальчик с хронической почечной недостаточностью. Врождённое заболевание...» — Надя назвала болезнь, но я не запомнил. — «Необходимо переливание крови. Очень редкая группа, у нас такой не оказалось. А надо срочно. Иначе через несколько дней ребёнок умрёт. У меня та самая группа». — «Кроме тебя никого не нашлось?» — «Дан, милый, у тебя такое лицо... ведь мне не сердце будут вырезать. Это самая обычная процедура, ни чуточки не опасная. Миллионы людей отдают кровь».

Невозможно поверить, но Надя... Мысль не укладывается в мозг. Пытаюсь пристроить в черепной коробке как негабаритный груз. Ворочаю. Кантую. Прилаживаю то так, то сяк... Итог один. В любом варианте выходит, что Надя совершила тяжёлое преступление. Генетическую диверсию. Отдав кровь и сохранив жизнь ребёнку с генетическим изъяном, она подарила ему шанс тиражировать дефект. Дала шанс созреть и дать ущербное потомство. То есть ослабить стабильность человеческой природы. Неважно, сколь малым окажется ущерб в масштабе человечества. Преступника судят независимо от того, убил ли он одного человека или сотню. Вероятно, Система действует по сходной логике.

Я не остановил. И не имею права её судить.

Сам планирую совершить бесчестное дело. Во имя чести. Чтобы сдержать слово. Парадокс? Да. Знаю, что бесчестно. Знаю о последствиях, но планирую. Не могу решить, что является большим нарушением порядка — убийство из-за угла или неисполнение обещания? Неважно. Это чистая теория. На практике — слово сдержу при любых обстоятельствах. Ради чужой, непонятной мне цели. Без информации о том, зачем и почему вынужден убить...

Стоп!

Вдруг понял, что задумал Ястребов...

Когда я обещал ему ликвидировать горбуна, готов был сунуть голову в какую угодно петлю, лишь бы вывезти Зарину. Логично. Суженное сознание. Как в туннеле. А следовало задуматься: почему именно я? Чем настолько хорош, что он дважды приезжал в ущелье? В горах сейчас сотни умельцев. Но он наверняка привёз собственного терминатора. Проверенного. А я понадобился для простой цели. Чтобы было на кого свалить смерть Алёша. Чтоб подставить: вот он убийца. С этой целью меня и обхаживал. Идеальная кандидатура. Бывший советский офицер. Человек Сангака. Лучше не найдёшь... Думаю, идея Ястребову пришла, когда я лалялся с Алёшем в штабе Народного фронта. На глазах двух десятков свидетелей. Ни одна собака не видела, как наедине мы беседовали мирно, чуть ли не дружески.

Вывод: живым мне не уйти. Грохнут либо на месте, либо на обратном пути. Причём исполнит тот же убивец, что ликвидирует Алёша. Так что делать-то? Слово назад не возьмёшь. Неважно, правдой или хитростью его выманили. Вынужден ехать в Калай-Хумб. Как поступить, решу по обстановке. Буду настороже.

Ну, а если останусь в живых?

Вернусь в Санговар. Я помогал Зухуру разрушать прежний порядок, обязан установить новый. Придётся принять ответственность за территорию. Кормить, поить местное население, менять ему плёнки. Ничего иного не остаётся, поскольку установил: могу не опасаться, что наведу индукцию, а следовательно — беду. Женюсь на Зарине. Не согласится — уговорю. Другого она все равно не найдёт. А я? Про любовь речи нет. Нам с ней не до любви — нам осталось лишь выживать. Хотя кто знает... Возможно, старик-гадальщик был всё-таки прав насчёт того, что найду золото.

Шестнадцать часов тридцать две минуты.

Наверху лязгает в петлях замок. Дверь распаивается. Слышна возня — в курятник что-то втаскивают. Волоком. Два голоса.

Узнаю: оба урки. Оба — средней гнусности. Тот, что постарше, — Пивзавод. Молодой — Хол.

Молодой:

— Ногами или головой?

Пивзавод:

— Как несли, так и опустим. Зачем человека зря беспокоить?

— Голову повредим...

Пивзавод, авторитетно:

— Если ноги переломает, думаешь, спасибо тебе скажет?

Шорох. Сыплется мелкий каменный сор. В люк свешивается голова.

Голос Пивзавода:

— Толкай.

Шорох. Камешки. Голова сползает ниже, появляются плечи.

Урки подседают ко мне нового соседа.

Шорох. Плечи спускаются ниже, голова вяло болтается. Сосед определённо без сознания.

Шорох. Тело сдвигается вниз до поясницы.

Голос старшего командует:

— Отпускай.

Шорох. Сосед соскальзывает в свободное падение. Ступни, скользнув по краю лаза, в полете слегка заваливают тело. На долю секунды тело вытягивается в полете. Голова ударяет в пол. Тихий треск. Будто тонкая фанера проломилась под каблуком. Туловище оседает. Раскинувшиеся в полете ноги разворачивают его вправо. Тело сваливается набок. Одна из ног шлёпается на одеяло, которым укрыт Олег.

В лаз вновь свешивается голова. Судя по голосу, это молодой, Хол:

— Эй, Пивзавод, в яме кто-то есть.

Старший, авторитетно:

— Это корреспондент.

— Нет, ещё один.

— Значит, тот, кого ты сам сбросил.

Хол:

— Третий есть.

В светлом квадрате напротив силуэта Хола появляется второй:

— Темно, не видно... Эй, ты кто?!

Отвечаю машинально:

— Прыгай сюда, узнаешь.

Абсурд! Одичал в погребке настолько, что завожу диалог с подонками.

Пивзавод удивляется:

— Эй, Даврон! Как сюда попал?

Молодой:

— Оказывается, и таких зверей ловят...

Захлопывают решётку, запирают на замок. Уходят. Слышно, как навешивают замок на дверь курятника.

Достаю зажигалку. Вспыхивает огонёк. Труп лежит посреди камеры неаккуратной кучей. Результат вертикального падения на голову. Семь шейных позвонков точно штырь проломились в череп и разрушили мозг. Мой новый сосед умер моментально. Расслабление всех мышц бросило обмякшее тело на землю с абсолютным презрением к анатомии. Живого человека этак не уложишь. Шея отсутствует. Полностью ушла в черепную коробку. Голова лежит на плечах, как арбуз на кухонном столе.

Огонёк гаснет. В темноте переворачиваю мертвеца на спину. Вновь щёлкаю колёсиком зажигалки и вглядываюсь в лицо, распухшее от побоев. Опознаю по залитой кровью бородке, которая в свете газового пламени предстаёт чёрной. Это Гадо. Расплатился за подлый проступок. Система наказала его тем же способом, каким он нарушил порядок.

Складываю вместе раскинутые в стороны ноги. Вытягиваю руки вдоль тела. Подтаскиваю труп к телу Олега, размещаю рядом. Накрываю своим одеялом. Мне оно ни к чему. Коротать время в обществе двух покойников мне не придётся.

Гадо крупно ошибся. Размечтался: «Гург — мой человек. Сделает, что скажу». В реальности Гург справился с ним тотчас же, как вернулся. Теперь — моя очередь. Пора готовиться к торжественной встрече. Тридцать секунд — на сборы. Плюс минут десять на то, чтобы просто пожить. Пока жив.

Засаекаю время. Шестнадцать часов тридцать шесть минут.

Цепляю на пояс кобуру, достаю пэ-эм. Извлекаю обойму, выщёлкиваю два патрона. Необходимо защитить уши. Выстрел в тесном погребе лишит слуха надолго. В худшем случае — навсегда. В стрелковых тирах, когда нет специальных затычек, народ вставляет в уши отстрелянные гильзы от «макарова». Снаряженный патрон должен защитить не хуже. Вставляю увесистую затычку в правое ухо. Левое оставляю свободным, чтобы слышать, что происходит наверху. Возвращаю магазин на место, передёргиваю затвор. Я готов. Жду.

Никогда не боялся погибнуть. Всегда верил, что выберусь из любой ситуации. На этот раз шансов нет. Логично. Система сбоя не даёт и для меня исключения не сделает. Жаль, не успел ничего исправить...

Шестнадцать часов сорок восемь минут. Распахивается дверь кладовки. Судя по шагам, входят несколько человек. Сколько именно, пока определить невозможно.

Визгливый голос спрашивает:

— Оружие у него есть?

Черт возьми, это Рауф! Выполз, мерзавец, на волю. Не Гадо ли его выпустил?

Голос Пивзавода подхватывает:

— Эй, Даврон, ствол имеешь? — Пауза. — Почему молчишь?

Голос, непонятно чей, иронизирует:

— Подожди немного, сейчас он скажет.

Рауф приказывает:

— Проверь.

Понятно. Хотят взять живым. Иначе опустили бы в лаз ствол автомата и дали две-три очереди. Быстро затыкаю патроном левое ухо. Звуки глоснут. Руку с пэ-эм прячу за спиной.

Решётка откидывается. В проёме возникает силуэт. Свет, падающий в курятник через открытую дверь, подсвечивает сбоку его лицо. Это Пивзавод. Стоит на коленях, упёршись руками в раму лаза, и заглядывает в погреб. Всматривается. Что-то говорит. Вытягивает назад правую руку. Через пару секунд рука возвращается с пистолетом — кто-то подал ему пушку. Пивзавод направляет на меня ствол.

Понятно: театр! Пивзавод берет на понт. Провоцирует. Проверяет. Тем не менее с трудом сдерживаю инстинктивный порыв выстрелить. Главная цель — Рауф. Он спросил про оружие, следовательно, подойдёт к лазу и встанет на виду. Ради того, чтоб пустить гниду в расход, стоит рискнуть. Риск не особо велик — восемь шансов из десяти за то, что Пивзавод не выстрелит. Держится без опаски. Убеждён: при аресте меня обыскали и отняли оружие. Он что-то произносит, встаёт и пропадает из виду.

К северо-восточной стороне лаза подкатывается туша на коротких ножках. Рауф! Край проёма обрезает его на уровне груди. Голова в кадр не влезает. Рауф пригибается, вглядывается в глубину погреба.

Выбрасываю из-за спины руку с пистолетом. Стреляю навскидку. Громыкает.

Реакция у Рауфа точно у зверя. Отскакивает назад. Проем лаза пуст. Выковыриваю патрон из левого уха. Необходимо слышать, о чем они говорят. Понять, попал ли. В ушах звенит, но речь разбираю.

Урки вопят:

— Рауфа ранил!

— Достанем, на куски порвём...

— Волыну прятал, пидарас.

Рауф визжит:

— Э, кончайте базар! Руку мне перевяжите.

Рана, определённо, пустяковая. Эх, не судьба...

Пивзавод откликается:

— Хол в дом побежал, сейчас все, что надо, принесёт.

Один из урок подхватывает:

— Я тоже сбегаю, гранату принесу, Даврону брошу, чтоб не борзел.

Рауф верещит:

— Гранату в воронку себе засунь. Граната лёгкую смерть даёт. Я, чтобы он тяжёло умирал, хочу. Чтобы долго мучился, хочу.

Урка, жалобно:

— Как его возьмёшь?! Стреляет...

Рауф визжит:

— В кус своей матери пусть выстрелит!

Приглушённые голоса. Слова разобрать не удаётся. Потом:

— Туже затягивай...

Понятно. Останавливают кровотечение. Затем голос Рауфа:

— Эй, Даврон, пистолет вверх бросай. Если сдашься, убивать не станем, отпустим.

Молчание. Голос Пивзавода:

— Не слышит. От выстрела оглох.

Кто-то из урок:

— Тряпки подождём, ему сбросим. Он сам выскочит.

— Выпрыгнет, что ли? — голос Пивзавода.

— Лестницу поставим...

Рауф, раздражённо:

— Мозги не крути.

Пивзавод, рассудительно:

— Ничего делать не будем. Пойдём в дом, рану Рауфа перевяжем. Пока плов готовится, пару косяков забьём...

Рауф, злобно:

— А этого что, оставим?! У тебя мозги через нос вытекли?!

Пивзавод, спокойно:

— Пусть в яме сидит. Куда спешить? Без воды через два-три дня ослабеет — спичку поднять не сможет. Наверное, сознание тоже потеряет. Мы вытащим, воды дадим, покушать дадим, силы вернутся, тогда, Рауф, что хочешь с ним делай.

Рауф, злобно:

— Сейчас достать надо.

Пивзавод, спокойно:

— Рауф, сейчас никакого удовольствия не получишь. Рана болит, настроение плохое... Подожди немного, руку вылечишь, а он тем временем совсем готовым станет. Тёплым его возьмём. С кайфом разговор поведёшь...

Рауф бурчит что-то неразборчивое. Урки уходят гурьбой. Запирают курятник.

Семнадцать часов ноль пять минут.

Живым они меня не возьмут. В резерве — семь патронов. На самый крайняк имею возможность застрелиться не менее семи раз. Шутка.

Щёлкаю зажигалкой и нахожу у юго-восточной стены пустую гильзу. Вынимаю снаряженный патрон из правого уха, возвращаю в обойму, а вместо него вставляю отстрелянный. Надо быть готовым стрелять в любой момент, хотя ждать, вероятно, придётся долго.

Одно хорошо: соседи не слишком скоро дадут о себе знать. Температура в погребе — почти как в настоящем море.

36

Андрей

Очнулся, одурелый со сна, и не сразу понял, где это я. Какая-то комната. Большая. Вдоль стен на полу — два ряда матрасов. Народ — кто спит, кто проснулся, сидит на постели, трёт глаза и чешет яйца...

Лучше бы не просыпался... Казарма!

Затем и жаба пробудилась. Пока я спал, она дремала в груди тёмным комочком. Вроде, её и нет. Едва проснулся — тут как тут: распухла, налилась тяжестью, улеглась на сердце, будто валун, и забормотала: «Сестру не уберёт. Сестрёнке не помог. Зарину не

спас. Убийцу отца не нашёл. Мать и сестру в горы заташил...» Хоть ножом себя режь, чтоб её из груди выдрать...

Поселилась неделю назад, когда я узнал о свадьбе. В первые дни, бесилась ужасно. Сердце когтями рвала, клыками нутро выгрызала. Я от отчаяния и боли едва не рехнулся. Теперь она не то, чтоб подуспокоилась, а просто когти и зубы спрятала. Давит и давит. Перешла на постоянный режим. Или это я отупел?

В общем, лежу, думаю: встать, что ли? Не было ни сил, ни желания. И не заставляет никто. Даврон отбыл в карательную экспедицию, а без него — полный копец утренним зарядкам, построениям, чистке оружия и всему такому. Для всех — дом отдыха. Для меня — хуже концлагеря...

Слышу, рядом пацаны разговаривают. Ахмад говорит:

— Я сейчас воду бросать ходил, ребят Гурга видел. Веселятся, радуются... Отправились куда-то. Я у Тошмата-повара спросил: «Зачем приходили? куда пошли?» Он сердится: «Э, говнюки, жопошники! — говорит. — Меня разбудили, чай кипятить заставили. «Быстрее, быстрее, — торопили. — В горы едем. Зухуршо на охоту собрался, охранять его будем». Чая не дождалось, ушли. Зачем зря просили? За водкой приходили. Два ящика взяли, с собой потащили...»

Меня аж подбросило. Завопил:

— Давно ушли?!

— Только что.

Наконец-то! Шанс подобраться к Зухурке! В горах я его и замочу. Автомат у кого-нибудь из охраны утащу или просто камнем по голове... Кое-как натянул штаны, рубаху и — бегом за бесами. Догнал на площади. Идут рыл десять. Впереди — Гург с Куском. Я пристроился рядом.

— Гург, здорово.

Он даже ухом не повёл. Отозвался Кусок:

— Чего надо?

— Возьми меня с вами.

— На хер ты нужен?

— Ну, поднести что-нибудь, подать... Подбитых уток, как собака, из воды таскать...

— А тебе оно?

— Охоту люблю.

— Вот и иди в манду... на мандавошек охотиться.

— Пожалуйста. Очень тебя прошу.

Гург буркнул:

— Кусок, объясни ему.

Тот взял меня за шиворот, развернул и пихнул назад.

— Вали, пока жив.

Я бы от них не отстал, пусть даже до полусмерти измудохают, лишь бы взяли, но понял — просить бесполезно. Не возьмут. Поплёлся назад в казарму. Жаба выпустила когти, оцетинила колючки и затопталась, закружилась, чтобы посильней душу расцарапать. Я закричал от нестерпимой боли. Какой-то мужик возле магазина посмотрел на меня с испугом, но без удивления. Люди здесь уже ко всякому попривыкли...

Я все эти дни держался. Убеждал себя, что найду способ наказать Зухурку, а потому нельзя засирать мозги дурью. Надо ждать. Постоянно быть наготове... И вот дождался! Нет, после такого облома терпеть больше не могу. Сил не осталось...

Повезло хоть, что торчки сидели на обычном месте — на берегу, за развалинами какого-то низкого каменного заборчика. По привычке ныкались, хотя прятаться было ни к чему — вместо Даврона за главного остался мудила, который на всё забил. Пацаны расположились кружком, человек пять-шесть. Давронские, а с ними один бес и какой-то кишлачный. В общем, доплёлся я до торчков и встал столбом. Не знаю, что сказать... Они на меня как-то странно вытаращились. Молчат. Похоже, думают: вот урод, на халяву припёрся...

Потом Сироджиддин, которого вся толпа на русский манер Серёжей зовёт, спрашивает:

— Пыхнёшь?

Сам предложил, я даже попросить не успел. С чего это он щедрый? Да какая разница! Плюхнулся на землю с ним рядом. Серёжа интересуется:

— Пробовал когда-нибудь?

Киваю. Травку курил пару раз из любопытства. Ничего интересного. Ребята говорили, без привычки кайф не поймает, но пусть другие ловят. Мне без надобности. Я не ради кайфа, а чтоб жабу травануть.

Они как раз начинали с нуля. Кишлачный замакерил в центре очажок: установил два камня, наломал между ними веток, запалил. Серёжа расстелил перед собой на траве цветастый носовой платок с кисточками и блестками по углам. Выложил портсигар из самоварного золота, пару проволочек и тонкую камышинку.

Одну из проволочек сразу же сунул концом в огонь. Раскрыл портсигар, отщипнул от сплющенного комка бурого пластилина толику размером со спичечную головку. Скатал в шарик, насадил на вторую проволочку и протянул мне:

— Держи повыше. И тростинку в рот вставь.

Вынул из огня проволочку и поднёс раскалённый докрасна конец к шарик. Пошёл едкий дым.

— Тяни, — приказал Серёжа.

Я поднёс тростинку вплотную к шарик, затянулся. Горький дым обжёг нёбо и горло. Я закашлялся.

— Добро зря не переводил! — крикнул Серёжа.

Я через силу дёрнул ещё раз, другой. Дым закончился, обоженную глотку охладила пахнувший горелым воздух. Серёжа сунул в костёр свою проволоку и забрал мою. Я следил, как он счищает с неё нагар, не испытывая ничего, кроме лёгкого головокружения. Тем временем Серёжа замастырил второй шарик, помахал в воздухе раскалённой проволочкой, и я принялся всасывать едкую горечь. Казалось, зелье вовсе не брало, но вот соображать я стал плоховато. Голова тяжёлая, мысли ползают, будто черепахи, трутся панцирями одна об другую. Серёжа что-то сказал, я целый, похоже, час соображал, пока понял, что он просил кишлячного веток в костерок подбросить. И в сон потянуло. Я ни о чем не думал, но даже безмыслие было каким-то тормозным. Кажется, Серёжа мне ещё шарики подносил, но точно не скажу.

Немного погодя бетон в голове слегка размяк. В это время откуда-то возник вертолёт. Вынырнул из-за хребта и начал снижаться над кишляком, тарахтя как сумасшедший. Мне он показался ужасно смешным. Развеселил до упаду: «Подводная лодка, блин, прилетела. На хрена? Здесь же моря нет. Где она нырять будет?» — «Не бзди, — утешил Серёжа. — Море выкопаем, воды напустим, тебя начальником порта поставим».

Внезапно наступила полная тишина. Ни единого звука. И в этой тишине я слышал шум реки внизу под откосом, шелест ветра, негромкие разговоры ребят и замедленное тарахтение вертолёта в отдалении, на кишлячной площади. Накатило удивительное спокойствие, я такого никогда в жизни не ощущал. Все косточки в теле размякли. Стало легко-легко. Как в раю, если он где-нибудь есть...

Подошёл какой-то парень. Ребята встали, поздоровались, я остался сидеть. Может быть, я тоже его знал, но было безразлично, кто он, как его зовут и зачем пришёл.

— Он знает? — спросил парень.

— Нет, — ответил Серёжа. — Мы не рассказали, ты скажи. Он приход поймал, особо не огорчится.

Человек сказал:

— Большое горе, Андрей... Твоя сестра нехорошо сделала... Керосином облилась, себя подожгла. Богу спасибо, живая осталась, Даврон её лечиться повёз...

По зеркальной поверхности спокойствия пробежала лёгкая рябь, ударилась о какой-то отдалённый берег и покатила обратно нарастающей волной...

Кто-то сунул мне в руку проволочку:

— Давай, брат, пыхни ещё разок...

Я впустил в себя несколько клубов сладкого дыма — горьким он был между затяжками, — и волна постепенно улеглась.

В соседней вселенной какие-то люди вели бессмысленную беседу:

— Чего ей не хватало? Всё было. Зачем?..

— Может, старшая жена обидела...

Я не прислушивался. Кто-то спросил:

— Ещё дёрнешь?..

Наверно, ребята в конце концов отволокли меня в казарму, потому что я очнулся на своём матрасе, ощущая мерзкую горечь, тупую головную боль и дикую тошноту. Выскочил во двор, где меня и вывернуло. Блевал долго и всерьёз. Чувствовал, что продрых целые сутки. Вчерашнее помнил отчётливо. И про Зарину тоже... Но жаба давила на сердце ничуть не сильнее, чем прежде. Что, гадина, веса не достаёт? До предела дошла? Или просто дурь ещё не выветрилась?

Поплёлся назад, в вонь и духоту казармы. На подстилку. А что делать? Полная безнадёга. Случившегося не исправить. Даже отомстить не удалось.

Догнал Теша. Глаза, как у кота, светятся. Шепчет на ухо:

— Никому не говори...

— Не скажу.

Брякнул, чтоб отвязался. Как же, хрен он отцепится! Не дождался расспросов и вновь зашептал:

— Волк за барашком погнался, в ловчую яму попался.

— Ну, поговорка. И что?

Бухтит с гордостью:

— Сам придумал. Ты понял, да?

— Отвянь.

— Э, ты опять не понял,— шипит сердито.— Волк это Даврон.

Ну, блин, снова-здорово! Задолбал разговорами о Давроне. Пословиц ещё не хватало. Завтра поэмы сочинять начнёт. Послать бы его подальше, но знаю: пока не выскажется, не отлипнет.

— Эка новость,— говорю.— Конечно, волк злоедучий. Все знают. Может, успокоишься наконец?

Я, честно, не понимаю, с какого бодуна Теша взъелся на Даврона. Из-за пустяка. Из-за пары слов. А как вышло-то... Дело прошлое, я кому-то из пацанов сдуру сболтнул, что Теша учил меня с ослицей играть. Ну, и чего особенного? Рассказал и рассказал. Тот парнишка ещё кому-то передал. И понеслось... Стали прикалываться. «Теша, а с ослом не пробовал?» — «Это ещё не известно, кто кого — Теша осла или осел Тешу». И прочее в таком роде.

Однажды кто-то удумал привести к казарме ослицу. Вызвали Тешу: «Выйди, к тебе пришли». Он выскочил: «Кто? Никого нет». — «А вот подруга. Говорит, что соскучилась». — Теша назад, в казарму. Не пускают. Он сдуру схватил палку, стал гнать ослицу. Та не уходит. Принялся колотить. И, как нарочно, нарвался на Даврона. Тот подошёл, видит: Теша толпу развлекает — беззащитное животное дрыном охаживает. Влепил взыскание — десять нарядов на кухню. Теша залупнулся: «Я не виноват, они подстроили...» Даврон ещё пять нарядов добавил. В общем, стал Теша толпе на потеху возить с реки на обиженной ослице воду в молочных флягах. Приступал задолго до подъёма — конспирировался. А что толку! Некоторые пацаны сна не жалели, чтоб поглядеть. Задрознили: «Подруга ещё не разлюбила? Скоро поженитесь?» Кликуху приклеили: Домод, Жених.

Он у меня на груди рыдал... Ну, не то, что совсем уж плакал... советовался. Вычислял, кто из кишлачных пацанов слух пустил. Кроме односельчан, мол, некому. Я не признался, что с меня началось. Зачем парня огорчать!

Дня четыре назад прибежал: «Даврон твоей сестре записку написал!» Ждал, я начну с ним вместе возмущаться. И обломался. «Ну и что? — спрашиваю небрежно.— Грамоте обучен, вот и пишет». Не лезь, типа, не в свои дела. Кончай сплетни переносить. Я не терпел разговоров о Зарине...

Теша на ходу перестроился и завязал косить под хранителя деревенской морали. На самом-то деле, он примчался пожаловаться, что Даврон его оскорбил. Можно сказать, в душу плюнул. Теша несколько раз пересказывал, как было:

«Приказал: «Записку отнеси». Я его больше, чем отца, уважал. Он мне как старший брат был. Я какой угодно приказ выполнить был готов. Записку взял, «Итоат! Слушаюсь», — ответил. Идти хотел, он остановил. Сказал: «Ты, я слышал, жениться собрался. Задание выполнишь, я из Верхнего селения вернусь, неделю отпуска дам. С невестой повидеаешься». Э, биять, падарналат! Зачем он так сказал?!»

И всего-то?!

Говорю ему: «Слушай, а ты не думал, что понапрасну обижаешься? Может, он не знает, почему тебе кликуху присвоили».

Упрямый, как ишак: «Если б не знал, не сказал бы!» И опять завёл бодягу: «Раньше я его больше, чем отца, уважал...» В общем, возненавидел Даврона по-чёрному. На ребят он просто злился. Сопляки! Им положено. А вот что любимый командир подколол, будто самый последний малолеток — оскорбило до печёнок. Как говорят, от любви до ненависти — один шаг. Я его тогда спросил: «Вендетту объявишь?» — «Это что такое?» — «Кровная месть. Только не стреляй из-за угла...» Сопит.

С него станется стрельнуть. А пока в устном творчестве душу отводит. Или фантазирует.

— Про волка понятно, — говорю. — А барашек кто? Ты, что ли? Мельчишь. Запросто на барана потянешь.

Унылая шутка, злобная, под стать настроению. Теша на неё не купился.

— В пословице правильно сказано — Даврон в яму попал.

— Что за яма? — интересуюсь.

Кричит шёпотом:

— Зиндон! Даврон в зиндон угодил.

Выходит, всё-таки не фантазия. Теша-то у нас спец по зиндону.

— Чему радуешься? — спрашиваю. — Будешь за волком говно выносить.

— Не буду. Пусть в своём дерьме задохнётся.

— Ой ли? Погоди, выйдет и... не на словах, по-настоящему обидит.

— Не выйдет. Гадо не выпустит.

Что ж, пускай посидит... Я ненависти к Даврону не испытывал, но мне было до лампочки — выскочит он из ямы или поселится в ней. Простить не могу, что не вступился за Зарину, отдал её Зухуру. А что ему стоило топнуть ногой?! Зухурка не пикнул бы. И не случилось бы того, что случилось...

Теша вдруг испугался:

— Ты никому не скажи. Гадо приказ дал молчать...

И понёс какую-то хренотень. Я шибко не вникал. Выходило, что семья Теша вроде как в должниках у семьи Гадо, и Теша, хочет не хочет, вынужден каким-то образом долг отрабатывать. Верность, короче говоря, хранить. Потому Гадо и назначил его золотарём в зиндон. Не проболтается.

Само собой, скажи я давронским, куда засадили командира, они бы в пять минут провели рокировку: Гадо — вниз, Даврон — наверх. Однако я помогать не собирался. Пусть выбирается как умеет. Понимал, что это неправильно — как никак, Даврон выручил нас на дороге. Но обида пересилила. Он не вступился, и я не стану...

Теша в конце концов иссяк. Я потащился прежним курсом. На душе сделалось ещё поганее. И ещё безнадежнее. Раз уж самого Даврона уделали, мне куда рыпаться? Весь день до вечера провёл в дурмане — завалился на свою подстилку и лежал как мёртвый... Не то, чтобы совсем мёртвый, но и не живой. А очень хотелось стать мёртвым...

Утром проснулся, в голове — матушкин голос: «Андрей, нельзя распускаться, возьми себя в руки...» И дальше в том же роде. Знаю заранее всё, что скажет, хотя здесь её нет. Тысячу раз слышал. Наверное, всех так же достают. И ни на кого не действует. Все поступают наоборот. На меня тоже не подействовало. Отмахнулся от нотации, встал, сходил к умывальнику, сполоснул морду холодной водой и думаю: озверел от того, что круглые сутки люди рядом толкутся, сил нет выносить, пойду-ка на речку. Люблю смотреть на воду: бурлит, шумит, на душе легче становится. А главное, вокруг — пустота, ни одной рожи. Даже Тешу за водой уже не гоняют...

Идти недалеко. Казарма стоит на берегу, над самой Оби-Санг. На заднем дворе — тропка вниз, к реке. Спускаюсь, вижу, на большом плоском камне у воды кто-то лежит. Развалился, как диване. Я было повернул назад. Окликнет, придётся ответить. А мне влом общаться. Вдруг смотрю: автомат! Стоит возле камня, на котором мужик дрыхнет. Я потихонечку к нему. Стараюсь не оступиться, не громыхнуть. Река ревёт, заглушает звуки, но всё же... Вблизи узнал спящего: один из блатных — Партоб, торчок. Обкурился, верно, и уснул. Я огляделся. Наверху, на краю обрыва — никого.

Я осторожно цапнул автомат. А он тяжё-ё-ё-лый. Автома-а-тище. Старенький, побитый, поцарапанный. К рожку второй магазин изолентой примотан. Ветеран. Дедушка. Калаш Калашников. Отчества не знаю. Пусть будет Андреевич. Он, родной, сам в руки попросился.

Надо найти для него уголок поспокойнее. Пусть до поры лежит, отдыхает. Выбрал я приметное место у подножия откоса. Скинул рубаху, завернул дедушку Калаша Андреевича, чтоб не ржавел, уложил бережно под бочок к большой глыбе и завалил камнями. Кто не знает, ни в жизнь не найдёт. Стою, любуюсь на схрон, радуюсь и сожалею одновременно: «Раньше бы... Сколько моментов упущено!»

Ладно, думаю, будут ещё шансы. А сейчас лучше смыться от греха подальше, пока кто-нибудь не засек. Ступил на тропу, и вдруг по кумполу шарахнуло: «А откуда это известно, что момент упущен?!» Взлетаю наверх. Во дворе пусто. На временной кухне под навесом возится повар Тошмат. Запыхавшись, ору издали:

— Вернулись?!

Умный он всё-таки мужик. Сразу понял, о ком речь. Крутит головой: нет.

— Точно?!

Кивает: да, точно.

Я с ходу — обратно. Бегом вниз, к заветному схрону. Раскидал камни, достал Калаша Андреевича и, не разворачивая, понёс наверх. На спортплощадке перед казармой на гимнастических брусьях сушились шмотки. Я, не глядя, сдёрнул первую попавшуюся под руку гимнастёрку, напялил на себя. Лучше не светить голым телом — бросается в глаза.

Проскочил через кишлак на пятой скорости. Выезд в сторону Талхака никто не охранял. В отсутствие Даврона народ отмечал праздник вселенского сачка. Я не против. Пока одни кайфуют, другие ищут место для засады. Диалектика, блин.

Место нашёл приблизительно в километре от кишлака. Издали заметил. Вскарабкался проверить. Самое то! Небольшая площадка на склоне. Невысоко, метрах в десяти над дорогой. Со стороны, откуда приедет Зухур, её не видно. Прикрыта парой скальных обломков. Меж ними — щель. Как бы бойница.

Ну чего? Развернул Калаша Андреевича, сбросил чужую гимнастёрку, надел свою рубаху — и за работу. Долго ползал по крутизне чуть левее площадки, сталкивая вниз камни безо всякого результата,

пока наконец не наткнулся на тот, что был нужен. Упёрся, поднатужился. Камень, подскакивая, покатился под уклон, а вслед за ним потёк целый каменный ручей, который с грохотом разлился поперёк дороги.

Такой завал за пять минут не разберёшь. И вид у него натуральный. Обычная для гор дорожная неприятность. Зухур почти наверняка выйдет из машины. Захочет размяться, пока охрана расчищает путь. Если останется сидеть в «волжанке» — достану через окно.

Что потом? Может, сумею уйти. А не сумею — так тому и быть.

В общем, вернулся я на боевую позицию, расстелил гимнастёрку, уселся на неё и стал ждать. Удачное местечко! Длинный участок дороги от дальнего поворота до засады просматривался полностью. Увижу их издали.

Удивительно, но я не чувствовал страха. Боялся прокола. Стрелять-то дядька как-никак научил. Но не в человека... Что, если от волнения промажу? Или кто-нибудь заслонит Зухура? Раньше я почему-то воображал, что выйду с ним один на один. Теперь осознал: рядом будут люди. Блатные, конечно, но всё-таки люди. Я не хотел их убивать. Другое дело, если первыми начнут в меня шмалять. Само собой, отвечу...

Пока я готовил засаду, боялся, что не успею. Успел. Стало казаться, что они вот-вот подъедут... Через часок-другой слегка успокоился, котелок стал варить. С чего это я решил, что они вернуться именно сегодня? Почему не завтра? Или послезавтра. Или ждать придётся вообще чуть ли не до ишачьей пасхи. А могут и подскочить в любую минуту. В общем — спокуха, и ждать, ждать, ждать...

Прошло сколько-то времени, и вдруг: бадамс! — из-за поворота кто-то вырывается. Я в полной боевой готовности: сердце стучит, руки трясутся... Второпях дёргаю затвор автомата, патрон вылетает, стучается о камень... Я и забыл, что дослал в ствол...

Маленько очухался и соображаю: не слышно шума моторов. Осторожно выглядываю поверх бруствера. По дороге рассекает какой-то бабай на осле. Ну, блин!

Бабай подъехал к завалу, беру автомат, спускаюсь к нему. Может, случаем знает что-нибудь про Зухура. Бабай, вроде, струхнул, хотя виду не подал. Поздоровались, спрашиваю:

— Откуда едете, отец?

А его, похоже, хлебом не корми, дай поговорить.

— Ворухский я, из Талхака возвращаюсь... Давно туда собирался. Нужда была. Вчера прослышал, что выезд открыт, ждать

не стал, пока закроют. Отправился. Сказать смешно, талхакцы в кишлак не впустили. «Ты, наверное, шпион», — сказали. Слава Богу, хромой Шокир вступился, он теперь большой человек...

Мне подробности ни к чему.

— Что говорят? Скоро ли Зухур с охоты вернётся?

Бабай оглядел меня, что-то сообразил, скорчил хитрую рожу:

— Встречу готовишь? Напрасно, парень, не вернётся твой Зухуршо. Слишком уж хорошо его в Талхаке приветили...

Бабай поёрзал на ослиной спине, устраиваясь поудобнее. Готовился к длинному рассказу. И пошёл молоть:

— Зухуршо мало, что наши посеы разорил, он непотребного возжелал. С сотней наукаров в Талхак прибыл...

Я уточнил:

— С десятком, не сотней.

Бабай возмутился:

— Тебе откуда знать! Разве ты в Талхаке был? Мне знающие люди сказали — сто наукаров.

— Десять. Я видел, как они из Воруха выходили.

Но ему хрен докажешь. Вывернулся:

— Остальные, наверное, из других мест подъехали. Может быть, не сто собралось, а пятьдесят... Самое малое — двадцать пять. Эй, не умеешь слушать, рассказывать не стану!

Я пожалел, что залупнулся.

— Извини, отец. Больше спорить не буду. А мне не хочешь рассказывать, ему Расскажи, — и похлопал по прикладу автомата.

Вразумил, значит. Он нехотя, с запинками продолжил:

— Как я сказал... Зухуршо приехал... множество наукаров с собой привёл...

Всё-таки постепенно разошёлся:

— Потребовал, чтоб ему трёх красивых мальчиков на потеху отдали. Люди возмутились, сказали: «Не дадим». Наукары с оружием весь кишлак обыскали, трёх мальчиков нашли, привели. Зухуршо их в горы повёз. Тогда талхакский удалец, шикор-охотник Абдукарим Тыква рассердился, сказал: «Станем ли зулм, угнетение, терпеть?» Подпоясался, в горы пошёл, Зухуршо убил, голову ему отрезал...

Опять заврался, думаю.

— Сказку тебе в Талхаке рассказали или сам сочинил?

Бабай не обиделся. Слез с ишака и с таинственным видом приоткрыл хурджин, перекинутый поперёк ослиной спины. Из мешка

шибануло мертвечиной. Бабай молча кивнул: смотри, мол. Я зажал нос и заглянул.

Ни хера себе! Чья-то голова. Лежит лицом вниз, видны только слипшиеся от крови волосы на затылке.

— А этикетка имеется? Чем докажешь, что это Зухур?

Бабай запустил руку в хурджин, ухватил голову за волосы и вытянул наружу.

— Вот!

Не знаю даже, как описать. Позднее вспомнил, на что было похоже. Нас в пятом классе возили на автобусе в Душанбе, в музей. В одном зале на высоких подставках лежали головы из серого камня. Экскурсовод объяснила, что это шедевры искусства древней цивилизации. Не понимаю: чем было любоваться. Лица слепые, выщербленные, со сколотыми носами... Страхолюдные, но, спасибо, не особо страшные. А безносая башка, которую бабай выхватил из мешка, была жуткой. Жёлтая, в пятнах, в запёкшейся крови и струпьях... В ухо зачем-то продета грязная тряпка, связанная в кольцо.

Я попятился и пробормотал:

— Ни хрена не похож. Это не он.

— Ты посмотри! Лучше посмотри! — закричал бабай, поворачивая страшную голову так и этак, будто товар на базаре хвалил. — Как же не Зухур! Знак видишь?

Я пересилил себя, вгляделся и различил в месиве над раздробленной бровью бородавку. Он! Зухур. Надо бы обрадоваться, а я чуть не блеванул от отвращения.

— А остальное где?

Бабай объясняет:

— Тело шикор-охотник Абдукарим Тыква в реку выбросил. Талхакские мужики похоронить голову хотели, но побоялись. Покойник мстить будет, что без тела зарыли. А если в Ворух отвезти, родители покойного отомстить захотят.

Не знали, что делать. А я как раз в кишлак приехал. Меня увидели, обрадовались: «Вот этот человек повезёт. На нем вины за убийство нет, его родители Зухуршо не обидят. А они пусть сами разбираются, как хоронить». Взялись меня упрашивать, уговорили. Вот и везу...

— Ну, а басмачи его? Отказались?

— Абдукарим Тыква всех насмерть перебил. Наукары, когда увидели, что Зухуршо погиб, начали в шикора-охотника из авто-

матов стрелять. А он на гору залез и принялся в них камни бросать. Одного зашиб, другого... Целый день война шла — наукары автоматным огнём били, попасть не могли, Абдукарим Тыква между скал прятался, камнями отвечал. Наконец услышал, что никто не стреляет. Вниз посмотрел, увидел — все убиты. Лишь предводитель наукаров жив остался, человек с железными зубами по имени Волк. Ранен был, но мёртвым притворился. Абдукарим Тыква того не знал, с горы спустился. Когда подошёл, Волк пистолет достал, в него выстрелил. Долго стрелял, пока патроны не кончились. Шикор-охотник Тыква очень сильным был, не сразу умер — Волка до смерти удавил, Богу помолился, только тогда от ран скончался.

— Ты не путаешь? — спрашиваю. — Может, не Тыква, а кто другой?

Расшибись, не поверю, что Карим десяток бесов одолел... Однако замочил же их кто-то. Кочан-то без охраны едет...

— Опять не веришь, — укорил бабай. — Ты дальше слушай... Жена Зухуршо очень сильно мужа любила. Про кончину покойного Зухуршо узнала, волосы распустила, ворот рубахи разодрала, лицо ногтями расцарапала. Сказала: «Зухуршо нет и я жить не хочу», керосином себя облила, подожгла. Верная служанка её спасла, огонь потушила, людей позвала. Даврону-командиру о том донесли, он из самого Калай-Хумба вертолёт вызвал, а сам сел думать, куда вдову на лечение отвезти. Одна мудрая старушка сказала: «В Талхак вези. Там такие люди живут, что человека из могилы могут поднять. Святой эшон Ваххоб имеется, Хатти-момо, целительница, есть...» Поэтому Даврон-командир вдову Зухуршо в Талхак на вертолёте доставил...

Я крикнул, себя не помня:

— Жива она?!

— Не знаю, — сказал бабай. — Дышала, когда я уезжал. А как сейчас, неизвестно...

Он поднял башку Зухура повыше.

— Ещё смотреть будешь или спрячу?

— Выкинь её на хрен.

Бабай сунул башку в хурджин, потянул за уздечку, перевёл осла через завал, взобрался на него и потрусил в Ворух, не попрощавшись. Остался недоволен общением. Решил, что я — хреновый слушатель. Зря он обиделся, я всему поверил. Как не поверить, когда у него в мешке доказательство. Хотя про Тыкву, само собой, присвистнул...

Поглядел я вслед бабаю и зашагал в противоположную сторону. А куда ещё? Зухур — в земле, Даврон — в яме, начальства надо мной нет. Свободен. Куда хочу, туда иду.

Хочу ли? Как представлю, что увижу Зарину, обожжённую, изувеченную, выть хотелось от тоски и готов был бежать назад, в ненавистную казарму. Лишь бы не видеть... А куда деваться?

Значит, шёл я шёл, пока не почувал, что желудок оклемался, потянулся, зевнул и забурчал: «Жрать давай». А чем его кормить? Перебьётся. Он не унимался: «Дай хоть что-нибудь». Брюху до лампочки — где я, что со мной. Клянчит, как ребёнок...

Я представил, как во дворе казармы пацаны с мисками дрейфуют в сторону котла. Интересно, что Тошмат состряпал? Наверное, опять плов. С тех пор, как Даврон запропал, бесы завели манеру каждый день реквизировать у кишлачных барана для плова...

Вспомнил про Даврона, и полезли в голову нехорошие мысли. Теперь у блатных вместо Гурга будет заправлять Рауф. А у Теши вода в жопе не держится. Непременно захочет похвастаться знанием, авторитет свой поднять, а заодно и Даврону нагадить... Понимает ли, что Рауф замучает командира до смерти? За то, что в кутузку посадил, за Верхнее селение и вообще за всё. Так что я сказал брюху: «Потерпи, сейчас домой придём, пловом тебя накормлю», — развернулся и ходу назад.

Честное слово, легче стало идти. Не потому, что под спуск. Прежде совесть таскалась за мной повсюду, будто тень. А я из упрямства не оборачивался. В упор её не замечал. Даврону назло. Он сам виноват. Он Зарине не помог. Почему я должен его спасать? А тень-то всё равно тяготила...

На подходе к Воруху услышал несколько выстрелов. Началось, думаю. Неужели опоздал?

Иду по кишлаку.

Вообще-то в селении днём не особолюдно. Мужики на полях, женщины хлопочут дома. Но уж пару-то человек встретишь непременно. А главное — малышня. Эти шмыгают повсюду, как стайки мальков в мелкой воде.

Сейчас на улицах пусто, как в мёртвом городе. Обстановка будто после взрыва нейтронной бомбы: заборы и дома — целёхоньки, люди — испарились. Воздух заражён страхом, как радиацией.

Значит, власть уже сменилась. Здешние знают и попрятались по домам. Ждут, что дальше будет. Быстро же расходятся ново-

сти. Принцип домино. Сосед передал соседу, этот — своему соседу, тот — своему... Кишлячный телеграф.

Издали вижу: идут двое, с оружием. Патруль, что ли? Подошли ближе, узнал: наши, талхакские ребята, Кутбеддин и Хилол. Сошлись.

— Про Зухура знаете? — спрашиваю.

— Один дед из Талхака голову привёз,— говорит Хилол и излагает подробности: — Давронские ребята собрались, думают, что делать? Даврон в Калай-Хумб уехал, а когда вернётся, никому не сказал. Может быть, вообще не вернётся. Ничего не решили. Потом Пивзавод с блатными ребятами пришёл, сказал: «Мы к вам по-хорошему пришли, как к братьям...» Все блатные при оружии, а у давронских ребят оружие в казарме, в комнатах лежит. «Мы ничего не просим,— Пивзавод говорит,— воевать не собираемся. Хотим Рауфа на свободу выпустить, больше ничего не хотим. Если мешать не будете, камеру откроем, выпустим и спокойно отвалим». Давронские ребята сказали: ладно. Пошли посмотреть, как Рауфа выпускают. Мы не стали ждать, пока они вернуться, в казарме автоматы взяли, ушли. Домой, в Талхак, возвращаемся. С нами пойдёшь?

Я чуть не ответил: «Конечно, с вами», но спохватился:

— Здесь дело есть. Матери моей передайте, что всё хорошо. Скоро домой вернусь.

В общем, они — в одну сторону, я — в другую. Для начала решил провести разведку. Узнать, проговорился Теша или нет. А там придумаю что-нибудь.

Во дворе казармы — толпа в полном сборе. Кто на лавках у столов, кто на крыльце, кто на корточках возле стены. Эти кружком стоят, а тот уединился. Все с оружием. Все говорят, никто не слушает.

Я нашёл Тешу, отвёл в сторонку.

— Кому про Даврона рассказал?

Он нахмурился:

— Я слово Гадо дал. Теша умрёт, слова не нарушит.

Не, он нормальный пацан, я лишний раз убедился.

— Извини, брат,— говорю.— Сам не знаю, зачем спросил... Такие дела — голова кругом идёт. В общем, надо Даврона спасать.

Он насупился:

— Я обид не прощаю.

— Да ладно тебе,— отмахиваюсь.— Надо Комсомолу сказать. А где он? Что-то не видно его.

— В будке заперт.

Ну, блин, и повороты!

— А ты куда глядел? — спрашиваю. — Почему разрешил?

Он, дурень, оправдывается:

— Те ребята хотели Рауфа выпустить, Комсомол не разрешил. Наши ребята его схватили, держали, пока те ребята дверь будки открывали. Когда Рауф вышел, те ребята Комсомола схватили, в будку запихнули, дверь закрыли, замок повесили, ключ с собой унесли.

— А наши?

— Ничего не сказали.

Бздуны! Никому из них не верю. Нельзя им про Даврона говорить. Не помогут. Хорошо ещё, если бесам не сдадут. Не подумав, я брякнул:

— Сам пойду выручать. Ты со мной?

Теща нарыхался до чёртиков:

— Не пойду, и ты не ходи, убьют. В воротах караул застрелит.

— Ништяк, — хорохорюсь, — я стратегический план разработал. Проникновение на территорию противника.

— Что за план?

— Военная тайна.

Вообще-то я смутно представлял, что буду делать. А Теща опять хмурится. Обижен, что не делюсь секретом. Приходится просить:

— Чем оскорблённую морду демонстрировать, лучше опиши, где этот самый зиндон находится.

Он нехотя описал.

Короче, нашёл я на свою жопу приключения. А куда деваться? Сболтнул — выполняй. Вот я и призадумался: охраняют бесы усадьбу Зухура или не охраняют? Прежде они жили отдельно от давронских, в мечети. Где сейчас? Остались у себя? Или под шумок — пока нет Даврона — захватили власть и переселились в дом с золотыми воротами? По-любому соваться туда без отмазки опасно.

Шагаю к ближайшим от казармы воротам.

— Эй, хозяин!

Раз десять, наверное, зову, пока наконец выходит. Бледный, испуганный.

— Баран есть?

— Нет барана.

По роже читаю, что не врёт. Перехожу к соседнему дому.

— Эй, хозяин! Баран есть?

— Нет барана.

И этот не врёт. Овцы в это время года на пастбище. Иду дальше по улице.

— Эй, хозяин! Где барана держишь?

— Нет барана.

А сам глаза опустил, чтоб не выдали. Отпихиваю его, вхожу во двор и через дом — на задний двор. Вот он барашек! В загончике. Ждёт, небось, не дожждётся, пока его зарежут и подадут гостям на большом празднике. Для того и оставили дома.

Хозяин маячил за спиной. Напоказ поправляю на плече ремень автомата:

— Неси верёвку.

Мужик упёрся рогом:

— Нет верёвки.

Я открыл дверь ближайшего сарайчика. Мешки, лари, кувшины... Заглянул в другой — так и есть: висит на стене аккуратно свёрнутый чилбур, аркан из шерсти. Хотел отрезать метра полтора, но спохватился — нет ножа. У хозяина спросить? Опять упрётся. Ладно, согдится и моток. Сдёрнул верёвку с гвоздя, вышел, обвязал конец вокруг бараньей шеи. Утешил хозяина:

— Восстановим советскую власть, расплатимся. Квитанцию не даю, бланки дома забыл, — и поволок барана со двора.

Хозяин хмуро плёлся за мной до калитки, но даже не пикнул.

Выхожу на улицу, и вся смелость — фью! и испарилась. Пока тащился наверх к золотым воротам, тупо твердил про себя: остановят — покажу на барана: вот, мол, на кухню привёл. А дальше? Всё как в тумане. Честное слово, еле-еле дополз...

Нет, верно говорят, дуракам везёт. Распахнутые ворота никто не охранял. Слева у забора кто-то лежал, накрытый с головой лёгким полосатым чапаном. Стопудово мертвец. На асфальте — пятна крови. Черепки какие-то... Одежонка разбросана... Жутко подумать, что здесь происходило. На передней веранде сидели трое рауфовских. Я, на них не глядя, потянул барана на задний двор. В ногах — слабость, сердечко стучит... Опять повезло, не окликнули.

Миновал гараж, припёрся на задний двор. Ну и где здесь тюрьма? Каменные сараи все, вроде, одинаковые. Пригляделся. Вот у этого, крайнего, на солнечной стене сушатся лепёшки кизняка. Как и у прочих. Но дверь, похоже, поновее. И замок висит. Все остальные — без замков.

Оглянулся: вокруг ни единой сволочи. Подскочил к двери, сунул ключ в замок. Подходит. Сердце, конечно: тук-тук-тук... Конечно, страшно. Заскочил в сарай. Мельком разглядел, что внутри пусто, а в центре квадратная дыра, накрытая деревянной решёткой. И сразу же захлопнул дверь. Темно — собственных ушей не вижу. И с места тронуться боязно, хотя упасть некуда. Позвал тихонько:

— Даврон, вы здесь?

Громче боюсь — кто-нибудь услышит. Молчание, такое же глухое, как темнота. Позвал погромче:

— Даврон, это я.

Глухо, как в танке. Может быть, думаю, умер. Или убили его. Или увели. Почему не откликается?

Глаза маленько привыкли к темноте. Из щели под дверью всё же какой-никакой свет сочится. Подошёл к дыре, встал на колени, заглянул вниз. Темно, как у негра в жопе. Не понять, есть ли кто-нибудь внутри или нет. Позвал ещё раз, не отвечает. Почему молчит?

«Надо валить, — думаю. — Сделал, что мог. Застукают, секир-башка сделают». А мне башку жалко. Она у меня умная, красивая. Поднялся и — к двери. Гордость остановила. А вдруг он заболел, ранен или вообще? Неужто убегу, не убедившись? Приоткрыл дверь, не на полную, а чтобы свет проходил. Рядом с порогом камень лежал. Я им подпёр, чтобы не закрывалась. Посветлее стало.

Лёг на пол, морду между перекладинами решётки сунул, вглядываюсь изо всех сил. Ни хрена не видно. Всё-таки начал смутно различать: двое лежат, один стоит неподвижно. Лица стоящего не разобрать. Зову по новой:

— Даврон...

Вижу, руку к уху поднёс, типа прислушивается, и спрашивает:

— Кто таков?

Голос Даврона. Стало быть, жив. Рапортую:

— Это я.

Он гаркает:

— Имя? Фамилия?

Не узнал меня. Ну, я назвался. Он командует:

— Лестницу. В темпе.

Где я возьму? Нет поблизости никаких лестниц. А на передний двор пусть сам идёт. Что ж делать? Наконец догадался:

— Верёвка пойдёт?

— Неси!

Я в дверную щель осторожно выглянул. Двор, как был, пуст. Барашек мой успел откочевать к гаражам. Я нагнал.

— Куда ты?! Съедят.

Снял у него с шеи верёвку и — назад. В общем, откинул я решетчатую крышку, привязал конец верёвки к раме, длинный конец сбросил вниз, а сам налёг на решётку, чтобы не захлопнулась.

Ну, он вылез. И что сделал первым делом? Бросился обнимать? Спасибо сказал? Нет, залез пальцами в ухо и вытащил оттуда патрон.

Да вынь он кролика, я бы не удивился, в таком был напряге. А Даврон спокойно достал из кобуры пистолет, выщелкнул обойму, втиснул в неё патрон, который вынул из уха, и второй — из кармана. Вставил назад обойму, сунул пистолет в кобуру и руку тянет:

— Автомат.

Пришлось отдать дедушку. Даврон цапнул моего Калаша Андреевича, отомкнул рожок, глянул, вновь пристегнул.

— Всё, — толкует. — Иди в казарму.

Я выглянул за дверь. На заднем дворе — по-прежнему ни единой сволочи. Ну, я и пошёл. На выходе всё-таки остановили. Один бес докопался:

— Чего шляешься?

— Барашка привёл.

— И где он?

— На заднем дворе.

— Ну, сам ты баран! На кухню надо было вести.

Я думал, меня погонит, а он сам попёр на задний двор. Решил пофикстудить — типа, лично барана добыл. Я ждать не стал, пока зарежут вместе с барашком. Сквозанул за ворота и — вниз на полусогнутых.

Доплёлся до площади, сел возле закрытого магазина, прислонился к стенке, и пошёл отходняк. Долго сидел, еле успокоился. Пришёл в казарму. Слабость — будто весь день камни таскал. Завалился спать, уснуть не могу. Злая обида в душу нахлынула — он даже спасибо не сказал. А я опять без автомата остался. Лежу, прислушиваюсь. Жду криков, выстрелов или ещё чего. Не дождался. Стал думать, зачем он патрон держал в ухе. Ничего путного не придумал и решил, что это просто дурная привычка. Некоторые

втихаря в носу ковыряют, а другие, когда никто не видит, патроны в уши суют.

Утром Фидель, командир отделения, орёт:

— Подъем!!!

По ходу, выстроили всё войско на плацу. В смысле, на школьном дворе. И Даврон тут же. Гладко выбрит, форма отглажена, слегка похудел, осунулся, а в остальном — как ни в чем не бывало. Толпа зашуршала, зашушукалась. Кто-то из кишлячных слышал по радио на батарейках, что на днях где-то в Калай-Хумбе или Хороге подорвали какого-то Горбатого, криминального авторитета, так что пацаны были уверены: Даврон потому и пропал, что ездил его мочить. Только я и Теша знали, где он на самом деле отдыхал.

Даврон продрал с песком толпу и командиров отделений за развал дисциплины и предупредил, что начнёт жёстко спрашивать с каждого. Кто не согласен, может убраться. Кто останется, не пожалеет.

— Даю день на размышления, — сказал Даврон. — Завтра все как штык обязаны сообщить, уходят или остаются. Предупреждаю, порядок будет железным, но и вознаграждение немалым. Это в полной мере относится к третьему отделению, то есть к бойцам из числа местных жителей. Будете нести службу наравне с прочими и получите равную долю. Все, за исключением одного. Этого отправляю домой независимо от его желания...

Я-то был в курсе, кого он имеет в виду, а пацаны опять зашушукались. Даврон гаркнул:

— Теша Табаршоев, выйди из строя.

Мог бы и не выкликать. После команды на построение Теша просочился за спинами ребят и был таков. Я не в обиде, что не попрощался. Не до того парнишке.

Чуть позже войско строем и с оружием повели на площадь, уже собрался кишлак в полном составе. Мужской пол скопился в одной стороне, женский — в другой, детишки носились повсюду. Нас выстроили сбоку от магазина в несколько рядов. Вроде почётного караула. Стояли, само собой, вольно. Кроме нескольких пацанов из колхозников — эти стояли, как на плакате: широко расставив ноги, держа автомат одной рукой и положив ствол на плечо. Смотрели прямо перед собой, сурово и неподвижно. В общем, демонстрировали... Да, эти дадут прикурить трудо-

вому крестьянству. Особенно в чужом кишлаке. Зондеркоманда колхозная, блин.

Даврон взобрался на крыльцо магазина как на броневик. Кишлячные подтянулись к трибуне, по-прежнему раздельно — мужики к нам поближе, женщины от нас подальше, а ребятня где попало.

Даврон сказал:

— Много говорить не о чем. Про Зухуршо без меня знаете. Беру на себя и руководство, и ответственность. Притеснять вас не стану. С произволом и притеснениями покончено. Однако дисциплину и порядок требовать буду. Вопросы?

Вылез местный асакол, шухарной мужичок типа старика Хоттабыча:

— Какой же порядок установите — который при Зухуршо был или другой? Советский, скажем?

— Справедливый, — отрезал Даврон.

Но Хоттабыча, как клеща, легко из-под кожи не достанешь.

— Это хорошо, — толкует. — А вот с землёй как будет? Если справедливость обещаете, то землю, стало быть, назад отдадите?

— Земля останется в коллективном пользовании, — сказал Даврон.

Кто-то из кишлячных набрался смелости:

— Значит, справедливость такая будет, какую в Верхнем селении навели?

Даврон головы не повернул к смельчаку. Деревенские молча, внимательно смотрели на Даврона. Выходит, дошёл сюда слух о заварушке в Верхнем селении. А въедливый Хоттабыч докапывается:

— Зухуршо муку подвезти обещал. Теперь как?

— Вопрос с продовольствием решим, — сказал Даврон. — Ещё вопросы?

Не было вопросов. И Даврон загнал последний гвоздь:

— Понимаю, каждый думает об одном: удастся ли выжить. Обещаю, от голода никто не умрёт. Но работать придётся до седьмого пота. Ещё вспомните привольную жизнь при добром дядюшке Зухуршо. И последнее: в доме Зухура — Рауф и остальные. Похороните. Можно в общей могиле.

Ништяк себе! Как же это он один — всех? Без единого выстрела. Ножом или чем?

А Даврон гаркнул:

— Всё! Разрешаю расходиться.

На том митинг закончился. Кишлячные разбрелись по хатам смурные. Мне тоже Давронова речуга очень не понравилась. Нет, кто-кто, а уж я не останусь.

Вернулись в казарму. Отделение чистит оружие, я тыняюсь без дела. По новой без автомата. Приходит Ахмад:

— Даврон тебя вызывает.

Даврон сидел в сельсовете за столом с бумагами. Вид у него был жутко деловой. Типа не имеет ни секунды свободной — даже на то, чтобы патрон из уха выковырять. Если, конечно, нашлось время его запихать. Я вошёл, он поднял голову:

— Что решил?

— Ухожу.

— Ладно. Можешь не ждать до завтра, — буркнул и опять за бумаги.

Ништяк, да?!!

Пришлось дать урок товарищу командиру:

— И всё?! А спасибо где?

Он засмеялся, встал и обнял меня. Крепко, от души, как дядя или старший брат. Отец меня никогда не обнимал. По голове гладил, по холке трепал, по спине хлопал, а обнимать — никогда. Ни разу не обнял... Мне было очень приятно сознавать, что пусть Даврон такой сильный, уверенный в себе, а всё-таки именно я его спас. Мне захотелось, чтобы он и вправду был моим братом или дядей.

Как же! Размечтался карандаш! Он отпустил меня и сел за стол.

— Ну всё, — говорит. — Бывай.

А я чего ждал? Он мне никто, и я ему никто.

— Автомат мой отдайте, — требую.

Он отмахнулся:

— Дадут, дадут тебе игрушку.

Попрощались, называется... На хрена было вызвать?

В общем, сунули мне АК-47, блестящий, новенький, будто только что из яйца вылупился, ещё пёрышки от масла не обсохли. А я по Калашу Андреевичу скучаю. Старенький, а свой, родной. Вместе в засаде Зухура подкарауливали. Но капризничать не стал. Ладно, и этот сойдёт. Спасибо, что патроны дали.

Ну и чего? Попрощался с ребятами и почапал домой. Отошёл на километр, догоняет «уазик» со снятым верхом. Алик, шофёр Даврона, кричит:

— Садись!

Не успели толком разогнаться, на дороге — завал. Алик матерится:

— Это ведь не с горы упало. Какие-то сволочи, я их маму за хвост таскал, нарочно навалили.

— Засаду устроили, — говорю. — Но увидели, что ты едешь, испугались...

Даже не улыбнулся, собака. Шутник, а не выносит, когда его подначивают. Разобрали завал, поехали дальше. Алик всю дорогу загадки загадывал. Все без исключения — идиотские. «Идёт пегий бык. Одна нога чёрная, другая белая, во лбу белое пятно, левый рог кривой». — «Ну, — прикидываю, — наверное, день и ночь». — «Лучше думай». — «Ну, в таком разе судьба: то счастье, то несчастье, а иногда вообще всё вкривь идёт». — «Неправильно. Последнюю попытку даю». — «Не знаю. Сдаюсь». — «Эй! В нашем кишлаке даже ребёнок разгадает. Это Шавката, моего соседа, бык: с кривым рогом, одна нога белая, другая чёрная. Удивительно, что коров совсем не любил. Шавкат рассердился и его зарезал. Понял, да?» Фиг такую ерунду разгадаешь...

Доехали до поворота на Талхак. Едва Алик повернул, вдруг, хрен знает откуда выскочил пацан. Белобрысый, с серыми глазами, от русского не отличишь, но чистый таджик. Наш парень, талхакский. Имени не знаю. Все зовут по прозвищу. Курут и Курут. Это такой кислый творог, слепленный в шарики и высушенный. Твёрдый как камень. Таким шариком, если из рогатки или лука-камона в лобешник засадить, то убить можно.

В общем, этот Курут-Творог возник посреди дороги, замахал палкой:

— Стой!

Алик с перепугу тормознул. Творог подошёл поближе.

— Андрей, салом.

— Привет, — отвечаю.

Он на автомат зырит:

— Со своими воевать приехал?

— Ошибся, братишка, — говорю. — Наоборот, послан Ставкой принять командование и организовать оборону Талхака. А это, — указываю на Алика, — мой личный шофёр. Будет в штаб фронта мои донесения доставлять.

Творог даже глаз на Алика не скосил. Будто тот невидимкой заделался или в природе не существует.

— Тебя пропущу, этот пусть назад возвращается.

Автомат лежал у меня на коленях. Я как бы случайно опустил на него руку. С тонким намёком.

— Друг, по-хорошему дай проехать. Пешком не хочу топтать.

Алик молчит, сопит. Пытается оценить обстановку. Пришлось самому принимать решение:

— Поехали, — приказываю. — А ты отвали в сторону, задавим.

— Всё равно не проедете, — говорит Творог. — Наверху над дорогой наши ребята сидят.

— Не бойсь, мы их не обидим, — обещаю.

— Это они на вас камни спустят, а Шер мне голову оторвёт.

— Он-то при чем?

— Большой начальник... Хуже, чем Зухуршо.

Меня начало зло разбирать. Хотелось на машине въехать, чтобы все видели.

— Шера не бойся, — успокаиваю. — Он меня знает, спасибо тебе скажет. А ребятам крикни, что мирная делегация прибыла. Делегацию не зашибут.

Скорее всего, уговорил бы, да Алик струхнул:

— Э, пацан, вылезай!

Куда его чувство юмора пропало.

— Погоди, — говорю. — Сейчас договоримся.

Но он упёрся как баран. В гробу я таких трусливых шутников видел. Плюнул, вылез. Он шустро развернулся и свалил.

Я спросил у Творога:

— Знаешь про мою сестру? Как она? — при Алике не хотел о ней заговаривать.

— Хатти-момо её лечит.

Мне чуток полегче стало.

— Молодец, Творог, — говорю. — Выношу тебе благодарность от командования за хорошую службу.

Творог — парнишка резкий, за подначку мог и дрынком отovarить, если б не разница в вооружении — палка против «калаша». Пришлось ему матернуться тихонько и отступить к боевому посту под скалой.

По правде, я дразнил его только из-за того, что глушил боязнь. Боялся увидеть Зарину такой, какой она стала. Наверное, поэтому не пошёл прямо в кишлак, а свернул с дороги наверх, на кладбище, где похоронен отец. Вроде как за поддержкой.

Поднялся.

Кладбище окружено заборчиком из камней, вроде того, что заставляла нас строить Бахша. Могилы — просто глиняные бугорки на голом покато́м склоне. Я прислонил автомат к низкой ограде и прошёл между могил, стараясь не ступать на земляные кочки. Хотя это не имело значения. Куда ни шагни, под каждым следом ноги зарыты две сотни глаз...

В холмик, под которым лежал отец, были воткнуты две палки. Жерди похоронных носилок. Они торчали из земли, сухие и голые. Когда отца хоронили, кто-то сказал: если на палках вырастут листья, значит, покойный попал в рай. Но я не верю в загробную жизнь.

Я вытащил рубаху из штанов, оторвал от подола длинную полосу и повязал её на верхушку одной из жердей. Узкая тряпица затрепетала на ветру. Мне почудилось, что это ответил отец... Нет, не почудилось. Я ощутил ответ так отчётливо, будто отец ко мне прикоснулся, и лишь не мог понять, что он сказал. Но это тоже не имело значения. Главное, отец откликнулся. Наконец удастся сказать ему всё, что не сумел, когда он был жив.

Я сел на землю рядом с могилой, не решаясь начать. Как-то нелепо беседовать с тем, кого нет рядом. С пустотой. Но если промолчу, буду сам виноват, что мы опять не сумели поговорить. Я сказал:

— Простите, что злился на вас, грубил... Вы пообещали и не пришли. Я думал, обманули, забыли. Думал, я вам безразличен. Не знал, что вас убили... Я хотел найти убийцу. Не смог. И Зарину не защитил... Я во всем виноват. Я один виноват...

Выходило не то, что я чувствовал. Будто стоял у доски и отвечал урок. Не привык открывать душу. Тем более перед отцом... Наверное, этому надо учиться.

Я собрался с духом и сказал:

— Отец, мне страшно... Вы, конечно, не знаете, что у нас происходит. Становится всё хуже и хуже... Думаю, мы никогда не сможем отсюда вырваться. Но я не знаю, куда ехать. В Ватане было не лучше. И то же самое, наверное, повсюду, а не только здесь, в горах... Что с нами со всеми будет?

Длинный лоскут на шесте плавно развевался в воздухе. Отец молчал.

Может быть, не знал, что сказать.

А если и знал, не мог ответить.

Или же я не в силах понять ответ.

Техническое послесловие

События, описанные в романе, вымышлены. Как и все действующие лица, за исключением трёх исторических личностей. Это Сангак Сафаров, Файзали Саидов и Абдуламон Аёмбеков по прозвищу Алёш Горбатый.

С Сангаком и Файзали я встречался незадолго до их гибели и записал большое интервью с Сангаком, несколько выдержек из которого использовал в романе. Что же до содействия, которое бобо Сангак оказал авантюре сугубо литературного персонажа Зухуршо, то пусть читатель судит сам, могло ли нечто подобное произойти в действительности.

С Алёшем Горбатым я, к большому моему сожалению, не встречался, а заимствовал описание его внешности и характера из документального повествования Владимира Попова «Предельно горный Бадахшан».

Вместе с тем, в «Заххоке» упоминаются подлинные исторические факты, отзвуки которых вплетены в повествование и оказывают подспудное влияние на развитие фабулы. Главный из них — смерть Сангака Сафарова и Файзали Саидова, далее — бегство боевиков оппозиции из центральных областей страны на Дарваз, разрушение дороги на перевале Хабуработ и гибель бадахшанского «наркобарона» Алёша Горбатого. В реальности упомянутые события происходили в разное время, но я сблизил их, чтобы усилить динамичность повествования.

С той же целью я совместил начало сева и перегон скота на высокогорные пастбища, поэтому не советую использовать роман в качестве сельскохозяйственного справочника.

Рассказ об обстоятельствах гибели Сангака Сафарова и Файзали Саидова основан на журналистском расследовании газеты «Азия-Плюс».

Часть пословиц и поговорок, рассыпанных по повествованию, я взял из книги «Мудрость трёх народов (таджикские, узбекские, русские пословицы, поговорки и афоризмы в аналогии)» Я. Калонтарова и «Гулчини зарбулмасал ва маколхо» М.Фозилова, две-три услышал от моих учителей таджикского языка и близких друзей, ныне уже покойных, Мухиддина Олимпура и Абдуджабора Сатторова, а остальные придумал сам. Какие именно, предоставляю определить читателю.

Свадебная песня взята из исследования «Таджики Дарваза и Каратегина». Перевод мой.

Две легенды о Калай-Хумбе, которые рассказывает Даврону и Алику старик-попутчик, взяты из одного из выпусков «Полевых исследований института этнологии и антропологии».

Народные стихи, приведённые в романе, — балладу о смерти эшона Султона, стих о «стране Дарваз», байт о дарвазском герое Диловаре — я записал в 1991 году, когда объезжал селения Дарваза, фиксируя на диктофон воспоминания очевидцев и участников местного партизанского движения, которые вошли в работу «Басмачи — обречённое воинство». К сожалению, у меня пропал архив с магнитофонными плёнками и расшифровками, и я не могу восстановить имена информантов. Остались лишь переводы в журнальной публикации. При том, что никакой вообще перевод не способен передать аромат и сочность таджикского народного языка.

Рассказы о Диловаре, вложенные в романе в уста двух старцев, записаны со слов Бачабек Шобекова (кишлак Баравн), Аскара Хокимова (кишлак Хумбивари) и Саидахмада Мирахмадова (кишлак Сангевн). Все были в то время глубокими стариками, так что едва ли кто-нибудь из них ещё жив. Насколько мне известно, никто прежде не записывал стихов и рассказов про подвиги противников красной власти в Таджикистане. В советские годы фольклористов сдерживали идеологические соображения, а позднее, когда запрет был снят, началась гражданская война, и людям стало не до старых баллад. Я успел вклиниться в краткий промежуток напряжённого затишья перед войной.

И наконец то, с чего следовало бы начать. Хочу поблагодарить патологоанатома Иосифа Ласкавого за его консультации; декоратора и мастера айкидо, автора замечательной книги о душанбинском зоопарке и в прошлом ветеринара Сергея Бакатова за сведения о поведении различных животных; историка Камолудина Абдуллаева за беседы о басмаческом движении в Восточной Бухаре и за редкие материалы, которыми он некогда щедро со мной поделился.

Оглавление

1. Андрей	5
2. Зарина	24
3. Джоруб.....	35
4. Карим Тыква.....	54
5. Джоруб.....	61
6. Зарина	69
7. Джоруб.....	74
8. Олег.....	91
9. Андрей	115
10. Олег.....	123
11. Зарина	142
12. Карим Тыква.....	148
13. Даврон.....	156
14. Джоруб.....	167
15. Олег.....	183
16. Эшон Ваххоб.....	199
17. Андрей	209
18. Джоруб.....	220
19. Олег.....	224
20. Эшон Ваххоб.....	233
21. Даврон.....	241
22. Олег.....	263

23. Карим Тыква.....	267
24. Зарина	283
25. Даврон.....	289
26. Зарина	300
27. Олег.....	312
28. Зарина	324
29. Эшон Ваххоб.....	332
30. Карим Тыква.....	344
31. Даврон.....	350
32. Карим Тыква.....	363
33. Даврон.....	376
34. Джоруб.....	389
35. Даврон.....	415
36. Андрей	435
37. Техническое послесловие	460

Литературно-художественное издание

Владимир Медведев

ЗАХХОК

РОМАН

Литературный редактор Ольга Дунаевская

Дизайн и компьютерная верстка Алексей Матросов

Корректор Анна Арсеньева

Директор издательства Р.К. Зарипова

Главный редактор издательства О. Дунаевская

PR-директор Е. Острикова

PR-менеджер Ю. Ляхова

Подписано в печать 12.12.2016. Формат 60х90/16


Бумага офсетная. Усл. п. л. 29

Тираж 3000 экз. Заказ 6231

Издательство ArsisBooks.

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1В

тел.: +7(495) 785 2498, факс: +7(495) 785 2549, e-mail: info@arsisbooks.ru

www.arsisbooks.ru  Издательство ARSIS BOOKS

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59



Владимир Медведев родился в Забайкалье, на озере Кинон, в раннем детстве был привезен в Таджикистан, где прожил большую часть жизни. Работал монтером, рабочим в геологическом отряде, учителем в кишлачной школе, газетным корреспондентом, фоторепортером, спортивным тренером, патентоведом в конструкторском бюро, редактором в литературных журналах. Автор книги рассказов "Охота с кукуем". Член редколлегии и заведующий отделом журнала "Дружба народов". Живет в Москве.

Роман написан простым и чистым языком, легко читается, увлекает и захватывает, а многие его эпизоды заставляют сжаться сердце, вынуждают испытать горькую радость сопереживания.

Андрей Волос, писатель,
лауреат Государственной премии России
и премии «Русский Букер»

Владимиру Медведеву посчастливилось написать роман глубокий и вместе с тем занимательный, остросюжетный... При бешеном темпе повествования, из которого вынырнуть невозможно, автор разбирает немало острых проблем, например, взаимоотношения человека с властью. Но главное - это столкновение разных культур...

Александр Мелихов, писатель,
лауреат премии «Серебряное перо»

В романе «Захлок» повествование ведется от имени нескольких действующих лиц, русских и таджиков. Каждый из них обладает особым языком и интонацией, собственным «внутренним миром»... В итоге возникает красочная картина, исполненная драматических столкновений, в которых проявляются яркие, сильные и оригинальные характеры героев.

Леонид Юзефович, писатель,
лауреат премий «Большая книга»,
«Национальный бестселлер» и «Русский Букер»